

Болеслав Прус

КУКЛА

Часть вторая

Глава первая. Серые дни и мучительные часы

Четверть часа спустя после отъезда из Варшавы Вокульский отдал себе отчет в двух несомненных, хотя и весьма различных обстоятельствах: в вагоне стало свежо, а сам он впал в какую-то странную летаргию.

Он свободно двигался, голова была ясна, мысль работала четко и быстро, но его ничто не интересовало: ни с кем он едет, ни куда едет, ни зачем едет. Эта апатия усиливалась, по мере того как он удалялся от Варшавы. В Прушкове он обрадовался каплям дождя, брызгавшим в открытое окно, а когда за Гродзиском разразилась гроза, он даже несколько оживился; ему захотелось, чтобы в него ударила молния. Но когда гроза пронеслась, его опять охватило прежнее равнодушие, и опять стало все безразлично — даже то, что сосед справа задремал у него на плече, а пассажир, сидевший напротив, снял штиблеты и положил ему на колени ноги, впрочем в чистых носках. Около полуночи он впал в странное состояние; им овладел не то сон, не то еще более глубокое безразличие. Он задернул занавеской фонарь и закрыл глаза, решив, что эта странная апатия с восходом солнца пройдет. Но она не прошла: напротив, с утра она усилилась и росла с каждым часом. Эта апатия не усугубляла горя, но и не приносила облегчения.

Потом у него попросили паспорт, потом он позавтракал, купил новый билет, велел перенести вещи в другой поезд и поехал дальше. Снова станция, снова пересадка, снова дорога... Вагон подрагивал и стучал, паровоз время от времени свистел, потом останавливался... В купе появились люди, говорящие по-немецки: двое, трое... Потом польский говор совсем умолк, и вагон наполнился немцами...

Изменился и пейзаж за окном. Потянулись огороженные леса, где деревья стояли ровными рядами, словно солдаты в строю. Исчезли деревянные, крытые соломой избы, и все чаще мелькали одноэтажные домики с черепичными крышами и палисадниками. Вот опять остановка, опять надо есть, пить. Какой-то огромный город... Ах, это как будто Берлин!.. Опять поехали... В вагон все еще садятся люди, говорящие по-немецки, но произношение у них другое. Потом ночь и сон... Нет, не сон, а все та же апатия.

В купе входят два француза. Пейзаж за окном снова изменился: широкие просторы, холмы, виноградники. Там и сям из-за деревьев выглядывает высокий одноэтажный дом, старый, но крепкий, весь обвитый плющом. Опять осмотр чемодана. Пересадка. В вагон садятся два француза и одна француженка и сразу поднимают шум за десятерых. Это, по-видимому, люди воспитанные; тем не менее они хохочут, то и дело пересаживаются с места на место и извиняются перед Вокульским, — он, впрочем, так и не знает за что.

На какой-то станции Вокульский пишет несколько слов Сузину по адресу: «Париж, „Гранд-отель“ — и дает записку вместе с деньгами проводнику, не заботясь ни о том, сколько дал, ни о том, дойдет ли телеграмма. На следующей станции кто-то сует ему в руку целую пачку денег, и поезд трогается. Вокульский замечает, что уже снова ночь, и снова он впадает в состояние не то сна, не то какого-то странного оцепенения.

Глаза у него закрыты, но мысль работает и твердит, ему, что сейчас он спит и что это странное состояние безразличия пройдет у него в Париже.

«Париж! Париж! — повторяет он во сне. — Ведь я столько лет мечтал о нем! Это пройдет. Все пройдет!..»

Десять часов утра. Новая станция. Поезд стоит под сводом; шум, крик, беготня. На Вокульского набрасываются сразу три француза, предлагая свои услуги. Вдруг кто-то хватается за плечо.

— Ну, Станислав Петрович, счастье твое, что ты приехал!

Вокульский минутку всматривается в какого-то великана с красным лицом и русой бородой и наконец говорит:

— Ах, Сузин!

Они обнимаются.

Сузина сопровождают двое французов, один из них берет у Вокульского квитанцию на вещи.

— Счастье твое, что ты приехал, — повторяет Сузин, еще раз целуя его. — Я уж думал, что пропаду тут в Париже без тебя...

«Париж...» — думает Вокульский.

— Да не обо мне речь, — продолжает Сузин. — Ты так загордился, якшаясь с вашей паршивой шляхтой, что до меня тебе уж и дела нет. Но ради тебя же жаль упускать такие деньги... Ты потерял бы тысяч пятьдесят...

Два француза, сопровождавшие Сузина, появляются снова и сообщают, что можно ехать. Сузин берет Вокульского под руку и ведет его на площадь, где стоит множество омнибусов, а также одноконных и пароконных экипажей, в которых кучера помещаются спереди или сзади. Они проходят несколько шагов и останавливаются у коляски, запряженной парой лошадей, с лакеем у дверцы. Садятся и едут.

— Смотри, — говорит Сузин, — вот улица Лафайета, а вот бульвар Маджента. Мы поедем по Лафайету до самого отеля, возле Оперы. Говорю тебе: чудо, а не город! Ну, а как увидишь Елисейские поля и сад между Сенной и Риволи... Эх, говорю я тебе: чудо — не город! Только у женщин уж больно турнюры велики... Ну, да тут вкусы иные... Просто не нарадуюсь, что ты приехал; пятьдесят, а то и шестьдесят тысяч рублей — это тебе не фунт изюма... Видишь, вон Опера, а вон бульвар Капуцинов, а вот и наша избенка...

Вокульский видит огромное шестиэтажное здание клинообразной формы, опоясанное железной балюстрадой вдоль третьего этажа. Дом стоит на широкой улице,

обсаженной еще молодыми деревьями, а по ней взад и вперед снуют пешеходы, проносятся омнибусы, коляски, всадники. Движение такое оживленное, будто по крайней мере половина Варшавы сбежалась поглазеть на какое-нибудь происшествие. Мостовая и тротуары гладкие, как паркет. Вокульский понимает, что он в самом сердце Парижа, но не испытывает ни волнения, ни любопытства. Ему все безразлично.

Экипаж въезжает в великолепные ворота, лакеи распахивают дверцы. Они выходят. Сузин берет Вокульского под руку и ведет в маленькую комнатку, которая неожиданно начинает подниматься.

— Это лифт, — говорит Сузин. — У меня тут два номера. Один — во втором этаже за сто франков в день, а другой — в четвертом за десять франков. Для тебя я тоже снял за десять... Ничего не поделаешь... выставка.

Они выходят из лифта в коридор и минуту спустя оказываются в роскошно обставленной комнате. Мебель красного дерева; у одной стены стоит широкая кровать под балдахином, у другой — шкаф с огромным зеркалом вместо дверцы.

— Присаживайся, Станислав Петрович. Хочешь выпить или закусить, тут или в зале? Ну, пятьдесят тысяч твои... Я страшно доволен.

— Скажи мне, — в первый раз откликнулся Вокульский, — за что же, собственно, я получу пятьдесят тысяч?

— Может, и того больше.

— Хорошо, но за что?

Сузин бросается в кресло, складывает руки на животе и принимается хохотать.

— Вот за то и получишь, что спрашиваешь!.. Другие берут, не спрашивая, только давай... Один ты хочешь знать — за что да почему столько. Ах, голубчик ты мой!

— Это не ответ.

— Сейчас я тебе отвечу. Во-первых, за то, что ты меня еще в Иркутске четыре года уму-разуму учил. Кабы не ты, не быть бы мне теперешним Сузиным. Ну, а я не вашего склада человек: за добро плачу добром.

— И это не ответ, — повторил Вокульский.

Сузин пожал плечами.

— Вот что: здесь ты у меня объяснений не спрашивай, а внизу и сам все поймешь. Может, я куплю немного парижской галантереи, а может, и торговых судов десяточек-другой. Я по-французски — ни в зуб ногой, то же самое и по-немецки, вот мне и нужен такой человек, как ты.

— Я не разбираюсь в судах.

— Не беспокойся. Сыщем тут инженеров — и железнодорожных, и морских, и военных... Не в этом суть, а в человеке, который бы ворочал языком за меня — и для меня. Да чего там, говорю тебе: спустимся вниз — смотри да слушай в оба, а уйдем отсюда — забудь обо всем, будто у тебя память отшибло. Это ты, Станислав Петрович, сумеешь, а про остальное не спрашивай. Я заработаю десять процентов, тебе дам

десять процентов со своего заработка — и дело в шляпе. А на что это, для кого да против кого — не спрашивай.

Вокульский молчал.

— В четыре придут ко мне американские и французские фабриканты. Сможешь спуститься? — спросил Сузин.

— Ладно.

— А теперь прогуляешься по городу?

— Нет. Теперь я хочу спать.

— Ну и ладно. Идем в твой номер.

В нескольких шагах по коридору оказалась другая комната, совершенно такая же, как у Сузина. Вокульский бросился на кровать, Сузин на цыпочках вышел и притворил дверь.

После его ухода Вокульский закрыл глаза и попытался уснуть — вернее, даже не уснуть, а отогнать призрак докучной мысли, от которого он бежал из Варшавы... Одно время ему казалось, что его уже нет, что он остался там и теперь беспокойно ищет его, бродя между Краковским Предместьем и Уяздовскими Аллеями.

«Где он?.. Где он?..» — шептал призрак.

«А что, если он полетит за мной? — спросил себя Вокульский. — Ну, теперь уж ему меня, наверное, не сыскать — в таком огромном городе, в таком большом отеле...»

«А если он уже здесь?» — мелькнуло у него в голове.

Он еще крепче сомкнул глаза и начал покачиваться на матраце, который ему показался необыкновенно широким и необыкновенно упругим. Два потока звуков овладели его вниманием: за дверью, по коридору отеля, бегали и переговаривались люди, словно там в эту минуту что-то случилось; из-за окна неслась сплошной уличный гул, приглушенно, как бы издали доносился грохот многочисленных экипажей, дребезжание звонков, человеческие голоса, гудки, выстрелы и бог весть что еще.

Потом ему померещилось, будто некая тень заглядывает к нему в окно, и вскоре за тем — будто кто-то ходит по длинному коридору, от двери к двери, стучит и спрашивает:

«Он тут? Он тут?»

Действительно, кто-то ходил, стучал и даже постучался к нему, но, не получив ответа, прошел дальше.

«Не найти ему меня! Не найти...» — думал Вокульский.

Вдруг он открыл глаза, и у него волосы на голове стали дыбом. Напротив себя он увидел точно такую же комнату, точно такую же кровать с балдахином, а на ней... самого себя! Никогда в жизни не испытывал он подобного потрясения; собственными глазами убедиться, что в комнате, где ты считаешь себя совершенно одиноким, находится неотступный свидетель... ты сам!

— Что за оригинальное шпионство, — проворчал он. — Дурацкая мода эти зеркальные шкафы...

Он сорвался с кровати — двойник его сорвался так же стремительно; подбежал к окну — тот тоже. Лихорадочно раскрыл чемодан, чтобы переодеться — и тот тоже начал переодеваться, по-видимому, собираясь идти в город.

Вокульский почувствовал, что надо бежать из этой комнаты. Призрак, от которого он уехал из Варшавы, был уже здесь и стоял у порога.

Он умылся, надел чистое белье, переменял костюм. Было всего половина первого.

«Еще три с половиной часа! — подумал он. — Надо их как-то использовать...»

Едва он открыл дверь, как появился слуга: — Monsieur?..

Вокульский велел проводить себя к лестнице, дал ему франк на чай и сбежал с четвертого этажа вниз, словно спасаясь от погони.

Выйдя за ворота, он остановился на тротуаре. Широкая, обсаженная деревьями улица. Пронеслись пять-шесть экипажей и желтый омнибус, полный пассажиров внутри и на крыше. Направо, где-то очень далеко, виднеется площадь, налево — у отеля — парусиновый навес, и под ним сидят за круглыми столиками, у самого тротуара, мужчины и женщины и пьют кофе. Мужчины в низко вырезанных сюртуках, с цветами или розетками в петличках, сидят, высоко закинув ногу на ногу, как, впрочем, того и требует соседство шестиэтажных домов; женщины хрупкие, маленькие, смуглые, с огненными глазами, одетые с изящной простотой.

Вокульский пошел налево и за углом увидел другой навес и под ним людей, которые тоже что-то пили, расположившись чуть ли не на тротуаре. Тут было человек сто, если не больше; у мужчин вид развязный, дамы оживлены, фамильярны и держатся непринужденно. Одна за другой проносятся мимо одноконные и пароконные коляски, по тротуарам торопливо снуют толпы пешеходов, а вон катят по мостовой желтый и зеленый омнибусы, им пересекают дорогу коричневые омнибусы, и все переполнены внутри, и все везут множество пассажиров на крыше.

Вокульский стоит в центре площади, от которой расходятся семь улиц. Он пересчитывает их раз, другой — семь улиц... Куда пойти?.. Пожалуй, туда, где зелень... Вот две улицы, скрещивающиеся под прямым углом, обсаженные деревьями...

«Пойду-ка я вдоль отеля», — решает Вокульский.

Он делает полуоборот влево и останавливается пораженный. Перед ним какое-то громадное здание.

Внизу — аркады и статуи, на втором этаже — огромные каменные колонны и мраморные, поменьше, с золотыми капителями, на уровне крыши по углам орлы и позолоченные фигуры, несущиеся на вздыбленных золоченых конях. Крыша спереди пологая, выше вздымается купол, увенчанный короной, а еще выше — трехгранная верхушка, тоже украшенная группой скульптур. Всюду мрамор, бронза, золото, всюду колонны, статуи и барельефы...

«Опера? — думает Вокульский. — Да ведь тут мрамора и бронзы больше, чем во всей Варшаве!..»

Вокульский вспоминает свой магазин, красу города, вспыхивает от стыда и идет дальше. Он чувствует, что с первой же минуты Париж его подавил, — и был доволен этим.

Число экипажей, omnibusов и людей увеличивается до невероятия. На каждом шагу — веранды, круглые столики у самого тротуара, вокруг них сидят люди. За каретой с лакеем на запятках катится тележка, запряженная собакой; ее обгоняет omnibus; потом проходят два носильщика с грузом, потом едет высокий двухколесный шарабан, потом дама и господин, оба верхом, потом опять бесконечная вереница экипажей. Возле тротуара стоят две тележки с цветами и фруктами, на противоположной стороне точат ножи, торгуют пирожками, газетами, подержанными вещами, книжками...

— Marchand, d'habits!..

— «Figaro»!..

— «Exposition»!..

— Guide Parisien! Trois francs!., trois francs!.. *<Продается одежда!..>*

— «Фигаро»!.. — «Выставка»!..

— Путеводитель по Парижу! Три франка!.. три франка!.. (франц.)

Кто-то сует в руку Вокульскому книжку, он платит три франка и переходит на другую сторону. Идет он быстро и все же замечает, что все обгоняют его. Экипажи и пешеходы... Да это какие-то всеобщие гонки; он ускоряет шаг и хотя никого еще не обогнал, но уже обращает на себя всеобщее внимание. На него набрасываются газетчики и разносчики книг, на него оглядываются женщины, насмешливо косятся мужчины. Он, Вокульский, варшавская знаменитость, робеет здесь, словно маленький мальчик, и... и это доставляет ему радость. Ах, как бы он хотел вернуть те давно прошедшие времена, когда он был мальчиком и отец его советовался с друзьями, куда его определить: в школу или к купцу.

В этом месте улица сворачивает вправо. Вокульский впервые видит здесь четырехэтажный дом и чувствует, что тронут. Четырехэтажный дом среди шестиэтажных!.. Какая приятная неожиданность...

Вдруг мимо проезжает карета с грумом на козлах, в ней две женщины. Одна ему совсем незнакома, вторая... — Она? — шепчет Вокульский. — Немыслимо! Но силы уже оставляют его. К счастью, рядом оказалось кафе. Он бросается на стул, у самого тротуара; появляется гарсон, что-то спрашивает, затем приносит мазагран. Одновременно цветочница прикалывает к его сюртуку розу, а газетчик кладет перед ним «Фигаро». Вокульский бросает десять франков девушке, франк газетчику, пьет мазагран и разворачивает газету: «Ее величество королева Изабелла...» Он комкает газету и сует ее в карман, расплачивается за мазагран и, не допив стакана, встает. Гарсон поглядывает на него исподлобья, двое соседей, помахивающих тоненькими тросточками, закидывают ноги еще выше на колени, а один из них бесцеремонно разглядывает его в монокль.

«Что, если я ударю этого пшюта по лицу? — думает Вокульский. — Завтра же дуэль, и, может быть, он убьет меня... Но если я убью его?..»

Он прошел мимо щеголя и так глянул ему в глаза, что у того моментально слетел монокль на жилетку и исчезла насмешливая улыбка.

Вокульский идет дальше и с величайшим вниманием разглядывает дома. Какие магазины! Самый скромный куда импозантнее его варшавского, который слывет красивейшим во всем городе. Дома из тесаного камня, почти на каждом этаже — балконы или чугунные балюстрады, опоясывающие здание.

«Право же, глядя на Париж, можно подумать, что все парижане ощущают потребность непрерывно общаться между собою если не в кафе, то хоть с балконов», — думает Вокульский.

И крыши какие-то диковинные: крутые, сплошь усаженные шпилями и кирпичными дымоходами, из которых торчат жестяные трубы. И на улицах, что ни шаг, вдруг вырастает то дерево или фонарь, то киоск или столбик, увенчанный шаром. Жизнь здесь бьет с такой силой, что мало ей гнать экипажи и людей, мало ей возводить шестиэтажные каменные дома, — куда ни поглядишь, она так и брызжет из стен в виде статуй и барельефов, в виде стрельчатых украшений — с крыш, в виде бесчисленных киосков на каждом перекрестке.

Вокульскому кажется, будто из стоячей воды он попал в кипяток, который »...и свищет, и бьет, и шипит»...[36] Он, человек зрелый и в привычных условиях энергичный, здесь почувствовал себя как робкий ребенок, которому все и вся внове.

Между тем жизнь вокруг него продолжает «свистать, и бить, и шипеть»... Конца не видно толпе, экипажам, деревьям, ослепительным витринам и даже самой улице. Постепенно чувства Вокульского странным образом притупляются. Он перестает слышать громкие возгласы прохожих, потом словно заглохли крики уличных торговцев, наконец нет уже и грохота колес. Потом ему начинает казаться, что где-то он уже видел и такие дома, и такое движение, и такие кафе; затем приходит к выводу, что не так уж это все величественно; наконец, в нем просыпается дух противоречия, и он говорит себе, что хотя в Париже французская речь слышится чаще, чем в Варшаве, однако акцент здесь хуже и произношение менее внятное.

Размышляя так, он идет все медленнее и уже перестает уступать встречным дорогу. И в тот момент, когда ему кажется, что теперь-то французы начнут тыкать в него пальцами, он с удивлением замечает, что меньше привлекает к себе внимание. Пробыв один час на улице, он превратился в незаметную капельку парижского океана.

— Оно и лучше! — шепчет он.

До сих пор дома по правую и левую руку то и дело расступались, открывая просветы поперечных улиц. Теперь просветов не стало, бесконечно тянется сплошная стена домов. Вокульский встревожен, он ускоряет шаг и, наконец, к большому своему удовольствию, доходит до угла и читает: «Rue St. Fiacre" <Улица св. Фиакра (франц.)> . В памяти у него мелькает какой-то роман Поль де Кока, и он улыбается. Опять поперечная улица, и опять он читает: «Rue de Sentien" <Улица Сантъен (франц.)> .

«Не знаю», — говорит себе Вокульский.

На следующем перекрестке он читает: «Rue Poissonniere" <Улица Пуассоньер (франц.)> , — и это напоминает ему какое-то уголовное дело; потом идут одна за другой короткие улочки, ведущие к театру «Жимназ».

«А это что?» — думает он, заметив налево огромное здание, не похожее ни на одно виденное им до сих пор. Это гигантский каменный прямоугольник, а в нем ворота с полукруглым сводом. Да, по-видимому, это ворота, расположенные на скрещении двух улиц. Рядом будка, возле которой останавливаются омнибусы; напротив — кафе и тротуар, отгороженный от мостовой чугунной балюстрадой.

Шагах в трехстах — снова такие же ворота, а между ними вправо и влево пролегает широкая улица. Движение здесь еще оживленнее, ездят омнибусы трех видов и трамвай.

Вокульский смотрит направо и опять видит два ряда уличных фонарей, два ряда киосков, два ряда деревьев и два ряда шестиэтажных домов, которые уходят вдаль на расстояние, равное улицам Краковское Предместье и Новы Свят вместе взятым. Улице не видно конца, только где-то там, вдалеке, она поднимается к небу, крыши сливаются с землей, и все исчезает.

«Ну, хоть бы мне пришлось заблудиться и опоздать на совещание, я непременно пойду в эту сторону!» — думает он.

На повороте Вокульского обгоняет молодая женщина; ее фигура и походка приводят его в сильное волнение.

«Она?.. Нет... Во-первых, она в Варшаве, а потом — я уже второй раз встречаю такое сходство... Обман зрения...»

Но он сразу теряет силы и даже память. Он стоит на перекрестке двух улиц, обсаженных деревьями, и решительно не помнит, откуда он пришел. Его охватывает панический страх, знакомый людям, которые заблудились в лесу. К счастью, подъезжает пролетка, и извозчик дружелюбно улыбается ему.

— «Гранд-отель», — говорит Вокульский, садясь.

Кучер приподнимает шляпу и кричит:

— Вперед, Лизетка!.. Этот благородный иностранец поставит нам за труды кружку пива. — Затем, полуобернувшись к Вокульскому, говорит: — Одно из двух, гражданин: либо вы только сегодня приехали, либо основательно позавтракали?

— Я сегодня приехал, — отвечает Вокульский, успокаиваясь при виде его круглого, румяного, безбородого лица.

— И немножко выпили, сразу видно, — замечает извозчик. — А вы знаете таксу?

— Все равно.

— Вперед, Лизетка! Мне по вкусу этот иностранец, и я думаю, что только таким и надо приезжать на нашу выставку. А вы уверены, гражданин, что вам надо в «Гранд-отель»? — обращается он к Вокульскому.

— Вполне.

— Вперед, Лизетка! Этот иностранец внушает мне уважение. Вы случайно не из Берлина?

— Нет.

Извозчик с минуту присматривается к нему, потом говорит:

— Тем лучше для вас. Правда, я не в претензии на пруссаков, хотя они и забрали у нас Эльзас и отхватили порядочный кусок Лотарингии, но, как бы то ни было, не люблю я, когда у меня за спиной сидит немец. Откуда же вы, гражданин?

— Из Варшавы.

— Ah, sa! *<Ах, вот как! (франц.)>* Прекрасная страна... богатая... Вперед, Лизетка! Значит, вы поляк? О, я знаю поляков!.. Вот и площадь Оперы, а вот «Гранд-отель»...

Вокульский сунул извозчику три франка, стремглав бросился в ворота и вбежал на четвертый этаж. У дверей номера его встретил улыбающийся слуга и подал записку от Сузина и пачку писем.

— К вам много посетителей... и много посетительниц! — сказал слуга, игриво поглядывая на Вокульского.

— Где же они?

— В приемной, в библиотеке, в столовой... Мсье Жюмар уже в нетерпении...

— Кто это мсье Жюмар?

— Дворецкий ваш и мсье Сюэзна... Весьма способный человек и мог бы оказать вам важные услуги, если б мог рассчитывать... примерно на тысячу франков... — так же игриво продолжал слуга.

— Где же он?

— На втором этаже, в вашей приемной. Мсье Жюмар человек весьма способный, но и я могу пригодиться вашему превосходительству, хоть и ношу фамилию Миллер. На самом же деле я эльзасец и, клянусь честью, не взял бы у вас ни одного су, а еще доплачивал бы десять франков в день, только бы нам разделаться с пруссаками.

Вокульский вошел к себе в номер.

— Главное, сударь, остерегайтесь баронессы, которая уже дожидается в библиотеке, хотя условилась, что приедет только в три часа... Готов присягнуть, что она немка... Недаром я эльзасец!

Последние слова Миллер произнес вполголоса, уже выходя в коридор.

Вокульский распечатал записку Сузина и прочел:

«Заседание начнется только в восемь. У тебя остается свободное время, так управься с посетителями, а главное — с бабами. Я, ей-богу, уже слишком стар, чтобы их всех ублажать».

Вокульский просмотрел письма. Большею частью это были рекламы торговцев, парикмахеров, зубных врачей, просьбы о вспомоществовании, предложения о раскрытии каких-то тайн; было даже воззвание Армии Спасения.[37]

Среди множества писем Вокульского поразило следующее:

«Молодая, изящная и привлекательная особа хочет осмотреть вместе с вами Париж; расходы пополам. Просьба оставить ответ швейцару отеля».

— Оригинальный город! — проворчал Вокульский.

Второе, еще более любопытное письмо было от баронессы — той самой, что должна была в три часа прийти на свидание в библиотеку.

— Значит, через полчаса...

Он позвонил и велел подать в номер завтрак. Через несколько минут ему принесли ветчину и яйца, затем бифштекс, какую-то неизвестную рыбу, несколько бутылок с различными напитками и кофейник с черным кофе. Он съел все с волчьим аппетитом, не оставил без внимания и напитки, затем велел Миллеру проводить его в приемную.

Слуга вышел за ним в коридор, нажал кнопку звонка, что-то сказал в рупор и ввел Вокульского в лифт. Вмиг Вокульский оказался на втором этаже, и, едва открылась дверца лифта, как перед ним предстал некий изящный господин с маленькими усиками, во фраке и белом галстуке.

— Жюмар... — отрекомендовался господин, поклонившись.

Они прошли несколько шагов по коридору, и Жюмар распахнул дверь роскошного салона. Вокульский чуть было не попятился, увидев золоченую мебель, огромные зеркала и барельефы на стенах. Посредине салона стоял большой стол, покрытый дорогой скатертью и заваленный бумагами.

— Разрешите ввести посетителей? — спросил Жюмар. — Эти, кажется, не из опасных. Осмелюсь только обратить ваше внимание... на баронессу... Она ждет в библиотеке.

Поклонившись, он с важностью вышел в соседнюю залу — по-видимому, служившую приемной.

«Не впутался ли я, черт возьми, в какое-то темное дело?» — подумал Вокульский.

Он уселся в кресло и только было принялся просматривать бумаги, как явился лакей в голубом фраке, расшитом золотым галуном, и подал ему на подносе визитную карточку. Вокульский прочел: «Полковник» — и рядом какая-то ничего не говорящая ему фамилия.

— Проси.

Через мгновение вошел статный мужчина с седой эспаньолкой, такими же усами и красной ленточкой в петлице сюртука.

— Я знаю, сударь, что у вас мало времени, и буду краток, — сказал вошедший с легким поклоном. — Париж — во всех отношениях замечательный город: здесь есть где поразвлечься и чему поучиться; но в Париже необходим опытный гид. Я хорошо

знаю все музеи, театры, клубы, памятники, картинные галереи, учреждения, официальные и частные, — словом, все... поэтому, если вам будет угодно...

— Будьте любезны оставить свой адрес, — ответил Вокульский.

— Я владею четырьмя языками, имею связи в кругах художников, литераторов, в мире научном и промышленном...

— Сейчас я не могу дать вам ответ, — перебил Вокульский.

— Прикажете прийти или ждать вашего уведомления?

— Да, я отвечу вам письменно.

— Прощу не забывать меня, — ответил гость, встал и, поклонившись, вышел.

Лакей принес вторую визитную карточку, и вскоре появился второй посетитель. Это был пухленький и румяный человечек, по виду владелец магазина шелковых тканей. На всем пути от двери к столу он непрерывно отвешивал поклоны.

— Что вам угодно, сударь? — спросил Вокульский.

— Как, вы не догадались, прочитав фамилию Эскабо? Ганнибала Эскабо? — удивился человек. — Винтовка Эскабо производит семнадцать выстрелов в минуту, а образец, который я буду иметь честь показать вам, выбрасывает тридцать пуль...

У Вокульского было такое недоумевающее лицо, что Ганнибал Эскабо тоже пришел в недоумение.

— Полагаю, я не ошибся? — спросил он.

— Вы ошиблись, сударь, — возразил Вокульский. — Я галантерейный купец и винтовками не интересуюсь.

— Однако же мне говорили... по секрету... — с ударением сказал Эскабо,

— что вы, господа...

— Вас неправильно осведомили.

— Ах, в таком случае простите... Тогда, может быть, в другом номере...

— говорил посетитель, пятясь к дверям и кланяясь на ходу.

Снова на сцену выступил голубой фрак с белыми панталонами, а вслед за ним новый посетитель — на этот раз маленький, щупленький, черный, с беспокойными глазками. Он чуть не бегом подбежал к столу, упал на стул, оглянулся по сторонам и, придвинувшись к Вокульскому, заговорил понизив голос:

— Вы, сударь, наверное, удивлены, но... дело весьма важное... чрезвычайно важное... На днях я сделал важнейшее открытие насчет рулетки... Надо только шесть-семь раз подряд удваивать ставку.

— Извините, пожалуйста, я этим не занимаюсь, — перебил Вокульский.

— Вы мне не доверяете?.. Это вполне естественно... Но у меня как раз при себе маленькая рулетка... Мы можем попробовать.

— К сожалению, мне сейчас некогда.

— Всего три минутки... минутку...

— Ни полминутки.

— Когда же мне прийти? — спросил гость с обескураженным видом.

— Во всяком случае, не скоро.

— Так по крайней мере ссудите мне сто франков на публичные испытания...

— Могу предложить пять, — ответил Вокульский, доставая кошелек.

— О нет, сударь, благодарствую... Я не авантюрист... А впрочем, давайте... завтра я их верну... А вы, может быть, к тому времени надумаете.

Следующий посетитель, человек внушительных объемов, с целой коллекцией миниатюрных орденов на лацкане сюртука, предлагал Вокульскому на выбор: диплом доктора философских наук, орден или титул — и казался весьма озадаченным, когда предложения его были отвергнуты. Он ушел, даже не попрощавшись.

После него на несколько минут наступил перерыв. Вокульскому послышался шелест женского платья в приемной. Он напряг слух... В этот момент лакей доложил о баронессе.

Опять долгая пауза — и в салоне появилась женщина столь изысканная и красивая, что Вокульский невольно привстал с кресла. Ей было, вероятно, лет под сорок: статная, очень правильные черты лица, аристократическая осанка.

Вокульский молча указал ей на кресло. Дама села; она была заметно взволнована и теребила в руках вышитый платочек. Вдруг, надменно поглядев ему в глаза, она спросила:

— Вы меня знаете, сударь?

— Нет, сударыня.

— Вы даже не видели моих портретов?

— Нет.

— Значит, вы не бывали в Берлине и Вене?

— Не бывал.

Дама с облегчением перевела дух.

— Тем лучше, — сказала она, — я буду смелее. Я вовсе не баронесса... Кто именно — это неважно. Временно я оказалась в затруднительном положении... мне нужно достать двадцать тысяч франков... А здесь закладывать в ломбард мои драгоценности я не хочу... Вы меня понимаете?

— Нет, сударыня.

— Поэтому... я могу продать вам важную тайну...

— Я не имею права покупать тайны, — ответил Вокульский, немало смущенный.

— Не имеете права?.. Зачем же вы сюда прибыли?.. — спросила она с усмешкой.

— И все же не имею права.

Дама встала.

— Вот, — с живостью сказала она, — адрес, по которому можно меня найти не позже чем через двадцать четыре часа, а вот... записка, которая заставит вас, быть может, призадуматься... Прощайте.

Она вышла, шелестя платьем. Вокульский развернул записку и прочел сведения о себе и Сузине, которые обычно вписываются в паспорт.

«Ну, ясное дело, — подумал он, — Миллер заглянул в мой паспорт и сделал из него выписку, даже с ошибками... „Воклюски“!.. Черт побери, за младенца, что ли, они меня принимают?..»

Посетители больше не появлялись, и он вызвал Жюмара.

— Что прикажете, сударь? — спросил изящный дворецкий.

— Я хотел бы с вами поговорить.

— Частным образом? В таком случае, разрешите присесть. Спектакль окончен, костюмы отправляются на склад, актеры получают равные права.

Он произнес это несколько ироническим тоном, с непринужденностью очень хорошо воспитанного человека. Вокульский все более удивлялся.

— Скажите, — спросил он, — что это за люди?

— Те, что были сейчас у вас? Обыкновенные люди: гиды, изобретатели, посредники... Каждый работает, как умеет, и старается продать свой труд подороже. А если они норовят получить больше, чем заслуживают, — это уж чисто французская черта.

— Вы не француз?

— Я? Я родился в Вене, воспитывался в Швейцарии и Германии, долгое время жил в Италии, в Англии, Норвегии, Соединенных Штатах... Фамилия, которую я ношу <Жюмар (*Jurnart*) — *помесь (франц.)*>, превосходно определяет мою национальную принадлежность: я сродни всякому, в чьем стойле живу, — с волами я вол, с конями — конь. Я знаю, откуда у меня деньги, знаю, на что их трачу, людям это тоже известно, до остального мне дела нет.

Вокульский пристально разглядывал его.

— Я вас не понимаю, — сказал он.

— Видите ли, — продолжал Жюмар, барабанив пальцами по столу, — я слишком много ездил по свету, чтобы придавать значение национальности. Для меня существуют только четыре национальности, независимо от языка. Номер первый — те, о которых я знаю, откуда у них деньги и на что они их тратят. Номер второй — те, о которых я знаю, откуда они берут деньги, но не знаю, на что они их тратят. Номер третий — расходы известны, а доходы нет. И, наконец, номер четвертый, где мне неизвестно ни то, ни другое. О мсье Эскабо я знаю, что он получает доходы с трикотажной фабрики, а

тратит их на производство какого-то адского оружия; следовательно, это человек положительный. Что касается баронессы... я не знаю — ни откуда у нее деньги, ни на что она их тратит; поэтому я ей не доверяю.

— Я купец, мсье Жюмар, — заметил Вокульский, неприятно задетый этой теорией.

— Знаю. И, кроме того, вы приятель мсье Сюзэна, что тоже приносит известный процент. Впрочем, мои замечания относились не к вам; я их высказал в виде наставления, которое, как я надеюсь, окупится.

— Да вы философ, — проворчал Вокульский.

— И даже доктор философии двух университетов, — прибавил Жюмар.

— И исполняете роль...

— Лакея, хотите вы сказать?.. — смеясь, перебил Жюмар. — Я работаю, чтобы жить и обеспечить себе под старость ренту. А о почетных званиях я не забочусь; сколько их уж было у меня! Мир подобен любительскому театру, поэтому неприлично хвататься за первые роли и отказываться от второстепенных. В конце концов всякая роль хороша, нужно только искусно сыграть ее и не принимать слишком всерьез.

Вокульский пошевелился. Жюмар встал со стула и, изящно поклонившись, сказал:

— К вашим услугам, сударь. — И вышел из салона.

— Жар у меня, что ли? — шепнул Вокульский, сжимая голову руками. — Я знал, что Париж удивительный город, но это...

Он взглянул на часы: было всего половина четвертого.

— Еще четыре с лишним часа до заседания, — проворчал Вокульский, чувствуя, как им овладевает тревога при мысли о том, куда девать время? Он видел уже столько нового, разговаривал со столькими новыми людьми — и все еще было только половина четвертого.

Его терзало какое-то смутное беспокойство, чего-то ему не хватало. «Поесть, что ли, опять? Нет. Почитать? Нет. Поговорить с кем-нибудь? Нет, нет, я уже сыт по горло разговорами...» Люди ему опротивели: наименее отвратительны были те, что страдали манией изобретательства, да чудак Жюмар со своей классификацией человеческого рода.

У него не хватало духа вернуться в свой номер с огромным зеркалом; что же еще оставалось, кроме осмотра парижских достопримечательностей? Он велел слуге проводить себя в ресторан «Гранд-отеля». Все тут было роскошно и грандиозно, начиная со стен, потолка и окон, кончая размерами и количеством столов. Но Вокульский не смотрел по сторонам; уставившись на одну из огромных позолоченных люстр, он думал:

«Когда она будет в возрасте баронессы... она, привыкшая тратить десятки тысяч в год... кто знает? Не пойдет ли она по стопам баронессы? Ведь эта женщина тоже когда-то была молода, может быть, по ней сходил с ума такой же безумец, как я, и она тоже не спрашивала, откуда берутся деньги... Теперь ей уже известны некоторые

источники дохода: например торговля тайнами!.. Будь проклята среда, которая взрастила такую красоту и таких женщин!»

В зале ему было душно, он выбежал из отеля и окунулся в сумятицу улиц.

«Налево я уже ходил; теперь пойду направо», — решил он.

Идти куда глаза глядят по огромному городу — только в этом занятии он находил еще какое-то горькое очарование.

«Если б можно было затеряться в этой толпе...» — подумал он.

Вокульский свернул вправо, обогнул одну небольшую площадь и вышел на другую, очень просторную, обсаженную деревьями. Посредине ее стояло прямоугольное здание с колоннами, похожее на греческий храм; огромные бронзовые двери были покрыты барельефами, на верхушке фронтона красовался барельеф, изображающий, по всей вероятности, день Страшного суда.

Он обошел здание кругом; его мысли устремились к Варшаве. С каким трудом там воздвигаются постройки, небольшие, непрочные, едва возвышающиеся над землей, тогда как здесь творческий дух человека, словно шутя, возводит дома-гиганты и, ничуть не утомившись от усилий, еще осыпает их украшениями.

Увидев напротив короткую улицу и за нею огромную площадь, на которой возвышалась стройная колонна, Вокульский пошел к ней. Чем ближе он подходил, тем выше вздымалась колонна и шире расступалась площадь. Впереди и позади колонны били высокие фонтаны; направо и налево тянулись, словно сады, купы желтеющих деревьев; в глубине виднелась река, над которой стлался дым быстро несущегося парохода.

По площади проезжало сравнительно немного экипажей, зато гуляло много детей с матерями и няньками. Часто навстречу попадались военные разных родов оружия, и где-то неподалеку играл оркестр.

Вокульский в изумлении остановился перед обелиском. Обелиск стоял в центре огромной площади, длиною версты в две и в полверсты шириною. Позади него простирался парк, впереди — длиннейшая аллея; по обе стороны аллеи тянулись скверы и особняки, а вдали, на холме, высилась грандиозная арка. Вокульский чувствовал, что самые восторженные эпитеты и сравнения бледнеют перед красотой этих мест.

— Это площадь Согласия, а это обелиск из Луксора (самый подлинный, сударь!), за нами Тюильрийский сад, перед нами Елисейские поля, а там, в конце... арка Звезды...

Вокульский оглянулся: около него вертелся какой-то господин в темных очках и изрядно рваных перчатках.

— Мы можем пройти туда... Божественная прогулка!.. Вы видите, какое движение...
— говорил незнакомец.

Но вдруг он умолк, поспешно отскочил в сторону и шмыгнул меж двух проезжавших экипажей. К Вокульскому подошел военный в короткой пелерине с откинутым капюшоном. Военный с минуту разглядывал Вокульского и, усмехнувшись, сказал:

— Вы иностранец?.. Будьте осторожны в выборе знакомых в Париже...

Вокульский машинально поднес руку к боковому карману и не обнаружил там серебряного портсигара. Он покраснел, любезно поблагодарил военного в пелерине, однако не признался в пропаже. Он вспомнил определения Жюмара и подумал, что уже знает источник дохода господина в рваных перчатках, хотя еще не знает его расходов.

«Жюмар прав, — подумал он. — Воры менее опасны, чем люди, неизвестно откуда черпающие свои доходы...» И ему пришло на ум, что в Варшаве очень много именно таких людей.

«Может быть, потому-то там нет подобных зданий и триумфальных арок...»

Он шел по Елисейским полям, до головокружения вглядываясь в нескончаемое движение карет и экипажей, между которыми мелькали всадники и амазонки. Шел, отгоняя от себя мрачные мысли, которые парили над ним, как стая летучих мышей. Шел и боялся оглянуться: ему чудилось, что на этой улице, брызжущей весельем и роскошью, сам он — растоптанный червь, волочащий за собой свои внутренности.

Дойдя до арки Звезды, Вокульский медленно повернул обратно. Когда опять подходил к площади Согласия, за Тюильрийским садом поднялся огромный черный шар, быстро взлетел вверх, ненадолго застыл в вышине и плавно опустился вниз.

«Ах, это воздушный шар Жифарда! — подумал Вокульский. — Жаль, что сегодня у меня нет времени!»

С площади он свернул на какую-то улицу; по правую сторону ее тянулся сад, огороженный чугунной решеткой со столбиками, на которых стояли вазы; по левую — ряд каменных домов с полукруглыми крышами, с лесом дымоходов и жестяных труб и нескончаемыми балюстрадами... Он медленно шел и с тревогой думал о том, что не прошло еще и восьми часов с его приезда, а Париж уже начинает ему надоедать...

«Это уж слишком, — убеждал он себя. — А выставка, а музеи, а воздушный шар?..»

Продолжая идти по улице Риволи, он к семи часам добрался до площади, на которой стояла одинокая как перст готическая башня, окруженная деревьями и низкой чугунной оградой. Отсюда снова в разные стороны расходилось несколько улиц, но Вокульский уже устал; он кликнул фиакр и через полчаса оказался в отеле, миновав по пути уже знакомые ворота Сен-Дени.

Заседание с судовладельцами и морскими инженерами затянулось до полуночи, причем было выпито изрядное количество шампанского. Вокульский, которому одновременно приходилось выручать Сузина в разговоре и делать множество заметок, только за работой совсем успокоился. Он бодро поднялся к себе в номер и, не обращая внимания на докучное зеркало, лег в постель, взял «Путеводитель» и развернул план Парижа.

— Шутка ли! — пробормотал он. — Около ста квадратных верст площади, два миллиона жителей, несколько тысяч улиц и тысяч пятнадцать экипажей общего пользования...

Потом он пробежал глазами длинный список парижских достопримечательностей и со стыдом подумал, что, наверное, никогда не сможет ориентироваться в этом городе...

«Выставка... Собор Парижской богородицы... Центральный рынок... Площадь Бастилии... Церковь святой Магдалины... Канализационные коллекторы... Просто голова идет кругом!..»

Он погасил свечу. На улице было тихо, в окно струился свет фонарей, серый, как будто он пробивался сквозь облака. У Вокульского шумело и звенело в ушах; перед глазами мелькали то улицы, гладкие, как паркет, то деревья, окруженные чугунными решетками, то дома из тесаного камня, то сплошной поток людей и экипажей, неведомо откуда появлявшихся и неведомо куда спешивших. Всматриваясь в образы, мелькавшие, как в калейдоскопе, он стал засыпать и подумал, что все-таки первый день в Париже запомнится ему на всю жизнь. И приснилось ему, будто это море домов, лес статуй и бесконечные вереницы деревьев валятся на него, а сам он спит в огромной гробнице — одинокий, спокойный и даже счастливый. Спит и ни о чем не думает, ни о ком не помнит; он проспал бы так целую вечность, если бы — увы! — не эта капелька горечи, которая затаилась не то в нем самом, не то где-то вне его, такая крохотная, что ее не разглядишь человеческим глазом, и такая ядовитая, что ею одной можно отравить весь мир.

С того дня, когда Вокульский впервые окунулся в парижскую жизнь, для него началось необычное существование. Если не считать нескольких часов, которые занимали совещания Сузина с судостроителями, он был совершенно свободен и проводил время в самых безалаберных прогулках по городу. Он по алфавиту выбирал в «Путеводителе» какой-нибудь квартал и, даже не взглянув на план, ехал туда в открытом экипаже. Взбирался по лестницам, обходил вокруг здания, торопливо осматривал залы, останавливался перед самыми интересными экспонатами и в том же фиакре, нанятом на весь день, ехал в другой квартал, опять-таки намеченный по указателю. А так как больше всего его страшила бездеятельность, он по вечерам изучал план города, вычеркивал уже осмотренные кварталы и делал заметки.

Иногда в этих экскурсиях ему сопутствовал Жюмар и водил его в места, не упомянутые в путеводителях: в торговые склады, на фабрики, в квартиры ремесленников, в комнаты студентов, в кафе и рестораны на третьеразрядных улицах. И только там Вокульский знакомился с подлинной жизнью Парижа.

Во время своих скитаний он взбирался на башни Сен-Жак, Собора Парижской богородицы и Пантеона, поднимался на лифте на Трокадеро, спускался в канализационные коллекторы и в украшенные черепами катакомбы, посетил выставку, Лувр, музей Клуни, Булонский лес и парижские кладбища, кафе «Ротонду», «Гран-балькон» и фонтаны, школы и больницы, Сорбонну, фехтовальные залы, торговые ряды, консерваторию, бойни и театры, биржу, Июльскую колонну и храмы. Все эти зрелища хаотически мелькали перед ним, как бы вторя хаосу в его душе.

Не раз, мысленно перебирая все виденное — от выставочного дворца, имевшего две версты в окружности, до жемчужины в бурбонской короне не крупнее горошины, — он спрашивал себя: «Чего я, собственно, хочу?» И оказывалось, что он ничего не хотел. Ничто не приковывало его внимания, не заставляло быстрее биться сердце, не

побуждало к деятельности. Если бы ему предложили пройти пешком от кладбища Монмартр до кладбища Монпарнас, посулив в награду весь Париж, при одном, однако, условии, чтобы это его увлекло и взволновало, — он отказался бы пройти эти пять верст. А ведь он исхаживал десятки верст ежедневно только затем, чтобы заглушить в себе воспоминания.

Иногда он казался себе существом, которое, по странной игре случая, родилось всего несколько дней назад вот здесь, на парижской мостовой, а все, что тревожило его память, было лишь обманом, неким сном, никогда не существовавшим в действительности. Тогда он говорил себе, что вполне счастлив, ездил из одного конца Парижа в другой и, как безумный, пригоршнями разбрасывал луидоры.

— Не все ли равно! — бормотал он. Ах, если б только не эта капелька горечи, такая маленькая, и такая ядовитая!

Порой в однообразии серых дней, обрушивавших на него весь этот мир дворцов, фонтанов, статуй, механизмов и картин, врывался случай, который напоминал, что он — не призрак, а живой человек, страдающий раком души.

Однажды он был в театре «Варьете» на улице Монмартр, неподалеку от своего отеля. Давали три веселые пьески, в том числе оперетку. Он пошел туда, чтобы забыться. Поднялся занавес, и на сцене плаксивым голосом произнесли:

— «Любовник все стерпит от своей возлюбленной, только не другого любовника...»

— Нередко приходится терпеть и трех, а то и четырех! — заметил француз, сидевший рядом с Вокульским, и засмеялся.

У Вокульского перехватило дыхание, ему почудилось, что под ним расступается земля и потолок валится на голову. Дольше он не мог выдержать; встал с места, на беду находившегося в середине зала, и, наступая на ноги соседям, весь в холодном поту, выбрался из театра.

По дороге в отель он свернул в первое попавшееся угловое кафе. О чем его там спрашивали и что он отвечал, он так и не мог вспомнить. Помнил только, что ему подали кофе и графинчик коньяку с нанесенными на стекло делениями, соответствующими объему рюмки.

Вокульский пил и думал:

«Старский — это второй любовник, Охоцкий — третий... А Росси? Росси, которому я устраивал овации и носил в театр подарки... Кем он был? О, я глупец, да ведь эта женщина Мессалина если не телом, то духом... И я, я стану по ней сходить с ума? Я?..»

Он почувствовал, что гнев принес ему успокоение; когда подошел гарсон со счетом, оказалось, что графинчик пуст.

«Однако же, — подумал он, — коньяк действует успокоительно!»

С тех пор всякий раз, когда ему вспоминалась Варшава или встречалась женщина с чем-то неуловимо знакомым в движениях, в костюме или в лице, Вокульский заходил в

кафе и выпивал графинчик коньяку. И только тогда он смело думал о панне Изабелле и удивлялся, что такой человек, как он, мог полюбить такую женщину.

«Право же, я заслуживаю того, чтобы быть первым и последним...» — думал он.

Графинчик опорожнялся, а он облакачивался на столик и дремал, к большому удовольствию гарсонов и посетителей.

Он по-прежнему целыми днями осматривал выставку, музеи, артезианские колодцы, школы и театры — не для того чтобы узнать что-то новое, а чтобы заглушить воспоминания.

Мало-помалу, отгесняя ощущение неуловимой боли, его стал занимать вопрос: есть ли в структуре Парижа какая-нибудь последовательная система; с чем на земле можно сравнить этот город? С Пантеона или с Трокадеро, откуда ни взгляни, Париж казался одинаковым: море домов, пересеченное тысячью улиц; неровные крыши — как волны, трубы — как брызги пены, а башни и колонны — как большие валы.

— Хаос! — говорил Вокульский. — Впрочем, там, где сливаются миллионы усилий, иначе и быть не может. Большой город — как облако пыли: очертания его случайны, и в структуре не может быть логики. Имейся эта логика, сей факт давно бы открыли путеводители, — на то они и существуют.

И он всматривался в план города, смеясь над собственными попытками открыть несуществующее.

«Только один человек, и к тому же человек гениальный, может создать стиль, план, — думал он. — Но чтобы миллионы людей, работающих на протяжении столетий и ничего не знающих друг о друге, создали какое-то логическое целое, — это попросту невысказано».

Но постепенно, к великому своему изумлению, он убеждался, что Париж, строившийся более десятка столетий миллионами людей, которые ничего друг о друге не знали и не заботились ни о каком плане, тем не менее заключает в себе систему, образует некое целое, и даже весьма логическое.

— Прежде всего его поразило сходство Парижа с огромным блюдом, девяти верст шириною — с севера на юг и одиннадцати длиною — с востока на запад. В южной части блюдо было надтреснуто — это пересекала его излучина Сены, текущая от юго-восточной части города через его середину и сворачивающая на юго-запад. Восемилетний ребенок мог бы начертить такой план.

«Ну хорошо, — не сдавался Вокульский, — но где порядок в размещении достопримечательных зданий? Собор богородицы в одной стороне, Трокадеро в другой, а Лувр, а биржа, а Сорбонна! Хаос, и больше ничего!»

Однако, всмотревшись пристальней в план Парижа, Вокульский заметил то, что проглядели не только парижские старожилы (факт еще не столь удивительный), но даже путеводители К.Бедекера, претендующие на блестящее знание Европы.

В Париже, несмотря на кажущуюся хаотичность, есть определенный план и логика, хотя строили его в течение многих столетий миллионы людей, незнакомых друг другу и отнюдь не помышлявших о логике и стиле.

В Париже есть то, что можно назвать хребтом, центральной осью города.

Венсенский лес находится на юго-восточной границе Парижа, а опушка Булонского леса — на северо-западной его границе. Пролегающая между ними ось города напоминает гигантскую гусеницу (длиною почти в шесть верст), которая, соскучившись в Венсенском лесу, отправилась на прогулку в Булонский лес.

Кончиком хвоста она упирается в площадь Бастилии, головой — в арку Звезды, а туловищем почти прилегает к Сене, причем шею ее образуют Елисейские поля, торс — Тюильри и Лувр, хвост — Ратуша, Собор богоматери и, наконец, Июльская колонна на площади Бастилии.

У этой гусеницы много ножек — покороче и подлиннее. Начиная от головы, первая пара ножек тянется: слева — до Марсова поля, Трокадеро и выставки, справа — до Монмартрского кладбища. Вторая пара ножек (покороче) слева упирается в Военную академию, Дворец инвалидов и Палату депутатов, справа — в церковь святой Магдалины и Оперу. Далее (по направлению к хвосту) идут: слева — Академия изящных искусств, направо — Пале-Рояль, банк и биржа; слева — Французский институт и Монетный двор, справа — Центральный рынок; слева — Люксембургский дворец, музей Клюни и Медицинская академия, справа — площадь Республики с казармами принца Евгения.

Кроме этой центральной оси и систематичности общего контура города, Вокульский подметил, — об этом, впрочем, говорилось и в путеводителях, — что в Париже размещены в стройном порядке различные виды человеческого труда. Между площадью Бастилии и площадью Республики сосредоточены промышленность и ремесла; напротив, на другом берегу Сены, находится Латинский квартал, прибежище учащихся и ученых. Между Оперой, площадью Республики и Сеной царят экспортная торговля и финансы; между Собором богоматери, Французским институтом и Монпарнасским кладбищем гнездятся остатки аристократических родов; от Оперы к арке Звезды тянется квартал богатых выскочек, а напротив, на левом берегу Сены, возле Дворца инвалидов и Военной академии, находится резиденция военщины и международных выставок.

Эти наблюдения пробудили в Вокульском новые мысли, которые раньше не приходили ему в голову или были очень неопределенны. Значит, у большого города, как у растения или животного, есть своя анатомия и физиология. Значит, работа миллионов людей, которые без устали кричат о своей свободной воле, дает те же результаты, что и работа пчел, строящих правильной формы соты, муравьев, возводящих конусообразные холмики, или химических соединений, образующих правильной формы кристаллы.

Итак, обществом движет не случай, а непреложный закон, который, словно в насмешку над человеческой гордыней, столь наглядно проявляется в жизни самого ветреного народа, французов! Ими правили Меровинги и Каролинги, Бурбоны и Бонапарты, были у них три республики и периоды безвластья, были инквизиции и атеизм; их

правители и министры сменялись, как дамские моды или облака на небе... И вот, несмотря на множество перемен, по виду столь глубоких, Париж все явственнее принимал форму блюда, рассеченного Сеной; все отчетливее вырисовывался основной стержень города, идущий от площади Бастилии к арке Звезды, и все резче разграничивались кварталы — ученый и промышленный, аристократический и торговый, военный и буржуазный.

Ту же роковую закономерность Вокульский проследил в истории пятнадцати — двадцати наиболее знаменитых парижских семейств. Какой-нибудь прадед, скромный ремесленник, работал на улице Темпл по шестнадцати часов в сутки; его сын, отведав плодов науки в Латинском квартале, открыл большую мастерскую на улице Сент-Антуан; внук, углубившись в дебри науки, перебрался в качестве крупного торговца на бульвар Пуассоньер, а правнук вышел в миллионеры и поселился неподалеку от Елисейских полей, чтобы... дочери его могли лелеять свои расстроенные нервы на бульваре Сен-Жермен. И, таким образом, род, чей основатель трудился не покладая рук и нажил богатство рядом с Бастилией, истощив свои силы возле Тюильри, угасал около Собора богородицы. Топография города соответствовала истории его жителей.

Размышляя над этой удивительной закономерностью фактов, которые принято считать случайными, Вокульский чувствовал, что, пожалуй, единственное, что может вывести его из апатии, были подобного рода исследования.

— Я дикарь, — говорил он себе, — потому и впал в безумие, но меня вылечит от него цивилизация.

Каждый день, проведенный в Париже, будил новые мысли, раскрывал тайны его собственной души.

Однажды, когда он сидел, потягивая мазагран, под навесом кафе, к веранде подошел какой-то уличный певец и, аккомпанируя себе на арфе, затянул песню:

Au printemps la feuille repousse
Et la fleur embellit les prés;
Mignonette, en foulant la mousse,
Suivons les papillons diaprés.
Vois, les se poser sur les roses;
Comme eux aussi je veux poser
Ma levre sur tes lèvres closes
Et te ravir un doux baiser!
*<Весной распускаются листья,
и цветы украшают луга;
милая, побежим по мху,
подражая пестрым мотылькам.
Погляди, как они прижимаются к розам;
я хочу, подобно им,
прижаться к твоим губам*

и похитить с них сладкий поцелуй! (франц.)>

Тотчас же несколько посетителей кафе подхватили последнюю строфу:

Vois, leg se poser sur les roses;
Corame eux aussi je veux poser
Ma levre sur tes levres closes
Et te ravir un doux baiser!

— Глупцы! — проворчал Вокульский. — Не могут найти ничего получше дурацких песен.

И мрачный, с болью в сердце, он смешался с толпой. Люди вокруг него суетились, кричали, разговаривали и распевали, словно дети, высypавшие гурьбой из школы.

— Глупцы, глупцы! — повторял он.

Неожиданно ему подумалось: а не он ли глупец? «Будь все эти люди похожи на меня, Париж выглядел бы как огромный сумасшедший дом для страдающих тихим помешательством, каждый отравлял бы себе существование каким-нибудь призраком, улицы превратились бы в месиво грязи, а дома в развалины. Между тем они принимают жизнь такой, какая она есть, стремятся к достижимым целям, счастливы и создают шедевры.

А к чему я стремился? Сначала мечтал изобрести перпетуум-мобиле и управляемые воздушные шары, потом хотел занять положение, чему препятствовали собственные мои единомышленники, и, наконец, добивался женщины, к которой мне чуть ли не запрещено приближаться. И всегда я либо жертвовал собою, либо вдохновлялся идеями, созданными теми классами, которые хотели сделать из меня слугу и раба».

И он старался представить себе, что было бы, появись он на свет не в Варшаве, а в Париже. Во-первых, при наличии множества учебных заведений он мог бы больше учиться в детстве. Во-вторых, даже находясь в услужении у купца, он встретил бы поддержку, если бы проявил склонность к науке. В-третьих, он бы не тратил попусту сил на изобретение перпетуум-мобиле, увидев в здешних музеях множество подобных машин, которые никогда не действовали. А принявшись за упрямые воздушные шары, нашел бы здесь готовые модели, целую толпу таких же мечтателей, как он, и даже помощь, если бы мысль его была практически осуществима.

И, наконец, если бы он, будучи состоятельным человеком, влюбился в девушку из аристократического семейства, ему бы не чинили таких препятствий. Он смог бы узнать ее короче и либо охладел бы, либо добился ее взаимности. Во всяком случае, с ним бы не обращались, как с негром в Америке.

Впрочем, разве тут, в Париже, влюбляются так, как он, до потери сознания, до безумия?

Здесь влюбленные не предаются отчаянию, а танцуют, поют и вообще проводят время самым веселым образом. Если официальный брак невозможен — они вступают в свободный союз; если не могут держать детей при себе — отдают их на воспитание. Здесь любовь, наверное, никогда не доводила до безумия людей разумных.

«Последние два года моей жизни прошли в погоне за женщиной, от которой я, быть может, сам бы отказался, если бы узнал ее ближе. Всю мою энергию, все знания, способности и огромное богатство поглощает одна страсть — и только потому, что я купец, а она, черт возьми, аристократка... Разве общество в моем лице не наносит ущерб самому себе?»

Так, предаваясь критическому самоанализу, Вокульский пришел наконец к выводу, что его положение нелепо, и решил искать выхода.

«Что делать, что делать? Ясно — то, что делают другие!»

А что они делают? Прежде всего — необычайно много работают, по шестнадцати часов в сутки, даже по воскресеньям и по праздникам. Благодаря этому здесь осуществляется закон естественного отбора, по которому только сильные имеют право на жизнь. Хилый погибает в один год, малоспособный — в несколько лет; выживают только самые сильные и одаренные. И вот эти-то люди благодаря трудам целых поколений таких, как они, борцов имеют возможность удовлетворять все свои потребности.

Огромные канализационные коллекторы предохраняют их от болезней, широкие улицы обеспечивают доступ воздуха в их квартиры, Центральный рынок доставляет им пищу, тысячи фабрик — одежду и мебель. Если парижанин хочет отдохнуть на лоне природы — он едет за город либо в Булонский лес; хочет насладиться искусством — идет в Лувр; интересуется наукой — к его услугам музеи и научные коллекции.

Работа для достижения полного счастья — вот чем полна парижская жизнь. В качестве средства от утомления здесь имеются тысячи экипажей, от скуки — сотни театров и зрелищ, от невежества — сотни музеев, библиотек, лекций. Здесь заботятся не только о человеке, но даже о лошади, прокладывая гладкие мостовые; здесь оберегают даже деревья: на специальных телегах перевозят их на новое место, ограждают от вредителей железными решетками, облегчают доступ влаге, лечат их в случае заболевания.

Благодаря такой заботливости всякий предмет в Париже служит одновременно нескольким целям. Дома, мебель, посуда не только полезны, но и красивы, не только служат для удобства, но и радуют глаз. А произведения искусства не только прекрасны, но и служат практическим целям. При триумфальных арках и башнях храмов имеются лестницы, по которым можно подняться наверх и взглянуть оттуда на город. Статуи и картины доступны не только ценителям; всякий художник и любитель может снимать копии с оригиналов, помещенных в музеях.

Француз, создавая что-либо, заботится о том, чтобы произведение его рук соответствовало своему назначению, а также чтобы оно было красиво. Не довольствуясь этим, он печется о его прочности и чистоте. Подтверждение этому Вокульский находил на каждом шагу, в каждой вещи, начиная с тележек, перевозивших мусор, и кончая барьером, огораживающим статую Венеры Милосской. Он понял, что в результате такой системы тут не пропадает человеческий труд: каждое поколение передает своим преемникам величайшие творения предшественников, дополняя их собственным вкладом.

Таким образом, Париж является как бы ковчегом, в котором сохраняются сокровища цивилизации многих столетий, если не тысячелетий... Тут есть все — от чудовищных ассирийских статуй и египетских мумий до последних достижений механики и электротехники, от кувшинов, в которых сорок веков назад египтянки носили воду, до огромных гидравлических колес из Сен-Мор.

«Те, кто творил эти чудеса, — думал Вокульский, — или собирали их, не были безумствующими бездельниками, как я...»

Говоря себе это, Вокульский краснел от стыда.

И опять, позанявшись несколько часов делами Сузина, он шатался по Парижу. Блуждал по незнакомым улицам, тонул в многолюдной толпе, погружался в кажущийся хаос вещей и событий и на дне его обнаруживал порядок и закон. А разнообразия ради пил коньяк, играл в карты и в рулетку или предавался разврату.

Он все ждал, что в этом вулканическом очаге цивилизации с ним произойдет нечто необычайное и начнется новая эра в его жизни. В то же время он замечал, что его отрывочные доселе знания и воззрения соединяются в нечто целостное, в некую философскую систему, которая объясняет ему много непонятного в мире и в его собственной жизни.

«Кто я такой?» — задавал он себе вопрос и постепенно формулировал ответ:

«Я неудачник. Были у меня огромные способности и энергия, но я ничего не совершил для цивилизации. Те выдающиеся люди, с которыми я тут встречаюсь, не располагают и половиной моих сил — и все же они оставят после себя машины, здания, произведения искусства, новые воззрения. А что оставляю я? Разве только мой магазин, который уже сейчас бы ничего не стоил, если б не Жецкий... А ведь я не бездельничал: я надрылся за троих, и все же только благодаря случаю имею я теперешнее свое состояние!..»

Он попытался ответить на вопрос: на что же ушли его силы и жизнь?

На борьбу с окружающей средой, с которой он никак не мог ужиться. Когда он хотел учиться — ему мешали, потому что стране нужны были не ученые, а мальчишки на побегушках и приказчики. Когда он хотел послужить обществу, даже пожертвовать ради него жизнью — ему подсунили вместо действенной программы утопические мечты, а потом забыли о нем. Когда он искал работу — ему не дали ее, заставив пойти проторенной дорожкой и жениться на богатой вдове. Когда, наконец, он влюбился и захотел стать законным отцом семейства, жрецом домашнего очага, святость которого все вокруг восхваляли, — его буквально загнали в тупик. Так что он даже не знает — была ли любимая им женщина обыкновенной взбалмошной кокеткой или так же, как он, сбилась с пути, не найдя своего места в жизни? Судя по ее поведению, это просто барышня на выданье, выжидающая наиболее выгодной партии; а взглянешь ей в глаза — кажется, будто это ангел, которому земные условности связали крылья.

«Если б я мог удовлетвориться несколькими десятками тысяч годового дохода да игрой в вист, я был бы счастливейшим человеком в Варшаве. Но так как у меня, кроме желудка, есть душа, жаждущая знаний и любви, — мне оставалось там только

погибнуть. На этой широте не вызревают ни определенного сорта растения, ни определенного сорта люди...»

Широта!.. Однажды, находясь в обсерватории, он взглянул на климатическую карту Европы и отметил в памяти, что средняя температура Парижа на пять градусов выше варшавской. Значит, в Париже в год на две тысячи градусов тепла больше, чем в Варшаве. А так как тепло — это могучая и, быть может, единственная творческая сила, то... загадка решена...

«На севере холодней, — думал он, — там растительный и животный мир беднее, значит человеку труднее прокормиться. Мало того, человек вынужден там вкладывать еще много труда в постройку теплых жилищ и изготовление теплой одежды. У француза, по сравнению с жителем севера, больше свободного времени и сил, и он направляет их на духовное творчество.

Если к неблагоприятным климатическим условиям добавить еще аристократию, которая завладела всеми накопленными богатствами народа и растратила их на бессмысленный разврат, станет ясно, почему выдающиеся люди не только не могут там развиваться, но просто обречены на гибель».

— Положим, я не погибну!.. — пробормотал он со злостью.

И впервые у него созрел план — не возвращаться на родину.

«Продам магазин, высвобожу свой капитал и поселюсь в Париже. Не стану мешать людям, для которых я не желателен... Тут я буду ходить по музеям, может быть займусь наукой, и жизнь моя пройдет если не счастливо, то по крайней мере без мучений...»

Вернуться на родину и остаться там могло его заставить только одно событие, один человек... Но это событие не наступало, зато происходили другие, все более отдалявшие его от Варшавы и все сильнее приковывавшие к Парижу.

Глава вторая. Привидение

Однажды Вокульский, как обычно, принимал посетителей в салоне. Он уже выпроводил одного субъекта, который предлагал ему драться за него на дуэлях, еще одного, который обладал даром чревоуказания и стремился использовать его в дипломатии, и третьего, который обещал ему указать, где зарыты сокровища, спрятанные наполеоновским штабом под Березиной, когда появился лакей в голубом фраке и доложил:

— Профессор Гейст.

— Гейст?.. — повторил Вокульский, с каким-то особенным чувством. Ему пришло в голову, что, должно быть, нечто подобное происходит с железом при приближении магнита. — Проси!

Вошел очень маленький и худенький человек с желтым, как воск, лицом, но без единого седого волоса.

«Сколько ему может быть лет?» — подумал Вокульский.

Между тем гость пристально всматривался в него. Так они просидели минуты две, оценивая друг друга.

Вокульскому хотелось угадать возраст своего гостя; тот по-видимому, изучал хозяина.

— Что прикажете, сударь? — наконец прервал молчание Вокульский.

Гейст пошевелился на стуле.

— Где уж мне приказывать! — пожал он плечами. — Я пришел попрошайничать, а не прикатывать.

— Чем же я могу вам служить? — спросил Вокульский, которому лицо этого посетителя показалось удивительно симпатичным.

Гейст провел ладонью по голове.

— Я пришел сюда по одному делу, а говорить буду совсем о другом. Хотел я вам продать новое взрывчатое вещество...

— Я не куплю его, — прервал Вокульский.

— Нет? А ведь мне говорили, что вы, господа, ищете нечто в этом роде для флота. Впрочем, неважно... Для вас, сударь, у меня имеется нечто другое...

— Для меня? — спросил Вокульский, удивленный не столько словами Гейста, сколько его взглядом.

— Позавчера вы летали на привязном воздушном шаре, — продолжал гость.

— Да.

— Вы человек состоятельный и разбираетесь в физике.

— Да.

— И был момент, когда вы хотели броситься вниз? — спросил Гейст.

Вокульский отшатнулся вместе со стулом.

— Не удивляйтесь, — сказал гость. — Я в своей жизни встречал примерно тысячу физиков, а в лаборатории у меня работало четверо самоубийц, так что я хорошо знаю обе эти категории... Слишком часто вы поглядывали на барометр, чтобы я не угадал в вас физика, ну, а человека, помышляющего о самоубийстве, распознает даже институтка.

— Чем я могу служить? — еще раз спросил Вокульский, вытирая пот со лба.

— Я буду краток. Вы знаете, что такое органическая химия?

— Это химия углеродных соединений.

— А что вы думаете о химии водородных соединений?

— Что ее нет.

— Напротив, есть, — возразил Гейст. — Только она дает вместо различных видов эфира, жиров и ароматических тел новые соединения... Новые вещества, мсье Сюээн, с весьма любопытными свойствами...

— Какое мне до этого дело? — глухо ответил Вокульский. — Я купец...

— Не купец вы, а отчаявшийся человек, — возразил Гейст. — Купцы не помышляют о прыжках с воздушных шаров. Едва я это увидел, как тотчас подумал: «Такого-то мне и надо!» Но вы исчезли у меня из виду... Сегодня случай вторично свел нас... Мсье Сюээн, если вы богаты, мы должны поговорить о водородных соединениях...

— Во-первых, я не Сюээн...

— Не имеет значения, я ищу отчаявшегося богача.

Вокульский глядел на Гейста чуть ли не с испугом. В голове его мелькали вопросы: шарлатан или тайный агент? Безумец или на самом деле некий дух? *<Geist (Geist) — дух (нем.)>* Кто знает, быть может сатана не вымысел и в иные минуты и впрямь является людям? Одно несомненно — этот старик неопределенного возраста разгадал сокровеннейшую тайну Вокульского, в голову которого тогда действительно закрадывалась мысль о самоубийстве, но такая еще робкая, что он не признавался в этом даже самому себе.

Гость не сводил с него глаз и улыбался ласково и одновременно насмешливо, а когда Вокульский раскрыл было рот, чтобы о чем-то спросить, он перебил:

— Не трудитесь, сударь... Я уже со столькими людьми беседовал об их характере и о моих открытиях, что наперед отвечу на ваш вопрос. Я профессор Гейст, старый безумец, как твердят во всех кафе близ университета и политехникума. Некогда меня называли великим химиком, пока... пока я не переступил границ воззрений, общепризнанных в современной химии. Я писал научные труды, делал открытия — и под собственной фамилией, и под фамилиями моих сотрудников, которые, впрочем, добросовестно делились со мною доходами. Но с того времени, как я открыл явления, которые кажутся невероятными по сравнению с тем, что печатается в ежегодниках Академии, меня называют не только безумцем, но даже еретиком и изменником...

— Здесь, в Париже? — удивился Вокульский.

— Ого-го! — рассмеялся Гейст. — Именно здесь, в Париже. Где-нибудь в Альтдорфе или Нейштадте отщепенцем и изменником считается тот, кто не верит в пасторов, Бисмарка, в десять заповедей и прусскую конституцию. Здесь можно сколько угодно издеваться над Бисмарком и конституцией, но зато под угрозой отлучения запрещено сомневаться в таблице умножения, в теории волнового движения, в постоянстве удельного веса и т.д. Укажите мне хоть один город, где бы люди не сжимали своих мозгов тисками каких-либо догматов, — и да будет он столицей мира и колыбелью грядущего человечества!

Вокульский несколько успокоился; он убедился, что имеет дело с маньяком.

Гейст смотрел на него, не переставая улыбаться.

— Я кончаю, мсье Сюзэн. Я сделал великое открытие в области химии, я создал новую науку, изобрел неизвестные доселе промышленные материалы, о которых люди раньше не смели и мечтать. Но... мне не хватает еще некоторых чрезвычайно важных данных, а средства мои исчерпаны. На мои исследования я потратил четыре состояния и использовал десятка полтора людей... Сейчас мне нужно новое состояние и новые люди...

— Почему вы возымели ко мне такое доверие? — спросил Вокульский, уже совсем успокоившись.

— Нетрудно понять, — ответил Гейст. — О самоубийстве помышляет либо безумец, либо негодяй, либо человек незаурядных способностей, которому тесно на свете.

— А откуда вы знаете, что я не подлец?

— А откуда вы знаете, что лошадь — не корова? — возразил Гейст. — Во время моих вынужденных каникул, которые — увы! — тянутся иногда по нескольку лет, я занимаюсь зоологией и специально изучением человеческой особи. В одной этой породе, двуногой и двурукой, я открыл десятки видов животных — от устрицы и глиста до совы и тигра. Скажу вам больше: я открыл помеси этих видов — крылатых тигров, собакоголовых змей, соколов в черепаших панцирях, что, впрочем, уже предвосхитила фантазия гениальных поэтов. И во всем этом скопище скотов и чудовищ я только изредка нахожу настоящего человека, существо с разумом, сердцем и энергией. Вы, мсье Сюзэн, обладаете подлинно человеческими чертами, и потому я говорю с вами так откровенно. Вы — один на десять тысяч, может быть даже на все сто...

Вокульский поморщился. Гейст вспылал:

— Что? Уж не думаете ли вы, что низкой лестью я хочу выудить у вас несколько франков?.. Завтра я опять приду, и вы убедитесь, насколько несправедливо и глупо ваше подозрение...

Он вскочил со стула, но Вокульский удержал его:

— Не сердитесь, профессор! Я не хотел вас обидеть. Но ко мне почти ежедневно приходят всевозможные жулики...

— Завтра вы убедитесь, что я не жулик и не безумец. Я покажу вам вещи, которые видело всего шесть-семь человек, да и то... их уже нет в живых. О, если б они были живы! — вздохнул он.

— Почему только завтра?

— Потому что я живу далеко, а у меня нет денег на извозчика.

Вокульский пожал ему руку.

— Вы не обидитесь, профессор... если...

— Если вы дадите мне денег на извозчика?.. Нет. Ведь я с самого начала сказал вам, что я попрошайка — может быть, самый бедный во всем Париже.

Вокульский протянул ему сто франков.

— Помилуйте, — усмехнулся Гейст, — хватит и десяти... кто знает, не дадите ли вы мне завтра сто тысяч... У вас большое состояние?

— Около миллиона франков.

— Миллион! — повторил Гейст, хватаясь за голову. — Через два часа я вернусь. Только бы я оказался вам так же необходим, как вы мне...

— В таком случае, профессор, может быть, вы придете в мой номер на четвертом этаже? Здесь служебное помещение...

— Да, да, лучше в номер... Я вернусь через два часа, — отвечал Гейст и поспешно выбежал из салона. Вскоре явился Жюмар.

— Замучил вас старик, а? — спросил он.

— Что это за человек? — небрежно спросил Вокульский.

Жюмар выпятил нижнюю губу.

— Безумец, нечего и говорить, но еще в мои студенческие годы он был великим химиком. Ну, и что-то он такое изобрел; говорят, у него даже есть какие-то диковинные образцы... Однако... — И Жюмар постучал себя пальцем по лбу.

— Почему вы называете его безумцем?

— А как прикажете назвать человека, который надеется уменьшить удельный вес — не то всех тел, не то одних металлов, я уж не помню хорошенько...

Вокульский попрощался с ним и пошел к себе в номер.

«Что за странный город, — думал он, — где встречаются искатели сокровищ, наемные защитники чести, изысканные дамы, промышляющие тайнами, лакеи, рассуждающие о химии, и химики, пытающиеся уменьшить удельный вес тел!»

Около пяти явился Гейст; он был взволнован и запер за собою дверь на ключ.

— Мсье Сюзэн, — сказал он, — мне очень важно, чтобы мы с вами договорились... Скажите: есть у вас какие-нибудь семейные обязанности — жена, дети? Хотя не похоже...

— У меня никого нет.

— И у вас миллион франков?

— Почти.

— Скажите-ка: почему вы помышляете о самоубийстве?

Вокульский вздрогнул.

— Это на меня просто так нашло... На высоте, голова закружилась.

Гейст покачал головой.

— Состояние у тебя, сударь мой, есть, — бормотал он, — за славой, по крайней мере сейчас, ты не гонишься... Тут должна быть замешана женщина! — воскликнул он.

— Возможно, — ответил Вокульский, сильно смутившись.

— Так и есть, женщина! — сказал Гейст. — Плохо. С ними никогда не знаешь заранее, что они сделают, куда заведут... Как бы то ни было, послушай, — продолжал он, глядя Вокульскому прямо в глаза, — если б тебе еще когда-нибудь захотелось попробовать... понимаешь?.. Не накладывай на себя рук, а приходи ко мне...

— Может, я сейчас приду... — проговорил Вокульский, опуская глаза.

— Нет, не сейчас! — живо возразил Гейст. — Женщины никогда не расправляются с людьми сразу. Ты уже покончил счеты с этой особой?

— Кажется, да...

— Ага! Только кажется! Плохо. На всякий случай запомни: у меня в лаборатории очень легко можно погибнуть, да еще как!

— Вы что-нибудь принесли, профессор? — перебил Вокульский.

— Плохо, плохо дело! — бормотал Гейст. — Опять мне придется искать покупателя на мое взрывчатое вещество, а я уж думал, что мы объединимся...

— Сначала покажите, что вы принесли.

— Верно... — Гейст вынул из кармана небольшую шкатулку. — Погляди-ка, — сказал он, — вот за что человека объявляют умалишенным!

Шкатулка была жестяная, с каким-то мудреным запором. Одну за другой Гейст нажимал кнопки, размещенные с разных сторон шкатулки, поглядывая на Вокульского с волнением и опаской. На мгновение он даже заколебался и сделал движение, как будто хотел спрятать шкатулку, однако опомнился, нажал еще несколько кнопок — и крышка отскочила.

В ту же минуту стариком овладел новый приступ подозрительности. Он бросился на диван и спрятал шкатулку за спину, беспокойно поглядывая то на Вокульского, то на дверь.

— Глупости я делаю! — забормотал он. — Что за нелепость рисковать всем ради первого встречного...

— Вы мне не доверяете? — спросил Вокульский, взволнованный не меньше его.

— Никому я не доверяю! — брюзжал старик. — А кто может мне поручиться? И чем? Поклянется, даст честное слово? Слишком я стар, чтобы верить клятвам... Только взаимная выгода еще кое-как может удержать людей от подлейшей измены, да и то не всегда...

Вокульский пожал плечами и сел на стул.

— Я не принуждаю вас делиться со мною своими тревогами, — сказал он. — Довольно с меня моих собственных.

Гейст не спускал с него глаз, но понемногу стал успокаиваться. Наконец он сказал:

— Ну-ка, подвинься к столу... Смотри: что это?

И он показал металлический шарик темного цвета.

— Кажется, это типографский сплав.

— Возьми-ка его в руку...

Вокульский взял шарик и поразился его тяжести.

— Это платина, — сказал он.

— Платина? — повторил Гейст с насмешливой улыбкой. — Вот тебе платина...

И он подал Вокульскому платиновый шарик такой же величины. Вокульский несколько раз перебрасывал шарики из руки в руку; изумление его возрастало.

— Эта штука раза в два тяжелее платины! — заметил он.

— Вот-вот... — расхохотался Гейст. — Один из моих друзей, академиком, назвал ее «сжатой платиной»... Недурно, а? Для определения металла, удельный вес которого составляет тридцать целых и семь десятых... Они всегда так! Стоит им придумать название для нового явления, как они тотчас утверждают, будто объяснили его на основе уже известных законов природы. Великолепные ослы — самые мудрые из всех, какими кишмя кишит так называемое человечество... А это — знаешь, что?

— Ну, это стеклянная палочка.

— Ха-ха-ха! — рассмеялся Гейст. — Возьми-ка ее в руки, присмотришься... Любопытное стекло, а? Тяжелее железа, поверхность излома зернистая; отличный проводник тепла и электричества; его можно строгать... Не правда ли, это стекло здорово смахивает на металл? Может быть, попробуешь разогреть его или ковать молотком?

Вокульский протер глаза. Несомненно, подобного стекла еще не бывало на свете.

— А это? — спросил Гейст, показывая другой кусочек металла.

— Наверное, сталь...

— Не натрий и не калий?

— Нет.

— Так возьми эту сталь в руки...

Тут уж изумление Вокульского уступило место растерянности: мнимая сталь была легка, как папиросная бумага.

— Что же, она полая?

— Разрежь этот кусочек пополам, а если у тебя нет инструмента, приходи ко мне. У меня ты увидишь множество подобных чудес и сможешь производить над ними какие хочешь опыты.

Вокульский поочередно брал в руки и разглядывал металл, то более тяжелый, чем платина, то прозрачный, как стекло, то более легкий, чем пух... Пока он держал их на ладони, они казались ему самым естественным явлением в мире: ибо что может быть естественнее предмета, воспринимаемого осязанием и зрением? Однако, как только он

отдал образцы Гейсту, им овладели изумление и недоверие, изумление и страх. И он разглядывал их скова, качал головой, сомневался и верил, верил и сомневался.

— Ну, что? — спросил Гейст.

— Вы показывали это химикам?

— Показывал.

— А они что?

— Осмотрели, покачали головами и заявили, что все это вздор и шарлатанство, которым серьезная наука заниматься не может.

— Как? Даже не произведя анализа?

— Нет. Некоторые напрямик заявили, что, если приходится выбирать между отрицанием «законов природы» и обманчивым свидетельством собственных чувств, они предпочитают не доверять своим чувствам. И прибавляли еще, что серьезная проверка подобных шарлатанских штучек может, дескать, привести к потере здравого смысла, а потому они решительно отказываются от опытов.

— И вы не опубликовали свои опыты?

— И не подумаю. Наоборот, умственная инертность моих коллег наилучшим образом гарантирует безопасность тайны; иначе другие подхватили бы мою мысль, рано или поздно открыли бы метод изготовления моих металлов и получили бы то, чего я им дать не хочу...

— А именно? — перебил Вокульский.

— Они получили бы металл легче воздуха, — спокойно произнес Гейст.

Вокульский вздрогнул; с минуту оба молчали.

— Зачем же вам скрывать от людей этот трансцендентальный металл? — заговорил наконец Вокульский.

— По многим причинам. Во-первых, я хочу, чтобы материал этот вышел именно из моей лаборатории, пускай бы даже и не я сам его нашел. А во-вторых, нельзя допустить, чтобы такая вещь, которая изменит облик всего мира, стала собственностью современного человечества. И без того слишком много бедствий произошло на земле из-за неосторожных открытий.

— Я вас не понимаю.

— Послушай же. Среди так называемого человечества примерно на десять тысяч волов, баранов, тигров и гадов в человеческом образе едва ли найдется один истинный человек. Так всегда было, даже в каменном веке. И вот на это, с позволения сказать, человечество в течение многих столетий сваливались различные изобретения. Бронза, железо, порох, магнитная игла, книгопечатание, паровые машины, телеграф, электричество — все это без разбора попадало в руки гениев и идиотов, благородных людей и преступников... И к чему это привело? К тому, что глупость и порок, получая все более сильные орудия, множились и становились все могущественнее, вместо того чтобы постепенно вымирать. Я, — продолжал Гейст, — не хочу повторять этой

ошибки, и если в конце концов открою металл легче воздуха, то отдам его только настоящим людям. Пусть наконец они получают оружие исключительно в свое распоряжение, пусть их раса множится и крепнет, а звери и чудовища в человеческом образе пусть постепенно гибнут. Если англичане вправе были истребить на своем острове волков, то подлинный человек вправе изгнать с лица земли тигров, загримированных под людей...

«А он все-таки не в своем уме», — подумал Вокульский и сказал вслух:

— Что же мешает вам осуществить эти планы?

— Отсутствие денег и помощников. Для открытия последнего звена нужно провести примерно восемь тысяч опытов, одному человеку на это потребовалось бы лет двадцать. Но четверо могли бы сделать ту же работу за пять-шесть лет...

Вокульский встал и в раздумье прошелся по комнате; Гейст не сводил с него глаз.

— Допустим, — заговорил Вокульский, — что я мог бы дать вам средства и одного... даже двух помощников. Но где же доказательство, что ваши металлы — не мистификация, а ваши надежды — не самообман?

— Приди ко мне, осмотри все сам, сделай несколько опытов и убедишься. Другой возможности я не вижу.

— А когда можно прийти?

— Когда хочешь. Только дай мне несколько десятков франков, а то мне не на что купить нужные препараты. Вот мой адрес. — И Гейст протянул Вокульскому грязный листок бумаги.

Вокульский дал ему триста франков. Старик уложил свои образцы в шкатулку, запер ее и, прощаясь, сказал:

— Черкни мне несколько слов накануне прихода. Я почти не выхожу из дому... все стираю пыль с моих реторт.

После ухода гостя Вокульский был как в чад. Он то глядел на дверь, за которой исчез химик, то на стол, где минуту назад лежали сверхъестественные предметы, то ощупывал свои руки и голову и ходил по комнате, громко стуча каблуками, чтобы убедиться, что он не грезит, а бодрствует.

«Но ведь это было, — твердил он себе, — этот человек действительно показал мне какие-то два вещества: одно тяжелее платины, а другое — значительно легче натрия. И даже заявил, что ищет металл легче воздуха!»

— Если во всем этом не кроется какой-то непостижимый обман, — громко сказал он, — то вот она, идея, которой стоит посвятить годы каторжного труда. Я нашел бы не только всепоглощающее занятие и осуществление своих самых смелых юношеских мечтаний, но и цель, прекраснейшую из всех, к каким когда-либо стремился человеческий дух. Вопрос воздухоплавания был бы решен, люди получили бы крылья.

Потом он опять пожимал плечами, разводил руками и бормотал:

— Нет, немыслимо!

Бремя новых истин — или новых заблуждений — так придавило его, что он почувствовал необходимость поделиться с кем-нибудь своими мыслями, хотя бы частью их. Он спустился в приемный зал на втором этаже и вызвал Жюмара.

Он никак не мог придумать, с чего начать этот странный разговор, но Жюмар сам облегчил ему задачу. Едва войдя, он сказал со сдержанной улыбкой:

— Старый Гейст, уходя от вас, был очень оживлен. Что ж, он вас убедил, или вы разгромили его?

— Положим, разговорами никого не убедишь, нужны факты, — возразил Вокульский.

— А были и факты?

— Пока только обещания... Однако скажите: что бы вы подумали, если б Гейст показал вам металл, во всех отношениях похожий на сталь, но раза в два-три легче воды? Если б вы собственными глазами видели такой металл, ощупывали его собственными руками?

Улыбка Жюмара превратилась в ироническую гримасу.

— Боже мой, да что сказать на это? Профессор Пальмиери показывает еще большие чудеса за пять франков с человека...

— Какой Пальмиери? — удивился Вокульский.

— Профессор-магнетизер, знаменитость... Он живет в нашем отеле и три раза в день дает магнетические сеансы в зале, куда втискивается от силы человек шестьдесят... Сейчас как раз восемь часов, начинается вечернее представление. Хотите, пойдём туда; у меня право бесплатного входа.

Вокульский покраснел так сильно, что румянец залил все его лицо и даже шею.

— Ну что ж, пойдём к профессору Пальмиери, — сказал он, а про себя добавил: «Значит, великий мыслитель Гейст — попросту жулик, а я, дурак, плачу триста франков за зрелище, цена которому не более пяти... Как он провёл меня!»

Они поднялись в третий этаж, где помещался салон Пальмиери. Нарядная публика почти заполнила зал, обставленный с роскошью, отличающей весь отель. Зрители — пожилые и молодые, женщины и мужчины — с величайшим вниманием слушали профессора Пальмиери, который как раз заканчивал краткое вступительное слово о магнетизме. Это был человек средних лет, поблекший брюнет со всклокоченной бородой и выразительными глазами. Его окружало несколько красивых женщин и молодых мужчин с болезненно бледными и апатичными лицами.

— Это медиумы, — шепнул Жюмар. — На них Пальмиери показывает свои фокусы.

Зрелище, продолжавшееся около двух часов, состояло в том, что Пальмиери усыплял своих медиумов взглядом, причем они могли ходить, отвечать на вопросы и выполнять различные действия. Кроме того, усыпленные по приказанию магнетизера проявляли то необычайную мускульную силу, то еще более необычайную потерю чувствительности или же, наоборот, обострение всех чувств.

Вокульский впервые наблюдал подобные явления и отнюдь не скрывал своего недоверия; заметив это, Пальмиери пригласил его пересест в первый ряд. После нескольких опытов Вокульский убедился, что наблюдаемые им явления — не шарлатанство, а факты, основанные на каких-то еще не изученных свойствах нервной системы.

Более всего поразили и даже ужаснули его два опыта, отдаленно напоминающие события его собственной жизни. Опыты состояли в том, что профессор внушал медиуму вещи несуществующие.

Пальмиери дал одному из усыпленных пробку от графина и сказал, что это роза. Медиум тотчас же принялся нюхать пробку, по-видимому испытывая при этом большое удовольствие.

— Что вы делаете? — воскликнул Пальмиери. — Ведь это вонючая смолка!

И медиум немедленно с отвращением отшвырнул пробку, начал вытирать руки и жаловаться, что они дурно пахнут.

Другому профессор дал носовой платок, сказав, что он весит сто фунтов; усыпленный согнулся под тяжестью платка, дрожал и обливался потом.

Глядя на это, Вокульский сам вспотел.

«Теперь я понимаю, в чем секрет Гейста. Он намагнетизировал меня!..»

Однако всего мучительнее ему было наблюдать, как Пальмиери, усыпив какого-то тщедушного юношу, обернул полотенцем совок для угля и внушил своему медиуму, что это молодая, прелестная женщина, в которую тот влюблен. Магнетизированный обнимал и целовал совок, становился перед ним на колени, лицо его выражало все оттенки страстного обожания. Когда совок положили под кушетку, юноша пополз за ним на четвереньках, по пути оттолкнув четырех сильных мужчин, пытавшихся его удержать. А когда под конец Пальмиери спрятал совок и заявил юноше, что возлюбленная его умерла, тот впал в такое отчаяние, что бросился на пол и стал биться головой об стену... Тут Пальмиери дунул ему в лицо, и молодой человек проснулся, весь в слезах, под гром аплодисментов и взрывы смеха.

Вокульский бежал из зала в ужасном раздражении.

«Значит, все — ложь! И якобы гениальные открытия Гейста, и моя безумная любовь, и даже она... Она тоже — лишь порождение моего отуманенного воображения...

Пожалуй, единственная реальность, которая не обманывает и не лжет, это смерть...»

Он выскочил на улицу, вбежал в кафе и заказал коньяк. На этот раз он выпил полтора графинчика и, опрокидывая одну рюмку за другой, размышлял о том, что в Париже, где он нашел величайшую мудрость, где его постигло величайшее заблуждение и полное разочарование, вероятно, обретет он свою смерть.

«Чего мне еще ждать? Что я узнаю? Если Гейст — пошлый шарлатан и если можно влюбляться в совок для угля, как я влюблен в нее, — что мне еще остается?..»

Он вернулся в отель, оглушенный выпитым коньяком, и заснул, не раздеваясь. А когда он проснулся в восемь часов утра, первой его мыслью было:

«Несомненно, Гейст с помощью магнетизма обманул меня. Однако... кто же магнетизировал меня, когда я сходил с ума по этой женщине?»

Вдруг ему пришло в голову обратиться за объяснением к Пальмиери. Он быстро переоделся и спустился в третий этаж.

Маэстро уже ожидал посетителей, но пока никто еще не явился, и он принял Вокульского сразу, получив вперед двадцать франков за совет.

— Скажите, — начал Вокульский, — вы каждому можете внушить, что совок для угля — это женщина и что платок весит сто фунтов?

— Каждому, кого можно усыпить.

— Так, пожалуйста, усыпите меня и повторите надо мной опыт с платком.

Пальмиери начал свои пассы: всматривался Вокульскому в глаза, прикасался к его лбу, растирал ему руки от плеча до ладоней... Наконец с неудовольствием отступился.

— Вы не годитесь в медиумы, — сказал он.

— А если я скажу, что я сам пережил такой случай, как этот юноша с носовым платком...

— Это исключается, вы не поддаетесь усыплению. Впрочем, если б даже вас усыпили и внушили, что платок весит сто фунтов, то, проснувшись, вы бы тотчас забыли об этом.

— А вы не допускаете, что кто-нибудь мог так ловко замagnetизировать меня...

Пальмиери обиделся.

— Нет магнетизера лучше меня! — воскликнул он. — Впрочем, я усыплю вас, только над этим придется поработать несколько месяцев... Это будет стоить две тысячи франков... Я не намерен даром растрачивать свои флюиды...

Вокульский покинул магнетизера отнюдь не удовлетворенный. Он еще не разубедился в том, что панна Изабелла могла его околдовать: у нее-то было достаточно времени. Но уж Гейст никак не мог усыпить его за несколько минут. К тому же Пальмиери утверждает, что усыпленные потом не помнят, что им внушали, а он во всех подробностях помнит свидание со старым химиком.

Итак, если Гейст его не усыпил, значит он не обманщик. Значит, его металлы действительно существуют, и... значит, возможно открытие металла более легкого, чем воздух!

«Вот так город! — думал он. — Здесь я за один час пережил больше, чем в Варшаве за всю жизнь... Вот так город!»

В следующие дни Вокульский был очень занят.

Прежде всего — уезжал Сузин, закупив более десятка судов. Прибыль от этой операции, совершенно законная, была так огромна, что частица, приходившаяся на долю Вокульского, покрыла все его расходы в течение последних месяцев в Варшаве.

За несколько часов до отъезда Сузин и Вокульский обедали в своем парадном номере и, разумеется, говорили о прибылях.

— Тебе сказочно везет, — сказал Вокульский. Сузин глотнул шампанского, переплел на животе пальцы, унизанные перстнями, и отвечал:

— Не в везении дело, Станислав Петрович, а в миллионах. Ножиком ты срежешь ракиту, а дуб топором рубят. У кого копейки, у того и дела копеечные, а у кого миллионы, у того и прибыли миллионные. Рубль, Станислав Петрович, все равно что заезженная кляча: сколько лет приходится ждать, пока он родит тебе новый рубль; а миллион — он, братец ты мой, как свинья: что ни год — новый приплод. Пройдет еще годика два-три, соберешь и ты, Станислав Петрович, круглый миллиончик, тогда и увидишь, как за ним денежки побегут. Хотя с тобой, брат...

Сузин вздохнул, нахмурился и опять выпил шампанского.

— А что со мной? — спросил Вокульский.

— А вот что, — отвечал Сузин. — Нет того, чтобы в таком городе дела делать для себя, для своего предприятия... Шатаешься невесть где, то в землю уставившись, то голову к небу задрал, — о деле и мысли нет... А еще — христианину это и выговорить-то совестно — летаешь по воздуху в каком-то шаре... Ты что ж это, цирковым прыгуном стать задумал, а? Ну и потом, правду сказать, обидел ты, Станислав Петрович, одну очень благородную даму, баронессу эту... А ведь у нее можно было и в картишки поиграть, и красивых женщин повидать, и узнать разные разности. Мой тебе совет: пока ты не уехал, дай ты ей что-нибудь заработать. Адвокату рубль пожалеешь — он у тебя сто вытянет. Так-то, батюшка мой...

Вокульский внимательно слушал. Сузин опять вздохнул и продолжал:

— И с колдунами якшаешься (пропади они пропадом, нечистая сила), а зря, прибыли от них ни на ломаный грош — только бога гневишь. Нехорошо! А что хуже всего — ты думаешь, никто и не видит, что ты себе места не находишь? Как бы не так! Все понимают, что душу тебе какой-то червь точит, но одни думают, будто ты собираешься скупать тут фальшивые ассигнации, а другие — будто ты вот-вот разоришься, если только уже не обанкротился.

— И ты веришь этому? — спросил Вокульский.

— Эх, Станислав Петрович, уж кому-кому, а тебе не пристало считать меня дурнем. Ты думаешь, мне невдомек, что тут дело в женщине? Оно, конечно, женщина — лакомый кусок, случается и степенному человеку голову потерять. Так и ты потешь себя, коли деньги есть. Но я тебе, Станислав Петрович, одно словечко скажу, ладно?

— Пожалуйста.

— Только, чур, севши бриться, на порезы не сердиться. Так вот, голубчик мой, расскажу я тебе притчу... Есть во Франции такая вода целебная, от всяких болезней (названия не упомянул). Послушай же: иные туда на коленках ползут и чуть ли глянуть на нее не смеют... А иные водичку эту безо всяких церемоний хлещут и даже зубы ею полощут... Эх, Станислав Петрович, кабы знал ты, как тот, кто хлещет, посмеивается над тем, кто на коленках ползет... Так ты посмотри да пораздумай: сам ты не таков ли?

А коли таков — плюнь ты на все, ей-богу! Да что с тобой? Больно? Правда... Ну, вышей винца...

— Ты что-нибудь слышал о ней? — глухо спросил Вокульский.

— Клянусь тебе, не слыхал я ничего особенного, — отвечал Сузин, ударяя себя в грудь. — Купцу требуются приказчики, а женщине — поклонники, да побольше, чтобы не видать было того, кто поклонов-то не бьет, а приступом берет. Дело житейское. Только не становись ты, Станислав Петрович, с ними в ряд, а коли уж стал, то держи голову выше. Полмиллиона рублей капитала — это не баран чихнул. Над таким купцом нечего зубы скалить!

Вокульский встал и судорожно выпрямился, как человек, которого прижгли каленым железом.

«Может быть, и не так, а может... и так! — подумал он. — А коли так... я отдам часть состояния счастливому сопернику, если он излечит меня!»

Он вернулся к себе в номер и в первый раз стал совершенно спокойно перебирать в мыслях всех поклонников панны Изабеллы, которых он видел с нею или в которых знал понаслышке. Он припоминал их многозначительные фразы, нежные взгляды, странные недомолвки, все рассказы панн Мелитон, все толки о панне Изабелле, ходившие среди глазевшей на нее публики. Наконец он облегченно вздохнул: что ж, может быть, вот она, та нить, которая выведет его из лабиринта.

«Я, вероятно, попаду из него прямо в лабораторию Гейста», — подумал он, чувствуя, что в душу ему запало первое зернышко презрения.

— Она вправе, о, безусловно вправе! — бормотал он, усмехаясь. — Однако каков избранник, а может быть, даже избранники?.. Эге-ге, ну и подлая же я тварь! А Гейст считает меня человеком!

После отъезда Сузина Вокульский вторично перечитал полученное в тот день письмо Жецкого. Старый приказчик мало писал о делах, зато очень много — о пани Ставской, прекрасной и несчастной женщине, муж которой куда-то пропал.

«Ты обяжешь меня на всю жизнь, — писал Жецкий, — если придумаешь, как окончательно выяснить: жив Людвик Ставский или же умер?»

Затем следовало перечисление дат и мест, где пребывал пропавший, после того как покинул Варшаву.

«Ставская? Ставская? — вспоминал Вокульский. — А, знаю! Это та красавица с дочуркой, проживающая в моем доме... Что за странное стечение обстоятельств! Может быть, для того я и купил дом Ленцких, чтобы познакомиться с этой женщиной? Собственно, мне до нее дела нет, раз уж я остаюсь здесь, однако почему не помочь ей, если Жецкий просит? Вот и отлично! Теперь есть предлог сделать подарок баронессе, которую мне так рекомендовал Сузин...»

Он взял адрес баронессы и отправился в квартал Сен-Жермен.

В вестибюле дома, где жила баронесса, помещался лоток букиниста. Вокульский, разговаривая с швейцаром, случайно взглянул на книжки и с радостным удивлением

увидел стихи Мицкевича в том издании, которое он читал, еще будучи в услужении у Гопфера. При виде потертого переплета и пожелтевших страниц вся его молодость вдруг представилась ему. Он тут же купил книжку и чуть не поцеловал ее, как реликвию.

Швейцар, покоренный франком, полученным на чай, проводил Вокульского до самых дверей баронессы и с улыбкой пожелал приятных развлечений. Вокульский позвонил, на пороге его встретил лакеи в малиновом фраке.

— Ага! — буркнул он.

В гостиной, как водится, была золоченая мебель, картины, ковры и цветы. Вскоре появилась и баронесса, с видом оскорбленной невинности, склонной, однако, простить виноватого.

Она действительно простила его. Вокульский, не вдаваясь в долгие разговоры, изложил ей цель своего посещения, записал фамилию Ставского, города, где он проживал, и настойчиво просил баронессу, чтобы она при помощи своих многочисленных связей разузнала поточнее о местопребывании пропавшего.

— Это можно сделать, — сказала благородная дама, — однако... не пугают ли вас расходы? Придется обратиться в полицию — немецкую, английскую, американскую...

— Итак?..

— Итак, вы согласны уплатить три тысячи франков?

— Вот четыре тысячи, — сказал Вокульский, подавая ей чек. — Когда я могу ждать ответа?

— Этого я вам сейчас сказать не сумею, — отвечала баронесса. — Возможно, через месяц, а возможно, и через год. Однако, — строго прибавила она, — надеюсь, вы не сомневаетесь, что все надлежащие меры для розысков будут приняты?

— Я настолько уверен в этом, что оставляю в банке Ротшильда чек еще на две тысячи франков, которые вам Выплатят немедленно по получении сведений об этом человеке.

— Вы скоро уезжаете?

— О нет! Я здесь еще побуду.

— Я вижу, Париж очаровал вас! — улыбнулась баронесса. — Он еще больше понравится вам из окон моей гостиной. Я принимаю ежедневно по вечерам.

Они распрощались, оба весьма довольные — баронесса деньгами своего клиента, а Вокульский тем, что убил двух зайцев сразу: исполнил совет Сузина и просьбу Жецкого.

Теперь Вокульский оказался в Париже совсем один и без всяких определенных занятий. Он снова посещал выставку, театры, незнакомые улицы, не осмотренные еще залы музеев... Снова и снова восхищался огромной творческой силой Франции, стройной системой архитектуры и жизни двухмиллионного города, дивился влиянию мягкого климата на ускоренное развитие цивилизации... Снова пил коньяк, ел дорогие кушанья или играл в карты у баронессы, причем всегда проигрывал...

Такое времяпрепровождение изнуряло его, но не давало ни капельки радости. Часы тянулись, как сутки, дни казались бесконечными, ночи не приносили спокойного сна. Правда, спал он крепко, без всяких сновидений, тяжелых или приятных, но и в забытьи не мог избавиться от чувства какой-то смутной горечи, в которой душа его тонула, не находя ни дна, ни берегов.

— Дайте же мне какую-нибудь цель... либо пошлите смерть! — иногда говорил он, глядя в небо. И через минуту сам смеялся над собой.

«К кому я обращаюсь? Кто услышит меня на игрище слепых сил, жертвой которых я стал? Что за проклятая участь — ни к чему не привязаться, ничего не хотеть и все понимать!..»

Перед ним вставало видение некоего космического механизма, который выбрасывает все новые солнца, новые планеты, новые виды животных и новые народы, людей и сердца, раздираемые фуриями: надеждой, любовью и страданием. Которая же из них всего кровожаднее? Не страдание, ибо оно по крайней мере не лжет. Увы, то надежда, которая сбрасывает человека тем ниже, чем выше его вознесла... То любовь, пестрая бабочка, одно крылышко которой зовется сомнением, а другое — обманом...

— Все равно, — бормотал он. — Если уж наш удел одурманивать себя чем-нибудь — давайте одурманиваться чем попало. Но чем же?..

Тогда из темной бездны, именуемой природой, возникали перед ним две звезды: одна — бледная, но сиявшая ровным светом, — Гейст и его металлы; другая — вспыхивавшая, как солнце, и вдруг угасавшая совсем, — она...

«Что тут выбрать? — думал он. — Когда одно сомнительно, а другое — недоступно и ненадежно? Да, ненадежно, потому что, если когда-нибудь я даже добыю ее, — разве я ей поверю? Разве я смогу ей поверить?..»

В то же время он чувствовал, что приближается момент решительной схватки между его рассудком и сердцем. Рассудок влек его к Гейсту, а сердце — в Варшаву. Он чувствовал, что не сегодня-завтра придется выбирать: либо тяжкий труд, ведущий к невиданной славе, либо пламенная страсть, которая сулила ему разве только одно: сжечь его дотла.

«А если и то и другое — только обман, как тот совок для угля или платочек весом в сто фунтов?..»

Он еще раз пошел к магнетизеру Пальмиери и, уплатив причитающиеся двадцать франков за прием, стал задавать ему вопросы:

— Итак, вы утверждаете, что меня нельзя намагнетизировать?

— Как это нельзя! — возмутился Пальмиери. — Нельзя сразу, потому что вы не годитесь в медиумы. Но из вас можно сделать медиума если не за несколько месяцев, то за несколько лет.

«Значит, несомненно, Гейст не обманул меня», — подумал Вокульский и прибавил вслух:

— Скажите, профессор, может ли женщина намагнетизировать человека?

— Не только женщина, но даже дерево, дверная ручка, вода — словом, всякий предмет, которому магнетизер передаст свою волю. Я могу намагнетизировать своих медиумов даже посредством булавки. Я говорю им: «Я переливаю в эту булавку свой флюид, и вы заснете, как только посмотрите на нее». Тем легче мне передать свою силу внушения какой-нибудь женщине. Разумеется, в том случае, если магнетизируемая особа окажется медиумом.

— И в таком случае я привязался бы к этой женщине, как ваш медиум к совку для угля?

— Совершенно верно, — ответил Пальмиери, поглядывая на часы.

Вокульский ушел от него и побрел по улицам, размышляя:

«Относительно Гейста я почти убежден, что он не обманул меня посредством магнетизма, — для этого попросту не было времени. Но что касается панны Изабеллы, я не уверен, не таким ли именно способом опутала она меня своими чарами. Времени у нее было достаточно. Однако... кто же превратил меня в ее медиума?»

По мере того как он сравнивал свою любовь к панне Изабелле с любовью большинства мужчин к большинству женщин, собственное его чувство казалось ему все более противоестественным. Возможно ли влюбиться с первого взгляда? Возможно ли сходить с ума по женщине, которую видишь раз в несколько месяцев и при этом неизменно убеждаешься, что она не расположена к тебе?

— Что ж! — пробормотал он. — Именно благодаря редким встречам она мне и кажется идеалом. Имей я случай узнать ее ближе, я, может быть, давно бы разочаровался?

Его удивляло, что не было никаких вестей от Гейста.

«Неужто ученый химик взял у меня триста франков и исчез? — подумал он, но тут же сам устыдился своих подозрений. — А вдруг он заболел?»

Он нанял фиакр и поехал по указанному Гейстом адресу, куда-то далеко, за заставу, в окрестности Шарантона.

Наконец фиакр остановился перед каменной оградой; за нею виднелась крыша и верхняя часть окон.

Выйдя из экипажа, Вокульский разыскал железную калитку, возле которой висел молоток. Он несколько раз постучал, калитка вдруг распахнулась, и Вокульский вошел во двор.

Дом был двухэтажный, очень старый; об этом говорили покрытые плесенью стены и запыленные окна с кое-где выбитыми стеклами. Посредине фасада находилась дверь, к которой вело несколько каменных, обвалившихся ступенек.

Калитка, глухо хлопнув, закрылась, но нигде не видно было отворившего ее привратника. Вокульский в недоумении и растерянности остановился посреди двора. Вдруг в окне второго этажа появилась голова в красном колпаке, и знакомый голос воскликнул:

— Вы ли это, мсье Сюзэн? Здравствуйте!

Голова тотчас же исчезла, однако открытая форточка свидетельствовала, что это не был обман зрения. Через несколько минут со скрипом отворилась входная дверь, и на пороге ее показался Гейст. На нем были рваные синие брюки, деревянные сандалии и грязная фланелевая блуза.

— Поздравьте меня, мсье Сюзэн! — заговорил Гейст. — Я сбыл свое взрывчатое вещество англо-американской компании и, по-моему, на выгодных условиях. Сто пятьдесят тысяч франков вперед и двадцать пять сантимов с каждого проданного килограмма.

— Ну, теперь вы, наверное, забросите свои металлы, — усмехнулся Вокульский.

Гейст взглянул на него со снисходительным пренебрежением.

— Теперь, — возразил он, — положение мое настолько изменилось, что несколько лет я могу обойтись без богатого компаньона. А что до металлов, то как раз сейчас я работаю над ними. Поглядите!

Он отворил дверь из коридора налево. Вокульский вошел в просторный квадратный зал, где было очень холодно. Посреди зала стоял огромный цилиндр, похожий на чан; его стальные стенки толщиной примерно в локоть были в нескольких местах перехвачены мощными обручами. К крышке цилиндра были прикреплены какие-то приборы: один представлял собой что-то вроде предохранительного клапана, время от времени из-под него вырывалось облачко пара, быстро расплывавшееся в воздухе; другой — напоминал манометр с непрерывно колеблющейся стрелкой.

— Паровой котел? — спросил Вокульский. — А почему стенки такие толстые?

— Притроньтесь-ка, — отвечал Гейст.

Вокульский притронулся и вскрикнул от боли. На пальцах у него вздулись пузыри, но он не обжег руки, а обморозил. Чан был нестерпимо холодный, что, впрочем, сказывалось и на температуре воздуха.

— Шестьсот атмосфер внутреннего давления, — заметил Гейст, не обращая внимания на неприятность, случившуюся с Вокульским; тот даже вздрогнул, услышав эту цифру.

— Вулкан! — шепнул он.

— Потому-то, дружок, я и уговаривал тебя идти ко мне работать, — возразил Гейст, — сам видишь, долго ли тут до беды... Идем-ка наверх...

— Вы оставляете котел без присмотра?

— О, при этой работе няньки не требуются; все делается само собой, никаких сюрпризов не может быть.

Они поднялись наверх и оказались в большой комнате с четырьмя окнами. Главной мебелью здесь были столы, буквально заваленные ретортами, тиглями и всяческими пробирками, стеклянными, фарфоровыми и даже оловянными и медными. На полу, под столами и по углам, лежало штук двадцать артиллерийских снарядов, некоторые были с трещинами. Под окнами стояли ванночки, каменные и медные, с жидкостями разных

цветов. Вдоль одной из стен тянулась длинная скамья, или топчан, а на нем — огромная электрическая батарея.

Обернувшись, Вокульский заметил у самых дверей железный, вделанный в стену шкаф, кровать, покрытую рваным одеялом, из которого вылезала грязная вата, у окна — столик с бумагами, а возле него — кожаное кресло, потрескавшееся и вытертое.

Вокульский взглянул на старика, на его деревянную обувь, какую носили только самые бедные ремесленники, на его нищенскую обстановку и подумал: «Ведь этот человек мог бы иметь за свои изобретения миллионы! И все же он отказался от них во имя будущих, более совершенных человеческих поколений...» В эту минуту Гейст казался ему Моисеем, который ведет к обетованной земле еще не родившиеся поколения.

Но старый химик на этот раз не угадал мыслей Вокульского; он хмуро посмотрел на него и проговорил:

— Ну что, мсье Сюээн, невеселое место, невеселый труд? Так я живу сорок лет. В эти приборы вложено уже несколько миллионов, а у их владельца нет возможности ни развлечься, ни нанять прислугу, а иной раз даже купить себе еды... Не для вас это занятие, — прибавил он, махнув рукой.

— Ошибаетесь, профессор, — возразил Вокульский. — Впрочем, в могиле ведь тоже не веселей...

— Да что могила! Вздор... сентиментальный вздор! — проворчал Гейст. — В природе нет ни могил, ни смерти; есть лишь различные формы существования: одни дают нам возможность быть химиками, а другие — только химическими препаратами. И вся мудрость заключается в том, чтобы не упустить подвернувшийся случай, не тратить времени на глупости и успеть что-то сделать.

— Я вас понимаю, — возразил Вокульский, — но... простите, профессор, ваши открытия так новы...

— И я вас понимаю, — перебил Гейст. — Мои открытия так новы, что вы считаете их шарлатанством!.. В этом отношении члены Академии оказались не умнее вас, вы попали в хорошее общество... Ах да! Вы хотели бы еще раз увидеть мои металлы, испытать их? Хорошо, очень хорошо...

Он подбежал к железному шкафу, отпер его каким-то весьма сложным способом и один за другим стал оттуда вытаскивать бруски металла: бруски тяжелее платины, бруски легче воды и, наконец, прозрачные... Вокульский осматривал их, взвешивал, разогревал, ковал, пропускал через них электрический ток, резал ножницами. На эти опыты ушло несколько часов; в конце концов он убедился что, по крайней мере с точки зрения физики, имеет дело с самыми настоящими металлами.

Закончив опыты, Вокульский в полном изнеможении упал в кресло. Гейст спрятал свои образцы, запер шкаф и спросил, посмеиваясь:

— Ну как, факты или обман чувств?

— Ничего не понимаю, — тихо ответил Вокульский, сжимая ладонями виски,

— у меня голова идет кругом! Металл в три раза легче воды... Непостижимо!

— Или металл процентов на десять легче воздуха, а? — рассмеялся Гейст.

— Удельный вес повергнут в прах... подорваны законы природы, а? Ха-ха! Чуть все это. Законы природы, насколько они нам известны, даже при моих открытиях останутся неизблемыми. Только расширятся наши знания о свойствах материи и о ее внутренней структуре; ну, и, конечно, расширятся возможности нашей техники.

— А удельный вес?

— Послушай меня, — перебил Гейст, — и ты сразу поймешь, в чем заключается суть моих открытий; хотя тут же сделаю оговорку, что повторить их самостоятельно тебе не удастся. Нет здесь ни чудес, ни жульничества: это вещи столь элементарные, что понять их мог бы даже школьник.

Он взял со стола шестигранник и протянул его Вокульскому:

— Видишь, вот шестигранный дециметр, отлитый из стали; возьми его в руки: сколько он весит?

— Килограммов восемь.

Гейст подал ему другой шестигранник того же размера и тоже стальной.

— А этот сколько весит?

— Ну, этот весит с полкилограмма... Но он полый, — возразил Вокульский.

— Прекрасно! А сколько весит вот эта шестигранная клетка из стальной проволоки? Вокульский взвесил ее на ладони.

— Наверное, граммов пятнадцать...

— Вот видишь, — перебил Гейст, — перед нами три шестигранника одного и того же размера, из одного и того же металла, однако они имеют различный вес. Почему же? Потому что в сплошном шестиграннике помещается наибольшее количество частиц стали, в полый — меньше, а в проволочном — еще меньше. Теперь представь себе, что мне удалось вместо сплошных частиц создать клеткообразные частицы тел, и ты поймешь секрет изобретения. Он состоит в изменении внутренней структуры материи, что для современной химии вовсе не новость. Ну, что?

— Когда я смотрю на образцы, я верю, — отвечал Вокульский, — когда я слушаю вас, то понимаю. Но как только я уйду отсюда... — И он беспомощно развел руками.

Гейст опять открыл шкаф, порылся там и, достав крошечный слиток, по цвету похожий на латунь, протянул его Вокульскому.

— Возьми, — сказал он, — и носи как амулет против сомнений в моем здравом рассудке или в моей правдивости. Металл этот раз в пять легче воды; он будет напоминать тебе о нашем знакомстве. К тому же, — добавил старик, засмеявшись, — он обладает большим достоинством: не боится действия никаких химических реагентов... И скорей рассыпется в прах, чем выдаст мою тайну... А сейчас, сударь мой, ступай домой, отдохни и пораздумай, что делать с собою.

— Я приду к вам, — чуть слышно сказал Вокульский.

— Нет еще, не сейчас! — возразил Гейст. — Ты еще не покончил своих счетов со светом, а у меня теперь хватит денег на несколько лет, поэтому я не тороплю тебя. Придешь, когда окончательно рассеются все твои иллюзии...

Старик нетерпеливо пожал ему руку и подтолкнул к дверям. На лестнице он еще раз попрощался и поспешил в лабораторию. Когда Вокульский спустился во двор, калитка была уже открыта; как только он вышел за ограду, она захлопнулась.

Вернувшись в город, Вокульский прежде всего купил золотой медальон, вложил в него кусочек нового металла и повесил на шею, как ладанку. Он хотел еще погулять, но почувствовал, что уличная толчея утомляет его, и пошел к себе.

— Зачем я возвращаюсь? — корил он себя. — Почему не иду к Гейсту работать?

Он сел в кресло и погрузился в воспоминания. Он видел магазин Гопфера, закусочную и посетителей, которые смеялись над ним; видел свой двигатель «перпетуум-мобиле» и модель воздушного шара, который он пытался сделать управляемым. Видел Касю Гопфер, которая сохла от любви к нему...

— За работу! Почему я не иду работать? Случайно взгляд его упал на стол, где лежал недавно купленный томик Мицкевича.

— Сколько раз я его читал! — вздохнул он, беря книгу.

Вокульский раскрыл книгу наугад и прочел:

Срываюсь и бегу, мой гнев кипит сильней,

В уме слагаю речь, она звучит сурово,

Звучит проклятием жестокости твоей.

Но увидал тебя — и все забыто снова,

И я спокоен вновь, я камня холодней,

А завтра — вновь горю и тщетно жажду слова.[38]

«Теперь уж я знаю, кто околдовал меня...» На глазах у него навернулись слезы, но он овладел собой и не дал им пролиться.

— Испортили вы мне жизнь... Отравили два поколения! — шептал он. — Вот последствия ваших сентиментальных взглядов на любовь...

Он захлопнул книгу и с такой силой швырнул ее в угол, что разлетелись страницы. Книжка ударилась о стену, упала на умывальник и с грустным шелестом соскользнула на пол.

«Поделом тебе! Там твое место! — думал Вокульский. — Кто рисовал мне любовь как священное таинство? Кто научил меня пренебрегать заурядными женщинами и искать недостижимый идеал?.. Любовь — радость мира, солнце жизни, веселая мелодия в пустыне, а ты что сделал из нее? скорбный алтарь, перед которым поют заупокойную над растоптанным человеческим сердцем!» Но тут перед ним встал вопрос:

«Да, поэзия отравила мне жизнь, но кто же отравил поэзию? Почему Мицкевич никогда не шутил и не смеялся, как французские стихотворцы, а умел лишь тосковать и отчаиваться?»

Потому что он, как и я, любил девушку из аристократического рода, а она могла стать наградой не за разум, не за труд, не за самоотречение, даже не за гений, а... только за титул и богатство...»

— Бедный мученик! — прошептал Вокульский. — Ты отдал своему народу лучшее, чем обладал; и разве твоя вина, что, изливая перед ним свою душу, ты перелил в душу народа и страдания, на которые тебя обрели? Это они виноваты и в твоих, и в моих, и в наших общих несчастьях...

Он встал с кресла и благоговейно собрал рассыпавшиеся листки.

«Мало того что они истерзали тебя, так ты еще должен отвечать за их пороки?.. Это их, их вина, что сердце твое не пело, а стонало, как надтреснутый колокол...»

Он лег на диван, размышляя все о том же:

«Удивительная страна, где исстари живут бок о бок два совершенно различных народа: аристократия и простой люд. Первый твердит, что он — благородное растение, которое вправе высасывать соки из глины и навоза, а второй либо потекает этим диким притязаниям, либо не решается протестовать против вопиющего зла.

И все складывалось так, чтобы увековечить исключительное господство одного класса и принизить другой. Люди так свято уверовали в важность благородного происхождения, что дети ремесленников или купцов стали покупать гербы или ссылаться на принадлежность к обедневшему дворянскому роду.

Ни у кого не хватало смелости объявить себя детищем собственных заслуг, и даже я, глупец, за несколько сот рублей купил свидетельство о принадлежности к дворянскому сословию.

И мне вернуться туда? Зачем? Здесь по крайней мере народ свободно проявляет все способности, какими одарен человек. Здесь высшие должности не покрылись плесенью сомнительной древности; здесь верховодят истинные силы: труд, разум, воля, творчество, знания, а при них и красота, и сноровка, и даже искреннее чувство. Там же труд пригвождается к позорному столбу и торжествует разврат! Тот, кто потом и кровью сколотил себе состояние, получает прозвище скряги, стяжателя, выскочки; зато тот, кто проматывает богатства, слывет щедрым, бескорыстным, великодушным... Там простоту считают чудачеством, бережливость — постыдным недостатком, ученость приравнивают к безумию, а талант узнают по дырявым локтям...

Там, если хочешь, чтобы тебя считали человеком, нужно либо иметь титул и деньги, либо уметь втираться в великосветские прихожие. И мне вернуться туда?...»

Он вскочил и зашагал по комнате, подсчитывая:

«Гейст — раз, я — два, Охоцкий — три... Еще двух подыщем, и за четыре-пять лет можно будет провести восемь тысяч опытов, нужных для открытия металла легче

воздуха. Ну, а тогда? Что скажет мир, когда увидит первую летательную машину без крыльев и сложных механизмов, прочную, как броненосец?»

Ему чудилось, будто уличный шум за окном ширится и растет, заполняя весь Париж, всю Францию, всю Европу. И все человеческие голоса сливаются в один мощный возглас: «Слава! Слава! Слава!..»

— С ума я сошел, что ли? — пробормотал Вокульский.

Поспешно расстегнув жилет, он вытащил из-под рубашки золотой медальон и раскрыл его. Кусочек металла, похожего на латунь и легкого, как пух, был на месте. Гейст не обманывал его: путь к величайшему изобретению был открыт перед ним.

— Остаюсь! — прошептал он. — Ни бог, ни люди не простили бы мне, если бы я пренебрег таким делом.

Уже смеркалось. Вокульский зажег газовые рожки над столом, достал бумагу, перо и принялся писать:

«Милый Игнаций! Я хочу поговорить с тобою о чрезвычайно важных вещах; в Варшаву я уже не вернусь и потому прошу тебя как можно скорее...»

Вдруг он бросил перо: его охватила тревога при виде написанных черным по белому слов: «...в Варшаву я уже не вернусь...»

«Почему бы мне не вернуться?» — подумал он.

«А зачем?.. Уж не затем ли, чтобы опять встретиться с панной Изабеллой и опять лишиться энергии? Пора наконец раз навсегда покончить с этим».

Он шагал по комнате и думал:

«Вот два пути: один ведет к великим преобразованиям мира, а другой — к тому, чтобы понравиться женщине и даже, допустим, добиться ее. Что же выбрать?»

Всем известно, что каждое вновь открытое полезное вещество, каждая вновь открытая сила — это новая ступень в развитии цивилизации. Бронза создала античную цивилизацию, железо — средневековую, порох завершил средневековье, а каменный уголь открыл эпоху девятнадцатого столетия. Вне всякого сомнения, металлы Гейста положат начало такому уровню цивилизации, о котором нельзя было и мечтать, и — кто знает? — может быть, приведут к усовершенствованию рода людского...

Ну, а с другой стороны что?.. Женщина, которая не постеснялась бы купаться в присутствии плебеев, подобных мне. Что я значу в ее глазах рядом со всеми этими щеголями, для которых пустая болтовня, острое словцо или комплимент составляют главное содержание жизни? Что вся эта толпа да и она сама сказали бы, увидев оборванца Гейста и его величайшие открытия? Они так невежественны, что даже не удивились бы.

Наконец допустим, я женюсь на ней; что тогда? Сразу же в салон выскочки нахлынут все явные и тайные поклонники, двоюродные и четвероюродные братцы и бог весть кто еще! И опять придется не замечать взглядов, не слышать комплиментов, стусевываться при интимных беседах — о чем? — о моем позоре, о моей глупости?

Год такой жизни — и я пал бы так низко, что, пожалуй, унился бы даже до ревности к подобным субъектам...

Ах, не лучше ли бросить сердце на растерзание голодным псам, чем подарить его женщине, которая даже не догадывается, как велика разница между этими людьми и мной!

Хватит!»

Он опять сел за стол и начал письмо к Гейсту. Но тут же отложил его.

— Хорош же я! — вслух сказал он. — Собираюсь подписать обязательство, не приведя в порядок свои дела...

«Вот как меняются времена! — подумал он. — Некогда такой вот Гейст был бы символом сатаны, с которым борется ангел в образе женщины. А теперь... кто из них сатана, а кто ангел-хранитель?»

В этот момент в дверь постучали. Вошел лакей и подал Вокульскому большой конверт.

— Из Варшавы... — прошептал Вокульский. — От Жецкого?.. Пересылает мне в конверте какое-то другое письмо... Ах, от председательши! Уж не сообщает ли она мне о свадьбе панны Изабеллы?

Он разорвал конверт, но с минуту не решался читать. Сердце его колотилось.

— Все равно! — пробормотал он и стал читать:

«Дорогой мой пан Станислав! Видно, и впрямь ты весело живешь и, говорят, даже укатил в Париж; вот и забываешь своих друзей. А могила бедного твоего покойного дяди все еще дожидается обещанного надгробия, да и хотела бы я посоветоваться с тобой насчет постройки сахарного завода, к чему люди склоняют меня на старости лет. Стыдись, пан Станислав, а пуще того — пожалей ты, что не видишь румянца на щеках Беллы; она сейчас в гостях у меня и покраснела как рак, услышав, что я пишу к тебе. Милая девочка! Она живет по соседству с нами, у тетки, и часто навещает меня. Догадываюсь я, что ты чем-то сильно огорчил ее; не мешкай же с извинением, приезжай поскорее прямо ко мне. Белла пробудет тут еще несколько дней, и, может быть, я уговорю ее простить тебя...»

Вокульский вскочил из-за стола, распахнул окно и, стоя перед ним, еще раз перечитал письмо председательши; глаза его загорелись, на щеках выступили красные пятна.

Он позвонил раз, другой, третий... Наконец, сам выбежал в коридор и крикнул:

— Гарсон! Эй, гарсон!

— Что прикажете?

— Счет.

— Какой?

— Полный счет за последние пять дней... Полный, понимаете?

— Прикажете сейчас подать? — удивился гарсон.

— Сию же минуту!.. И... нанять экипаж к Северному вокзалу. Сию же минуту!

Глава третья. Человек, счастливый в любви

Вернувшись из Парижа в Варшаву, Вокульский нашел дома второе письмо от председательши.

Старушка настаивала, чтобы он немедля приехал и погостил у нее недельки две-три.

«Не думай, пан Станислав, — заканчивала она, — что я приглашаю тебя из-за твоих новых успехов, чтобы похвалиться знакомством с тобою. Бывает в жизни и так, да не в моих это нравах. Я только хочу, чтобы ты отдохнул после тяжких трудов. Может быть, развлечешься у меня в доме, где, кроме докучливой старухи хозяйки, найдешь общество молодых, красивых женщин».

— Очень мне нужны молодые, красивые женщины! — пробормотал Вокульский.

И тут же спохватился: о каких это успехах пишет председательша? Неужели даже до провинции уже дошла весть о его последних прибылях, хотя сам он не обмолвился о них ни словом?

Однако он перестал удивляться словам председательши, как только наскоро ознакомился с положением дел. После его отъезда в Париж торговые обороты магазина выросли и продолжали расти день ото дня. Десятки купцов завязали с ним деловые отношения; отступился лишь один из старых, написав при этом резкое письмо, где объяснял, что, владея не оружейным складом, а всего лишь магазином тканей, он не видит смысла поддерживать в дальнейшем связь с фирмой достопочтенного Вокульского и к Новому году будет иметь честь окончательно с ним рассчитаться. Товарооборот был так велик, что пан Игнаций на свой страх и риск снял новый склад и взял восьмого приказчика и двух экспедиторов.

Когда Вокульский кончил просмотр бухгалтерских книг (уступая настойчивой просьбе Жецкого, он принялся за это через два часа по приезде), пан Игнаций отпер несгораемый шкаф и с торжественным видом достал оттуда письмо Сузина.

— Что это за церемонии? — засмеялся Вокульский.

— Корреспонденцию от Сузина следует хранить особенно тщательно, — многозначительно отвечал Жецкий.

Вокульский пожал плечами и прочитал письмо. Сузин предлагал ему на зиму новое дело, почти того же размаха, что и парижское.

— Что ты скажешь на это? — спросил он пана Игнация, объяснив ему суть предложения...

— Стах, милый, — отвечал старый приказчик, опуская глаза, — я тебе так верю, что, подожги ты город, я и тогда не усомнюсь, что ты сделал это в самых возвышенных целях.

— Неизлечимый ты мечтатель, старина! — вздохнул Вокульский и прекратил разговор. Было ясно, что Игнаций снова подозревает его в каких-то политических интригах.

Однако не один Жецкий так думал. Дома Вокульский нашел целую грудку визитных карточек и писем. В его отсутствие у него побывало около сотни влиятельных, титулованных и богатых людей, — по крайней мере половину из них он ранее не знал. Еще любопытнее оказались письма — всякие просьбы о вспомоществовании либо о содействии перед различными гражданскими и военными властями, а также анонимные письма, большей частью ругательные. Один аноним называл его предателем, другой — холуем, который так привык лакействовать у Гопфера, что и сейчас добровольно прислуживает аристократии, — даже не аристократии, а не сказать и кому. Третий упрекал его в том, что он помогает женщине дурного поведения, четвертый сообщал, что пани Ставская — кокетка и авантюристка, а Жецкий — мошенник, который крадет у Вокульского доходы с вновь приобретенного дома и делится ими с управляющим, неким Вирским.

«Ну, видно, каких только тут сплетен не ходит обо мне!» — подумал Вокульский, глядя на гору бумажек.

На улице, как ни мало занимала его толпа, он заметил, что привлекает к себе всеобщее внимание. Множество людей раскланивалось с ним; несколько раз какие-то совершенно незнакомые люди указывали на него чуть ли не пальцем; однако были и такие, которые с явным недоброжелательством отворачивались от него. Среди них он заметил двух старых знакомых еще по Иркутску, и это его неприятно задело.

— В чем тут дело? — пробормотал он. — Помешались они, что ли?

На следующий день он ответил Сузину, что предложение его принимает и в середине октября будет в Москве. А поздно вечером выехал к председателше, поместье которой находилось в нескольких верстах от недавно проложенной железной дороги.

На вокзале он убедился, что и здесь особа его производит впечатление. Сам начальник станции представился ему и велел отвести в его распоряжение отдельное купе, а старший кондуктор, провожая его к вагону, не преминул сказать, что это ему первому пришло в голову предложить пану Вокульскому удобное место, где можно и поспать, и поработать, и поговорить без помехи.

После долгого ожидания поезд наконец тронулся. Стояла уже глубокая ночь, безлунная, безоблачная и необычайно звездная. Открыв окно, Вокульский всматривался в созвездия. Ему вспомнились ночи в Сибири, где небо порой бывает почти черным и звезд на нем — как снежинок в метель, где Малая Медведица висит чуть не над самой головой, и Геркулес, Квадрат Пегаса и Близнецы светятся ниже, чем над нашим горизонтом.

«Разве знал бы астрономию я, гопферовский лакей, если бы не побывал там? — с горечью думал он. — И разве привелось бы мне услышать об открытиях Гейста, если бы Сузин насильно не вытащил меня в Париж?»

И очами души он увидел всю свою необычайную жизнь, как бы раздвоившуюся между Востоком и Западом. «Все, чему я научился, все, что я приобрел, все, что еще могу совершить, не на нашей земле родилось. Здесь встречал я лишь оскорбления, зависть или сомнительное признание, когда мне везло; но если бы удача изменила мне, меня растоптали бы те же самые ноги, которые сегодня расшаркиваются передо мной...»

«Уеду я отсюда, — повторял он про себя, — уеду! Разве только она меня удержит... И ни к чему мне даже это богатство, раз я не могу употребить его так, как мне более всего по душе. Разве это жизнь — коптить потолок в клубе, магазине и гостиных, где только преферанс может избавить от злословия и только злословие выручает от преферанса!..»

«Интересно, однако, — подумал он, успокоившись немного, — с какой целью председательша так многозначительно приглашает меня? А может быть, это панна Изабелла?..»

Его бросило в жар, и что-то словно оттаяло в его душе. Вспомнились ему отец и дядя, Кася Гопфер, которая так любила его, Жецкий, Леон, Шуман, князь и еще многие, многие другие, столько раз доказывавшие свое расположение к нему. Чего стоили бы все его знания и богатство, если бы ни одно человеческое сердце не питало к нему дружеских чувств? К чему все гениальные открытия Гейста, если их целью не было бы обеспечить торжество лучшей, облагороженной расы людей?

«И у нас есть поле для плодотворной работы, — говорил он себе. — И у нас найдутся люди, которых стоит выдвинуть и поддержать... Я уже слишком стар, чтобы делать мировые открытия, пусть занимаются этим Охоцкие... Я предпочитаю облегчать жизнь другим и самому быть счастливым...»

Он закрыл глаза, и ему почудилось, что перед ним стоит панна Изабелла: она устремила на него странный, только ей свойственный взгляд, одобряя мягкой улыбкой его намерения.

В дверь постучали, показался кондуктор.

— Барон Дальский спрашивает, можно ли ему к вам зайти? Он едет в этом же вагоне.

— Барон? — с удивлением переспросил Вокульский. — Пожалуйста, пусть зайдет.

Кондуктор вышел и задвинул дверь, а Вокульский тем временем вспомнил, что барон — компаньон Общества торговли с Востоком и один из немногочисленных теперь претендентов на руку панны Изабеллы.

«Чего ему от меня надо? — терялся в догадках Вокульский. — Может быть, и он едет к председательше, чтобы на свежем воздухе окончательно объясниться с панной Изабеллой? Если только его не опередил Старский...»

В коридоре вагона слышались шаги и голоса; дверь купе снова открылась, и кондуктор ввел весьма щедедушного господина с жиденькими седеющими усиками, еще более жалкой и еще более седой бородкой и почти совсем седой головой.

«Да он ли это? — подумал Вокульский. — Тот был жгучий брюнет».

— Ради бога, извините за беспокойство, — сказал барон, пошатываясь при каждом сотрясении вагона. — Ради бога... Я не смел бы мешать вашему одиночеству, если бы не некоторые обстоятельства... Скажите, не направляетесь ли вы к нашей почтеннейшей председательше, которая вот уже неделю дожидается вас?

— Вы угадали. Добрый вечер, барон, садитесь.

— Как приятно! — воскликнул барон. — Ведь и я туда же. Я уже два месяца там живу. То есть... собственно, не то что живу, а... наезжаю. Из своего имения, где ремонтируют мой дом, из Варшавы... Сейчас я из Вены, покупал там мебель. Но погостить там мне удастся всего несколько дней; что поделаешь, надо переменить в усадьбе всю обивку на стенах. И ведь все уже было сделано каких-нибудь две недели назад, да вот что-то не понравилось — придется содрать, ничего не поделаешь!

Он хихикал и подмигивал Вокульскому, а тот так и похолодел.

«Для кого эта мебель? Кому не понравилась обивка?..» — тревожно спрашивал он себя.

— А вы, сударь, — продолжал барон, — уже завершили свою миссию? Поздравляю! — Тут он пожал Вокульскому руку. — Я, знаете ли, с первого взгляда почувствовал к вам уважение и симпатию, а сейчас считайте меня своим вернейшим почитателем... Да, знаете ли... Привычка отстраняться от политической жизни причинила нам много вреда. Вы, сударь, первый нарушили этот неразумный принцип, это, знаете ли, пассивное созерцание, и — честь вам! Разве мы не обязаны интересоваться делами государства, в котором находятся наши поместья, в котором заключена наша будущность...

— Я вас не понимаю, барон, — резко перебил его Вокульский.

Испуганный барон на целую минуту лишился дара речи и способности двигаться. Наконец он пролепетал:

— Простите, я, право же, не имел намерения... Однако, надеюсь, моя дружба с почтенной председательшей, которая, знаете ли, столь...

— Оставим объяснения, сударь, — сказал Вокульский, смеясь и пожимая ему руку. — Довольны ли вы своими венскими покупками?

— Весьма... знаете... весьма... Хотя, поверите ли, сударь, был момент, когда я, по совету уважаемой председательши, собирался побеспокоить вас небольшим поручением...

— Всегда рад служить. Но о чем речь?

— Я хотел купить в Париже бриллиантовый гарнитур, — ответил барон. — Но в Вене мне попались великолепные сафиры... Они как раз при мне, и если позволите... Вы знаете толк в драгоценностях?

«Для кого эти сафиры?» — думал Вокульский.

Он хотел пересесть, но почувствовал, что не может двинуть ни рукой, ни ногой.

Между тем барон вытащил из разных карманов четыре сафьяновых футляра, разложил их на диване и начал открывать один за другим.

— Вот браслет, — говорил он. — Не правда ли, скромный: всего один камень... Брошка и серьги наряднее; по моему заказу даже сделали новую оправу... А вот ожерелье... Изящно и просто, но в том-то и секрет красоты, наверно... Игра удивительная, не правда ли, сударь?

Говоря это, он вертел перед глазами Вокульского сапфиры, поблескивающие при мигающем пламени свечи.

— Вам не нравится? — вдруг спросил барон, заметив, что его спутник ничего не отвечает.

— Почему же, очень красиво. И кому вы везете этот подарок, барон?

— Моей невесте, — с удивлением ответил барон. — Я думал, председательша упоминала о нашей семейной радости...

— Нет.

— Как раз сегодня пять недель, как я сделал предложение и получил согласие.

— Кому вы сделали предложение? Председательше? — спросил Вокульский каким-то странным тоном.

— Что вы? — воскликнул барон, отшатнувшись. — Я сделал предложение внучке председательши, панне Эвелине Яноцкой... Вы ее не помните? Она была у графини на пасхальном приеме, вы не заметили?

Прошло несколько минут, пока Вокульский сообразил, что Эвелина Яноцкая — это не Изабелла Ленцкая, что посватался барон не к панне Изабелле и вовсе не ей везет эти сапфиры.

— Простите, сударь, — сказал он встревоженному барону, — я был расстроен и просто сам не понимал, что говорю...

Барон вскочил и стал поспешно рассовывать по карманам футляры.

— Какое невнимание с моей стороны! — воскликнул он. — Я ведь заметил по вашим глазам, что вы утомлены, и все же обеспокоил вас, помешал вам уснуть...

— Нет, сударь, спать я не собираюсь и буду очень рад остаток пути провести в вашем обществе. Это была минутная слабость, теперь все прошло.

Барон сначала церемонился и хотел уйти; но, убедившись, что Вокульский действительно лучше себя чувствует, он опять уселся, заявив, что побудет всего пять минут. Ему нужно было наговориться с кем-нибудь о своем счастье.

— Нет, вы послушайте, что это за женщина! — говорил он, с каждым словом все оживленнее жестикулируя. — Когда я познакомился с нею, она, знаете ли, показалась мне холодной, как мрамор, и пустой — одни наряды в голове. Лишь теперь я вижу, какая бездна чувств в этом существе. Конечно, она любит наряжаться, как всякая женщина, но какой ум! Я никому не рассказал бы того, что сообщу вам, пан Вокульский. Я, видите ли, очень рано начал сесть, ну и не без того, конечно, чтобы время от времени не употребить фиксауар, понимаете? И кто бы мог подумать: как только она это заметила, так раз и навсегда мне запретила краситься; сказала, знаете ли, что ей необыкновенно нравятся белые волосы и что, по ее мнению, истинно красивы только седые мужчины. «А если у мужчины только проседь?» — спросил я. «Что ж, они просто интересны», — ответила она. А как она это сказала! Я не наскучил вам, пан Вокульский?

— Отнюдь, сударь. Мне очень приятно встретить счастливого человека.

— Я действительно счастлив, так счастлив, что даже самому удивительно,

— подтвердил барон. — О женитьбе я помышляю давно, уже несколько лет назад доктора посоветовали мне жениться. Ну, и я предполагал, знаете ли, взять в супруги женщину красивую, хорошо воспитанную, благородной фамилии, представительную, отнюдь, знаете ли, не требуя от нее какой-то там романтической любви. И вот вам: сама любовь встала на моем пути и одним взглядом зажгла в сердце пожар... Право, пан Вокульский, я влюблен... Нет, я с ума схожу от любви! Никому бы я этого не сказал, но вам, к которому я с первой минуты почувствовал просто братскую приязнь... Я с ума схожу!.. Думаю только о ней, едва усну — вижу ее во сне, когда расстаюсь с нею — прямо заболеваю. Отсутствие аппетита, сразу грустные мысли, какой-то страх...

Я скажу вам кое-что... Только, пан Вокульский, умоляю вас не повторять этого никому, даже самому себе! Я хотел испытать ее, — как это низко, правда, сударь? Но что подделаешь, человеку так трудно поверить в счастье. И вот, желая испытать ее (только никому ни словечка об этом, сударь), я велел написать проект брачного контракта, согласно которому, в случае если бы свадьба расстроилась по вине любой из сторон (вы понимаете?), я обязуюсь уплатить невесте неустойку в пятьдесят тысяч рублей. Сердце у меня замирало от страха... а вдруг она меня бросит? Но что вы скажете? Когда председательша заговорила с ней об этом проекте, девушка в слезы. «Как, он думает, что я откажусь от него ради каких-то пятидесяти тысяч? — сказала она. — И если уж он подозревает меня в корыстолюбии и не признает за сердцем женщины никаких высших побуждений, то как он не понимает, что я не променяю миллиона на пятьдесят тысяч...»

Когда председательша передала мне эти слова, я вбежал в комнату панны Эвелины и, ни слова не говоря, бросился к ее ногам... Сейчас я написал в Варшаве завещание и назначил ее единственной и полноправной наследницей, даже если бы мне случилось умереть до свадьбы. Вся моя родня за всю жизнь не дала мне столько счастья, сколько эта девочка за несколько недель. А что будет потом?.. Что будет потом, пан Вокульский? Никому не задавайте подобного вопроса, — заключил барон, с силой тряся ему руку. — Ну, спокойной ночи...

— Забавная история! — проворчал Вокульский, когда барон удалился. — Бедняга и впрямь втрескался по уши...

И он не мог отогнать от себя образ влюбленного старика, который, словно тень, поминутно возникал на малиновом фоне дивана. Он видел его худое лицо, пылающее кирпичным румянцем, волосы, словно присыпанные мукой, и большие, запавшие глаза, в которых тлел нездоровый огонь. Смешное и жалкое впечатление производили эти вспышки страсти в человеке, который то и дело укутывал шею, проверял, хорошо ли закрыто окно в купе, и пересаживался с места на место, боясь сквозняка.

«Ну и попался же он! — думал Вокульский. — Мыслимое ли дело, чтобы молодая девушка влюбилась в этакую мумию! Он наверняка лет на десять старше меня, а на вид и вовсе дряхлый старик. И притом... так наивен!..

Хорошо, а если эта барышня действительно любит его?.. Все же трудно допустить, чтобы она его обманывала. Вообще говоря, женщины благороднее мужчин, они меньше грешат против нравственности, да и жертвуют собой гораздо чаще, чем мы. И если трудно найти такого подлого мужчину, который ради денег лгал бы с утра до вечера, изо дня в день, то можно ли подозревать в этом женщину, молодую девушку, воспитанную в почтенном семействе?

Просто взбрела ей в голову такая фантазия, вдобавок она, видимо, и увлеклась — если не его обаянием, то положением. Иначе она непременно выдала бы чем-нибудь свое притворство, а барон непременно заметил бы это, потому что влюбленные видят, как в микроскоп.

А если молодая девушка способна полюбить такого старикашку, то почему бы той, другой, не полюбить меня?..»

«Вечно я возвращаюсь к одному и тому же! — рассердился он. — Это какая-то навязчивая идея...»

Он опустил окно, задвинутое бароном, и, чтобы отогнать назойливые воспоминания, снова стал смотреть на небо. Квадрат Пегаса уже передвинулся к западу, а на востоке поднимались созвездия Тельца, Ориона, Малого Пса и Близнецов. Он разглядывал многочисленные звезды, густо усеявшие небо, и мысль его обратилась к той удивительной незримой силе притяжения, которая прочней любых материальных цепей связывает отдаленные миры в единое целое.

«Притяжение, привязанность — это ведь по существу одно и то же: могучая и плодотворная сила, которая увлекает за собою все и питает собою всякую жизнь. Попробуем освободить землю от ее тяготения к солнцу, и она полетит куда-то в пространство и через несколько лет превратится в ледяную глыбу. Бросим какую-нибудь блуждающую звезду в сферу солнечной системы, и кто знает, не пробудится ли и на ней жизнь? Почему же барону не подчиниться закону тяготения, которому подчиняется вся природа? И разве пропасть между ним и панной Эвелиной больше, чем между землей и солнцем? Чего же удивляться неистовствам людей, если и звездные миры охвачены неистовым влечением?»

Между тем поезд шел и шел, не торопясь, подолгу задерживаясь на станциях. В воздухе посвежело, звезды на востоке стали бледнее. Вокульский закрыл окно и растянулся на покачивающемся диване.

«Если, — твердил он себе, — молодая женщина могла влюбиться в барона, то чем же я... Ведь не обманывает она его!.. Женщины вообще благороднее нас... реже лгут...»

— Простите, сударь, вам здесь выходить... Господин барон уже пьет чай.

Вокульский открыл глаза. Над ним стоял проводник и деликатнейшим образом старался его разбудить.

— Как, уже день? — удивился он.

— О, девять часов утра, мы уже полчаса стоим на станции. Я вас не будил, сударь, потому что господин барон не велел, но поезд сейчас тронется...

Вокульский поспешил выйти из вагона. Станция была новая и еще не вполне достроенная. Тем не менее ему подали умыться и почистили платье. Он совсем очнулся от сна и направился в маленький зал, где помещался буфет и где сияющий барон допивал уже третий стакан чаю.

— Здравствуйте! — закричал барон, с дружеской фамильярностью пожимая Вокульскому руку. — Буфетчик, пожалуйста, чаю этому господину... Прекрасная погода, не правда ли, как раз для прогулки на лошадях! Однако и подвели же нас!

— А что случилось?

— Придется нам дожидаться лошадей. Счастье еще, что я в два часа ночи накатав телеграмму о вашем приезде. А то позавчера я послал председательше телеграмму из Варшавы, но начальник станции говорит, что я по ошибке заказал лошадей на завтра. Счастье, что я телеграфировал с дороги... В три часа отправили нарочного, в шесть председательша получила депешу, не позже восьми должна была выслать лошадей... Подождем еще с часик, зато вы ознакомитесь с окрестностями. Весьма, знаете ли, красивый пейзаж...

Позавтракав, оба вышли на перрон. Местность отсюда казалась плоской и голой, кое-где высились купы деревьев, а среди них несколько каменных зданий.

— Это усадьбы? — спросил Вокульский.

— Да... В этой стороне много помещиков. Земля тут отлично возделана: вон люпин, вон клевер...

— Деревень не видно, — заметил Вокульский.

— Потому, что это помещичьи земли; а вы знаете, должно быть, поговорку: «Господское поле богато скирдами, а крестьянское — мужиками».

— Я слышал, — вдруг сказал Вокульский, — что у председательши собралось много гостей.

— Ах, сударь мой! — вскричал барон. — Иногда по воскресеньям, в хорошую погоду, тут совсем как на балу в клубе: съезжается человек сорок, а то и больше. Да и сегодня мы, наверное, застанем кружок постоянных гостей. Ну, во-первых, моя невеста. Далее — Вонсовская, премилая вдовушка лет тридцати, страшно богатая. Кажется, за нею увивается Старский. Вы знаете Старского?.. Неприятная личность: грубиян, нахал... Удивляюсь, право, как это Вонсовская, женщина умная и со вкусом, находит удовольствие в обществе подобного вертопраха.

— А кто еще? — спросил Вокульский.

— Еще Феля Яноцкая, двоюродная сестра дамы моего сердца, очень милая девочка лет восемнадцати. Ну, потом Охоцкий...

— Он тоже? Чем же он тут занимается?

— Перед моим отъездом по целым дням ловил рыбу. Но вкусы у него так изменчивы, что я не уверен, не окажется ли он теперь рьяным охотником... Что за благороднейший молодой человек, что за ученость! И не без заслуг: у него уже несколько изобретений.

— Да, это человек незаурядный, — сказал Вокульский. — Кто же еще гостит у председательши?

— Постоянных гостей больше нет, но так, на несколько дней, а то и на неделю часто наезжают Ленцкий с дочерью. Вот изысканная особа, — с воодушевлением продолжал барон, — исполненная поистине редких достоинств! Да ведь вы знакомы с ними... Счастливым будет тот, кому она отдаст руку и сердце! Что за обаяние, что за ум! Действительно, знаете ли, ей можно поклоняться, как богине... Вы не находите?

Вокульский упорно разглядывал окрестности и не мог выжать из себя ни слова. К счастью, в эту минуту подбежал станционный служащий и сообщил, что экипаж прибыл.

— Отлично! — воскликнул барон и дал ему на чай несколько золотых. — Снеси-ка, милый, наши вещи! Ну, сударь, едем... Через два часа вы познакомитесь с моей невестой...

Глава четвертая. Сельские развлечения

Прошло добрых четверть часа, пока уложили вещи в бричку. Наконец барон с Вокульским уселись, кучер в песочной ливрее взмахнул кнутом, и пара резвых чалых тронула легкой рысью.

— Советую вам обратить внимание на Вонсовскую, — говорил барон. — Бриллиант, а не женщина, а как оригинальна!.. И не думает второй раз выходить замуж, хотя до страсти любит, чтобы за ней ухаживали. Не поклоняться ей — трудно, а поклоняться — опасно. Сейчас Старскому достается от нее за его волокитство. Вы знаете Старского?

— Как-то раз видел его...

— Человек он изысканный, но неприятный, — не унимался барон, — кстати, моя невеста питает к нему антипатию. Он так действует ей на нервы, что у бедняжки портится при нем настроение. И я не удивляюсь, потому что это прямо противоположные натуры: она серьезна — он ветрогон, она чувствительна, даже сентиментальна — он циник.

Вокульский, слушая болтовню барона, разглядывал окрестности, которые постепенно меняли свой облик. За станцией на горизонте показались леса, вскоре заслоненные холмами; дорога то извивалась у их подножий, то взбегала вверх, то спускалась в ложбины.

На одном из взгорий кучер обернулся к седокам и, указывая вперед кнутом, сказал:

— Вон наши господа едут, в коляске...

— Где? Кто? — закричал барон, чуть не влезая на козлы. — Да, да, это они... Желтая коляска и четверка гнедых... Интересно, кто там? Взгляните-ка, сударь...

— Мне кажется, я вижу что-то пунцовое...

— А, это Вонсовская. Интересно, а моя невеста? — прибавил он тише.

— Там несколько дам, — сказал Вокульский, подумав о панне Изабелле.

«Если она тоже едет, это будет добрым предзнаменованием».

Оба экипажа быстро сближались. Из коляски усиленно хлопали бичом, кричали и махали платочками, а барон то и дело высовывался навстречу, дрожа от волнения.

Наконец бричка остановилась, но разогнавшаяся коляска прокатила мимо шагов на сорок, унося с собой бурю хохота и восклицаний. Там, несомненно, о чем-то спорили и, видимо, на чем-то наконец порешили, потому что пассажиры высадились, а коляска поехала дальше.

— Добрый день, пан Вокульский! — крикнул кто-то с козел, размахивая длинным кнутом.

Вокульский узнал Охоцкого.

Барон уже бежал к веселой компании. Навстречу ему двинулась девушка в белой накидке, с белым кружевным зонтиком; она медленно шла, протянув к нему руку в широком, свободно падающем рукаве. Барон еще издали снял шляпу и, подбежав к невесте, поцеловал ей руку, утопая в ее рукаве. После чувствительной сцены, показавшейся барону мгновением, но утомительно длинной для зрителей, он вдруг опомнился и сказал:

— Позвольте, сударыня, представить вам пана Вокульского, моего лучшего друга. Он останется тут погостить, и я обяжу его замещать меня подле вас во время моих отлучек.

Он опять запечатлел несколько поцелуев в глубине рукава, из которого вслед за тем протянулась к Вокульскому прелестная ручка. Вокульский пожал ее и почувствовал ледяной холодок; он взглянул на барышню в белой накидке и увидел бледное лицо и большие, грустные, словно испуганные глаза.

«Своеобразная невеста!» — подумал он.

— Пан Вокульский! — воскликнул барон, обернувшись к двум дамам и мужчине, которые подходили к ним. — Пан Старский, — прибавил он.

— Я уже имел удовольствие... — проговорил Старский, приподнимая шляпу.

— И я, — ответил Вокульский.

— Как мы теперь разместимся? — спросил барон, увидев возвращающуюся коляску.

— Поедем все вместе! — вскричала светловолосая девушка, в которой Вокульский угадывал Фелицию Яноцкую.

— Видите ли, наш экипаж двухместный... — сладким голосом начал барон.

— Понятно, но ничего из этого не выйдет, — откликнулась красивым контральто дама в пунцовом платье. — Жених и невеста поедут с нами, а в экипаж пусть садятся, если им угодно, господа Охоцкий и Старский.

— Почему я? — закричал с козел Охоцкий.

— И я? — прибавил Старский.

— Потому что пан Охоцкий плохо правит, а пан Старский несносно ведет себя, — отвечала бойкая вдовушка.

Вокульский заметил, что у нее великолепные каштановые волосы, черные глаза и веселое энергичное лицо.

— Вы уже даете мне отставку, сударыня! — с комической грустью вздохнул Старский.

— Вы знаете, что я всегда даю отставку поклонникам, которые мне надоедают. Однако давайте усаживаться, господа. Жених и невеста, вперед! Феля, садись рядом с Эвелиной.

— О нет! — возразила светловолосая девушка. — Я сяду с краю, мне бабушка не велит садиться возле жениха и невесты.

Барон любезно, но отнюдь не ловко посадил свою невесту и сам уселся напротив нее. Возле барона села вдовушка, Старский рядом с невестой, а панна Фелиция рядом со Старским.

— Пожалуйте! — пригласила Вокульского вдовушка, убирая с сиденья широко раскинувшееся пунцовое платье.

Усаживаясь против панны Фелиции, Вокульский заметил, что молодая девушка смотрит на него с восторженным изумлением и поминутно краснеет.

— Нельзя ли попросить пана Охоцкого передать вожжи кучеру? — спросила вдовушка.

— Сударыня, сударыня, вечно вы меня чем-нибудь донимаете! — возмутился Охоцкий. — Ничего не поможет, я буду править!

— Так даю честное слово, если вы нас опрокинете, я вас отколочу.

— Это мы еще посмотрим, — возразил Охоцкий.

— Вы слышали, господа, этот человек мне угрожает! — воскликнула вдовушка. — Неужели никто тут не заступится за меня?

— Я отомщу вас, — вскричал Старский, коверкая польский язык. — Пересядем вдвоем в тот экипаж.

Прекрасная вдовушка пожала плечами; барон вновь принялся целовать ручки своей невесте, а она вполголоса что-то говорила ему, улыбаясь все с тем же выражением грусти и испуга.

Пока Старский препирался с вдовой, а панна Фелиция заливалась румянцем, Вокульский наблюдал за невестой. Почувствовав это, она ответила ему надменным взглядом и внезапно развеселилась. Сама протянула барону ручку для поцелуя и даже ненароком задела его ножкой. От волнения ее обожатель даже побледнел, а губы у него совсем посинели.

— Ды ведь вы понятия не имеете, как надо править! — смеялась вдова, стараясь толкнуть Охоцкого концом зонтика.

В ту же минуту Вокульский выскочил из экипажа. Передние пристяжные свернули на середину дороги, коренные за ними, и коляска сильно накренилась влево. Вокульский поддержал ее плечом, кучер натянул поводья, и лошади остановились.

— Ну не говорила ли я, что это чудовище опрокинет нас! — кричала вдовушка. — Позвольте, пан Старский, что это значит?

Мельком глянув в коляску, Вокульский увидел следующую сцену: панна Фелиция покатывалась со смеху, Старский уткнулся лицом в колени прекрасной вдовушки, барон судорожно цеплялся за кучерский воротник, а его невеста, побледнев от испуга, одной рукой держалась за козлы, а другой впиалась Старскому в плечо.

Прошла еще секунда — коляска выровнялась, и восстановился порядок. Только панна Фелиция продолжала безудержно хохотать.

— Не понимаю, Феля, как можно смеяться в такую минуту, — сказала невеста.

— А почему мне не смеяться?.. Что могло случиться дурного? Ведь с нами пан Вокульский... — ответила девушка.

Но тут же спохватилась, покраснела пуще прежнего, спрятала лицо в ладони, а потом бросила на Вокульского взгляд, который должен был означать оскорбленное достоинство.

— Что касается меня, то я готов абонировать еще несколько таких происшествий, — сказал Старский, красноречиво поглядывая на вдову.

— При том условии, что я буду ограждена от проявлений вашей нежности. Феля, пересядь-ка на мое место, — отвечала вдова, хмурия брови и садясь против Вокульского.

— Не вы ли сами, сударыня, сегодня сказали, что вдовам все разрешается?

— Но вдовы не все разрешают. Нет, пан Старский, вам надо отучиться от ваших японских замашек.

— Эти замашки приняты во всем мире.

— Во всяком случае, не в той его части, к которой я принадлежу, — отрезала вдовушка, брезгливо глядя в сторону.

В коляске все замолкли. Барон с довольным видом шевелил седеющими усиками, а его невеста еще более погрузилась. Панна Фелиция, заняв место вдовушки рядом с Вокульским, повернулась к своему соседу чуть не спиной и время от времени бросала на него через плечо презрительно-меланхолические взгляды. Но за что? Сие было ему неизвестно.

— Вы, наверно, хорошо ездите верхом? — спросила Вокульского Вонсовская.

— Почему вы думаете?

— Ах, боже мой! Сейчас же почему да отчего! Сначала ответьте на мой вопрос.

— Не особенно, однако езжу.

— И хорошо ездите, если сразу угадали, что могут сделать лошади в руках такого мастера, как пан Юлиан. Мы будем ездить вместе. Пан Охоцкий, с сегодняшнего дня я вас освобождаю от прогулок.

— Весьма этому рад, — отвечал Охоцкий.

— Как это красиво — так отвечать дамам! — закричала панна Фелиция.

— Предпочитаю так отвечать, чем сопровождать их на прогулках. В последний раз, когда мы катались с пани Вонсовской, я в течение двух часов шесть раз слезал с лошади, пяти минут покоя у меня не было. Пусть-ка теперь попробует пан Вокульский.

— Феля, скажи этому человеку, что я с ним не разговариваю, — сказала вдовушка, указывая на Охоцкого.

— Человек, человек! — воскликнула Фелиция. — Эта дама не разговаривает с вами... Эта дама говорит, что вы невежливы.

— Ага, вот вы и соскучились по благовоспитанным людям, — злорадствовал Старский. — Попробуйте, может быть, я соглашусь помириться с вами.

— Вы давно выехали из Парижа? — обратилась вдова к Вокульскому.

— Завтра будет неделя.

— А я не была там уже четыре месяца. Чудный город...

— Заславок! — крикнул Охоцкий и изо всех сил взмахнул кнутовищем, но никакого выстрела не получилось, потому что кнут, неловко откинутый назад, запутался между дамскими зонтиками и шляпами мужчин.

— Нет, господа, — вскричала вдова, — если хотите, чтобы я ездила с вами кататься, вяжите этого человека. Он просто опасен!

В коляске опять поднялся шум; оказалось, что Охоцкий имеет сторонника в лице панны Фелиции, которая утверждала, что для начинающего он правит хорошо и что мало ли чего не бывает даже с опытными кучерами.

— Милая Феля, — возразила вдова, — в твоём возрасте всякий, у кого красивые глаза, кажется отличным возницей.

— Лишь теперь ко мне вернется аппетит... — изливался барон перед своей невестой, но, заметив, что говорит слишком громко, снова понизил голос.

Между тем коляска уже въехала во владения председательши, и Вокульский с интересом разглядывал поместье. На довольно высоком, но пологом холме возвышался просторный двухэтажный дом с одноэтажными флигелями. Позади него зеленели деревья старого парка, перед ним расстилалась широкая лужайка, пересеченная дорожками и кое-где украшенная цветником, статуей или беседкой. У подножья холма поблескивала полоса воды, по-видимому пруд, и на нем покачивались лодки и лебеди.

На фоне зелени светло-желтый помещичий дом с белыми колоннами выглядел внушительно и весело. Слева и справа, за деревьями, виднелись каменные хозяйственные постройки.

Под звонкое хлопанье бича (на этот раз Охоцкому сопутствовала удача) коляска проехала по мраморному мостику и подкатила к дому, лишь одним колесом примяв газон. Путешественники высадились, только Охоцкий не захотел отдать вожжи и сам доставил экипаж к конюшне.

— Не забудьте же, в час завтрак! — крикнула вслед ему панна Фелиция.

К барону подошел старый слуга в черном сюртуке.

— Ее милость сейчас в кладовой, — сказал он. — Может быть, господам угодно пройти к себе?

И, проводив их к правому флигелю, он указал Вокульскому большую комнату с раскрытыми окнами, выходившими в парк. Через минуту явился казачок в ливрейной куртке, принес воды и принялся распаковывать чемодан.

Вокульский выглянул в окно. Перед ним по газону раскинулись купами старые ели, лиственницы и липы, за которыми, где-то вдалеке, синели лесистые холмы. Под самым окном рос куст сирени, и в нем было гнездо, над которым порхали воробьи. Теплый сентябрьский ветер поминутно вливался в комнату, принося неуловимые ароматы.

Вокульский глядел на облака, казалось, касавшиеся верхушек деревьев, на снопы света, прорывавшиеся меж темных еловых ветвей, и ему было хорошо. Он не думал о панне Изабелле. Образ ее, сжигавший ему душу, развеялся перед безыскусственной прелестью природы; наболевшее сердце замолкло и впервые за долгое время исполнилось тишины и покоя.

Однако он вспомнил, что приехал сюда в гости, и поспешил переодеться. Едва он сменил костюм, как в дверь тихонько постучали и старый слуга доложил:

— Пани просит к столу.

Вокульский отправился вслед за ним. Пройдя коридор, он очутился в просторной столовой, стены которой до половины были обшиты панелью темного дерева. Панна Фелиция разговаривала у окна с Охоцким, а за столом, между Вонсовской и бароном, в кресле с высокими подлокотниками сидела председательша.

Завидев гостя, она встала и сделала несколько шагов ему навстречу.

— Здравствуй, пан Станислав, — сказала она, — спасибо тебе, что исполнил мою просьбу.

А когда Вокульский склонился к ее руке, она поцеловала его в лоб, что произвело определенное впечатление на присутствующих.

— Садись же сюда, возле Кази. А ты, пожалуйста, позаботься о нем.

— Пан Вокульский заслужил это, — отвечала вдова. — Если бы не его самообладание, пан Охоцкий переломал бы нам кости.

— Что же случилось?

— Он и с парной упряжкой не справляется, а берется править четверкой. Уж лучше было, когда он по целым дням удил рыбу.

— Боже! Какое счастье, что я не женюсь на этой женщине, — воскликнул Охоцкий, сердечно приветствуя Вокульского.

— Ну, сударь! — воскликнула Вонсовская. — Если вы все еще питаете надежду жениться на мне, так уж лучше оставайтесь возницей.

— Вечно они ссорятся! — засмеялась председательша.

В столовую вошла Эвелина Яноцкая, а минуту спустя из других дверей — Старский.

Они поздоровались с председательшей, которая отвечала им приветливо, но без улыбки.

Подали завтрак.

— У нас, пан Станислав, — сказала хозяйка, — такой обычай: сходимся мы обязательно все вместе только к столу. А остальное время каждый проводит, как ему вздумается. Советую тебе, если не хочешь скучать, не отходи от Кази Вонсовской.

— А я сразу беру пана Вокульского в плен, — отвечала вдова.

— Ох! — вздохнула председательша, незаметно взглянув на гостя.

Панна Фелиция покраснела, трудно сказать, в который уже раз за сегодняшний день, и велела Охоцкому налить ей вина.

— То есть нет... воды, — поправилась она.

Охоцкий покачал головой и в отчаянии развел руками, однако исполнил просьбу.

После завтрака, за которым панна Эвелина разговаривала только с бароном, а Старский ухаживал за черноглазой вдовой, гости попрощались с хозяйкой и разошлись. Охоцкий отправился на чердак, где в каморке, наскоро пристроенной для этой цели, он оборудовал метеорологический наблюдательный пункт. Барон с невестой отправился в парк прогуляться; Вокульского председательша удержала при себе.

— Скажи мне, — начала она, — ведь первые впечатления бывают самые верные, — как тебе понравилась Вонсовская?

— Кажется, женщина предприимчивая и веселая.

— Ты прав. А барон?

— Я его мало знаю. Он уже стар.

— О да, стар, очень стар, — вздохнула председательша, — и все-таки собирается жениться. А что ты скажешь о его невесте?

— Я ее совсем не знаю; но меня удивляет, как она могла выбрать барона, хотя он, вероятно, и благороднейший человек.

— Да, это странная девушка, — продолжала председательша. — И скажу тебе, я уже не испытываю к ней прежней привязанности. Ее замужеству я не мешаю, потому что не одна барышня позавидует ей и все вокруг твердят, что для нее это блестящая

партия. Но ее доля наследства перейдет к другим. Кому достанется богатство барона, тот не нуждается в моих двадцати тысячах.

В голосе старушки слышалось раздражение.

Она отпустила Вокульского и посоветовала ему пройтись по парку.

Вокульский вышел во двор и, обогнув левый флигель, где помещалась кухня, свернул в парк.

Позже ему не раз вспоминались первые два наблюдения, сделанные им в Заславеке.

Прежде всего он увидел неподалеку от кухни конуру, а перед нею, на цепи, собаку, которая, приметив чужого, начала лаять, выть и метаться, как бешеная. Разглядев, что глаза у собаки при этом веселые и она виляет хвостом, Вокульский погладил ее; это сразу расположило свирепую зверюгу к гостю, и она уже не хотела отпускать его от себя. Она взвизгивала, хватала его за полы, опрокидывалась на спину, как бы добиваясь, чтобы ее приласкали или хотя бы побыли с нею.

«Вот странная цепная собака», — подумал Вокульский.

В эту минуту из кухни появилось новое чудо: толстый старик работник, поперек себя шире. Вокульский, еще ни разу в жизни не встречавший толстого мужика, заговорил с ним.

— Зачем вы держите эту собаку на цепи?

— А чтоб злая была и не пускала в дом воров, — отвечал мужик, улыбаясь.

— Так почему бы вам не взять злого цепного пса?

— А наша барыня не станет держать злую животину. У нас пес и тот должен быть ласковый.

— А вы, отец, что тут делаете?

— Пасечник я. Прежде землю пахал, да вол ребро покалечил, так барыня послала меня на пасеку.

— И хорошо вам?

— Поначалу тошно было без работы, а потом привык, ничего.

Простившись с мужиком, Вокульский свернул к парку и долго прогуливался по липовой аллее, ни о чем не думая. Он чувствовал, как все, что тяготило его и отравляло мозг, — сумятица Парижа, шум Варшавы, гудение железной дороги, — все волнения, все пережитые горести теперь словно испарились. Если бы его спросили: «Что такое деревня?» — он ответил бы: «Тишина».

Вдруг он услышал позади быстрые шаги. Его догонял Охоцкий, который нес на плече две удочки.

— Панна Фелиции здесь не было? — спросил он. — Мы условились в половине третьего вместе пойти на рыбную ловлю... Ну, да женская аккуратность известна! Может, и вы отправитесь с нами? Нет, не хочется? Так не сразиться ли вам со Старским в пикет? Он всегда готов, если только нет партнеров для преферанса.

— А что здесь делает пан Старский?

— Как что? Живет у своей двоюродной бабки и крестной, председательши Заславской, а в настоящий момент горюет, что наверняка не получит от нее в наследство поместья. Лакомый кусочек, около трех тысяч рублей. Но председательша предпочитает оказать поддержку подкидышам, а не казино в Монако. Бедный мальчик!

— А чем ему плохо?

— Ну, как же! С бабкой дело провалилось, с Казей сорвалось — впору хоть пулю себе в лоб пустить! Надо вам сказать, — продолжал Охоцкий, поправляя удочки, — что Вонсовская, будучи барышней, питала к Старскому слабость. Казик и Казя — подходящая парочка, а? Кажется, именно по этому поводу пани Казя и пожаловала сюда три недели назад (а после мужа ей достался изрядный куш, пожалуй не меньше, чем у председательши!). Несколько дней они даже как будто ладили, и Казик в счет будущего приданого успел выдать ростовщику новый вексель, как вдруг... все расклеилось... Вонсовская прямо издевается над ним, а он делает вид, будто все в порядке. Словом, плохо дело! Придется ему отказаться от путешествий и осесть в своем жалком именице, пока не умрет дядюшка; у того, правда, давно уже камни в печени.

— А что пан Старский делал до сих пор?

— Ну, прежде всего он делал долги. Немножко поигрывал в карты, немножко ездил по свету (по-моему, преимущественно по парижским и лондонским кабачкам, в этот его Китай я не очень-то верю), но главным образом занимался совращением молодых дам. В этом деле он просто виртуоз и заслужил уже такую прочную репутацию, что замужние дамы и не пытаются устоять перед ним, а барышни верят, что стоит Старскому поухаживать за какой-нибудь девушкой, и она тот же час выскочит замуж. Чем плохое занятие? Не хуже многих других...

— Конечно, — подтвердил Вокульский, несколько успокоившись насчет соперника. «Такому не соблазнить панну Изабеллу...»

Они дошли до конца парка; за оградой виднелся ряд каменных строений.

— Поглядите-ка, что за оригинальная женщина наша председательша! — сказал Охоцкий. — Видите вот те дворцы? Все это — помещения для прислуги. А вон там — приют для мужичьих детей, их тут штук тридцать; целый день они играют, умытые и одетые, как барчуки... А вон тот домик — богадельня; там сейчас четверо стариков, они заполняют свой досуг тем, что чистят волос, которым набивают тюфяки для гостей. Где только я не побывал у нас в стране — и всюду видел, что батраки живут, как свиньи, а их дети копошатся в грязи, как поросята... Когда я впервые попал сюда, то глазам своим не поверил. Мне казалось, что я очутился на острове Утопии^[39] либо открыл страницу скучного нравоучительного романа, в котором автор описывает, какими должны быть помещики, но какими они никогда не будут. Эта старушка внушает мне уважение... А посмотрели бы вы, какая у нее библиотека, что она читает!.. Я остолбенел, когда она однажды попросила меня разъяснить ей некоторые положения теории эволюции, — она не приемлет ее только потому, что теория эта выдвигает в качестве основного закона природы борьбу за существование.

В конце аллеи показалась панна Фелиция.

— Что же, пойдете, пан Юлиан? — спросила она Охоцкого.

— Пойдем, и пан Вокульский с нами.

— Да-а-а-а? — удивилась девушка.

— Это будет вам неприятно? — спросил Вокульский.

— Нет, почему же... только я думала, что вам интереснее проводить время с пани Вонсовской.

— Панна Фелиция, голубушка! — воскликнул Охоцкий, — только, пожалуйста, не притворяйтесь язвительной: все равно у вас ничего не получится.

Девушка надулась и, обогнав своих спутников, пошла по направлению к пруду; мужчины последовали за нею. Удили они до пяти часов пополудни, на самом солнцепеке, а день был жаркий. Охоцкий поймал двухдюймового пескаря, а панна Фелиция оборвала кружево на рукаве. В результате между ними разгорелся спор о том, кто хуже: барышни, не имеющие понятия, как надо держать удочку, или молодые люди, не умеющие ни минуты посидеть молча.

Примирил их только гонг, сзывающий гостей к обеду.

После обеда барон удалился в свою комнату (в эти часы он неизменно страдал мигренью); а остальным предстояло собраться в беседке, куда обычно подавали фрукты.

Вокульский пришел туда через полчаса. Он думал, что окажется первым, между тем застал в сборе все дамское общество, внимательно слушавшее рассуждения Старского. Тот сидел, развалившись в березовом кресле, и, с небрежным видом похлопывая хлыстиком по носку своего башмака, говорил:

— Все супружеские союзы, сыгравшие какую-нибудь роль в истории, были отнюдь не браками по любви, а браками по расчету. Что знали бы сейчас потомки о Ядвиге или о Марии Лещинской^[40], если б эти дамы в свое время не решились сделать разумный выбор? Чем был бы Стефан Баторий^[41] или Наполеон Первый, если бы они не женились на влиятельных женщинах? Супружество — акт слишком значительный, чтобы, вступая в него, слушаться только голоса сердца. Это не поэтическое слияние двух душ, а событие, имеющее важные последствия для многих лиц и многих дел. Допустим, я сегодня женюсь на горничной или даже на гувернантке и завтра же лишусь доступа в свой круг. Никто не станет справляться о температуре моих чувств, зато каждый спросит: на какие доходы он будет содержать семью и кого он вводит в свой дом?

— Одно дело — брачный союз по политическим соображениям, а другое — брак по расчету с нелюбимым человеком, — возразила председательша, глядя в землю и барабаня пальцами по столу. — Это насилие над самыми священными чувствами.

— Ах, дорогая бабушка, — со вздохом отвечал Старский, — легко говорить о свободе чувств, имея двадцать тысяч рублей годового дохода. Все кричат: «Подлые деньги! Мерзкие деньги!» Но почему же все, от батрака до министра, стесняют свою свободу

узами обязанностей? Ради чего шахтер и моряк рискуют своей жизнью? Разумеется, ради подлых денег, потому что только подлые деньги дают человеку свободу хоть на несколько часов в день, хоть на несколько месяцев в году, хоть на несколько лет в жизни. Все мы лицемерно презираем деньги, однако каждый из нас понимает, что это навоз, на котором вырастает личная свобода, наука, искусство и даже идеальная любовь. В конце концов, где родилась рыцарская любовь, любовь трубадуров? Уж, во всяком случае, не среди сапожников и кузнецов и даже не среди докторов и адвокатов. Ее взлелеяли имущие классы; это они сотворили женщину с нежной кожей и белыми ручками, они создали мужчину, у которого вдоволь досуга, чтобы поклоняться женщине.

Наконец тут среди нас находится один из людей действия, пан Вокульский, который, по словам бабушки, неоднократно доказывал свой героизм. Что толкало его на путь опасностей? Разумеется, деньги, которые теперь в его руках обратились в могучую силу...

Наступила тишина. Все дамы устремили глаза на Вокульского. После небольшого молчания он ответил:

— Да, вы правы, я добыл свое состояние в опасностях и трудах; но разве вы знаете, зачем я добывал его?

— Позвольте, — прервал его Старский, — я отнюдь не попрекаю вас, а, напротив, считаю пример ваш похвальным и достойным подражания. Однако же откуда вы знаете, что человек, который женится (или выходит замуж) по расчету, не преследует тоже какой-нибудь благородной цели? Говорят, родители мои поженились по любви; несмотря на это, они не были счастливы, а я, плод их горячих чувств, и подавно... Между тем моя почтенная бабушка вышла замуж вопреки склонности и ныне является благословением всей округи. Более того, — прибавил он, целуя руку председательше, — она исправляет ошибки моих родителей, которые были так поглощены своей любовью, что не позаботились обеспечить родного сына... Наконец, вот и еще подтверждение в лице очаровательной пани Вонсовской...

— О сударь, — перебила вдова, покраснев, — вы выступаете, словно обвинитель на Страшном суде. Я тоже отвечу, как пан Вокульский: разве вы знаете, зачем я это сделала?

— Однако и вы это сделали, и бабушка, и мы все так же сделаем, — с холодной насмешкой возразил Старский. — Кроме, разумеется, пана Вокульского, у которого достаточно денег, чтобы дать волю своим чувствам...

— И я сделал то же самое, — сдавленным голосом отозвался Вокульский.

— Как, вы женились ради богатства? — спросила вдовушка, широко раскрывая глаза.

— Не ради богатства, а ради права на работу и куска хлеба. Я хорошо знаю закон, о котором говорит пан Старский...

— Ну, что? — ввернул пан Старский, глядя на бабушку.

— ...и именно потому сожалею о тех, кто вынужден ему подчиняться, — закончил Вокульский. — Это, может быть, самое ужасное несчастье в жизни.

— Ты прав, — подтвердила председательша.

— Вы начинаете интересоваться меня, сударь, — сказала Вонсовская, протягивая Вокульскому руку.

Панна Эвелина в продолжение всего разговора сидела, низко склонившись над вышиваньем. Вдруг она подняла голову и взглянула на Старского с таким отчаянием, что Вокульский был поражен. Но Старский продолжал похлопывать хлыстом по носку своего башмака, покусывать сигару и улыбаться полуязвительно, полупечально.

За беседкой раздался голос Охоцкого:

— Ну, видишь, я говорил тебе, барыня здесь...

— Так ведь то в беседке, а не в кустах, — отвечала молоденькая крестьянка с корзинкой в руках.

— Вот глупая! — буркнул Охоцкий, выходя из-за кустов и беспокойно поглядывая на дом.

— Ого-го! Пан Юлиан выступает в роли покорителя, — заметила вдовушка.

— Да ведь, честное слово, я только затем пошел через цветники, чтоб покороче... — оправдывался Охоцкий.

— И сбились с пути, как утром, когда везли нас...

— Даю честное слово...

— Лучше уж не оправдывайся, а подай мне руку и пойдем, — прервала председательша.

Охоцкий повел ее из беседки, но лицо у него было такое смущенное, а шляпа так отчаянно сдвинулась набекрень, что Вонсовская не утерпела и весело расхохоталась; это вызвало новую вспышку румянца на щеках панны Фелиции, а Охоцкого заставило несколько раз сердито оглянуться на вдовушку.

Все общество свернуло налево и пошло боковой аллеей к приусадебным строениям: впереди председательша и Охоцкий, за ними девушка с корзинкой, потом вдовушка и панна Фелиция, затем Вокульский, а за ним панна Эвелина со Старским. Из-за калитки, которой как раз достигли передние пары, доносился все возрастающий шум; в эту минуту Вокульский услышал тихий разговор позади.

— Иногда мне так тяжело, что хоть в гроб ложись... — шептала панна Эвелина.

— Крепитесь, крепитесь! — тоже шепотом отвечал Старский.

Только теперь Вокульский понял цель предпринятой прогулки, увидев, как по двору навстречу председательше бежит целая стая кур, а она сыплет им зерно из корзинки... За курами показалась птичница, старая Матеушова, и доложила барыне, что все благополучно, только утром над двором кружил ястреб да пополудни одна курица чуть не подавилась камешком, но, слава богу, все обошлось.

С птичьего двора председательша проследовала к хлевам и конюшням, а работники, большей частью люди пожилые, перед нею отчитывались. Тут едва не случилось беды:

из конюшни выскочил рослый жеребенок и, встав на дыбы, точь-в-точь как пес на задние лапы, кинулся было на председательшу. К счастью, Охоцкий удержал резвое животное, и председательша, как обычно, попотчевала его сахаром.

— Он вас когда-нибудь покалечит, бабушка, — с неудовольствием сказал Старский. — Где это видано приучать к таким нежностям жеребят, из которых со временем вырастают лошади!

— Ты всегда говоришь разумно, — отвечала председательша, поглаживая жеребенка; тот положил морду ей на плечо, а потом побежал за ней следом; батраки с трудом загнали его обратно в конюшню.

Даже некоторые коровы узнавали свою госпожу и приветствовали ее тихим, ласковым мычаньем.

«Удивительная женщина», — подумал Вокульский, глядя на старушку, которая умела внушать любовь к себе и животным и людям.

После ужина председательша отправилась спать, а Вонсовская предложила пройтись по парку.

Барон без особого удовольствия принял предложение. Он надел теплое пальто, закутал шею платком и, взяв под руку невесту, пошел с нею вперед. О чем они говорили, никто не знал, только можно было заметить, что она побледнела, а у него выступили красные пятна на щеках.

Около одиннадцати все разошлись, а барон, покашливая, проводил Вокульского в его комнату.

— Ну что, присмотрелись вы к моей невесте?.. Как она хороша! Тип весталки, знаете ли... Правда? А особенно когда на личике ее появляется выражение этакой странной меланхолии, — вы обратили внимание? Она так прелестна, что... я готов жизнь отдать за нее... Никому, кроме вас, я бы этого не сказал но, поверите ли, она будит во мне такое благоговение, что я не знаю, посмею ли когда-нибудь прикоснуться к ней... Мне хочется молиться на нее!.. Просто упасть к ее ногам, и глядеть ей в глаза, и, если она позволит — целовать край ее платья... Но, простите, не наскучил ли я вам?

Барон вдруг так закашлялся, что глаза его налились кровью. Отдышавшись, он продолжал:

— Вообще-то я не кашляю, но сегодня немного простудился; я не очень склонен к простудам, только вот осенью и ранней весной. Ну, да ничего, пройдет. Как раз позавчера я пригласил на консилиум Халубинского и Барановского[42], и они сказали, что мне надо только беречься, и тогда я буду здоров... Спрашивал я их также (говорю это только вам!), что они думают о моей женитьбе. Они сказали, что женитьба — дело личное... Я подчеркнул, что берлинские врачи давно уже советовали мне вступить в брак. Тогда они призадумались, и кто-то из них заметил: «Очень жаль, что вы сразу же не послушались их совета...» Так что я уже твердо решил не откладывать дальше осени...

Снова его одолел кашель. Отдышавшись, он вдруг спросил изменившимся голосом:

— Вы верите в загробную жизнь?

— Почему вы спрашиваете?

— Видите ли, что ни говори, вера спасает человека от отчаяния. Я, например, понимаю, что и сам уже не буду счастлив так, как мог быть когда-то, и ей не дам полного счастья. Единственное, что утешает меня, это мысль о встрече с ней в ином, лучшем мире, где мы оба опять будем молоды. Ведь она, — прибавил он задумчиво, — и там будет моею, ибо священное писание учит: «Что вы свяжете на земле, то будет связано и на небе...» Вы, может быть, в это не верите, как и пан Охоцкий, однако признайтесь, что... иногда... вы все-таки верите и не могли бы поклясться, что так не будет?

Часы за стеной пробили полночь; барон испуганно вскочил и простился с Вокульским. Через несколько минут его астматический кашель послышался из другого конца флигеля.

Вокульский открыл окно. Возле кухни громко кукарекали петухи. В парке жалобно стонала сова; с неба сорвалась звезда и покатила куда-то за деревья. Барон все еще кашлял.

«Неужели все влюбленные так слепы, как он? — думал Вокульский. — И мне, да и каждому здесь ясно, что эта девица совсем его не любит. Кажется, она даже влюблена в Старского.

Я еще не разобрался в положении, но, по всей вероятности, дело обстоит так: барышня выходит замуж ради денег, а Старский поддерживает ее решимость своими теориями. А может быть, и он немного увлекся ею? Вряд ли. Верней, она ему уже надоела, и он хочет поскорее спихнуть ее замуж. Впрочем... Нет, это было бы чудовищно... Только у публичных женщин бывают любовники, которые ими торгуют. Что за глупое предположение! Может быть, Старский в самом деле ей друг и советует так, как считает правильным. Ведь он открыто заявляет, что сам женится только на богатой. Чем плохой принцип? Не хуже других, как сказал бы Охоцкий. Правильно говорила как-то председательша, что у нынешнего поколения крепкие головы и холодные сердца; наш пример отвратил их от сентиментальности, и они верят только в силу денег, что, впрочем, свидетельствует об их рассудительности. А Старский, право же, не глуп: пожалуй, немного шалопай и бездельник, но бесспорно не глуп. Любопытно, за что с ним так круто обходится Вонсовская? Вероятно, она питает к нему слабость, а так как деньги у нее есть, то в конце концов они все-таки поженятся. Впрочем, какое мне до этого дело?..

Любопытно, почему председательша сегодня ни разу не упомянула о панне Изабелле? Ну, уж спрашивать я не стану... Мигом начали бы болтать бог знает что...»

Вокульский заснул и во сне увидел себя влюбленным и хилым бароном, а Старский играл при нем роль друга дома.

Он проснулся и рассмеялся:

— Ну, уж тут бы я сразу вылечился!

Утром он опять удил рыбу вместе с панной Фелицией и Охоцким. А когда в час дня все собрались за завтраком, Вонсовская обратилась к хозяйке дома:

— Бабушка, вы позволите оседлать двух лошадей, для меня и для пана Вокульского? — И, обернувшись к Вокульскому, прибавила: — Мы поедем через полчаса. С этой минуты вы начинаете нести свою службу при мне.

— Вы поедете только вдвоем? — спросила панна Фелиция, пылая румянцем.

— А разве и вы с паном Юлианом хотели бы ехать?

— Только, пожалуйста... Прошу не распорядиться моей особой! — запротестовал Охоцкий.

— Фелиция останется со мною, — вмешалась председательша.

У панны Фелиции кровь прилила к лицу и на глазах выступили слезы. Она взглянула на Вокульского — сначала сердито, потом высокомерно и, наконец, выбежала из комнаты, будто бы за платочком. Вернулась она с покрасневшим носиком и посмотрела на присутствующих, словно Мария Стюарт, прощающая своих палачей.

Ровно в два часа к крыльцу подвели двух прекрасных верховых лошадей. Вокульский подошел к своей, тотчас явилась и Вонсовская. Амазонка плотно облегла ее фигуру, статную, как у Юноны; рыжеватые волосы были собраны в тяжелый узел. Она поставила ногу на руку конюха и, как пружина, прыгнула в седло. Хлыст слегка дрожал у нее в руке.

Между тем Вокульский спокойно поправлял стремяна.

— Скорее, сударь, скорее! — торопила она, натягивая поводья; лошадь под ней танцевала и становилась на дыбы. — За воротами поскачем галопом... *Avanti, Savoia! <Вперед, Савойя! (итал.)>*

Наконец Вокульский вскочил на коня, Вонсовская нетерпеливо взмахнула хлыстом — и оба тронулись в путь.

Примерно на версту от усадьбы тянулась дорога, обсаженная липами. По обе стороны серели поля, на которых кое-где еще стояли большие, как избы, скирды пшеницы. Небо было чистое, солнце светило ярко, издали доносился жалобный скрип молотилки.

Несколько минут лошади бежали рысью. Но вот Вонсовская приложила рукоять хлыста к губам, подалась вперед и полетела галопом. Вуаль развевалась за нею, как сизое крыло.

— *Avanti! Avanti!*

Так они мчались несколько минут. Вдруг всадница круто осадила коня; она разругнулась и тяжело дышала.

— Хватит, — сказала она. — Теперь поедем шагом.

Она выпрямилась и устремила пристальный взгляд на восток, где вдалеке синел лес. Аллея осталась позади, они ехали полем; кругом серели скирды хлеба и зеленели грушевые деревья.

— Скажите, — спросила вдова, — приятно наживать состояние?

— Нет, — подумав, ответил Вокульский.

— А тратить его приятно?

— Не знаю.

— Вы не знаете? А ведь о вашем состоянии рассказывают чудеса. Говорят, у вас тысяч шестьдесят годового дохода...

— Сейчас у меня значительно больше; но я очень мало трачу.

— Сколько же?

— Тысяч десять.

— Жаль. Я в прошлом году решила промотать уйму денег. Управляющий и кассир уверяют меня, будто я истратила двадцать семь тысяч... Я безумствовала — и все же не разогнала скуку... Сегодня я подумала: спрошу-ка, как чувствует себя человек, который тратит шестьдесят тысяч в год? Но вы не тратите столько. Жаль!.. Знаете что? Истратите как-нибудь шестьдесят, нет, сто тысяч в год и скажите мне: действительно ли это дает сильные ощущения и каковы они? Хорошо?

— Заранее могу вам сказать, что не дает.

— Нет? К чему же тогда деньги? Если и сто тысяч в год не могут дать счастья, так от чего же оно зависит?

— Можно и с одной тысячей быть счастливым. Счастье каждый носит в самом себе.

— Но откуда-то оно берется...

— Нет, сударыня.

— И это говорите вы, человек столь необыкновенный!

— Если б даже я и был необыкновенным человеком, то лишь благодаря страданиям, а не счастью. И уж, во всяком случае, не благодаря расходам.

На опушке леса показалось облачко пыли. Вонсовская с минуту вглядывалась в него, потом вдруг хлестнула коня и, свернув влево, понеслась по полю, не разбирая дороги.

— *Avanti! Avanti!*

Они скакали минут десять; на этот раз Вокульский первый осадил коня. Он остановился на вершине холма; внизу расстилался зеленый луг, прекрасный, как мечта. Что именно было в нем прекрасно — зеленая трава или крутые изгибы речушки, склоненные над нею деревья или ясная синева неба? Вокульский не знал.

Но Вонсовская не любовалась пейзажем. Она сломя голову летела с холма, словно желая поразить спутника своей отвагой.

Когда Вокульский, не торопясь, спустился следом, она повернула к нему коня и нетерпеливо крикнула:

— Боже, неужели вы всегда такой скучный? Не за тем же я вас взяла на прогулку, чтобы зевать... Извольте развлекать меня, и немедленно...

— Немедленно? Хорошо. Вы не находите, что пан Старский весьма интересный человек?

Она откинулась в седле, словно падая навзничь, и посмотрела на Вокульского долгим взглядом.

— Ну! — рассмеялась она. — Не ожидала я от вас такой пошлой фразы... Пан Старский интересен... для кого? Разве только для... для... таких уток, как панна Эвелина. Меня, например, он уже давно перестал интересовать.

— Однако...

— Без всяких «однако»! Правда, он интересовал меня раньше, когда я только собиралась стать мученицей супружества. К счастью, муж мой оказался так любезен, что вскорости умер, а пан Старский так незамысловат, что даже при моем небогатом жизненном опыте я в неделю раскусила его. Все та же бородка а la великий князь Рудольф и те же приемы обольщения. Эти его взгляды, недомолвки, таинственность — все это я знаю наперечет, как фасоны его сюртуков. По-прежнему за версту обходит бесприданниц, циничен с замужними дамами и нежно вздыхает возле богатых невест. Боже мой, сколько уже попадалось мне таких в жизни. Сейчас мне нужно что-нибудь новое...

— В таком случае Охоцкий...

— О да, Охоцкий интересен и даже мог бы стать опасным, но для этого мне пришлось бы заново родиться. Это человек не того мира, к которому я привязана телом и душой! Ах, как он наивен и как великолепен! Он все еще верит в идеальную любовь и надеется встретить женщину, с которой он сможет запереться в своей лаборатории, твердо зная, что она никогда ему не изменит... Нет, он мне не пара. Но что это случилось с моим седлом? — вдруг вскричала она. — Сударь, у меня подпруга отстегнулась... взгляните, пожалуйста...

Вокульский соскочил с коня.

— Вы спешите? — спросил он.

— И не подумаю. Проверьте так.

Он зашел с правой стороны — подпруга держалась крепко.

— Да не там... Вот здесь... здесь, возле стремени.

Он заколебался, однако откинул шлейф ее амазонки и просунул руку под седло. Вдруг кровь бросилась ему в голову: вдовушка шевельнула ногой и коленом коснулась его щеки.

— Ну что? Ну что? — нетерпеливо спрашивала она.

— Ничего. Подпруга в порядке.

— Вы поцеловали мою ногу? — крикнула она.

— Нет.

Она хлестнула коня и понеслась вскачь, бормоча:

— Глупец, глупец... или камень!

Вокульский медленно сел на лошадь. Невыразимой тоской сжалось его сердце, когда он подумал:

«Неужели и панна Изабелла катается верхом? Кто же ей поправляет седло?..»

Он подъехал к Вонсовской. Она встретила его взрывом смеха.

— Ха-ха-ха! Вы неподражаемы!

Потом заговорила низким, звенящим голосом:

— В книгу моей жизни вписана великолепная страница: я разыграла роль жены Пентефрия и нашла прекрасного Иосифа... Ха-ха-ха! Только одно обстоятельство меня огорчает: вы так и не сумеете оценить мою способность кружить головы. На вашем месте сто других мужчин в подобную минуту сказали бы, что жить без меня не могут, что я похитила их покой и так далее... А этот отвечает: «нет!» — и все тут. За одно это «нет» вам уготовано в царствии небесном место среди невинных младенцев. Этакое высокое креслице, с перекладиной впереди... Ха-ха-ха!

Она покатывалась со смеху.

— А что бы вы выиграли, если б я ответил, как другие?

— Одной победой больше.

— А этим что вы выиграете?

— Я заполняю таким образом пустоту жизни. Из десяти поклонников, признавшихся мне в любви, я выбираю одного, который кажется мне наиболее любопытным, забавляюсь им, мечтаю о нем...

— А потом?

— Делаю смотр следующего десятка и выбираю нового!

— И часто?

— Хоть каждый месяц. Что вы хотите, — прибавила она, пожимая плечами, — такова любовь нашего века — века пара и электричества!

— Да, это верно. Она даже напоминает поезд.

— Летит как вихрь и мечет искры?

— Нет. Быстро едет и набирает пассажиров сколько влезет.

— О, пан Вокульский!

— Я не хотел вас обидеть, сударыня. Я только сформулировал то, что услышал.

Вдовушка прикусила губки. Некоторое время они ехали молча. Первой заговорила Вонсовская:

— Я уже определила, кто вы такой: вы педант. Каждый вечер, — не знаю, в котором часу, но, наверно, не позднее десяти, — вы проверяете счета, потом отправляетесь спать, а перед сном непременно читаете молитву, громко повторяя: «Не пожелай жены ближнего своего». Верно?

— Продолжайте, сударыня.

— Не буду продолжать, мне наскучило разговаривать с вами. Ах, жизнь полна разочарований! Когда мы впервые надеваем платье со шлейфом, когда отправляемся на первый бал, когда впервые влюбляемся — нам все кажется открытием... Но вскоре мы убеждаемся, что все это или уже было, или ничего не стоит...

Помню, в прошлом году я была в Крыму; мы ехали небольшой компанией по пустынной дороге, на которой некогда пошаливали разбойники. Только мы заговорили об этом, как вдруг из-за скалы показываются два татарина... «Слава богу, думаю, они наверняка собираются нас зарезать». Пригожие, надо сказать, были мужчины, но физиономии самые свирепые. И что же? Знаете, с чем они обратились к нам? Предложили купить у них винограду! Подумайте! Я-то жду разбойников, а они торгуют виноградом! Со злости я чуть не бросилась на них с кулаками, право! Так вот — сегодня вы напомнили мне этих татар... Председательша уже несколько недель мне толкует, что вы человек оригинальный, совсем не похожий на других, а между тем я вижу, что вы самый обыкновенный педант. Ведь верно?

— Верно.

— Видите, как я разбираюсь в людях! Может быть, поскачем еще галопом? Или нет, мне уже расхотелось, я устала. Ах... встретить бы хоть раз в жизни действительно необычного человека!..

— Ну, и что тогда?

— Ну, он вел бы себя как-то по-новому, говорил бы мне новые слова, иногда сердил бы меня до слез, а потом сам до смерти обижался бы, а потом, разумеется, должен был бы просить прощения. О, он влюбился бы в меня до безумия! Я так вцепилась бы ему в сердце и в память, что он и в могиле не забыл бы меня... Вот это по мне, это любовь!

— А вы что дали бы ему взамен? — спросил Вокульский, которому с каждой минутой становилось все тяжелее на сердце.

— Не знаю, право... Может быть, я бы решилась на какое-нибудь безумство...

— Теперь позвольте мне сказать, что получил бы от вас этот необычный человек, — заговорил Вокульский с чувством горького озлобления. — Сначала длинный список предыдущих поклонников, потом не менее длинный список поклонников, которые придут ему на смену, а в антракте возможность проверить, хорошо ли затянута подруга...

— Это низость — так говорить! — крикнула Вонсовская, сжимая в руке хлыст.

— Я только повторил то, что слышал от вас же, сударыня. Однако, если при столь недолгом знакомстве я говорю слишком смело...

— Ничего. Продолжайте... Может быть, ваши дерзости окажутся любопытнее, чем холодная любезность, которую я знаю наизусть. Разумеется, такой человек, как вы, должен презирать женщин, подобных мне... Ну, смелее...

— Простите, пожалуйста. Прежде всего не будем употреблять слишком сильные выражения, которые мало уместны на прогулке. Между нами идет разговор не о чувствах, а только о взглядах. Так вот, по-моему, в ваших взглядах на любовь имеется непримиримое противоречие.

— Разве? — удивилась вдова. — То, что на вашем языке зовется противоречием, я в своей жизни великолепно примиряю.

— С одной стороны, вы говорите о частой смене любовников...

— Если вы не возражаете, назовем их лучше поклонниками.

— А с другой — хотите встретить какого-то необычного, незаурядного человека, который помнил бы о вас даже в могиле. Так вот, насколько я знаю человеческую натуру, эта цель недостижима. Вы, столь расточительная в своих милостях, не станете бережливой, а человек недюжинный не захочет стать в ряд с дюжиной других...

— Он может не знать об этом, — перебила вдова.

— Ах, значит, комедия, для успеха которой нужно, чтобы ваш герой был слеп и глуп! Но пусть даже ваш избранник окажется таким; неужели вы действительно решитесь вводить в заблуждение человека, который так сильно полюбит вас?

— Хорошо, ну так я расскажу ему все, а закончу следующими словами: «Помни, что и Христос простил Магдалину; ведь я меньше грешила, а волосы у меня не менее хороши...»

— И он удовлетворился бы этим?

— Думаю, что да.

— А если нет?

— Тогда я оставила бы его в покое.

— Да, но сначала вы так впились бы ему в сердце и в память, что он и в могиле не мог бы вас забыть! — вспыхнул Вокульский. — Ну, и хорош же ваш мир! Хороши женщины, подле которых влюбленные, беззаветно преданные им всей душой, вынуждены поминутно смотреть на часы, чтобы не встретиться со своими предшественниками и не помешать преемникам! Сударыня, даже тесту нужно время, чтобы как следует подняться; так может ли вырасти глубокое чувство в такой спешке, в ярмарочной толчее? Не претендуйте на глубокие чувства: они лишают людей сна и аппетита. Зачем вам отравлять жизнь какому-то человеку, которого вы сейчас, вероятно, даже еще не знаете? Зачем самой себе портить веселое настроение? Лучше по-прежнему держаться программы легких и частых побед, которые не приносят вреда другим, а вам кое-как заполняют жизнь.

— Вы кончили, сударь?

— Пожалуй...

— Так теперь я скажу вам. Все вы подлецы...

— Опять сильное выражение.

— Ваши были еще сильнее. Все вы — ничтожества! Когда женщина в пору юности мечтает об идеальной любви, вы осмеиваете ее наивность и требуете от нее кокетства, без которого девушка кажется вам скучной, а замужняя женщина — глупой. А когда, в результате общих усилий, она привыкает к пошлым признаниям, томным взглядам и тайным рукопожатиям — тут вдруг вылезает из темного угла некий оригинальный субъект в капюшоне Петра Амьенского и торжественно прокликает женщину, созданную по образу и подобию Адамовых сыновей: «Тебе уже возбраняется любить, ты уже никогда не будешь по-настоящему любима, ибо ты имела несчастье попасть в ярмарочную толчею и утратила свои иллюзии». А кто же разворовал их, как не ваши родные братья? И что это за мир, где человека сначала опустошают, а потом сами же осуждают опустошенного.

Вонсовская вынула из кармана платочек и стиснула его зубами. На ресницах ее блеснула слеза и скатилась на конскую гриву.

— Ну, поезжайте же, — воскликнула она, — ваши плоские рассуждения меня раздражают! Поезжайте... и пришлите мне Старского: его наглость забавнее вашей постной важности.

Вокульский поклонился и поехал вперед. Он был раздосадован и смущен.

— Куда вы едете? Не в ту сторону... Еще, чего доброго, заблудитесь, а потом за обедом будете рассказывать, что я совратила вас с пути истинного. Следуйте за мною...

Вокульский ехал в нескольких шагах позади Вонсовской и размышлял:

«Вот каков их мир и каковы их женщины! Одни продаются чуть ли не дряхлым старикам, а другие обращаются с человеческими сердцами, как с куском говядины... Однако странная особа эта барынька! Пожалуй, даже неплохая и, во всяком случае, способна на благородные порывы...»

Через полчаса они уже были на холмах, с которых открывался вид на имение председательши. Вонсовская внезапно повернула коня и, испытующе поглядев на спутника, спросила:

— Что между нами — мир или война?

— Могу ли я сказать откровенно?

— Пожалуйста.

— Я вам глубоко благодарен, сударыня. За один час я узнал от вас больше, чем за всю мою жизнь.

— От меня? Пустое, не придавайте этому значения. В моих жилах течет несколько капель венгерской крови, и стоит мне сесть на коня, как я теряю голову и несу всякий вздор. Впрочем, я не беру назад ни одного слова, сказанного сегодня, но вы ошибаетесь, если думаете, что уже узнали меня. А теперь поцелуйте мне руку: вы действительно интересны.

Она протянула Вокульскому руку; он поцеловал ее, широко раскрыв глаза от изумления.

Глава пятая. Под одной крышей

В то самое время, когда Вокульский с Вонсовской препирались друг с другом, носясь по лугам, из поместья графини в Заславек выезжала панна Изабелла. Накануне она получила от председательши письмо, отправленное с нарочным, а сегодня по настоятельному требованию тетки тронулась в путь, хотя и против собственного желания. Она была уверена, что Вокульский, к которому председательша так явно благоволила, уже в Заславеке, поэтому тотчас являться туда казалось ей неприличным.

«Пусть даже в конце концов мне придется выйти за него замуж, из этого еще не следует, что я должна спешить к нему навстречу», — думала она.

Но вещи были уложены, экипаж подан, на переднем сиденье уже ждала ее горничная, и панна Изабелла решилась.

Прощание с родными было многозначительно. Растроганный Ленцкий молча утирал глаза, а графиня, сунув племяннице в руку бархатную сумочку с деньгами, поцеловала ее в лоб и сказала:

— Я не советую и не отговариваю. Ты девушка рассудительная, положение знаешь, пора самой принять какое-то решение и сделать выводы.

Но какое решение? Какие выводы? Об этом тетка умолчала.

Нынешнее лето в деревне глубоко изменило многие воззрения панны Изабеллы. Однако произошло это не под влиянием свежего воздуха и прекрасных пейзажей, а вследствие некоторых событий и возможности спокойно поразмыслить над ними.

Она приехала сюда, по настоянию тетки, ради Старского, так как все говорили, что ему достанется в наследство бабкино поместье. Между тем председательша, присмотревшись к своему внучатному племяннику, заявила, что в лучшем случае отпишет ему тысячу рублей в год пожизненной ренты, которая ему, наверное, весьма пригодится под старость. А все состояние свое она решила завещать подкидышам и несчастным женщинам.

С этой минуты Старский потерял всякую цену в глазах графини. Панна Изабелла тоже поставила на нем крест, когда он однажды заявил, что никогда не женится на бесприданнице, скорее уж на японке или китаянке, лишь бы она принесла ему несколько десятков тысяч годового дохода.

— Ради меньшего не стоит рисковать своим будущим, — сказал он.

Стоило ему это заявить, и панна Изабелла перестала смотреть на него как на серьезного претендента. Но так как при этом он тихо вздохнул и украдкой посмотрел в ее сторону, панна Изабелла подумала, что красавец Казек, должно быть, втайне страдает и, подыскивая богатую жену, жертвует своим чувством. К кому? Возможно, к ней... Бедный мальчик, но ничего не поделаешь! Может быть, впоследствии найдется способ облегчить его страдания, но пока что следует держать его на расстоянии. Сделать это было нетрудно, ибо Старский вдруг начал усиленно ухаживать за богатой

пани Вонсовской и втихомолку увиваться за панной Эвелиной — вероятно, для отвода глаз, чтобы окончательно замести следы своей давней любви к панне Изабелле.

«Бедный мальчик, но что поделаешь! Жизнь диктует свои обязанности, и приходится исполнять их, как бы ни были они тягостны».

Таким образом, Старский, быть может самый подходящий для панны Изабеллы супруг, был вычеркнут из списка женихов. Он не мог жениться на бедной, но должен был искать богатую невесту, поэтому пропасть между ними была непреодолима.

Второй соискатель ее руки, барон, сам устранился, обручившись с панной Эвелиной. Пока барон добивался благосклонности панны Изабеллы, он был ей противен; но когда он внезапно ее покинул, она испугалась.

Как? Значит, существуют на свете женщины, ради которых можно отказаться от нее? Как? Значит, может наступить момент, когда ее оставят даже столь престарелые поклонники?

Панна Изабелла почувствовала, что почва уходит у нее из-под ног, и тогда-то, под влиянием охватившего ее беспокойства, она довольно благожелательно заговорила с председательшей о Вокульском. Возможно даже, что она действительно произнесла следующие слова:

— Куда же это пропал пан Вокульский? Боюсь, что он на меня обиделся. Я нередко упрекаю себя за то, что относилась к нему не так, как он того заслуживает.

При этом она потупила глаза и покраснела, ввиду чего председательша сочла нужным пригласить Вокульского к себе в поместье.

«Пусть они присмотрятся друг к другу на просторе, — думала старушка, — а там — все в воле божьей. Он среди мужчин — чистейший бриллиант, она тоже хорошая девочка, так, может, они и поладят. А что он к ней равнодушен, я готова побиться об заклад».

Прошло несколько дней, неприятные впечатления понемногу изгладились, и панна Изабелла уже начала раскаиваться, что заговорила с председательшей о Вокульском.

«Он еще, пожалуй, вообразит, что я согласна выйти за него...» — подумала она.

Тем временем председательша рассказала гостившей у нее Вонсовской, что в Заславек приедет Вокульский, очень богатый вдовец и человек во всех отношениях незаурядный, которого она хотела бы женить, тем более что он, кажется, влюблен в панну Изабеллу...

Вонсовская весьма равнодушно слушала о богатстве, вдовстве и матримониальных намерениях Вокульского. Но когда председательша назвала его человеком незаурядным, она насторожилась; услышав же, что он как будто влюблен в панну Изабеллу, она рванулась, как боевой конь благородных кровей, которого неосторожно кольнули шпорой.

Вонсовская была милейшей женщиной, она не думала вторично выходить замуж, а отбивать у барышень женихов — и подавно. Однако пока Вонсовская жила на этом свете, она не могла допустить, чтобы какой-нибудь мужчина любил не ее, а другую

женщину. Жениться по расчету — пожалуйста, в этом Вонсовская даже готова была помочь; но преклоняться разрешалось только перед нею. И даже не потому, что она считала себя красивее всех, а просто... такая уж у нее была слабость.

Узнав, что панна Изабелла сегодня приезжает, Вонсовская потащила Вокульского на прогулку. А заметив на дороге возле леса пыль, клубившуюся за экипажем ее соперницы, она свернула на луг и там устроила великолепную сцену с седлом, которая, однако, не удалась.

Между тем панна Изабелла подъехала к дому. Все вышли ее встречать на крыльцо, приветствуя почти в одних и тех же выражениях.

— Знаешь, — шепнула ей председательша, — Вокульский приехал...

— Вас одной нам не хватало, — воскликнул барон, — чтобы Заславек вполне уподобился райской обители. Сюда уже прибыл весьма приятный и знаменитый гость...

Фелиция Яноцкая отвела панну Изабеллу в сторону и со слезами в голосе начала рассказывать:

— Ты слышала, к нам приехал пан Вокульский... Ах, если бы ты знала, что это за человек! Но нет, я больше ничего не скажу, а то еще и ты подумаешь, что я им увлекаюсь... Ну, и вообрази только: Вонсовская заставила его вдвоем с нею поехать верхом... Посмотрела бы ты, как он, бедняга, краснел!.. А я — за нее. Правда, я тоже ходила с ним удить рыбу, так ведь это здесь, на пруду... и с нами был пан Юлиан. Но чтобы я поехала кататься вдвоем с ним? Да ни за что на свете! Я бы скорей умерла...

Панна Изабелла поторопилась поздороваться с остальными и ушла в отведенную для нее комнату. «Этот Вокульский начинает меня раздражать», — подумала она.

В сущности, это было не раздражение, а нечто другое. Уезжая в Заславек, панна Изабелла действительно злилась и на председательшу за слишком настойчивое приглашение, и на тетку — за то, что та торопила ее ехать, и прежде всего на самого Вокульского.

«Значит, меня в самом деле хотят выдать за этого выскочку? — говорила она себе. — Погоди же, голубчик!» Она не сомневалась, что первым здесь встретит ее Вокульский, и заранее решила держаться с ним высокомерно.

Между тем Вокульский не только не бросился ей навстречу, но, оказывается, поехал кататься с пани Вонсовской.

Панна Изабелла была неприятно задета. «Вот кокетка, — думала она, — а ведь ей уже добрых тридцать лет!»

Когда барон назвал Вокульского знаменитым гостем, самолюбие панны Изабеллы было польщено; правда, чувство это мелькнуло и тотчас исчезло. Когда панна Фелиция нечаянно выдала свою ревность к Вонсовской, панну Изабеллу охватило беспокойство, правда, лишь на одно мгновение.

«Наивная девочка!» — подумала она о Фелиции. Словом, презрение, которое она всю дорогу готовилась излить на Вокульского, совершенно испарилось под влиянием

самых разноречивых чувств: она была и разгневана, и довольна, и встревожена. Теперь Вокульский представлялся панне Изабелле совсем в другом свете. Это был уже не какой-то там галантерейный купец, а человек, возвратившийся из Парижа и располагающий огромным состоянием и связями, которым восхищался барон и с которым кокетничала Вонсовская... Едва панна Изабелла успела переодеться, к ней вошла председательша.

— Душа моя, — сказала старушка, снова целуя ее, — почему же Иоася не изволила пожаловать ко мне?

— Папа нездоров, и она не хочет оставлять его одного.

— Нет уж... нет уж, не говори ты мне этого! Она потому не едет, что не хочет встречаться с Вокульским, вот в чем дело... — заволновалась председательша. — Вокульский хорош, когда сорит деньгами на ее сиротский приют... Нет, Белла, скажу я тебе: видно, никогда твоя тетка не поумнеет...

В панне Изабелле заговорило давнишнее раздражение.

— Может быть, тетя не считает нужным дарить столь явным благоволением простого купца? — сказала она, краснея.

— Купец!.. Купец!.. Ну и что ж? — вспыхнула председательша. — Вокульские — дворяне не хуже Старских и даже Заславских... А что до его занятий... Вокульский, душенька моя, не торговал бог знает чем, как дед твоей тетки... Можешь сказать ей это, если к слову придется. По мне, честный купец лучше десятка австрийских графов. Знаю я, чего стоят их титулы.

— Однако согласитесь, что происхождение...

Председательша иронически рассмеялась.

— Поверь мне, Белла, благородное происхождение — не заслуга тех, кому оно достается. А чистота крови... Боже мой! Какое счастье, что мы не слишком усердно проверяем такие вещи. Знаешь, о происхождении не стоит говорить таким старым людям, как я. Мы-то еще помним дедов и отцов и часто удивляемся: почему сын пошел не в папашу, а в камердинера? Правда, тут много значит — на кого матушка заглядывалась.

— А вам Вокульский, видно, очень нравится, — тихо заметила панна Изабелла.

— Да, очень! — твердо ответила старушка. — Я любила дядю его и всю жизнь была несчастлива только потому, что меня разлучили с ним — из тех же побуждений, из каких сейчас твоя тетка пытается свысока смотреть на Вокульского. Да только он не позволит собой помыкать, о нет! Кто сумел выбиться из такой нищеты, как он, кто с незапятнанной совестью добыл богатство и образование — тому неважно, что о нем скажут в свете. Ты, верно, слышала, какую он нынче играет роль и зачем ездил в Париж. И поверь мне, он не станет заискивать перед светским обществом, оно само к нему явится, и первая придет твоя тетка, если ей что-нибудь понадобится. Я лучше тебя знаю наш свет, дитя мое, и помяни мое слово — он очень скоро окажется в прихожей Вокульского. Это тебе не бездельник вроде Старского, не мечтатель вроде князя и не полоумный вроде Кшешовского... Вокульский — человек действия...

Счастлива будет женщина, которую он назовет своей женой... К сожалению, у наших барышень больше притязаний, нежели чувства и житейского опыта. Правда, не у всех... Ну, не взыщи, если я выразилась слишком уж резко. Сейчас будет обед...

И с этими словами председательша удалилась, оставив панну Изабеллу в глубоком раздумье.

«Разумеется, он мог бы с успехом заменить барона... — мысленно говорила она. — Барон истаскался и просто смешон, а этого по крайней мере все уважают... Казя Вонсовская знает толк в мужчинах, недаром она взяла его на прогулку. Посмотрим же, способен ли пан Вокульский быть верным... Хороша верность — кататься с другой женщиной! Вот уж поистине рыцарь!»

В эту минуту Вокульский, возвращавшийся с Вонсовской с прогулки, заметил во дворе экипаж, из которого выпрягали лошадей.

Его кольнуло какое-то смутное предчувствие, но он не посмел спрашивать, даже притворился, будто и не смотрит на экипаж.

Подъехав к крыльцу, он бросил поводья слуге, а второму велел принести к себе в комнату воды. Он было совсем уже решился спросить: кто приехал? — как вдруг что-то сдавило ему горло, и он не мог произнести ни слова.

«Какая чушь! — думал он. — Ну, допустим, это она; что из того? Панна Изабелла такая же женщина, как пани Вонсовская, панна Фелиция или панна Эвелина... Я же не таков, как барон...»

Но, говоря себе это, он чувствовал, что она для него — не то, что все остальные женщины, и стоит ей пожелать — он готов бросить к ее ногам все свое богатство и даже жизнь.

— Чушь, чушь! — бормотал он, шагая по комнате. — Ведь здесь уже ждет ее поклонник, пан Старский, с которым она сговаривалась весело провести лето... О, я помню, как они переглядывались.

Его охватил гнев.

«Посмотрим, панна Изабелла, какой вы покажете себя и чего стоите? Теперь я буду вашим судьей...» — подумал он.

В дверь постучали, и вошел старый лакей. Он оглянулся по сторонам и сказал вполголоса.

— Ее милость велели доложить вам, что приехала панна Ленцкая, и если ваша милость готовы, то просят пожаловать к столу.

— Передай, что я сию минуту приду.

Слуга ушел, а Вокульский еще с минуту постоял у окна, глядя на парк, освещенный косыми лучами солнца, и на сиреневый куст, в котором весело щебетали птицы. В сердце его нарастала глухая тревога при мысли о том, как он встретится с панной Изабеллой.

«Что я скажу ей, как мне держаться?» Ему казалось, что все глаза обратятся на них обоих, и тогда он непременно сделает какой-нибудь промах и попадет в неловкое положение.

«Разве я не сказал ей, что служу ей верно... как пес!.. Однако надо идти...»

Он вышел из комнаты, опять вернулся и опять вышел. Медленно шагал он по коридору, еле передвигая ноги, обессиленный и оробелый, как пастушонок, который должен предстать пред королевские очи.

Возле двери он остановился. В столовой прозвенел женский смех. У Вокульского потемнело в глазах; он уже хотел уйти и передать через лакея, что заболел, но в эту минуту позади раздались чьи-то шаги, и он толкнул дверь.

Среди общества, собравшегося в столовой, он сразу же увидел панну Изабеллу. Она разговаривала со Старским и смотрела на него так же, как тогда в Варшаве, а он так же насмешливо улыбался...

К Вокульскому сразу вернулось присутствие духа; гнев горячей волной залил его мозг. Он вошел, высоко подняв голову, поздоровался с председательшей и поклонился панне Изабелле; она покраснела и протянула ему руку.

— Здравствуйтесь, сударыня. Как поживает пан Ленцкий?

— Папа чувствует себя несколько лучше... Он шлет вам привет...

— Весьма признателен. А графиня?

— Тетя совершенно здорова.

Председательша села в свое кресло; гости стали размещаться вокруг стола.

— Пан Вокульский, вы сядете рядом со мной, — заявила Вонсовская.

— С величайшим удовольствием, если только солдату разрешается сидеть в присутствии командира.

— Разве она уже взяла тебя под свою команду, пан Станислав? — усмехнулась председательша.

— Еще как! Не часто случалось мне проходить такую муштру!

— Пан Вокульский мстит мне за то, что я сбивала его с пути, — вмешалась Вонсовская.

— Всего приятнее именно сбиваться с пути, — возразил Вокульский.

— Я предвидел, что это произойдет, но не думал, что так скоро, — заметил барон, открывая два ряда великолепных вставных зубов.

— Передайте мне соль, кузен, — сказала панна Изабелла Старскому.

— Пожалуйста... ах, рассыпал!.. Наверное, мы поссоримся.

— Пожалуй, нам это уже не грозит, — возразила панна Изабелла с комической важностью.

— Вы уговорились никогда не ссориться? — спросила Вонсовская.

— Мы собираемся никогда не мириться, — ответила панна Изабелла.

— Хороши! — воскликнула Вонсовская. — На вашем месте, пан Казимеж, я потеряла бы теперь последнюю надежду.

— А разве я когда-нибудь смел надеяться? — вздохнул Старский.

— Поистине, к счастью для нас обоих... — тихо сказала панна Изабелла.

Вокульский присматривался и прислушивался. Панна Изабелла говорила естественно и очень спокойно подшучивала над Старским, а он, по-видимому, отнюдь не был этим расстроен. Зато время от времени он украдкой поглядывал на панну Эвелину Яноцкую, которая перешептывалась с бароном, попеременно краснея и бледнея.

Вокульский почувствовал, как с души его сваливается огромная тяжесть.

«В самом деле, — думал он, — если Старский кем-нибудь интересуется в этом обществе, то разве лишь панной Эвелиной, так же, как она им...»

Он сразу повеселел и проникся горячей симпатией к обманутому барону.

«Ну, я-то, во всяком случае, не стану его предостерегать! — мысленно решил он. — Однако это подло — радоваться чужой беде».

Когда встали из-за стола, панна Изабелла подошла к Вокульскому.

— Знаете, — сказала она, — какое чувство я испытала, увидев вас? Сожаление! Я вспомнила, как мы собирались втроем ехать в Париж — я, папа и вы, а из нашего трио только к вам судьба была благосклонна. По крайней мере приятно ли вы провели там время за нас троих?.. Теперь вы должны уступить мне третью часть своих впечатлений.

— А если они были невеселы?

— Почему же?

— Хотя бы потому, что вас не было там, где мы предполагали быть вместе.

— Насколько мне известно, вы умеете совсем неплохо развлекаться там, где меня нет, — возразила она и отошла.

— Пан Вокульский! — позвала Вонсовская, но, глянув на него и на панну Изабеллу, недовольно прибавила: — Нет, ничего... На сегодня я вас освобождаю. Господа, пойдете в парк. Пан Охоцкий...

— Пан Охоцкий должен сегодня дать мне урок по метеорологии, — ответила за него панна Фелиция.

— Метеорологии? — переспросила Вонсовская.

— Да... Мы сейчас пойдём наверх, в обсерваторию...

— Вы, сударь, собираетесь преподавать только метеорологию? — поинтересовалась вдовушка. — На всякий случай я бы посоветовала спросить бабушку, что она думает об этих уроках...

— Вечно вы устраиваете мне какую-нибудь гадость! — вскипел Охоцкий. — Вам-то можно забираться со мною бог весть в какие дебри, а панне Фелиции нельзя даже заглянуть в обсерваторию...

— Да заглядывайте, пожалуйста, куда угодно! Только теперь пойдемте же наконец в парк. Барон... Белла...

Общество направилось в парк. В первой паре Вонсовская с панной Изабеллой, за ними Вокульский, далее барон со своею невестой, а позади панна Фелиция с Охоцким, который горячился и размахивал руками.

— Никогда и ничему вы не научитесь, разве только носить дурацкие модные шляпки или танцевать восьмую фигуру в контрдансе, если какой-нибудь болван ее выдумает! Никогда и ничему, — повторил он трагическим тоном, — ибо всегда найдется какая-нибудь баба...

— Фи, пан Юлиан! Кто же так выражается?

— Да, да, несносная баба, которая сочтет неприличным, что вы идете со мной в лабораторию...

— Может быть, это и вправду нехорошо...

— Конечно, нехорошо! Носить декольте до пояса — это хорошо, брать уроки пения у какого-то итальянца с грязными ногтями...

— Но, видите ли... если молодых девушек подолгу оставлять наедине с молодыми людьми, так иная, пожалуй, еще и влюбится...

— Ну, и что же? Пусть влюбляется. Разве лучше, если она не влюблена, но глупа как пробка? У вас просто дикие понятия, панна Фелиция...

— О, сударь!..

— Оставьте, пожалуйста, эти восклицания! Или вы хотите учиться метеорологии, и тогда идем наверх...

— Только с Эвелиной или с пани Вонсовской.

— Ладно, ладно уж... Оставим этот разговор, — сказал Охоцкий и в знак возмущения засунул руки в карманы.

Молодая парочка препиралась так громко, что ее слышно было во всем парке, к великому удовольствию Вонсовской, которая покатывалась со смеху. Когда они замолчали, до ушей Вокульского донесся шепот барона и панны Эвелины.

— Вы заметили, — говорил барон, — как этот Старский теряет свои позиции? Одну за другой, знаете ли. Пани Вонсовская издевается над ним, панна Изабелла обходится с ним в высшей степени пренебрежительно, и даже панна Фелиция не обращает на него внимания. Не правда ли?

— Да, — еле слышно отвечала невеста.

— Он из тех молодых людей, единственным достоинством которых являются виды на крупное наследство. Разве я не прав?

— Да.

— А как только исчезла надежда, что председательша оставит ему имение, Старский сразу потерял всякое обаяние. Ведь правда?

— Да, — ответила панна Эвелина, тяжело вздохнув. — Я посижу здесь, — громко прибавила она, — а вы, может быть, принесете мне из дому шаль... Пожалуйста.

Вокульский обернулся. Панна Эвелина, бледная и измученная, сидела на скамье, а барон увивался вокруг нее.

— Иду, сию минуту иду... Сударь, — окликнул он приближавшегося Вокульского, — не можете ли вы занять мое место... Я только сбегаю и сейчас же вернусь...

Он поцеловал невесте ручку и направился к дому.

Вокульский посмотрел ему вслед и впервые заметил, что у барона ножки очень тоненькие и держится он на них не особенно твердо.

— Вы давно знаете барона? — обратилась к нему панна Эвелина. — Может быть, пройдем к беседке...

Вокульский поклонился и пошел.

— Я только в последние дни имел удовольствие ближе познакомиться с бароном.

— Он ваш горячий поклонник... и неоднократно мне говорил, что впервые встретил человека, с которым так приятно разговаривать.

Вокульский усмехнулся.

— Вероятно, потому, что сам он все время говорит со мной о вас, сударыня.

Панна Эвелина сильно покраснела.

— Да, барон очень благородный человек и очень любит меня. Правда, между нами большая разница в годах, но что же из этого? Опытные дамы утверждают, что муж, чем старше, тем вернее, а ведь для женщины привязанность мужа — это все, не правда ли? Каждая из нас ищет в жизни любви, а кто мне поручится, что я встречу еще раз подобное чувство?.. Бывают мужчины моложе, красивее, может даже умнее барона, но никто из них не говорил мне с таким жаром, что все счастье последних лет их жизни — в моих руках. Можно ли тут устоять, даже если такой брак требует известных жертв? Ну скажите сами!

Она остановилась посреди аллеи и посмотрела ему в глаза, с тревогой ожидая ответа.

— Не знаю, сударыня. Это вопрос сугубо личный, — ответил Вокульский.

— Плохо, если вы мне так отвечаете. Бабушка говорит, что вы человек с сильным характером; я до сих пор никогда не встречала людей с сильным характером, а у меня самой характер очень слабый. Я не умею противиться, боюсь отказать... Может быть, это дурно, что я выхожу за барона, — во всяком случае, некоторые дают мне понять, что я дурно поступаю. Вы тоже так думаете? Разве вы могли бы отстраниться от человека, который любит вас больше жизни, который без вашей взаимности проведет скудный остаток своих дней в безнадежном одиночестве и тоске? Если б кто-нибудь у

вас на глазах катился в пропасть и взывал о спасении, неужели вы не протянули бы ему руку и не связали бы себя с ним, пока не подоспеет помощь?

— Я не женщина, и меня никогда не просили, чтобы я жертвовал ради кого-нибудь своей свободой, поэтому не знаю, как бы я поступил в подобном случае, — с раздражением ответил Вокульский. — Знаю одно: как мужчина, я ничего не стал бы вымаливать, даже любовь.

Она глядела на него, полураскрыв губы.

— Скажу вам больше, — продолжал он, — я не только не стал бы просить, но и не принял бы подачки, брошенной мне из сострадания. Такие дары почти всегда половинчатые...

По боковой дорожке к ним с очень деловым видом торопливо шел Старский.

— Пан Вокульский, дамы вас ждут в липовой аллее... — сказал он. — Там моя бабка, пани Вонсовская...

Вокульский заколебался, не зная, как поступить.

— О, я не хочу вас стеснять, — сказала панна Эвелина, покраснев сильнее обычного. — Не задерживайтесь из-за меня. Сейчас вернется барон, и мы втроем присоединимся к вам...

Вокульский поклонился и отошел.

«Вот так история! — думал он. — Панна Эвелина из жалости выходит за барона и, вероятно, из жалости же, заводит роман со Старским... Я еще понимаю барышню, которая выходит замуж по расчету, хотя это и не самый умный способ зарабатывать деньги. Понимаю даже замужнюю женщину, которая после нескольких лет семейного счастья вдруг увлечется и начнет обманывать мужа... Обычно ее толкает на обман страх перед скандалом, дети, тысяча условностей... Но девушка, обманывающая своего жениха, — это нечто совершенно новое!..»

— Панна Эвелина! Панна Эвелина! — вдруг услышал он голос барона где-то совсем близко.

Вокульский круто свернул с аллеи и зашагал по газону.

«Хотел бы я знать, что я ему отвечу, если он меня сейчас заметит? И какого черта я залез в эту грязь?»

— Панна Эвелина! Панна Эвелина! — звал барон уже значительно дальше.

«Соловей приманивает свою самочку, — думал Вокульский. — Но, собственно говоря, можно ли решительно осуждать эту девушку? Она сама признается, что у нее слабый характер, а потихоньку — что ей нужны деньги. Между тем денег у нее нет, а без них она, как рыба без воды. Что же ей остается делать? Бедняжка идет за богатого старика, но сердце у девушки не камень, а поклонник уговаривает идти замуж, и оба полагают, что ласки старого мужа не испортят им удовольствия, — вот они и изобретают нечто новое, измену перед свадьбой, и даже не хлопчут о патенте на свое изобретение. Впрочем, они, может быть, настолько добродетельны, что решили наставить ему рога

лишь после свадьбы... Хорошенькая компания! Общество порождает иногда любопытные явления... И подумать только, что каждому из нас может достаться такой гостинец!.. Право, следовало бы поменьше верить поэтам, восхваляющим любовь как высшее счастье в жизни...»

— Панна Эвелина! Панна Эвелина! — стонущим голосом звал барон.

— Экая подлая роль! — пробормотал Вокульский. — Я предпочел бы пустить себе пулю в лоб, чем превратиться в подобного шута.

Он нашел дам в боковой аллее, неподалеку от скотного двора; председательшу сопровождала горничная с корзинкой в руках.

— А, вот и ты! — встретила старушка Вокульского. — Ну, хорошо. Вы подождите здесь Эвелину с бароном; может, он ее найдет в конце концов, — тут она слегка нахмурилась, — а мы с Казей пойдем к лошадям.

— Пану Вокульскому тоже не мешало бы угостить сахаром своего коня за то, что он так славно прокатил его сегодня, — заметила Вонсовская, надув губки.

— Оставь его в покое, — прервала ее председательша. — Мужчины любят ездить верхом, а нежничать — не их дело.

— Неблагодарные! — шепнула Вонсовская, подавая председательше руку, и повела ее к калитке.

Пройдя несколько шагов, она оглянулась, но, заметив, что Вокульский смотрит ей вслед, быстро отвернула голову.

— Мы пойдем искать жениха с невестой? — спросила панна Изабелла.

— Как вам будет угодно, — ответил Вокульский.

— Так, может быть, оставим их в покое. Говорят, счастливые свидетелей не любят.

— А вы никогда не были счастливы?

— Ах, я... Конечно... Но не так, как Эвелина с бароном.

Вокульский пристально посмотрел на нее. Она была задумчива и невозмутимо спокойна, как статуя греческой богини.

«Нет, эта не станет обманывать», — подумал Вокульский.

Некоторое время они шли молча, направляясь в самую глухую часть парка. Кое-где сквозь зелень старых деревьев мелькали окна, горящие красным отблеском заката.

— Вы первый раз были в Париже? — спросила панна Изабелла.

— Первый.

— Какой это чудный город, не правда ли? — оживилась она и взглянула ему в глаза. — Что бы там ни говорили, а Париж, даже побежденный Париж, по-прежнему остается столицей мира. На вас он тоже произвел впечатление?

— Очень сильное. Несколько недель, проведенных в Париже, придали мне силу и мужество. Действительно, только там я научился гордиться тем, что работаю.

— Объясните мне это, пожалуйста.

— Очень просто. У нас труд дает скудные результаты: мы бедны, отстали. А там труд сияет, как солнце! Вспомните эти здания, от крыши до тротуара покрытые украшениями, словно драгоценные шкатулки! А изобилие картин и статуй, а бесчисленное множество машин, а бездна фабричных и ручных изделий! Лишь в Париже я понял, что человек только с виду хрупок и мал. На самом деле это титан, гениальный и бессмертный! Он с одинаковой легкостью ворочает скалы и высекает из камня тончайшие кружевные узоры.

— Да, — подтвердила панна Изабелла, — у французской аристократии было достаточно времени и средств, чтобы создать эти шедевры.

— У аристократии?

Панна Изабелла остановилась.

— Вряд ли вы станете утверждать, что Луврскую галерею создал Конвент или парижские фабриканты?

— Разумеется, нет, но и не вельможи. Это плод совместного творчества французских строителей, каменщиков, плотников, наконец художников и скульпторов всего мира, которые ничего общего не имели с аристократией. Вот великолепная манера — приписывать бездельникам заслуги и труд людей гениальных и вообще всех тех, кто работает!

— Бездельники и аристократия! — воскликнула панна Изабелла. — Мне кажется, ваше выражение можно назвать скорее сильным, чем верным.

— Вы разрешите, сударыня, задать вам один вопрос?

— Пожалуйста.

— Прежде всего беру назад выражение «бездельники», если оно вас задело. А затем... я попрошу вас указать мне хоть одну особу из высшего общества, которая бы что-нибудь делала. Я знаю человек двадцать этого круга, все они знакомы и вам. Итак, что же все они делают, начиная с князя, благороднейшего человека, которого, впрочем, может оправдать его возраст, и кончая... хотя бы паном Старским, чьи вечные каникулы уж никак не соответствуют положению его дел...

— Ах, мой кузен! Уж он-то, наверное, никогда не собирался служить в чем-либо образцом. Впрочем, мы говорим о французской аристократии, а не о нашей.

— А та что делает?

— Как же, пан Вокульский, они сделали многое. Прежде всего они создали Францию, они были ее рыцарями, вождями, министрами, духовными пастырями.

И затем они собрали те сокровища искусства, которыми вы восхищаетесь.

— Лучше скажите: они издавали много приказов и тратили много денег, однако Францию и ее искусство создали не они. Создали ее плохо оплачиваемые солдаты и моряки, задыхавшиеся под гнетом податей крестьяне и ремесленники и, наконец,

ученые и художники. Я человек опытный, — поверьте мне: предлагать проекты легче, чем осуществлять их, и тратить деньги легче, чем зарабатывать.

— Да вы непримиримый враг аристократии!

— Нет, сударыня, я не вражду с теми, кто мне ни в чем не мешает. Я только считаю, что аристократы незаслуженно занимают привилегированное положение и, желая его удержать, проповедают в обществе презрение к труду и почтение к безделью и роскоши.

— Вы предубеждены против аристократии, а между тем эти бездельники, как вы их называете, играют важную роль в жизни общества. То, что вы называете роскошью, по существу является лишь удобством, удовольствием, известным лоском, который стараются перенять у аристократов низшие сословия и таким образом тоже приобщиться к цивилизации. Я слыхала от весьма либеральных людей, что в каждом обществе должен быть класс, поощряющий развитие науки и искусства, а также утонченные нравы, — во-первых, затем, чтобы служить живым примером для остальных, и во-вторых, чтоб побуждать их к благородным поступкам. Потому-то в Англии и Франции человек простого происхождения, разбогатев, прежде всего ставит свой дом на широкую ногу и принимает у себя людей из высшего общества, а затем старается вести себя так, чтобы и его принимали.

Лицо Вокульского залил яркий румянец. Панна Изабелла, не глядя на него, заметила это и продолжала:

— Наконец, то, что вы называете аристократией, а я назвала бы высшим классом, — это люди хорошей породы. Возможно, что некоторые из них слишком много бездельничают; но если уж кто из их среды возьмется за какое-либо дело, то сразу отличится — энергией, умом или хотя бы благородством. Позвольте мне привести слова, которые часто повторяет князь: «Не будь Вокульский истинным дворянином, не был бы он сейчас тем, чем стал...»

— Князь ошибается, — сухо возразил Вокульский. — То, чего я достиг и чему научился, дало мне не дворянское происхождение, а тяжелый труд. Я больше других работал, вот и стал богаче других.

— Но разве вы могли бы так работать, если б родились в ином кругу? Мой кузен Охоцкий, подобно вам, физик и демократ, а все же он, как и князь, верит в хорошее происхождение. Охоцкий тоже приводил вас в пример, говоря о наследственности. «Вокульскому, — говорил он, — судьба дала удачу, но сила духа у него — от породы».

— Я весьма признателен всем, кто изволит причислять меня к некоей привилегированной касте, — сказал Вокульский, — но все же я никогда не поверю в привилегию на безделье и буду ставить выше заслуги плебеев, нежели претензии аристократов.

— Так вы полагаете, что нет никакой заслуги в поощрении утонченных чувств и нравов?

— Разумеется, это заслуга, но в обществе эту роль исполняют женщины. У них от природы отзывчивей сердце, живее воображение и тоньше чувства, и они-то, а не

аристократия, придают изящество обыденной жизни, смягчают нравы и умеют внушать нам возвышенные чувства. Светоч, озаряющий путь цивилизации,

— это женщина. И нередко она служит невидимой пружинной поступков, требующих чрезвычайного напряжения сил...

Теперь вспыхнула панна Изабелла. Некоторое время они шли молча. Солнце уже скрылось за горизонтом; между деревьями на западе заблестел лунный серп. Вокульский в глубоком раздумье сравнивал два сегодняшних разговора — с Вонсовской и панной Изабеллой.

«Как непохожи эти женщины! И разве я не прав, что стремлюсь именно к этой?»

— Можно ли задать вам один щекотливый вопрос? — вдруг мягко спросила панна Изабелла.

— Пожалуйста, хотя бы самый щекотливый.

— Не правда ли, уезжая в Париж, вы были сильно обижены на меня?

Он хотел ответить, что подозревал ее в обмане, а это нечто худшее, нежели обида, но промолчал.

— Я перед вами виновата... я заподозрила вас...

— Уж не в том ли, что я с помощью подставных лиц смошенничал при покупке дома вашего отца? — усмехнулся он.

— О нет! — живо возразила она. — Напротив, я заподозрила вас в поступке поистине христианском, которого, однако же, никому не могла бы простить. Одно время мне казалось, будто вы заплатили за наш дом... слишком много.

— Надеюсь, теперь вы уже успокоились?

— Да. Мне стало известно, что баронесса Кшешовская готова дать за него девяносто тысяч.

— В самом деле? Она еще не обращалась ко мне, но я предвидел, что рано или поздно это произойдет.

— Я очень рада, что так получилось и что вы ничего не потеряете, и... только теперь я могу от всей души поблагодарить вас, — сказала панна Изабелла, подавая ему руку. — Я понимаю, какую услугу вы нам оказали. Если б не вы, баронесса попросту ограбила бы моего отца; вы спасли его от разорения и даже, может быть, от смерти... Такие вещи не забываются...

Вокульский поцеловал ее руку.

— Совсем стемнело, — сказала она смущенно, — пора возвращаться. Наверное, все уже ушли из парка...

«Если она не ангел, то я просто скотина!» — подумал Вокульский.

Все уже собрались в столовой, и вскоре подали ужин. Вечер прошел весело. Около одиннадцати Охоцкий проводил Вокульского до его комнаты.

— Ну что? — спросил Охоцкий. — Я слышал, вы беседовали с кузиной об аристократии? Как же, удалось вам убедить ее, что это никчемный сброд?

— Нет! Панна Изабелла слишком хорошо защищает свои положения... Блестящая собеседница! — заметил Вокульский, стараясь скрыть смущение.

— Она, разумеется, говорила вам, что аристократия способствует расцвету науки и искусства, что она служит образцом хороших манер, а ее высокое положение — это цель, побуждающая к действию демократов, которые сами таким образом облагораживаются... Вечно те же самые аргументы, они уже мне оскомину набили...

— Однако вы сами верите в благородную кровь, — возразил задетый за живое Вокульский.

— Конечно... Но эту благородную кровь надо постоянно освежать, иначе она быстро испортится. Ну, спокойной ночи. Посмотрю, что показывает барометр, а то у барона ломит кости, и завтра может быть дождь.

Едва ушел Охоцкий, как к Вокульскому явился барон; он кашлял и ежился от озноба, но улыбался.

— Красиво, нечего сказать! — воскликнул он, нервно моргая веками. — Очень красиво! Как же это вы меня подвели?.. Оставить мою невесту в парке, одну... Я шучу, шучу, — поспешил он прибавить, пожимая Вокульскому руку, — но... в самом деле я мог бы на вас обидеться, если б не сразу вернулся и не... столкнулся с паном Старским, который как раз шел в нашу сторону с другого конца аллеи...

Вокульский второй раз за этот вечер покраснел, как мальчишка.

«Зачем только я впутался в эту сеть интриг и обмана!» — подумал он, все еще раздраженный словами Охоцкого.

Барон закашлялся и, передохнув, продолжал вполголоса:

— Не подумайте только, будто я ревную... Это было бы с моей стороны низостью... Это не женщина, а ангел, и я в любую минуту готов отдать ей все состояние, всю свою жизнь... Да что жизнь! Я доверил бы ей и свою вечную, небесную жизнь я был бы так же спокоен и так же уверен в своем спасении, как в том, что завтра взойдет солнце... Солнце я могу и не увидеть — боже мой, ведь все мы смертны! — но... Но она не внушает мне никаких опасений, никогда и никаких опасений, честное слово, пан Вокульский! Я и собственным глазам не поверил бы, а не то что чьим-либо подозрениям или намекам... — закончил он громко.

— Но, видите ли, — продолжал он, помолчав, — этот Старский — отвратительная личность. Я бы этого никому не сказал, но... вы знаете, как он обращается с женщинами? Думаете, он вздыхает, ухаживает, вымаливает нежное словечко, пожатие руки? Нет, он к ним подходит, как к самкам, и со всей вульгарностью, которая ему так присуща, возбуждает их нервы разговорами, взглядами...

Барон осекся, глаза его налились кровью. Вокульский, молча слушавший его, вдруг проговорил резким тоном:

— Кто знает, милый барон, может быть, Старский и прав. Нам внушали, будто женщины — неземные создания, и мы с ними так и обращаемся. Однако если они прежде всего самки, то мы в их глазах глупцы и простаки, а Старский, само собой, торжествует. Касса достается тому, кто владеет подходящим ключом. Так-то, барон! — закончил он, рассмеявшись.

— И это говорите вы, пан Вокульский?

— Именно! Часто я спрашиваю себя: не слишком ли мы боготворим женщин, не слишком ли серьезно относимся к ним — серьезней и возвышенней, чем к самим себе?

— Панна Эвелина — исключение!.. — воскликнул барок.

— Не отрицаю, что бывают исключения; однако, как знать, может быть, такой вот Старский открыл общее правило?

— Возможно, но это правило не применимо к панне Эвелине, — запальчиво возразил барон. — И если я оберегаю ее... вернее — возражаю против близкого знакомства со Старским, хотя она отлично оберегает себя сама, то лишь затем, чтобы подобный человек не осквернил ее чистых мыслей каким-нибудь словом... Но вы, по-видимому, устали... Простите за несвоевременный визит.

Барон ушел, тихо прикрыв за собой дверь. Вокульский остался один и погрузился в невеселые мысли.

«Что это Охоцкий говорил, будто аргументы панны Изабеллы ему уже набили оскомину? Значит, то, в чем она убеждала меня сегодня, не живой протест оскорбленного чувства, а давно затверженный урок? Значит, ее доводы, ее пыл, даже волнение — это только приемы, с помощью которых благовоспитанные барышни обольщают таких дурачков, как я?

А может быть, просто он влюблен в нее и хочет очернить ее передо мною? Но если и влюблен, зачем же ему чернить ее? Достаточно сказать, а она вольна выбирать... Конечно, у Охоцкого больше шансов, чем у меня; я еще не настолько потерял рассудок, чтобы не понимать этого... Молод, хорош собой, гениален... Ну что ж! Пусть решает: слава — или панна Изабелла...

Впрочем, не все ли мне равно, какой свежести аргументы применяет она в споре? Она не святой дух, чтобы каждый раз выдумывать новые, а я не такая интересная личность, чтобы стоило ради меня заботиться об оригинальности. Пусть говорит, как хочет... Важно то, что к ней-то уж наверное не применимо общее правило насчет женщин... Пани Вонсовская — та прежде всего красивая самка, а панна Изабелла — другое дело...

Не так ли говорил и барон о своей Эвелине?..»

Лампа догорала. Вокульский потушил ее и бросился на кровать.

Следующие два дня шел дождь, и заславские гости не выходили из дому. Охоцкий зарылся в книги и почти не показывался, панну Эвелину мучила мигрень, панна Изабелла и Фелиция читали французские иллюстрированные журналы, остальная же часть общества, во главе с председательшей, засела за вист.

Вокульский заметил, что Вонсовская, против ожидания, не кокетничает с ним, хотя случай представлялся поминутно, а держится совершенно равнодушно. Поразило его и негодование, с которым она вырвала руку у Старского, когда он хотел ее поцеловать, и то, что она запретила ему и впредь повторять такие попытки. Гнев ее был так искренен, что Старский даже растерялся, а барон пришел в отличное настроение, хотя ему не везло в картах.

— Вы и мне не позволите поцеловать вашу ручку, сударыня? — спросил он вскоре после этого инцидента.

— Вам — пожалуйста, — отвечала она, протягивая руку.

Барон приложился к ней, как к реликвии, и торжествующе взглянул на Вокульского; тот подумал, что у его титулованного приятеля, пожалуй, нет оснований особенно радоваться.

Старский был так поглощен картами, что, по-видимому, ничего не заметил.

На третий день небо прояснилось, а на четвертый было уже солнечно и сухо, и панна Фелиция предложила прогуляться в лес за рыжиками.

В этот день председательша приказала пораньше приготовить второй завтрак и попозже — обед. Около половины первого к дому подъехала коляска, и Вонсовская подала команду садиться.

— Едем скорее, жаль терять время... Где твоя шаль, Эвелина? Пусть прислуга садится в бричку и берет с собою лукошки. А теперь, — прибавила она, мельком взглянув на Вокульского, — просим мужчин выбирать себе дам...

Панна Фелиция стала было возражать, но барон тотчас подскочил к невесте, а Старский — к Вонсовской; она прикусила губку и сердито процедила:

— Я думала, у вас уже пропала охота выбирать меня...

И бросила уничтожающий взгляд на Вокульского.

— В таком случае, объединимся с вами, кузина, — предложил панне Изабелле Охоцкий. — Но только вам придется сесть на козлы, потому что я буду править.

— Пани Вонсовская не позволяет, вы нас опрокинете! — закричала панна Фелиция, которой жребий предназначил Вокульского.

— Почему же, пусть правит, пусть опрокидывает... — ответила Вонсовская.

— У меня сегодня такое настроение, что, по мне, пусть хоть всем нам ноги переломает. Не завидую тому грибу, который мне попадет в руки!

— Готов быть первым из них, — откликнулся Старский, — коль скоро вы его скушаете...

— Отлично, если вы согласитесь, чтобы сначала вам срезали голову, — отвечала вдова.

— Я уже давно хожу без головы.

— А я уже давно заметила это... Но давайте садиться — и едем!

Глава шестая. Леса, развалины и чары

Наконец тронулись в путь.

Барон, по обыкновению, шептался с невестой. Старский напропалую любезничал с Вонсовской, а та, к удивлению Вокульского, принимала его ухаживания довольно благосклонно. Охоцкий правил, однако на этот раз его кучерской пыл несколько умеряло соседство панны Изабеллы, к которой он поминутно оборачивался.

«Хорош и Охоцкий! — думал Вокульский. — Мне он жалуется, что аргументы панны Изабеллы набили ему оскомину, а сам только с нею и разговаривает... Конечно, он хотел настроить меня против нее...»

И Вокульский помрачнел как туча, вдруг уверившись, что Охоцкий влюблен в панну Изабеллу и что борьба с таким соперником почти безнадежна.

«Молод, хорош собою, талантлив... Нет, надо быть слепой или безрассудной, чтобы, выбирая между нами двумя, не отдать ему предпочтения. И все же даже в таком случае мне пришлось бы признать, что у нее благородная натура, раз ей нравится Охоцкий, а не Старский. Несчастный барон, а еще несчастнее его невеста — она так явно увлечена Старским! Пустая же у нее голова, да и сердце...»

Он смотрел, на осеннее солнце, на серое жнивье и плуги, медленно поднимающие пласты земли, и с глубокой грустью представлял себе минуту, когда он окончательно потеряет надежду и вынужден будет уступить место Охоцкому.

«Что ж поделаешь! Что ж поделаешь, если она предпочла его... На свое несчастье я встретился с ней...»

Между тем путники въехали на вершину холма, и глазам их открылась равнина до самого горизонта — леса, деревеньки, река и городок с костелом.

Коляску качало с боку на бок.

— Чудный вид! — воскликнула Вонсовская.

— Словно с воздушного шара, которым управляет пан Охоцкий, — прибавил Старский, держась за край сиденья.

— Вы летали на воздушном шаре? — спросила панна Фелиция.

— На шаре Охоцкого?

— Нет, на настоящем...

— Увы, ни на каком, — вздохнул Старский, — но сейчас мне кажется, что я внутри весьма неудобною шара...

— Пан Вокульский, наверное, летал, — с непоколебимой уверенностью сказала панна Фелиция.

— Право, Феля, ты скоро невеста что станешь приписывать пану Вокульскому! — обрушилась на нее Вонсовская.

— Я действительно летал, — с удивлением подтвердил Вокульский.

— Летали? Ах, как это чудесно! — вскричала панна Фелиция. — Расскажите нам...

— Вы летали? — откликнулся с козел Охоцкий. — Вот так так! Погодите рассказывать, я сейчас пересяду к вам...

Он бросил вожжи кучеру, хотя коляска съезжала с горы, соскочил с козел и через минуту уже сидел против Вокульского.

— Так вы летали? — повторил он. — Когда? Где?

— В Париже, но только на привязном. Полверсты вверх — это не путешествие, — смущенно ответил Вокульский.

— Расскажите же... Вероятно, грандиозное зрелище! Что вы при этом испытывали? — не отставал Охоцкий.

Он весь преобразился: глаза его широко раскрылись, на щеках выступил румянец. Глядя на него, трудно было усомниться, что в это мгновение панна Изабелла совершенно вылетела у него из головы.

— Наверное, это чертовски приятно... Расскажите же нам... — настойчиво допытывался он, теребя Вокульского за колено.

— Зрелище действительно великолепное, — ответил Вокульский, — виден горизонт радиусом в несколько десятков верст, а Париж со всеми его окрестностями похож на рельефную карту. Но самое путешествие не доставляет удовольствия; пожалуй, только в первый раз...

— А впечатление какое?

— Странное. Вы ожидаете, что сейчас подниметесь вверх, — и вдруг видите, что не вы поднялись, а земля внезапно оторвалась и опускается вниз. Это так неожиданно и неприятно, что... хочется выскочить...

— Ну, ну, дальше! — понукал его Охоцкий.

— Вторая странность — горизонт, который все время остается на уровне глаз. Вследствие этого земля кажется вогнутой, как огромная глубокая тарелка.

— А люди? дома?

— Дома выглядят, как коробки, трамваи — как большие мухи, а люди — как черные капельки, которые катятся в разные стороны, волоча за собою длинные тени. Вообще путешествие полно неожиданностей.

Охоцкий задумался и засмотрелся куда-то вдаль. Несколько раз он как будто порывался выскочить из коляски: видимо, его раздражали спутники, которые тоже притихли.

Наконец подъехали к лесу, подоспела и бричка с двумя служанками. Дамы взяли лукошки.

— А теперь разойдемся в разные стороны: каждая дама со своим кавалером!

— скомандовала Вонсовская. — Пан Старский, предупреждаю вас: сегодня я в особенном настроении, а что это значит — может объяснить пан Вокульский! — прибавила она с нервным смехом. — Пан Охоцкий, Белла, пожалуйста в лес и не показывайтесь, пока не наберете полного лукошка рыжиков... Феля!

— Я пойду с Михалинкой и Иоасей! — быстро проговорила панна Фелиция, с испугом глядя на Вокульского, словно он-то и был тем неприятелем, против которого она вооружалась двумя защитницами.

— Что ж, кузен, пойдем и мы, — позвала Охоцкого панна Изабелла, заметив, что остальные уже углубились в лес. — Только возьмите мое лукошко и собирайте сами грибы, а меня, признаться, это нисколько не занимает.

Охоцкий взял лукошко и швырнул его в бричку.

— Очень мне нужны ваши грибы! — мрачно ответил он. — Два месяца я убил на эти грибы, рыбную ловлю, ухаживание и тому подобную чушь... а другие тем временем поднимались на воздушных шарах... Я тоже собирался в Париж, а председательша стала уговаривать: приезжай да приезжай отдохнуть... Вот я и отдохнул! Вконец одурел... Разучился даже думать по-человечески... отупел... Эх! Отстаньте вы со своими грибами. Боже, как я зол!

Он повернулся, засунул обе руки в карманы и пошел в лес, понурился голову и бормоча что-то под нос.

— Приятный спутник! — с улыбкой сказала панна Изабелла Вокульскому. — Теперь он будет такой до конца лета. Как только Старский заговорил о воздушных шарах, я уже заранее знала, что у пана Юлиана испортится настроение...

«Да будут благословенны эти шары! — подумал Вокульский. — Подобный соперник для меня не опасен...»

И он сразу вспылал любовью к Охоцкому.

— Я уверен, что ваш кузен станет знаменитым изобретателем, — сказал он панне Изабелле. — Кто знает, не откроет ли он новую эру в истории человечества... — прибавил он, вспомнив о проектах Гейста.

— Вы думаете? — довольно равнодушно сказала панна Изабелла. — Возможно. А пока он либо бесцеремонен, что иногда получается довольно мило, либо смертельно скучен, что непрослительно даже изобретателям. Когда я смотрю на него, мне вспоминается забавный случай с Ньютоном. Ведь он был великий человек, не так ли? Тем не менее однажды, сидя с какой-то барышней, он взял ее за руку и... поверите ли? — принялся чистить свою трубку ее мизинцем! Нет, если в этом выражается гениальность, то избави меня бор от гениального мужа!.. Не хотите ли пройтись немного по лесу?

Слова панны Изабеллы падали в душу Вокульского, словно капли сладчайшего бальзама.

«Значит, за Охоцкого, хоть он ей и нравится (кому ж он не нравится?), замуж она не выйдет».

Они шли по узкой дорожке, разделявшей два лесных участка: направо росли дубы и буки, налево — сосны.

Между соснами изредка мелькал то красный лиф пани Вонсовской, то белая накидка панны Эвелины. На одном из перекрестков Вокульский хотел было свернуть в сторону, но панна Изабелла остановила его:

— Нет, нет! Не надо идти туда, мы потеряем из виду нашу компанию, а мне нравится лес, только когда я вижу людей. Вот сейчас он мне понятен... Посмотрите... Правда, та часть похожа на огромный костел? Ряды сосен — это колонны, тут боковой неф, а там главный алтарь... Видите, видите?.. А теперь между ветвей показалось солнце, словно в готическом окне... Как разнообразен здесь пейзаж! Теперь перед нами дамский будуар, а эти маленькие кустики — точно пуфы. Даже зеркало есть — осталось от позавчерашнего дождя... А это улица, правда? Немножко кривая, но все же улица... А там торговые ряды, площадь... вы видите все это?

— Вижу, когда вы мне показываете, — улыбнулся Вокульский. — Но все же нужно обладать очень поэтическим воображением, чтобы уловить это сходство.

— Неужели? А мне всегда казалось, что я — олицетворение прозы.

— Может быть, вы еще не имели случая обнаружить все свои качества, — ответил Вокульский и недовольно нахмурился, заметив приближавшуюся к ним панну Фелицию.

— Как, вы не собираете грибов? — удивилась молодая девушка. — Чудные рыжики, и такое их множество, что нам не хватит лукошек; придется, наверное, сыпать прямо в бричку. Дать тебе лукошко, Белла?

— Нет, спасибо.

— А вам, сударь?

— Вряд ли я сумею отличить рыжик от мухомора, — ответил Вокульский.

— Вот это мило! — воскликнула панна Фелиция. — Не ожидала я от вас такого ответа. Я расскажу бабушке и попрошу, чтобы она запретила нашим кавалерам есть грибы, во всяком случае те, которые я собирала.

Она кивнула им и отошла.

— Феля обиделась на вас, — сказала панна Изабелла. — Нехорошо... она к вам так расположена.

— Панна Фелиция любит собирать грибы, а я предпочитаю слушать ваши рассказы о лесе.

— Весьма польщена, — ответила панна Изабелла, слегка покраснев. — Но я уверена, что вам скоро наскучат мои рассказы. По-моему, лес не всегда хорош, иногда он страшен. Не будь здесь людей, я, наверное, не увидела бы ни улиц, ни костелов, ни будуаров. Когда я одна, лес меня пугает. Он перестает быть декорацией и становится чем-то непонятным и грозным. Птичьи голоса звучат дико, словно вдруг кто-то вскрикивает от боли или смеется надо мной, попавшей в это царство чудовищ...

Каждое дерево кажется мне тогда живым существом, которое хочет схватить меня и задушить; каждая травка предательски опутывает мне ноги, чтобы уже не выпустить отсюда... А виной всему кузен Юлиан: это он толковал мне, будто природа создана вовсе не для того, чтобы служить человеку... По его теории, все это — живое и живет для себя...

— Он прав, — тихо сказал Вокульский.

— Как, и вы в это верите? Значит, по-вашему, лес не предназначен на пользу людям, а у него есть какие-то свои цели, как и у нас?

— Я бывал в дремучих лесах, где редко ступала нога человека, а между тем растительность там богаче, чем здесь.

— Ах, не говорите! Это умаляет ценность человека и противоречит священному писанию. Ведь бог дал людям землю, чтобы они селились на ней, а растения и животных создал им на пользу.

— Короче говоря, вы полагаете, что природа должна служить людям, а люди — привилегированным, аристократическим классам? Нет, сударыня. И природа и люди живут для себя, а властвовать над ними вправе лишь те, кто сильнее других и больше работает. Сила и труд — вот единственные привилегии в этом мире. Нередко поэтому тысячелетние деревья падают под ударами топора выскочек-колонистов, и никакого переворота это в природе не вызывает. Сила и труд, сударыня, а не титул и не происхождение... Панна Изабелла была раздражена.

— Здесь, сударь, вы можете говорить мне все, что вам вздумается, здесь я всему поверю, потому что кругом я вижу только ваших союзников.

— Неужели они никогда не станут и вашими союзниками?

— Не знаю... возможно... Я так часто слышу теперь о них, что когда-нибудь, пожалуй, еще уверю в их могущество.

Они вышли на полянку, вокруг которой сомкнулись холмы с наклонно растущими соснами. Панна Изабелла села на пень, а Вокульский опустился на траву неподалеку от нее. В этот момент на опушке показались Вонсовская и Старский.

— Не хочешь ли, Белла, забрать у меня этого кавалера? — крикнула вдовушка.

— Я протестую! — возразил Старский. — Панна Изабелла вполне довольна своим спутником, а я — моей спутницей...

— Это правда, Белла?

— Правда, правда! — закричал Старский.

— Пусть будет правда... — повторила панна Изабелла, играя зонтиком и глядя в землю.

Вонсовская и Старский поднялись на холм и исчезли из виду, панна Изабелла все нетерпеливее играла зонтиком, а у Вокульского кровь стучала в висках и гудела, как колокол. Молчание затянулось, и панна Изабелла сочла нужным прервать его:

— Почти год назад, в сентябре, на этом месте был пикник... Собралось человек тридцать соседей. Вон там развели костер...

— Вам тогда было веселее, чем сегодня?

— Нет, я сидела на этом же пне, и вдруг мне почему-то взгрустнулось. Чего-то мне не хватало. И, что редко со мной бывает, я думала: что-то будет через год?

— Удивительно! — тихо произнес Вокульский. — Я тоже приблизительно год назад был в лесу, в лагере, только в Болгарии... и думал: буду ли я жив через год, и еще...

— О чем же еще?

— О вас.

Панна Изабелла беспокойно шевельнулась и побледнела.

— Обо мне? — переспросила она. — Разве вы меня тогда знали?

— Да. Я знаю вас уже несколько лет, а иногда мне кажется, что знаю вас целую вечность... Время страшно растягивается, когда постоянно думаешь о ком-нибудь наяву и во сне.

Она встала и, казалось, хотела бежать. Вокульский тоже поднялся.

— Простите меня, если я невольно обидел вас. Быть может, вы считаете, что люди, подобные мне, не имеют права думать о вас? В вашем мире может существовать и такой запрет. Но я принадлежу к другому миру... У нас папоротник и мох имеют такое же право глядеть на солнце, как сосны и... грибы. Поэтому, прошу вас, скажите мне прямо: позволительно или непозволительно мне думать о вас? Сейчас я большего и не требую.

— Я вас почти не знаю, — растерянно прошептала панна Изабелла.

— Поэтому сейчас я большего и не требую. Я только спрашиваю, не считаете ли вы оскорбительным для себя, что я думаю о вас, — больше ничего, только думаю. Я знаю, как относятся к людям, подобным мне, в вашей среде, и знаю, что мои слова можно счесть дерзостью. Так скажите же мне это прямо; и если вы находите, что разница между нами непреодолима, я перестану добиваться вашей благосклонности... Сегодня же или завтра я уеду и не только не буду на вас в претензии, а, напротив, сразу же излечусь.

— Каждый вправе думать... — отвечала панна Изабелла, все более смущаясь.

— Благодарю вас. Вы дали мне понять, что в ваших глазах я стою не ниже Старского, предводителя и тому подобных господ... Я знаю, что и при таких условиях, может быть, не добьюсь вашей симпатии. Об этом еще рано говорить. Но по крайней мере вы признаете за мной человеческие права и будете с этих пор судить обо мне по моим поступкам, а не титулам, которых у меня нет.

— Ведь вы дворянин, и, как говорит председательша, не хуже Старских и даже Заславских...

— Я действительно дворянин, если вам угодно, и даже не хуже, а лучше многих из тех, кого встречаю в гостиных. Но для вас я, к несчастью, прежде всего купец.

— Ну, купцом можно и не быть, это зависит от вас... — уже смелее возразила панна Изабелла.

Вокульский задумался.

В это время в лесу послышалось ауканье, и через несколько минут вся компания собралась на полянке с прислугой, лукошками и грибами.

— Едем домой, — сказала Вонсовская, — мне уже надоели эти рыжики, да и обедать пора.

Странно прошли для Вокульского следующие дни. Если б его спросили, чем они были для него, он бы, наверное, ответил, что это был блаженный сон, один из тех периодов в жизни, ради которых, быть может, природа создает человека.

Сторонний наблюдатель, пожалуй, назвал бы эти дни однообразными и даже скучными. Помрачневший Охоцкий с утра до вечера клеил и запускал змеи самых удивительных конструкций. Вонсовская и панна Фелиция читали либо вышивали ризу для приходского ксендза. Старский, председательша и барон играли в карты.

Таким образом, оказалось, что Вокульский и панна Изабелла были предоставлены самим себе, были попросту вынуждены все время проводить вместе.

Они гуляли в парке, иногда уходили в поле, сидели под столетней липой во дворе, но охотней всего катались по пруду. Он садился на весла, а она время от времени бросала крошки лебедям, которые медленно плыли следом. Нередко прохожие останавливались на берегу и с удивлением наблюдали необычное зрелище: белая лодка, в ней мужчина и женщина, а позади — два белых лебедя с распушенными, как паруса, крыльями.

Позже Вокульский даже не мог припомнить, о чем они говорили тогда. Чаще всего молчали. Однажды она спросила: почему улитки держатся под водой? В другой раз: почему облака окрашены в разные тона? Он объяснял ей, и ему казалось, будто он схватил в объятия всю вселенную и кладет к ее ногам.

В одну из таких минут ему подумалось, что, прикажи она броситься в воду и умереть, он умер бы, благословляя ее.

Когда они гуляли по парку, катались на лодке, — всякий раз, когда они бывали вдвоем, его охватывало ощущение беспредельного покоя; казалось, будто его душа и вся земля от края до края погружались в сказочную тишину, в которой даже громыхание телеги, собачий лай или шелест ветвей звучали изумительно прекрасной мелодией. Он не ощущал земли под ногами, он плыл по океану мистического упоения, свободный от мысли, от вожеления, от голода и жажды, наполненный одной любовью. Часы проносились как молнии, вспыхивающие и гаснущие на далеком небосклоне. Только что было утро — и вот уже полдень, уже вечер, и ночь, и сон, перемежаемый бдением и вздохами. Как несправедливо, думалось ему, поделены сутки: день — короткий, как мгновение ока, ночь — долгая, как вечные муки грешной души.

Однажды его позвала к себе председательша.

— Садись-ка, пан Станислав, — сказала она. — Что же, весело тебе здесь?

Вокульский вздрогнул, как будто очнувшись от сна.

— Мне? — переспросил он.

— Неужто скучаешь?

— За год такой скуки я отдал бы всю жизнь.

Старушка покачала головой.

— Так иногда кажется, — заметила она. — Не помню, кто это написал: «Человек счастливее всего, когда вокруг себя видит то, что носит в себе самом». А я говорю: «Не все ли равно, почему человек счастлив, лишь бы ему было хорошо!..» Не прогневаешься, если я тебя разбужу?

— Я слушаю вас, — ответил он, невольно бледнея.

Председательша пристально посмотрела на него и покачала головой.

— Да не пугайся, не дурными вестями я тебя разбужу, а самым простым вопросом. Подумал ты о сахарном заводе, который мне советуют здесь строить?

— Нет еще...

— Не к спеху. Но вот о дядюшке ты совсем позабыл. А он, бедняга, покоится неподалеку, в трех верстах отсюда, в Заславе... Не поехать ли вам всем туда завтра? Местность красивая, развалины замка... Вы могли бы приятно провести время и заодно договориться насчет надгробия... Знаешь, — прибавила старушка, вздохнув, — я раздумала... Не надо ломать тот камень возле замка. Пусть там и лежит. Только вели вырезать на нем стихи: «Везде, всегда с тобой я буду вместе...» Знаешь?

— О да, знаю...

— У замка бывает больше людей, чем на кладбище, там скорее прочтут надпись, и, может быть, кто-нибудь задумается о неминуемом конце всего земного, даже любви...

Вокульский ушел от председательши сильно расстроенный. «К чему она завела этот разговор?» — думал он. К счастью, ему встретилась панна Изабелла, направлявшаяся к пруду, и он позабыл обо всем.

На следующий день действительно поехали всей компанией в Заслав. Промелькнули леса, зеленые холмы, желтые песчаные обрывы. Места были живописные, погода прекрасная, но удрученный Вокульский ничего не замечал... Он уже не был наедине с панной Изабеллой, как накануне; он даже сидел не с нею, а против панны Фелиции; а главное... но нет, это ему просто померещилось, и он сам посмеялся над игрой своего воображения. А померещилось ему, будто Старский как-то странно посмотрел на панну Изабеллу, а та вспыхнула...

«Да глупости, — успокаивал себя Вокульский, — зачем ей меня обманывать? Ведь я ей даже не жених!»

Кое-как он отделался от своих страхов, и ему только было слегка неприятно, что Старский сидит рядом с панной Изабеллой. Так, самую малость...

«Не могу же я запретить ей садиться, с кем она хочет. И не стану унижаться до ревности, чувства как-никак подлого, которое чаще всего основывается на подозрении.

Допустим даже, ей вздумалось бы полюбезничать со Старским, так не стала бы она делать этого на глазах у всех. Сумасшедший я!»

Через несколько часов они прибыли на место.

Заслав, некогда городок, а ныне жалкий поселок, расположен в низине и окружен топкими лугами. Все постройки, кроме костела и бывшей ратуши, одноэтажные, деревянные и очень ветхие. Посреди площади, вернее пустыря, заросшего бурьяном и изрытого ямами, виднеется огромная куча мусора, а также колодец под дырявым навесом, опирающимся на четыре прогнивших столба.

День был субботний, поэтому лавчонки стояли на запоре и на площади было безлюдно.

К югу, в версте или двух за городом, тянулась гряда холмов. На одном из них росли старые дубы, а на соседнем возвышались развалины замка в виде двух шестиугольных башен; на их крышах и в амбразурах буйно зеленела трава. Путешественники остановились на площади. Вокульский вышел из коляски, чтобы повидаться с ксендзом, а Старский принял на себя командование.

— Мы поедem к тем дубам и съедим, что бог послал и повара настряпали, а потом коляска вернется сюда за паном Вокульским.

— Благодарю, — ответил Вокульский. — Но я не знаю, как долго задержусь здесь, и лучше пойду пешком. К тому же я должен подняться к замку.

— И я с вами, — отозвалась панна Изабелла. — Я хочу посмотреть любимый камень председательши... — прибавила она вполголоса. — Пожалуйста, скажите мне, когда пойдете туда.

Коляска отъехала, а Вокульский пошел искать ксендза. Они столкнулись за четверть часа. Ксендз сказал, что вряд ли в городе будут возражать, если на камне возле замка появится надпись, лишь бы она не была неприличной и богохульной. Услышав, что речь идет о памятнике покойному капитану Вокульскому, с которым он был знаком, ксендз обещал сам уладить это дело.

— Есть у нас тут некий Венгелек, лоботряс, но мастер на все руки; он и кузнец и столяр; пожалуй, он сумеет вырезать и надпись на камне. Сейчас я пошлю за ним.

Еще через четверть часа явился Венгелек — парень лет двадцати трех, с веселым и умным лицом. Проведав, что дело пахнет заработком, он нарядился в серый долгополый сюртук с высокой талией и щедро смазал волосы салом.

Вокульский больше не мешкал; он попрощался с ксендзом и вместе с Венгелеком пошел к развалинам.

Уже за заставой, давно никем не охраняемой, Вокульский спросил:

— А что, брат, хорошо ты пишешь?

— Ого! Мне ведь частенько из суда бумаги давали переписывать, хоть рука у меня к перу и непривычная. А стихи, что из Отроча эконоом посылал дочке лесничего? Все

моя работа! Он только бумагу покупал... до сих пор еще не доплатил мне сорок грошей за переписку. А уж как налегал: чтобы обязательно с вензелями!

— Ты и на камне сумеешь написать?

— Ведь буквы-то нужны выдолбленные, а не выпуклые? Отчего же не сумею. Я бы взялся и по железу писать, а то и по стеклу, какими хочешь буквами — прописью или печатными, немецкими, еврейскими... Небось все вывески тут — моих рук дело.

— И тот краковянин над кабаком?

— А как же.

— Где же ты такого видал?

— Кучер пана Звольского рядится на краковский манер, вот я с него и малевал.

— И у него тоже обе ноги смотрят влево?

— Знаете, ваша милость, в провинции люди смотрят не на ноги, а на бутылку. Как увидят бутылку да стопку, тут им и указка — прямехонько к Шмулю в кабачок.

Вокульскому все больше нравился этот бойкий парень.

— Ты не женат? — спросил он.

— Нет. Какая в платке ходит, на той я не женюсь, а которая в шляпке, та за меня не пойдет.

— А чем ты занимаешься, когда нечего малевать?

— Да всем понемногу, только пустое это. Раньше я столярничал, так верите ли, едва успевал заказы выполнять. За несколько лет скопил бы я тысячу рублей наверняка, но прошлым летом погорел я и с той поры никак на ноги не встану. И доски мои и мастерская — все пошло прахом, одни угли остались; такой огонь был, ваша милость, что самые твердые напильники расплавились, как смола. Посмотрел я на пепелище и плюнул со злости, а потом даже плевать жалко стало...

— Ты уже отстроился? Завел опять мастерскую?

— Куда там! Отстроил я в саду лачугу вроде сарая, лишь бы матери было где стряпать, а мастерская... На это, сударь, надо рубликов пятьсот чистоганом, право слово, как бог свят... Сколько лет покойник отец на работе надрывался, пока дом поставил да инструмент собрал...

Они подходили к развалинам.

Вокульский задумался.

— Слушай, Венгелек, — вдруг сказал он, — пришелся ты мне по душе. Я в этих местах пробуду, — тут он тихо вздохнул, — еще с недельку... Если ты мне вырежешь надпись как следует, я заберу тебя с собою в Варшаву... Поживешь там, я посмотрю, на что ты годишься, а тогда... может быть, ты и опять обзаведешься мастерской.

Парень посматривал на Вокульского, наклоняя голову то влево, то вправо. Вдруг его осенило, что этот барин, должно быть, страшный богач и, может быть, из тех, кого господь бог иной раз посылает в помощь бедным людям... Он снял шапку.

— Чего ты уставился? Надень шапку... — сказал Вокульский.

— Простите, ваша милость... может, я что лишнее сболтнул?... Что-то в наших краях таких господ нету... Бывали, говорят, да давно. И отец-покойник говорил, что сам видал такого: взял из Заслава сироту и сделал ее важной барыней, а приходу оставил кучу денег, на них потом новую колокольню поставили...

Вокульский усмехнулся и, глядя на растерянную физиономию парня, подумал, что на свой годовой доход мог бы осчастливить человек полтора таких вот бедняков.

«Действительно, деньги — великая сила, только надо их умеючи тратить...»

Они были уже под горой, где стоял замок; с соседнего холма донесся голос панны Фелиции:

— Пан Вокульский, мы тут!

Вокульский поднял глаза и увидел между дубами весело пылавший костер, вокруг которого расположилась заславская компания. В стороне буфетчик и горничная ставили самовар.

— Подождите, я сейчас иду к вам! — крикнула панна Изабелла, поднимаясь с ковра. Старский бросился к ней.

— Я вас провожу вниз.

— Спасибо, я сама спущусь, — ответила панна Изабелла, отстраняясь.

И она пошла вниз по крутому склону с такой непринужденной грацией, словно это была аллея в парке.

— Подлец, как мог я ее подозревать! — шепнул Вокульский.

И вдруг ему почудилось, будто некий таинственный голос велит ему выбирать — или благополучие тысячи людей, которым он мог бы помочь, как Венгелеку, или вот эта одна-единственная женщина, которая спускалась сейчас с горы.

«Я уже выбрал!» — подумал Вокульский.

— Но к замку я не поднимусь сама, вам придется подать мне руку, — сказала панна Изабелла, останавливаясь перед Вокульским.

— Может, прикажете проводить вас другой дорогой, полегче? — спросил Венгелек.

— Веди!

Они обошли гору кругом и стали взбираться вверх по руслу высохшей речки.

— Какого странного цвета эти камни, — заметила панна Изабелла, глядя на глыбы известняка, испещренного бурыми пятнами.

— Это железная руда, — сказал Вокульский.

— Нет, — вмешался Венгелек, — это не руда, а кровь...

Панна Изабелла отшатнулась.

— Кровь? — повторила она.

Они уже взошли на вершину холма, от остальной компании их скрывала полуразрушенная стена. Отсюда виден был замковый двор, поросший терновником и барбарисом. У подножия одной из башен лежала огромная гранитная глыба, приваленная к стене.

— Вот камень, — сказал Вокульский.

— Ах, это он... Интересно, как его подняли наверх?.. Что это ты сказал о крови, любезный? — обратилась она к Венгелеку.

— Это старинная быль, — ответил парень, — еще дедушка мне рассказывал... Да тут все ее знают...

— Расскажи-ка нам, — попросила панна Изабелла. — Я очень люблю слушать легенды среди руин. На Рейне множество легенд.

Она прошла во двор, осторожно обходя колючие кусты, и села на камень.

— Расскажи, расскажи нам историю о крови... Венгелека просьба ничуть не смутила. Он широко улыбнулся и начал:

— В давние времена, когда еще дед мой гонялся за птицами, среди этих дубов, вон там, по той каменистой дорожке, которой мы шли, бежала речка.

Теперь она показывается только весной или после ливней, а когда дедушка был маленький, она не высыхала круглый год. А здесь, вот на этом месте, был ручей.

На дне речки, еще когда дедушка был маленький, лежал большущий камень, словно бы кто им дыру заткнул. А там и взаправду была дыра — не дыра, а окошко в подземелье, где такие богатства схоронены, каких на всем свете не сыщешь. А посреди этих сокровищ, на кровати чистого золота, спит панна, а может, даже княжна или графиня, одета богато, а уж красавица — глаз не отведешь. Говорят, за одно то, чем у нее волосы убраны, можно бы купить все поместья от Заслава до Отроча.

И спит, значит, эта панна по той причине, что кто-то воткнул ей в голову золотую булавку — то ли из озорства, то ли по злобе, кто их там разберет. Так вот, спит она и не проснется, покуда ей эту булавку из головы не вытащат, а кто вытащит, тот, значит, и женится на ней. Только дело это нелегкое и опасное: в подземелье живут разные чудовища и стерегут панну и ее сокровища. А какие они, те чудища, это и я знаю: пока у меня дом не сгорел, я все прятал в сундуке один зуб... величиной с кулак; зуб этот нашел дедушка вот здесь (все чистая правда, ни словечка не вру!). А если один зуб был с добрый кулак (ведь я своими глазами видал, в руках держал много раз), так морда, верно, была, как печь, а все чудище — уж никак не меньше овина... Так что сладить с таким было мудрено; да еще будь оно одно такое, а то их много. И самые что ни на есть смельчаки, — хоть панна им очень даже нравилась, а еще того более ее богатства, — боялись войти в подземелье, чтобы не угодить кому-нибудь в пасть...

Про панну эту и про ее сокровища, — продолжал Венгелек, — люди издавна знали, а узнали потому, что два раза в году, на пасху и в день святого Яна, камень, что лежал на дне речки, отваливался в сторону, и если кто стоял в такую минуту над водой, мог заглянуть в пучину и увидеть тамошние чудеса.

Однажды на пасху (дедушки тогда еще на свете не было) пришел сюда, к замку, молодой кузнец из Заслава. Стал он над речкой и думает: «А ну, как откроются передо мною панночкины сокровища? Я бы мигом влез за ними, хоть бы в самую маленькую норочку, набил бы себе карманы, и не пришлось бы мне больше мехи раздувать». Только он это подумал, а камень и отвалился в сторону; и видит мой кузнец мешки с деньгами, миски из чистого золота, а уж дорогой одежды навалено, точно на ярмарке...

Только прежде всего заприметил он спящую панну, и такая она была красавица, говорил дедушка, что кузнец стал как столб и ни с места. Спит, бедная, а слезы так и текут у нее по щекам, и которая слеза упадет на рубашку, или на кровать, или на пол — тут же обращается в камень бесценный. Спит она и вздыхает от боли, от булавки, значит, этой; как вздохнет, так на деревьях над водою листья зашелестят — жалеют ее, горемычную.

Кузнец собрался было лезть в подземелье, да как раз время подошло, и камень стал на свое место, только вода кругом забурлила.

С той поры не мог мой кузнец места себе найти. Работа из рук валится. Куда ни глянет — все перед глазами вода как стекло, а за ним панна, и слезы текут у нее по щекам. Похудел даже; и так у него сердце щемило, будто кто рвал его раскаленными клещами. Наваждение, понятное дело.

Терпел он, терпел, наконец невоготу стало, и пошел он к бабке, которая зелья разные варила; дает ей целковый и просит помочь.

— Да что, — говорит бабка, — тут нечем пособить, придется тебе дожидаться святого Яна, а как отвалится камень, полезай в пучину. Вынешь у панны булавку из головы, проснется она, женишься на ней и заживешь таким важным барином, каких еще свет не видывал. Только, смотри, не забудь тогда про меня, что хорошо я тебя надоумила. И еще запомни: когда нападёт на тебя страх и оробеешь, осенись крестным знаменем и спасайся именем божиим... В том-то все и дело, чтоб не трусить: нечистой силе к смелому не подступиться.

— А скажи, бабуся, — говорит кузнец, — как узнать, что на человека страх напал?

— Вон ты какой? — говорит бабка. — Ну, полезай же в пучину, а вернешься — меня не забудь.

Два месяца ходил кузнец к реке, а в последнюю неделю перед святым Яном и вовсе от берега не отходил, все ждал. И дождался. Ровно в полдень отвалился камень; кузнец мой зажал в руке топор и прыгнул в яму.

Что только там (дедушка сказывал) вокруг него делалось, страсть!

Обступили его такие чудища, что иной глянул бы и сразу от страха помер. То нетопыри (дедушка сказывал), страшные, как псы, знай себе махают над ним своими крылищами; то идет на него жаба большущая, как этот вот камень; то змея обвилась

вокруг ног, а как ткнул он эту змею, завывала она человеческим голосом; и волки на него кидались, до того злые да бешеные, что где брызнет у них пена из пасти, там огонь столбом, насквозь камни прожигает...

И все эти чудища на спину ему скакали, за полы хватили, за рукава, но ни одно не осмелилось ему вред учинить. Видели они, что кузнец не боится, а кто не боится, перед тем нечистая сила отступает, как тень перед человеком. «Пропадать тебе тут, кузнец!» — воют страшилища, а он знай сжимает крепче топор и... извините за выражение, такие слова им в ответ, что при господах нельзя и сказать...

Наконец добрался мой кузнец до золотой кровати, куда уж и чудищам доступа не было, — только стали они вокруг да зубами лязгают. А кузнец увидел у панны в голове золотую булавку да как дернет — и вытащил до половины...

Кровь так и брызнула. Тут панна хватает его руками за полу, да в слезы, да в крик: — Зачем же ты мне, милый человек, больно делаешь?

Тут-то кузнец и перепугался... Затрясся весь, и руки у него опустились. А чудищам только того и надо было, самый большемордый прыгнул на кузнеца и так его разделал, что кровь хлынула в дыру и обрызгала камни, которые вы своими глазами видели. Только зуб он при этом сломал, хоть и был он со здоровый кулак, — тот самый, что дедушка потом в реке нашел.

С той поры камень завалил окно в подземелье, и найти его нельзя. Речка высохла, а панна осталась в пучине, ни спать, ни проснуться не может. И все плачет она, да так громко, что иной раз пастухи в лугах ее слышат, и будет так плакать во веки веков.

Венгелек замолчал.

Панна Изабелла, опустив голову, чертила концом зонтика какие-то узоры на земле. Вокульский не смел на нее взглянуть.

После долгого молчания он обратился к Венгелеку:

— Интересна твоя история... Но теперь скажи: как ты будешь вырезать надпись?

— Да ведь я не знаю, что надо вырезать.

— Верно.

Вокульский вынул записную книжку, карандаш, написал стихи и подал парню.

— Всего четыре строчки! — удивился Венгелек. — Через три дня, ваша милость, готово будет... На этом камне можно, пожалуй, и дюймовые буквы вывести... Ох, забыл я веревочку, надо бы смерить. Пойду-ка попрошу кучеров, может, они мне дадут... Сейчас вернусь...

Венгелек побежал вниз. Панна Изабелла взглянула на Вокульского. Она была бледна и взволнованна.

— Что это за стихи? — спросила она, протягивая руку.

Вокульский подал ей листок, она вполголоса прочитала:

Все в тот же час, на том же самом месте,

Где мы в одной мечте стремились слиться.

Везде, всегда с тобой я буду вместе, —

Ведь там оставил я души частицу.[43]

Последние слова она произнесла шепотом. Губы у нее дрожали, глаза наполнились слезами. Она смяла листок, потом медленно отвернула голову, и листок упал на землю.

Вокульский опустился на колени, чтобы поднять бумажку. При этом он коснулся платья панны Изабеллы и, уже не помня себя, схватил ее за руку...

— Проснешься ли ты, королева моя? — сказал он.

— Не знаю... может быть... — ответила она.

— Ау! Ау! — закричал снизу Старский. — Идите же, господа, обед стынет...

Панна Изабелла отерла глаза и поспешила покинуть развалины. Вслед за нею двинулся Вокульский.

— Что это вы так долго там делали? — с усмешкой спросил Старский, протягивая ей руку, на которую она поспешно оперлась.

— Мы слушали необыкновенную историю, — отвечала она. — Признаться, я не думала, что в наших краях могут существовать такие легенды, что простые люди умеют так занимательно рассказывать... Что ж вы, кузен, предложите нам на обед? Ах, этот юноша неподражаем! Попросите, чтобы он повторил вам свой рассказ...

Вокульского уже не раздражало, что панна Изабелла идет под руку со Старским, что она кокетливо глядит на него. Ее давешнее волнение и одно ничего не значащее словечко развеяли все его опасения. Он погрузился в спокойное раздумье, которое овладело им настолько, что не только Старский, но и вся компания как бы исчезла у него из глаз.

Он помнил, как поднялся на гору, в дубовую рощу, с каким удовольствием утолял голод, помнил, что был весел, разговорчив и даже ухаживал за панной Фелицией... Но что ему говорили, что он сам отвечал — этого он не сознавал...

Солнце клонилось к западу, небо заволокли тучи. Приказав прислуге убрать посуду, корзины и ковер, Старский предложил дамам возвращаться домой.

Все уселись в коляску в том же порядке, что и прежде. Барон, укутав шалью свою невесту, с улыбкой шепнул на ухо Вокульскому:

— Ну, дорогой, если вы еще один день будете в таком настроении, как сегодня, то вскружите головы всем нашим дамам.

— Вот как! — пожал плечами Вокульский.

Он сел с краю, против панны Фелиции, Охоцкий взобрался на козлы рядом с кучером, и лошади тронулись.

Небо нахмурилось, мрак быстро сгущался. Несмотря на это, в коляске было весело; Вонсовская опять повздорила с Охоцким, который, забыв о своих воздушных шарах, перекинул ноги через спинку козел и повернулся лицом к компании. Ему вздумалось

закурить папиросу; неожиданно он чиркнул спичкой и осветил сидевшего против него Старского.

Вокульский отшатнулся: перед глазами его мелькнуло нечто такое...

«Бред! — подумал он. — Я выпил лишнее...»

У Вонсовской вырвался короткий смешок, но тут же она овладела собой и быстро заговорила:

— Что за неприличная манера сидеть, пан Охоцкий! Фи, завтра вам придется просить прощения... Ах, негодник, да он скоро положит ноги кому-нибудь на колени! Повернитесь назад сию же минуту, не то велю кучеру высадить вас...

У Вокульского на лбу выступил холодный пот, но он твердил себе: «Привиделось мне... привиделось! Какой вздор!..» Призвав на помощь всю силу воли, он отогнал назойливое видение. Вскоре он снова пришел в хорошее настроение и принялся весело болтать с Вонсовской.

А когда они вернулись в Заславек, уже поздним вечером, Вокульский заснул как убитый и даже видел какие-то смешные сны.

На другое утро он, по обыкновению, вышел погулять до завтрака; первой ему попалась навстречу горничная панны Изабеллы: она несла ворох платьев, а за нею дворовый мальчишка тащил баул.

«Что бы это значило? — подумал Вокульский. — Сегодня воскресенье, вряд ли она уедет... Нет, не может она уехать сегодня... Или она сама, или председательша, наверно, упомянули бы об этом вчера...»

Он направился к пруду, обошел весь парк, надеясь рассеять по пути дурные предчувствия. Тщетно. Мысль об отъезде панны Изабеллы неотвязно следовала за ним. Он упорно заглушал ее, но добился лишь того, что она уже не рисовалась ему с прежней отчетливостью, а тихо скреблась где-то на самом дне его сердца.

За завтраком ему казалось, что председательша поздоровалась с ним особенно сердечно, что все держатся серьезней, чем обычно, и что панна Фелиция смотрит на него пристально и как будто с укором. После завтрака ему снова почудилось, будто председательша сделала какой-то знак Вонсовской.

«Несомненно, я болен», — подумал он.

Но он сразу выздоровел, как только панна Изабелла заявила, что собирается прогуляться по парку.

— Кто хочет идти со мной? — спросила она.

Вокульский сорвался с места, остальные продолжали сидеть. И вот он снова был в саду наедине с панной Изабеллой, и снова полон умиротворения, которое всегда испытывал в ее присутствии.

В середине аллеи панна Изабелла заговорила:

— Жаль мне расставаться с Заславеком... «Жаль?» — подумал Вокульский, а она быстро продолжала:

— Пора уезжать. Тетя еще в среду писала, чтобы я возвращалась, но председательша скрыла от меня письмо и задержала меня. Только вчера, когда прислали нарочного...

— Вы завтра уезжаете?

— Сегодня, после второго завтрака... — ответила она, опустив голову.

— Сегодня? — повторил он.

Они шли по дорожке, ведущей во двор; во дворе, за оградой, виднелся экипаж — тот самый, в котором приехала панна Изабелла. Кучер уже запрягал лошадей. Но сейчас ни само известие, ни даже приготовления к отъезду не произвели на Вокульского никакого впечатления.

«Ну что же, — подумал он, — люди приезжают, потом уезжают... Совершенно естественно!»

Его самого удивляло это спокойствие.

Они прошли еще шагов двадцать под низко нависшими ветвями, и тут его охватило страшное отчаяние. Он почувствовал, что, если сейчас подадут экипаж панны Изабеллы, он бросится под копыта лошадей и не даст ей уехать. Пусть растопчут его, пусть раз и навсегда кончатся его муки!

И вслед за тем новый прилив спокойствия, и опять он удивлялся, как могут приходиться в голову такие шальные мысли! Ведь панна Изабелла вольна ехать, куда и когда ей вздумается и с кем ей угодно...

— Вы еще долго пробудете в деревне? — спросил он.

— Самое большее месяц.

— Месяц! — повторил он. — Можно ли мне по крайней мере навестить вас по вашем возвращении?

— Конечно, милости просим... Мой отец — ваш большой друг.

— А вы?

Она вспыхнула и промолчала.

— Вы не отвечаете... Вы даже не догадываетесь, как дорого мне каждое ваше слово, а мне так мало привелось их слышать... И вот сегодня вы уезжаете, не оставляя мне хотя бы тени надежды...

— Может быть, со временем... — шепнула она.

— Дай бог! Во всяком случае, я скажу вам одно... Видите ли, вам могут в жизни встретиться люди более веселые, чем я, более изысканные, знатные, даже и более состоятельные... Но такого чувства вы уже никогда не найдете. Если любовь измеряется силой страданий, то, пожалуй, не было еще на свете такой любви, как моя.

А я даже не вправе жаловаться, да и на кого? Такова моя судьба. Какими удивительными путями она вела меня к вам! Не будь страшных бедствий, постигших нас всех, никогда бы мне, бедному юноше, не удалось добиться образования, которое сейчас позволяет мне беседовать с вами. Случай привел меня в театр, где я впервые

увидел вас. А разве богатство не досталось мне благодаря чудесному стечению обстоятельств?

Когда я сейчас думаю обо всем этом, мне кажется, что еще до моего рождения мне было предопределено встретиться с вами. Если б мой бедный дядюшка не влюбился смолоду и не умер в одиночестве, сейчас я не находился бы здесь. И разве не удивительно, что сам я не увлекался женщинами, как многие, а до сих пор избегал их и почти сознательно ждал одной-единственной — вас...

Панна Изабелла незаметно смахнула слезинку. Вокульский, не глядя на нее, продолжал:

— Еще недавно, в Париже, передо мной было два пути. Один ведет к важному открытию, которое, может быть, изменит судьбу мира, второй — к вам. Я отказался от первого, потому что меня приковывает к вам незримая цепь: надежда, что вы полюбите меня... Если это возможно — я предпочту счастье с вами величайшей славе без вас. Что слава? фальшивая монета, за которую мы отдаем свое счастье, жертвуя им ради других. Но если я обольщаюсь пустой надеждой, вы одна сможете снять с меня заклятие. Скажите, что не питаете ко мне никакого чувства и никогда не будете питать... и я вернусь туда, откуда, вероятно, и не следовало уезжать. Верно? — спросил он, беря ее за руку.

Она не отвечала.

— Значит, я остаюсь... — сказал он после минутного молчания. — Я буду терпеливо ждать, а вы сами дадите мне знать, что надежды мои исполнились.

Они повернули к дому. Панна Изабелла слегка побледнела, но весело разговаривала со всеми. Вокульский вновь успокоился. Его уже не приводила в отчаяние мысль, что панна Изабелла уезжает: он сказал себе, что увидит ее через месяц, и этого ему было пока довольно.

После завтрака подали экипаж; начали прощаться.

На крыльце панна Изабелла шепнула на ухо Вонсовской:

— Пора бы тебе, Казя, сжалиться над этим бедняжкой...

— О ком ты?

— О твоём тезке.

— Ах, о Старском... Посмотрим.

Панна Изабелла подала руку Вокульскому.

— До свидания, — сказала она значительно.

Экипаж тронулся. Все собрались на крыльце и глядели ему вслед; вначале он ехал прямо, потом обогнул пруд и скрылся за холмом, потом снова показался вдали и, наконец, исчез совсем, оставив на дороге только облако желтой пыли.

— Прекрасная погода, — сказал Вокульский.

— Да, очень хорошая, — подтвердил Старский.

Вонсовская из-под опущенных ресниц следила за Вокульским.

Понемногу все разошлись. Вокульский остался один. Он пошел в свою комнату, но она показалась ему пустой и неудобной; хотел было погулять по парку, но и оттуда что-то гнало его... Ему стало казаться, будто панна Изабелла еще здесь, и он никак не мог освоиться с мыслью, что она уехала и находится уже в нескольких верстах от Заславека, с каждой секундой удаляясь от него все дальше.

— И все-таки она уехала! — шепнул он. — Уехала... ну и что же?

Он пошел к пруду и загляделся на белую лодку, вокруг которой ослепительно сверкала вода. Вдруг один из лебедей, плывших у другого берега, заметил Вокульского и, распутив крылья, с шумом подлетел к челну.

Только в это мгновение Вокульского охватила настоящая тоска, беспредельная, бездонная тоска, какая бывает, когда прощаешься с жизнью...

Поглощенный своими горькими мыслями, Вокульский не слишком следил за тем, что делалось вокруг него. Все же к вечеру он заметил, что заславская компания вернулась из парка в кислом настроении. Панна Фелиция заперлась с панной Эвелиной в ее комнате, барон нервничал, а Старский насмешничал и дерзил. После обеда председательша позвала к себе Вокульского. По-видимому, она тоже была раздражена, но старалась держать себя в руках.

— Подумал ли ты, пан Станислав, о сахарном заводе? — спросила она, нюхая свой флакончик, что служило у нее признаком волнения. — Пожалуйста, подумай и потолкуем об этом, а то мне уже опротивели все эти интрижки...

— Вы расстроены чем-то? — спросил Вокульский.

Она махнула рукой.

— Какое там расстроена... просто надоело: поскорее бы уж поженились барон с Эвелиной либо совсем порвали бы... Не то пусть уезжают — или они, или Старский... Одно из двух...

Опустив голову, Вокульский молчал. По-видимому, ухаживание Старского за невестой барона приняло слишком уж явный характер. Но ему-то какое дело до этого?

— Дурочки эти барышни, — снова заговорила председательша. — Им кажется: стоит только подцепить богатого мужа да в придачу красивого любовника — и больше ничего в жизни не нужно... Дурочки!.. Не знают они, что скоро надоеет и старый муж и пустой любовник, а рано ли, поздно ли каждой захочется встретить настоящего человека. А встретит она его, настоящего, так на свою беду. Что она ему даст? Свои проданные прелести или сердце, замаранное таким вот Старским? И подумать только, что почти каждая из них проходит такую школу, прежде чем научиться разбираться в людях. Попадись ей до этого хоть самый благородный человек — она его не оценит. Предпочтет старого богача или наглого развратника, испортит себе жизнь из-за них, а потом захочет начать новую жизнь... Но — увы! — поздно...

А больше всего поражает меня то обстоятельство, — продолжала старушка,

— что у мужчин не хватает ума раскусить этих кукол. Ни для одной женщины, возьми хоть Вонсовскую, хоть мою горничную, не секрет, что в Эвелине еще не проснулись ни разум, ни сердце, все в ней еще спит глубоким сном... А бедняга барон видит в ней божество и воображает, что она его любит!

— Почему же вы, сударыня, не предостережете его? — спросил Вокульский сдавленным голосом.

— Полно! Все равно не поможет... Сколько раз я уже намекала ему, что Эвелина пока лишь испорченный ребенок, кукла. Со временем, может быть, из нее что-нибудь и получится, но сейчас... именно такой вот Старский по ней. Так что ж? — прибавила она, помолчав. — Подумаешь насчет сахарного завода? Вели оседлать лошадь и поезжай в поле да погляди, хочешь, — один, а то — еще лучше — с Вонсовской. Она женщина стоящая, поверь мне...

Вокульский ушел от председательши в смятении.

«Зачем она говорила о бароне и Эвелине? Не было ли это попросту предостережением мне? Старский, по-видимому, ухаживает не за одной панной Эвелиной. Что это было тогда в коляске? Ах, лучше пустить себе пулю в лоб...»

Однако он тут же опомнился и попытался рассуждать здраво:

«То, в коляске, либо было на самом деле, либо померещилось мне. Если померещилось, значит я напрасно оскорбляю невинную девушку, а если было... Ну, не стану же я соперничать с опереточным оболъстителем и жертвовать жизнью ради притворщицы. Она вправе заводить романы с кем угодно, но не вправе обманывать человека, который провинился перед нею только тем, что любит ее. Пора уезжать из этой Капуи и приниматься за работу. В лаборатории Гейста я найду более достойное занятие, чем в гостиных...»

Вечером, часов около десяти, в комнату к нему зашел барон. На нем лица не было. Сначала он пытался острить и смеяться, но вдруг, задыхаясь, повалился на стул и, с трудом овладев собой, заговорил:

— Знаете, уважаемый пан Вокульский, временами мне кажется — не по собственному опыту, ибо моя невеста благороднейшее существо... — тем не менее временами мне кажется, что женщины иногда нас обманывают...

— Иногда да.

— Может быть, это не их вина, однако нередко случается, что они поддаются влиянию опытных волокит...

— О да, это случается.

Барон так дрожал, что минутами у него зубы стучали.

— Не считаете ли вы, — спросил он, — что все же следовало бы принимать против этого меры?

— Какие же?

— Например, оградить женщину от близкого знакомства с ловкими оболъстителями.

Вокульский расхохотался.

— Можно защитить женщину от обольстителей, но разве можно защищать ее от собственных инстинктов? Что вы можете поделаться, если негодяй, в котором вы видите только распутника и интригана, для нее — самец того же вида, что и она?

Постепенно Вокульский приходил в ярость. Он шагал по комнате и гневно говорил:

— Как бороться с законом природы, по которому сука, даже самая породистая, пойдет не со львом, а именно с псом? Предложите ей целый зоологический сад с самыми благородными зверями — она отвернется от них ради нескольких псов... И ничего удивительного в этом нет: они принадлежат к ее виду.

— Значит, по-вашему, нет никакого выхода?

— Сейчас — нет, а со временем будет, но только один: искренность в человеческих отношениях и свобода выбора. Когда женщине не придется притворяться в любви и кокетничать со всеми, она сразу отвергнет тех, кто ей не мил, и пойдет с тем, кто ей нравится. Тогда не будет ни обманутых, ни обманщиков, отношения будут складываться естественно.

Барон ушел, а Вокульский лег в постель. Всю ночь он не спал, но обрел вновь душевное равновесие.

«На каком основании я предъявляю претензии к панне Изабелле? — думал он. — Ведь она и не говорила, что любит меня: в ее словах блеснула мне лишь слабая тень надежды, что когда-нибудь это может случиться. И могу ли я ее винить, ведь она почти не знает меня. И что за дикие мысли приходят мне в голову! Старский? Но она хочет сосватать его с Вонсовской и поэтому вряд ли намерена сама завести с ним роман. А председательша? Председательша любит панну Изабеллу и не раз мне это говорила, даже велела мне приехать сюда... Еще есть время. Я познакомлюсь с нею поближе. И если она меня полюбит, я буду счастлив, и в таком случае мне нечего тревожиться. Если нет — вернусь к Гейсту. А пока что я продам дом и магазин и останусь только в Обществе торговли с Россией. Через несколько лет это принесет мне тысяч сто в год, а ей не будет грозить звание галантерейной купчихи».

На следующий день, после завтрака, Вокульский велел оседлать лошадь и выехал со двора, сказав, что хочет осмотреть окрестности. Бессознательно он свернул на дорогу, по которой накануне проехал экипаж панны Изабеллы и где, казалось ему, еще виднелись следы колес... Потом, так же машинально, повернул к лесу, куда еще так недавно они ездили за грибами. Вот тут она засмеялась, тут заговорила с ним, тут остановилась полюбоваться пейзажем. Подозрения, вспышки гнева — все это в нем угасло. Вместо них капля за каплей, как слезы, в сердце его сочилась тоска, жгучая, как огонь преисподней...

Подъехав к опушке, он соскочил с лошади и повел ее под уздцы.

Вот тропинка, по которой они тогда шли вдвоем: но сейчас она кажется иной. Вон та часть леса тогда напоминала костел, а сейчас — ни следа сходства. Вокруг серо и тихо, слышится только карканье ворон, пролетающих над лесом, да крик испуганной белки, что карабкается на дерево, тьявая, как щенок.

Вокульский дошел до полянки, где в тот день они беседовали с панной Изабеллой, он разыскал даже пеню, на котором она сидела. Все было как тогда, только ее нет... На кустах орешника начали желтеть листья, сосны поникли в паучьих сетях печали. Печаль такая тонкая, неуловимая — а как крепко она опутала его!

«Как это глупо, — думал он, — находиться в зависимости от одного человеческого существа! Ведь для нее я работал, о ней думал, ради нее живу. Хуже того — для нее я покинул Гейста... Ну, а что хорошего я нашел бы у него?..

Я оказался бы в такой же кабале, только вместо прекрасной женщины мною располагал бы старик немец. И работать пришлось бы еще тяжелее, и разница заключалась бы лишь в том, что сейчас я работаю ради своего счастья, а тогда — ради счастья других, они же тем временем пользовались бы жизнью и наслаждались любовью за мой счет.

Право, мне не на что жаловаться. Год назад я не смел мечтать о панне Изабелле, а теперь я знаю ее и даже добиваюсь взаимности... Полно, будто я и в самом деле ее знаю? Панна Ленцкая — закоренелая аристократка, это верно, но она еще не разбирается в жизни... Душа у нее поэтическая... или только так кажется? Она, несомненно, кокетка, но и это пройдет, если она меня полюбит... Словом, не так-то все плохо, а через год...»

В эту минуту конь его вскинул голову и заржал: из лесной чащи раздалось ответное ржанье и топот. Вскоре на тропинке показалась всадница, в которой Вокульский узнал Вонсовскую.

— Ау, ау! — крикнула она, смеясь, и, соскочив с коня, бросила поводья Вокульскому.

— Привяжите его, — сказала она. — Ах, как я уже изучила вас! Час назад спрашиваю у председательши: «Где Вокульский?» — «Поехал в поле осмотреть место под завод». — «Как бы не так! — думаю я. — Он поехал в лес — мечтать». Велела оседлать лошадь, и вот беглец передо мной: сидит на пне, размечтался... Ха-ха-ха!

— Неужели я так смешно выгляжу?

— Нет, по-моему не смешно, а скорей... ну, как бы сказать?.. неожиданно. Я совсем иначе представляла себе вас. Когда мне сказали, что вы купец и вдобавок быстро сколотили состояние, я подумала: «Купец? Наверное, он приехал в деревню свататься к богатой барышне или вытянуть у председательши куш на какое-нибудь предприятие».

Во всяком случае, я считала вас человеком холодным, расчетливым, который и по лесу-то ходит, оценивая деревья, а на небо и вовсе не смотрит, потому что с неба не возьмешь процентов. Между тем кого же я нашла? Мечтателя, средневекового трубадура, который украдкой скрывается в лес, чтобы, вздыхая, разыскивать следы ее ножек! Верного рыцаря, полюбившего не на жизнь, а на смерть одну-единственную, между тем как с остальными он неучтив, даже груб. Ах, пан Вокульский, как же это забавно... И несовременно!

— Вы кончили? — холодно спросил Вокульский.

— Кончила... Теперь вы хотите говорить?

— Нет, сударыня. Я предлагаю вернуться домой.

Вонсовская вспыхнула.

— Позвольте, — сказала она, беря под уздцы свою лошадь. — Уж не думаете ли вы, что я так говорю о вашей любви, чтобы самой выйти за вас? Вы молчите... Так поговорим серьезно. Был момент, когда вы мне нравились, был — и прошел. А если б и не прошел, если б мне было суждено умереть от любви к вам, чего, наверное, не случится, ибо я не лишилась пока ни сна, ни аппетита, — я не согласилась бы принадлежать вам, слышите? Хоть бы вы у ног моих ползали. Не могла бы я жить с человеком, который любит другую так, как вы. Я слишком горда. Вы верите мне?

— Да.

— Надеюсь. А сегодня я задела вас своими шутками только потому, что желаю вам добра. Мне нравится ваше неистовство, я хотела бы, чтобы вы были счастливы, и потому говорю вам: избавьтесь от сидящего в вас средневекового трубадура, потому что сейчас девятнадцатый век и женщины теперь не таковы, какими вы их воображаете, это знает любой двадцатилетний мальчишка.

— А каковы они?

— Красивы, милы, любят всех вас водить за нос, а сами влюбляются лишь постольку, поскольку это доставляет им удовольствие. Ни одна из них не согласится на любовь драматическую, по крайней мере — не всякая... Для этого ей сначала должны наскучить увлечения, и только тогда она будет способна на драматическую любовь...

— Словом, вы приписываете панне Изабелле...

— О, я панне Изабелле ничего не приписываю, — живо возразила Вонсовская. — Из нее может выйти со временем настоящая женщина, и тот, кого она полюбит, будет счастлив. Но когда еще она полюбит!.. Помогите мне взобраться на седло...

Вокульский посадил ее и вскочил на своего коня. Вонсовская была раздражена. Некоторое время она молча ехала впереди, затем вдруг обернулась и сказала:

— Последнее слово. Я знаю людей лучше, чем вам кажется, и... страшусь вашего разочарования. Так вот, если оно когда-нибудь наступит, помяните мой совет: не действуйте сгоряча, под влиянием первой вспышки, а переждите. Многие со стороны выглядят иным, чем в действительности, и кажется хуже...

— О, дьявол! — пробормотал Вокульский. Все вокруг поплыло у него перед глазами и погрузилось в кровавую мглу.

До самого дома они больше не сказали ни слова. Вернувшись в Заславок, Вокульский пошел к председателю.

— Завтра я уезжаю, — сказал он. — А сахарный завод строить вам не нужно.

— Завтра? — переспросила председательша. — А с камнем как же будет?

— Я и хочу, если вы не возражаете, заехать в Заслав. Осмотрю камень, да кстати еще одно дело улажу.

— Ну что ж, поезжай с богом... тебе тут делать нечего. А в Варшаве навести меня. Я вернусь в одно время с графиней и Ленцкими...

Вечером к Вокульскому зашел Охоцкий.

— Черт побери! — крикнул он. — Мне нужно было о стольких делах переговорить с вами... Да что ж, когда вы все время окружали себя бабами, а теперь уезжаете...

— А вы недолюбливаете женщин? — усмехнулся Вокульский. — Может быть, вы и правы!

— Не то что недолюбливаю. Но с тех пор, как я убедился, что великосветские дамы не отличаются от горничных, я предпочитаю горничных.

Все бабы, — продолжал он, — глупы, как гусыни, не исключая и самых умных. Вот только вчера я полчаса объяснял Вонсовской, зачем нужны управляемые воздушные шары. Я толковал ей о том, как исчезнут границы, говорил о братстве народов, о грандиозном прогрессе цивилизации... Она так смотрела мне в глаза — голову дал бы на отсечение, что она все понимает! Кончил, а она спрашивает: «Пан Юлиан, почему бы вам не жениться?» Слышали вы что-нибудь подобное?! Я, конечно, еще битых полчаса объяснял ей, что и не подумаю жениться, что я не женился бы ни на панне Фелиции, ни на панне Изабелле, ни даже на ней. На кой черт мне жена, которая будет вертеться у меня в лаборатории, шуршать своим шлейфом, таскать меня на прогулки, в гости, в театр... Ей-богу, я не знаю ни одной женщины, в обществе которой не отупеешь за полгода.

Он замолчал и собрался уходить.

— Одно словечко, — задержал его Вокульский. — Когда вы вернетесь в Варшаву, зайдите ко мне. Может быть, я сообщу вам об одном изобретении, — правда, на него надо потратить полжизни, но... оно, наверное, придется вам по душе.

— Воздушные шары? — спросил Охоцкий, и глаза его загорелись.

— Кое-что получше. Спокойной ночи!

На следующий день, около полудня, Вокульский попрощался с председательшей и ее гостями. Через несколько часов он был уже в Заславе. Навестил ксендза, затем велел Венгелеку собираться в путь — в Варшаву. Покончив с этим, он пошел к развалинам замка.

На камне уже было вырезано четверостишие. Вокульский несколько раз его прочитал и задумался над словами:

Везде, всегда с тобой я буду вместе...

— А если нет? — прошептал он.

При этой мысли его охватило отчаяние. Сейчас ему страстно хотелось одного — чтобы земля расступилась под ним и поглотила его вместе с руинами, с этим камнем и надписью на нем.

Когда он вернулся в Заслав, лошади были уже покормлены; возле экипажа стоял Венгелек с зеленым сундучком.

— А ты знаешь, когда вернешься сюда? — спросил его Вокульский.

— Когда бог даст, сударь, — ответил Венгелек.

— Ну, так садись!

Вокульский бросился на подушки сиденья, экипаж тронулся. Стоявшая в стороне старуха перекрестила их в путь-дорогу. Венгелек взглянул на нее и снял шапку.

— Счастливо оставаться, мамаша! — крикнул он с козел.

Глава седьмая. Дневник старого приказчика

«Год у нас нынче 1879.

Будь я суеверен, а главное — не знай я, что после самых тяжелых лет настают и хорошие времена, боялся бы я этого 1879 года. Ибо если прошлый год кончился плохо, так нынешний начался еще хуже.

Англия, например, в конце прошлого года ввязалась в войну с Афганистаном, и в декабре дела там были плачевные. У Австрии была масса хлопот с Боснией, а в Македонии вспыхнуло восстание. В октябре и ноябре были покушения на испанского короля Альфонса и на итальянского — Умберта. Оба уцелели. В октябре же скончался граф Юзеф Замойский, большой друг Вокульского. Я даже думаю, что смерть его во многом расстроила планы Стаха.

1879 год только начался, но пропади он пропадом, право! Англичане еще не разделались с Афганистаном, а уже затеяли войну в Африке, где-то на мысе Доброй Надежды, с какими-то зулусами. Да и у нас, в Европе, невесело: под Астраханью вспыхнула чума, того и гляди к нам перекинется.

Черт бы побрал эту чуму. Кого ни встретишь, сейчас же слышишь: «Вам, мол, хорошо ситчики из Москвы выписывать! Вот увидите, завезете вы нам со своими ситчиками чуму». А сколько мы получаем анонимных писем, где нас ругают на чем свет стоит! Однако я думаю, что строчат их в первую голову наши конкуренты — купцы или владельцы лодзинских ситценабивных фабрик.

Эти утопили бы нас в ложке воды, если бы даже никакой чумы и не было. Само собою, я и сотой доли их ругательств не передаю Вокульскому; но, кажется, сам он слышит и читает их чаще, чем я.

Собственно говоря, я собирался тут описать одну невероятную историю об уголовном деле, которое возбудила баронесса Кшешовская... Против кого же? Никому бы в голову не пришло! Против милой, прелестной, честнейшей пани Элены Ставской! Но меня обуревают такая ярость, что я не в силах собраться с мыслями. Так вот, чтобы отвлечься чем-нибудь, я решил пока написать о другом.

Баронесса возбудила против пани Ставской судебный процесс по обвинению в краже! Пани Елена и кража! Нечего и говорить, что мы вышли из этого грязного дела с триумфом. Но чего оно нам стоило! Я — так, ей-богу, целых два месяца не спал по ночам. И если я теперь повадился ходить в ресторацию, чего со мной раньше никогда не случалось, и иной раз засиживаюсь там до полуночи, то уж конечно только с

огорчения. Обвинить ее, этого ангела, в краже! Для этого, бог мне свидетель, нужно быть такой полоумной, как госпожа баронесса.

Зато и заплатила нам злодейка десять тысяч рублей. Если б это зависело от меня, я бы выжал из нее и сто тысяч! Пусть бы она плакала, закатывала истерики, пусть бы даже умерла... Подлая женщина!

Но бог с ней, с человеческой подлостью, подумаем о чем-нибудь другом.

Собственно говоря, как знать — не послужил ли мой славный Стах невольной причиной этой беды, и даже не столько он, сколько я... Ведь это я потащил его к Ставской, я уговорил его не ходить к этой гадине баронессе, наконец, я написал ему в Париж, чтобы он собрал сведения о Людвиге Ставском. Словом, я, а не кто иной, разозлил ведьму Кшешовскую. Ну, я за это и нес наказание в течение целых двух месяцев. Ничего не поделаешь. «Господи, если ты существуешь, спаси мою душу, если она у меня есть», — как говорил один солдат времен французской революции.

(Ох, как же я старею, как я старею! Мне бы прямо приступить к делу, а я болтаю, виляю, медлю... Хотя, ей-же-ей, меня, наверное, хватил бы удар, если бы пришлось сразу написать об этом безобразном, позорном процессе...)

Минуточку, только соберусь с мыслями. Стах в сентябре был в деревне, у председательши Заславской. Зачем он туда ездил, что там делал? Понятия не имею. Но по немногим его письмам чувствовалось, что было ему там не особенно хорошо. И кой черт принес туда панну Изабеллу Ленцкую! Ну возможное ли дело, чтобы он ею интересовался? И пусть меня назовут пустомелей, если я не сосватаю его с Эленой Ставской. Сосватаю, поведу их к алтарю, присмотрю, чтобы он дал обет, как полагается, а там... Может, пулю в лоб себе пущу, а?

(Старый глупец! Тебе ли мечтать о таком ангеле? Впрочем, я о ней и не мечтаю вовсе, особенно с тех пор, как убедился, что она любит Вокульского. Пусть же любит его на здоровье, лишь бы они оба были счастливы. А я? Эх, Кац, старый дружище, разве не хватит и у меня отваги?)

В ноябре, как раз в тот день, когда обрушился дом на Вспульной, Вокульский вернулся из Москвы. И опять-таки я не знаю, что он там делал, знаю только, что заработал около семидесяти тысяч рублей... Такие прибыли превосходят мое понимание, но готов присягнуть, что дело, в котором участвовал Стах, наверняка было чистое.

Через несколько дней после его возвращения является ко мне один солидный купец и говорит:

— Милейший пан Жецкий, я не охотник мешаться в чужие дела, но, ради бога, предупредите вы пана Вокульского (только не от моего имени, а от своего), что этот его компаньон Сузин большой прохвост и, наверное, скоро вылетит в трубу...

Предостерегите вы его — ведь жаль человека... Вокульский достоин сочувствия, хоть он и вступил на ложный путь.

— Что вы называете ложным путем? — спрашиваю.

— Ну, воля ваша, если человек ездит в Париж, покупает суда во время трений с Англией и тому подобное, то такой человек не отличается гражданскими доблестями.

— Любезнейший, — говорю я, — чем же покупка судов хуже покупки, скажем, хмеля? Разве только тем, что приносит больший барыш?

— Положим, пан Жецкий, — опять говорит он, — насчет этого рассуждать не стоит. Пусть бы кто другой так поступал, я бы словечка против не сказал, но Вокульский!.. Ведь обоим нам известно его прошлое, мне, может, даже лучше вашего известно, потому что покойник Гопфер не раз передавал мне через него заказы...

— Позвольте, — говорю я купцу, — вы бросаете тень на Вокульского?

— Нет, сударь мой, — отвечает он, — я только повторяю то, о чем весь город кричит. Вредить Вокульскому я отнюдь не собираюсь, особенно в вашем мнении, раз вы с ним дружите (и правильно делаете, потому что помните его еще с тех времен, когда он был не таким, как сейчас). Однако... признайте сами, человек этот наносит ущерб нашей промышленности... Я не берусь судить о его патриотизме, пан Жецкий, однако... скажу вам откровенно (я не стану кривить душой перед вами), что московские ситчики... вы понимаете?

Я разозлился. Хоть я и был поручиком венгерской пехоты, однако никак не пойму: чем немецкие ситчики лучше московских? Но моего купца нельзя было переспорить. Он, каналья, так поднимал брови, так пожимал плечами, так разводил руками, что под конец я подумал: «Видно, он большой патриот, а я шалопай, хоть в те времена, когда он набивал карман рублями и империялами, я подставлял свой лоб под пули...»

Конечно, я передал этот разговор Стаху. Он выслушал и отвечал:

— Успокойся, мой милый. Те же люди, которые предостерегают меня, что Сузин прохвост, месяц назад писали Сузину, что я банкрот, мошенник и бывший бунтовщик.

После беседы с этим почтенным купцом, фамилии которого я даже не хочу называть, по прочтении всех анонимных писем я решил записывать различные мнения, которые добрые люди высказывают о Вокульском.

Вот пока первая порция: Стах плохой патриот, потому что он своими дешевыми ситцами испортил дела лодзинских фабрикантов. *Vene! <Хорошо! (лат.)>* Посмотрим, что будет дальше...

В октябре, примерно в то время, когда Матейко^[44] закончил свою «Грюнвальдскую битву» (это картина большого размера, весьма внушительная, только не стоит ее показывать солдатам, участвовавшим в боях), забегает к нам в магазин Марушевич, приятель баронессы Кшешовской. Гляжу, ни дать ни взять — вельможа! На животе, а вернее, в том месте, где у людей бывает живот, золотая цепочка в полпальца толщиной и длинная-предлинная, хоть собаку на ней води. В галстук бриллиантовая булавка, на руках новехонькие перчатки, на ногах новехонькие ботинки, и сам (ну уж и тщедушная фигура, прости господи!) в новом костюме. При этом физиономия важная, как будто все это не в кредит взято, а оплачено чистоганом. (Позже Клейн, который живет с ним в одном доме, объяснил мне, что Марушевич частенько играет в карты и ему с некоторых пор везет).

Итак, мой франт влетает, вертит в руках дорогую тросточку и, беспокойно озираясь по сторонам (глаза у него всегда как-то бегают), спрашивает, не снимая шляпы:

— Пан Вокульский в магазине? Ах, пан Жецкий! Разрешите на одно словечко...

Мы пошли за шкафы.

— Я к вам с отличной новостью, — говорит он, с чувством пожимая мне руку. — Можете сбить свой дом... бывший Ленцких... Баронесса Кшешовская купит. Она уже выиграла процесс против мужа, получила свои капиталы и, если вы сумеете поторговаться, даст девяносто тысяч, а может быть, и немного отступного...

Он, вероятно, уловил на моем лице выражение удовольствия (это приобретение никогда не было мне по душе), сжал мне руку еще сильнее — насколько вообще такая дохлятина может что-нибудь сделать с силой, — и, притворно улыбаясь (тошнит меня от его сладенькой улыбки), зашептал:

— Я могу оказать вам услугу... немаловажную услугу, господа... Баронесса весьма считается с моим мнением, и... если я...

Тут он кашлянул.

— Понятно, — заметил я, сообразив, с кем имею дело. — От пана Вокульского вам тоже, наверное, кое-что перепадет...

— Что вы, сударь! — воскликнул он. — С какой стати... Тем более что с решительным предложением обратится к вам от имени баронессы ее поверенный. Дело совсем не во мне... Как вы понимаете, мне вполне хватает моих средств... Но я знаю одну бедную семью, которой вы, господа, может быть, по моей рекомендации, уделите...

— Простите, — перебил я, — мы предпочли бы вручить известную сумму непосредственно вам, разумеется, если сделка состоится.

— Состоится, конечно состоится, ручаюсь честью! — заверил он.

Однако, поскольку я не дал ему никакой гарантии насчет вышеупомянутой суммы, Марушевич повертелся еще немного по магазину и, посвистывая, вышел.

В конце дня я заговорил об этом со Стахом, но он промолчал, что меня озадачило. На другой день побежал я к нашему поверенному (он также и поверенный князя) и передал ему сообщение Марушевича.

— Кшешовская дает девяносто тысяч рублей? — удивился поверенный (это превосходный человек). — Помилуйте, дорогой пан Жецкий, да ведь сейчас дома дорожают, в будущем году по этой причине выстроят сотни две новых... При таких условиях, дорогой мой, если мы продадим дом за сто тысяч, то еще окажем покупателю немалую услугу... Раз баронессе так приспичило его купить (если только позволительно применить такое выражение к столь изысканной даме), мы можем вытянуть из нее гораздо более внушительную сумму, дорогой мой!

Я попрощался со знаменитым юристом и вернулся в магазин, твердо решив не вмешиваться более в дело по продаже дома. И тут мне пришло в голову (впрочем, не в первый раз), что Марушевич порядочный пройдоха.

А теперь я успокоился настолько, что могу собраться с мыслями и приступить к описанию гнусного процесса баронессы против этого ангела во плоти, против этого

совершенства, пани Ставской. Если б я не описал его сейчас, то через год или два усомнился бы в собственной памяти и не поверил бы, что могло произойти нечто столь чудовищное.

Итак, заруби себе на носу, милый Игнаций, что, во-первых, почтенная баронесса Кшешовская издавна возненавидела пани Ставскую, считая, что все мужчины в нее влюблены, и, во-вторых, что почтенная баронесса хотела как можно дешевле купить дом у Вокульского. Вот два важных обстоятельства, все значение которых я только теперь постиг. (Как я старею, боже ты мой, как я старею!)

К пани Ставской, с тех пор как познакомился с нею, я захаживал довольно часто. Не скажу, чтоб ежедневно. Иногда раз в несколько дней, а иногда и по два раза на дню. Должен же я был присматривать за домом — это первое. Потом надо было сообщить пани Ставской, что я писал Вокульскому насчет розысков ее мужа. Затем пришлось зайти к ней и уведомить, что Вокульский не узнал ничего определенного. Кроме того, я посещал ее для того, чтобы наблюдать из окон ее квартиры за Марушевичем, который жил во флигеле, напротив нее. И, наконец, мне понадобилось разузнать подробнее о Кшешовской и ее отношениях с проживавшими над ее квартирой студентами, на которых она постоянно жаловалась.

Человек посторонний мог бы решить, что я бываю у Ставской чересчур часто. Однако по зрелом размышлении я пришел к выводу, что бывал у нее чересчур редко. Ведь ее квартира служит великолепным пунктом для наблюдения за всем домом, ну и к тому же принимали меня всегда очень радушно. Пани Мисевичова (почтенная матушка пани Элены) всякий раз встречала меня с распростертыми объятиями, маленькая Элюня забиралась ко мне на колени, а сама пани Ставская при виде меня оживлялась и говорила, что, когда я сижу у них, она забывает о своих огорчениях.

Ну мог ли я ввиду подобного расположения приходить не часто? Ей-богу, по-моему, я ходил туда слишком редко, и, будь я действительно рыцарем, мне следовало бы просиживать там с утра до вечера. Пусть бы даже пани Ставская в моем присутствии одевалась — что ж, мне бы это ничуть не мешало!

Во время своих посещений я сделал ряд важных открытий.

Прежде всего, студенты с четвертого этажа были на самом деле людьми весьма беспокойного нрава. Они пели и кричали до двух часов ночи, иногда попросту ревели и вообще старались издавать как можно больше нечеловеческих звуков. Днем, если хоть один из них был дома — а кто-нибудь всегда оставался, — стоило Кшешовской высунуть голову в форточку (а делала она это раз двадцать на дню), как тотчас же сверху ее обливали водой.

Я бы даже сказал, что это превратилось в своего рода спорт, состоявший в том, что она спешила как можно проворнее убрать голову из форточки, а студенты — как можно чаще и как можно обильнее ее обливать.

По вечерам же эти молодые люди, пользуясь тем, что над ними-то никто не жил и никто не мог окатывать их водой, зазывали к себе прачек и прислугу со всего дома, и тогда из квартиры баронессы неслись крики и истерические рыдания.

Второе мое открытие относилось к Марушевичу, окна которого находятся почти против окон пани Ставской. Этот человек ведет престранный образ жизни, отличающийся необычайной систематичностью. Он систематически не платит домовладельцу. Систематически каждые две-три недели из квартиры его выносят множество рухляди: какие-то статуи, зеркала, ковры, стенные часы... Но, что еще любопытнее, столь же систематически, ему приносят новые зеркала, новые ковры, новые часы и статуи...

Всякий раз, после того как из квартиры вынесут вещи, Марушевич несколько дней подряд показывается у одного из своих окон. Тут он бреется, причесывается, фиксатуарится и даже одевается, бросая при этом весьма двусмысленные взгляды на окна пани Ставской. Но как только в комнатах его вновь появляются предметы комфорта и роскоши, Марушевич на несколько дней завешивает свои окна шторами.

Тогда (невероятная вещь!) у него днем и ночью горит свет и слышен гул многочисленных мужских, а иногда и женских голосов...

Но зачем мне мешаться в чужие дела!

Однажды в начале ноября Стах сказал мне:

— Ты, кажется, бываешь у пани Ставской?

Меня даже в жар бросило.

— Прости, пожалуйста, — вскричал я, — как прикажешь это понимать?

— Очень просто, — отвечал он. — Ведь я не говорю, что ты являешься к ней с визитом через окно, а не через дверь. Впрочем, ходи, как тебе угодно, но только при первой же возможности сообщи этим дамам, что я получил письмо из Парижа.

— О Людвике Ставском?

— Да.

— Разыскали его наконец?

— Нет еще, но уже напали на след и надеются в недалеком будущем выяснить вопрос о его местопребывании.

— Может быть, бедняга умер! — воскликнул я и обнял Вокульского. — Послушай, Стах, — прибавил я, несколько успокоившись, — сделай милость, навести этих дам и сам сообщи им эту новость.

— Да что я тебе, гробовщик, что ли? — возмутился Вокульский. — С какой стати я должен доставлять людям такого рода удовольствия?

Однако, когда я принялся описывать, что это за достойные женщины, как они расспрашивали, не собирается ли он как-нибудь их навестить, и вдобавок намекнул, что не мешало бы хоть взглянуть на собственный дом, он стал сдаваться.

— Мало меня занимает этот дом, — сказал он и пожал плечами. — Не сегодня-завтра я продам его.

В конце концов мне удалось его уговорить, и к часу дня мы с ним поехали. Проходя через двор, я заметил, что в квартире Марушевича все шторы были тщательно задернуты. По-видимому, он опять приобрел новую обстановку.

Стах мельком взглянул на окна, рассеянно слушая мой отчет о произведенном благоустройстве: сменили дощатый настил под воротами, починили крышу, покрасили фасад, лестница моется еженедельно. Словом, этот запущенный дом стал весьма презентабельным. Во всем полный порядок, не исключая двора и водопровода, — во всем, кроме квартирной платы.

— Впрочем, — закончил я, — более подробные сведения о поступлении квартирной платы даст тебе твой управляющий Вирский, за которым я сейчас пошлю дворника...

— Оставь ты меня в покое и с этой платой, и с управляющим, — проворчал Стах. — Идем уж к пани Ставской, и поскорей вернемся в магазин.

Мы поднялись во второй этаж левого флигеля, откуда несло вареной цветной капустой. Стах поморщился. Я постучал в кухонную дверь.

— Барыни дома? — спросил я толстую кухарку.

— Как же не дома, коли вы пожаловали? — отвечала она, подмигивая.

— Видишь, как нас принимают! — шепнул я Стаху по-немецки.

Вместо ответа он кивнул головой и выпятил нижнюю губу.

В маленькой гостиной мать пани Ставской, по обыкновению, вязала чулок; увидев нас, она привстала с кресла и с удивлением уставилась на Вокульского.

Из второй комнаты выглянула Элюня.

— Мама! — позвала она таким громким шепотом, что ее, наверное, во дворе было слышно. — Пришел пан Жецкий и еще какой-то господин.

Тотчас же вышла к нам сама пани Ставская.

Я обратился к обеим дамам:

— Сударыня, наш хозяин, пан Вокульский, явился засвидетельствовать вам свое почтение и сообщить известия...

— О Людвике? — подхватила пани Мисевичова. — Жив он?

Пани Ставская побледнела, а потом вся вспыхнула. В эту минуту она была так прелестна, что даже Вокульский посмотрел на нее если не с восторгом, то, во всяком случае, приветливо. Я уверен, что он тут же влюбился бы в нее, если б не этот противный запах капусты, доносившийся из кухни.

Мы сели. Вокульский спросил, довольны ли дамы своей квартирой, а затем рассказал им, что Людвик Ставский два года назад был в Нью-Йорке, откуда под чужою фамилией переехал в Лондон. Он осторожно упомянул о том, что в то время Ставский был болен и что недели через две, вероятно, будут получены совершенно точные сведения.

Слушая его, пани Мисевичова несколько раз прибежала к помощи носового платка... Пани Ставская держалась спокойнее, и только несколько слезинок скатилось по ее лицу. Желая скрыть свое волнение, она с улыбкой обернулась к дочурке и сказала вполголоса:

— Эленка, поблагодари пана Вокульского за то, что он принес нам вести о папочке.

На глазах ее снова блеснули слезы, но она овладела собой.

Эленка сделала Вокульскому реверанс и, внимательно поглядев на него широко открытыми глазами, вдруг обхватила ручонками его шею и поцеловала прямо в губы.

Не скоро забуду я, как изменилось лицо Стаха при этой неожиданной ласке. Насколько мне известно, его еще ни разу в жизни не целовал ребенок, поэтому в первый миг он с удивлением отстранился, затем обнял Элюню, растроганно посмотрел на нее и поцеловал в головку. Я готов был поклясться, что он сейчас встанет и скажет пани Ставской:

— Разрешите мне, сударыня, заменить отца этой прелестной девчурке...

Но Стах этого не сказал; он опустил голову и погрузился в обычную свою задумчивость. Я бы отдал половину своего годового жалованья, чтобы узнать: о чем он тогда думал? Уж не о Ленцкой ли? Эх! Вот она, старость-то!.. Что там Ленцкая? Она Ставской и в подметки не годится!

Помолчав несколько минут, Вокульский спросил:

— Довольны ли вы, сударыня, своими соседями?

— Смотря какими, — ответила пани Мисевичова.

— Конечно, вполне довольны, — поспешила сказать пани Ставская. При этом она взглянула на Вокульского и опять покраснела.

— А пани Кшешовская тоже приятная соседка? — спросил Вокульский.

— Ох, сударь! — воскликнула пани Мисевичова и подняла палец.

— Баронесса несчастна, — перебила ее пани Ставская. — Она потеряла дочку...

Говоря это, она теребила край платочка, и ее чудные ресницы затрепетали, словно она хотела взглянуть... отнюдь не на меня. Но, должно быть, веки ее сделались тяжелее свинца, и она только все сильнее заливалась румянцем и принимала все более строгий вид, как будто кто-то из нас обидел ее.

— А что за человек пан Марушевич? — продолжал Вокульский, точно не замечая обеих дам.

— Шалопай, ветрогон, — живо ответила старушка.

— Что вы, маменька, он просто оригинал, — поправила дочь. При этом она так широко раскрыла глаза и зрачки у нее стали такие большие, каких я прежде никогда не видел.

— А студенты, кажется, очень развязно себя держат. — сказал Вокульский, глядя на пианино.

— Известное дело, молодежь! — возразила пани Мисевичова и громко высморкалась.

— Посмотри, Элюня, у тебя бант развязался, — сказала пани Ставская и наклонилась к дочке, может быть затем, чтобы скрыть свое смущение при упоминании о распущенности студентов.

Этот разговор начал меня раздражать. В самом деле, надо быть тупицей или невежей, чтобы такую прелестную женщину расспрашивать о соседях! Я перестал его слушать и машинально стал смотреть во двор.

И вот что я увидел... В одном из окон Марушевича отогнулся уголок шторы, и сквозь щель сбоку можно было заметить какую-то фигуру.

«Почтенный пан Марушевич шпионит за нами!» — подумал я.

Перевожу взгляд в третий этаж главного здания... Вот так сюрприз! В крайней комнате пани Кшешовской обе форточки открыты настежь, а в глубине стоит сама баронесса, направив бинокль на квартиру пани Ставской.

«Как господь не покарает эту ведьму!» — мысленно сказал я, не сомневаясь, что это подглядывание неминуемо приведет к какой-нибудь каверзной истории.

Молитва моя была услышана. Над головой интриганки уже нависла божья кара — в виде селедки, торчавшей из форточки четвертого этажа. Селедку держала некая таинственная рука в синем рукаве с галуном, а из форточки поминутно выглядывало чье-то исхудалое, злорадно улыбающееся лицо.

Даже не обладая моей проницательностью, нетрудно было сообразить, что это один из наших должников-студентов, который только и ждет появления в форточке баронессы, чтобы запустить в нее селедкой.

Но баронесса была осторожна, и тощий студентик изнывал от скуки. Он перекидывал орудие божьего гнева из одной руки в другую и, вероятно, чтобы скоротать время, строил весьма неприличные гримасы девушкам из парижской прачечной.

Я как раз подумал о том, что покушение на баронессу, наверное, окончится неудачей, когда Вокульский встал и начал прощаться.

— Так скоро, господа, — тихонько проговорила пани Ставская и страшно сконфузилась.

— Милости просим, господа... почаще к нам, — прибавила пани Мисевичова.

Но мой олух и не подумал в ответ просить, чтобы ему разрешили бывать ежедневно или даже столоваться у них (я на его месте непременно сказал бы это); вместо того — чудак этакий! — он поинтересовался, не нуждается ли квартира в ремонте.

— О, все, что нужно было, уже устроил нам почтенный пан Жецкий, — ответила пани Мисевичова, обернувшись ко мне с ласковой улыбкой. (Откровенно говоря, я не люблю, когда мне так улыбаются дамы в известном возрасте.)

В кухне Стах на минутку остановился и, по-видимому, раздраженный запахом капусты, сказал мне:

— Надо бы тут установить вентилятор, что ли...

На лестнице я уже не сдержался и воскликнул:

— Приходил бы почаще, тогда и знал бы, какие улучшения надо провести в доме. Да что ж, тебе дела нет ни до собственного дома, ни даже до такой обворожительной женщины!

Вокульский остановился у выхода и, глядя на водосточную трубу, пробормотал:

— Ха... если бы мы встретились раньше, я, может быть, женился бы на ней.

Услышав это, я испытал странное чувство: и обрадовался, и в то же время меня словно что-то кольнуло в сердце.

— А теперь ты уже не женишься? — спросил я.

— Кто знает? Может, и женюсь... только не на ней.

При этих словах я испытал чувство еще более странное. Жаль мне было, что пани Ставской не достанется такой муж, как Стах, и в то же время словно огромная тяжесть свалилась у меня с плеч.

Не успели мы выйти во двор, как вижу — баронесса высунулась в форточку и кричит, по-видимому нам:

— Господа! Пойдите!

В то же мгновение с душераздирающим воплем: «Ах, нигилисты!» — она отпрянула назад.

Одновременно в двух шагах от нас шлепнулась селедка, на которую хищно набросился дворник, даже не заметив, что я стою рядом.

— Не хочешь ли зайти к баронессе? — спросил я Стаха. — Кажется, у нее к тебе дело.

— Пусть она не морочит мне голову, — ответил он, махнув рукой.

На улице он кликнул извозчика, и мы вернулись в магазин, не обменявшись больше ни словом. Однако я уверен, что он думал о пани Ставской, и если б не эта противная капуста...

Мне было так не по себе, так тяжело на сердце, что, закрыв магазин, я отправился выпить пива. В ресторации встретил я советника Венгровича, который по-прежнему вешает всех собак на Вокульского, но иногда высказывает весьма здравые политические соображения... Ну, и поспорили мы с ним до полуночи. Венгрович прав: действительно, судя по газетам, в Европе что-то готовится. Как знать, не переедет ли юный Наполеон (его называют Люлю, покажет он вам лю-лю!) после Нового года из Англии во Францию... Президент Мак-Магон за него, князь Брольи за него, большинство народа за него... Пожалуй, можно побиться об заклад, что он сделается императором Наполеоном IV, а весной устроит-таки немцам потеху. Уж теперь они не пойдут на Париж! Два раза такой номер не пройдет. Так вот, значит... Что, бишь, я хотел сказать? Ага!

Дня через три-четыре после нашего визита к пани Ставской приходит Стах в магазин и дает мне письмо, адресованное ему.

— Прочти-ка, — говорит он и смеется.

Разворачиваю и читаю:

«Пан Вокульский! Не взыщите, что не называю вас уважаемый, но мудрено величать так человека, от которого уже все с омерзением отвернулись. Презренный! Вы еще не успели очиститься от прежних подлых поступков и уже пятнаете себя новыми. Сейчас весь город только и говорит что о ваших посещениях женщины столь дурного поведения, как Ставская. Мало того, что вы назначаете ей свидания в городе и тайком ходите к ней по ночам (что могло бы свидетельствовать о том, что вы еще не совсем потеряли стыд), но вдобавок посещаете ее среди бела дня, на глазах у прислуги, юношества и порядочных жильцов этого опозоренного дома.

Однако не обольщайтесь, несчастный, будто вы один заводите с ней шашни. Вам тут помогают еще ваш управляющий, эта мразь Вирский, и закоснелый в разврате ваш поверенный Жецкий.

Следует прибавить, что Жецкий не только совращает вашу любовницу, но и ворует ваши доходы, снижая квартирную плату некоторым жильцам и в первую очередь Ставской, вследствие чего ваш дом уже потерял всякую ценность, а сами вы стоите на краю пропасти, и поистине великую милость оказал бы вам великодушный благодетель, который согласился бы купить эту старую развалину с небольшим для вас убытком.

Итак, если бы нашелся такой благодетель, поспешите избавиться от тягостного бремени, возьмите с благодарностью сколько дадут и бегите за границу, пока человеческое правосудие не заковало вас в кандалы и не бросило в темницу. Одумайтесь, пока не поздно! Берегитесь... и послушайтесь совета своего доброжелателя».

— Вот отчаянная баба, а? — сказал Вокульский, заметив, что я кончил читать.

— Да ну ее ко всем чертям! — воскликнул я, догадавшись, что он говорит об особе, написавшей письмо. — Это я-то закоснелый развратник? Я вор? Я завожу шашни? Проклятая ведьма!

— Ну, ну, успокойся, вот ее поверенный жалует к нам.

Действительно, в магазин вошел человек в старой шубе, выцветшем цилиндре и огромных калошах. Войдя, он воровато оглянулся по сторонам, словно какой-нибудь сыщик, и спросил у Клейна, когда можно застать пана Вокульского; затем, притворившись, будто только сейчас нас заметил, приблизился к Стаху и негромко сказал:

— Пан Вокульский, не правда ли? Не уделите ли вы мне несколько минут для разговора наедине?

Стах подмигнул мне, и мы втроем отправились на мою квартиру. Посетитель разделся, причем обнаружилось, что его брюки еще более обтрепаны, чем шуба, а борода еще более облезлая, чем меховой воротник.

— Позвольте представиться, — сказал он, протягивая Вокульскому правую, а мне левую руку. — Адвокат...

Тут он назвал свою фамилию — да так и остался с протянутыми руками. По странной случайности ни Стах, ни я не почувствовали охоты пожать их.

Он понял это, но не смутился. Наоборот, с приятнейшим выражением лица потер руки и сказал, осклабясь:

— Вы даже не спрашиваете, господа, по какому делу я к вам явился.

— Догадываемся, что вы сами сообщите это, — ответил Вокульский.

— Вы правы! — воскликнул посетитель. — Я буду краток. Один богатый, но очень скупой литовец (литовцы очень скупы!) просил меня указать дом, который стоило бы купить. Есть у меня на примете домов пятнадцать, однако из уважения к вам, пан Вокульский (ибо мне известно, сколь многим обязана вам наша отчизна), я указал именно на ваш дом, ранее принадлежавший Ленцким; уговаривал я этого литовца две недели и наконец добился того, что он готов дать... угадайте сколько? Восемьдесят тысяч рублей! Каково? Дельце первый сорт! Что вы скажете?

Вокульский побагровел от гнева, и мне показалось, что сейчас он вышвырнет посетителя за дверь. Однако он сдержался и отвечал знакомым мне резким и неприятным тоном:

— Знаю я вашего литовца, его зовут баронесса Кшешовская...

— Что-о? — удивился адвокат.

— Этот скупой литовец дает за мой дом не восемьдесят, а девяносто тысяч, а вы мне предлагаете меньшую сумму, чтобы самому перепало...

— Хе-хе-хе! — засмеялся адвокат. — Кто же на моем месте поступил бы иначе, почтеннейший пан Вокульский?

— Так вот, передайте своему литовцу, — оборвал его Стах, — что продать дом я согласен, но за сто тысяч рублей. И то лишь до Нового года. После Нового года я потребую больше.

— Помилуйте, да ведь это безбожно! — возмутился посетитель. — Вы хотите вытянуть у бедной женщины последний грош! Что люди скажут, подумайте только!

— Что люди скажут, меня не интересует, — возразил Вокульский. — А если кто-нибудь вздумает мне нотации читать, я этому человеку укажу на дверь. Дверь вон там, видите, любезный?

— Даю девяносто две тысячи и ни копейки больше, — сказал поверенный.

— Наденьте шубу, а то на дворе холодно...

— Девяносто пять... — бросил поверенный, поспешно одеваясь.

— Ну, прощайте... — сказал Вокульский и распахнул дверь.

Поверенный низко поклонился и вышел; уже переступив порог, он прибавил слащавым тоном:

— Так я загляну к вам денька через три. Может быть, вы будете в лучшем расположении...

Стах захлопнул дверь у него перед носом.

Посещение гнусного поверенного показало мне, как обстоит дело. Баронесса непременно купит дом Стаха, но сначала пустит в ход все средства, чтобы хоть что-нибудь выторговать. Знаю я ее средства: одним из них было то анонимное письмо, в котором она чернит пани Ставскую, а обо мне говорит, что я закошел в разврате.

Но едва она купит дом, как первым делом погонит оттуда студентов и конечно же бедную пани Элену. Хорошо бы, хоть этим ограничилась ее злоба!

Теперь уж я могу одним духом выпалить все, что последовало далее.

Так вот, посещение этого поверенного родило во мне мрачные мысли. Я решил в тот же день зайти к пани Ставской и предупредить ее, чтобы она остерегалась баронессы. А главное, чтобы как можно реже садилась у окна.

Надо сказать, что у этих дам наряду с множеством достоинств есть одна ужасная привычка: они постоянно сидят у окна — и пани Мисевичова, и пани Ставская, и Элюня, и даже кухарка Марианна. И не только весь день, но и по вечерам, при лампах, и даже занавесок не спускают, разве что перед сном. Конечно, со двора видно все, что у них происходит.

Для приличных соседей такое времяпрепровождение было бы лучшим доказательством порядочности этой семьи: гляди, мол, всякий, кто хочет, нам скрывать нечего. Однако, когда я вспомнил, что за этими женщинами постоянно шпионят Марушевич и баронесса и когда вдобавок подумал о том, как баронесса ненавидит пани Ставскую, меня охватили самые мрачные предчувствия.

Я вечером хотел сбегать к моим милым приятельницам и просить их ради всего святого, чтобы они не выставляли себя напоказ перед баронессой. Между тем как раз в половине девятого мне страшно захотелось пить — и я пошел не к моим дамам, а в ресторанцию.

Там же были советник Венгрович и Шпрот, торговый агент. Зашел разговор о доме на Вспульной улице, который недавно обвалился; вдруг Венгрович чокается со мной и говорит:

— Ну, до Нового года еще не один дом провалится!

А Шпрот при этом подмигивает мне...

Не понравилось мне это, да и не в моих обычаях перемигиваться с первым встречным болваном. Я и спрашиваю:

— Позвольте узнать, что означает ваша мимика?

Он ухмыльнулся этак глуповато и говорит:

— Уж вам-то лучше моего знать, что это означает. Вокульский продает магазин, вот что!

Господи Иисусе! Как я не хватил его кружкой по лбу, сам удивляюсь. К счастью, я сдержал свой порыв, выпил две кружки пива подряд и, не выказывая волнения, спрашиваю:

— Зачем же Вокульскому продавать магазин, да и кому?

— Кому? — вмешался Венгрович. — Мало, что ли, в Варшаве евреев? Соберутся в складчину втроем, а то и вдесятером и изгадят нам Краковское Предместье по милости достопочтенного пана Вокульского, который держит собственный экипаж и ездит на дачу к аристократам. Бог ты мой! А давно ли он жалким мальчишкой подавал мне розбрат у Гопфера... Самое милое дело — ездить на войну да шарить по карманам у турок!

— Но магазин-то ему зачем продавать? — спросил я, ущипнув себя за ногу, чтобы не наброситься на этого пустозвона.

— И хорошо делает, что продает! — сказал Венгрович, опрокидывая в себя не знаю которую кружку пива. — Разве место среди купцов этакому барину... этакому дипломату, этакому... любителю новшеств, который выписывает из-за границы новые товары?

— Тут, я полагаю, причина иная, — начал Шпрот. — Вокульский хочет жениться на панне Ленцкой. Сперва было ему отказали, а теперь он опять к ним ездит — значит, у него появились виды... Но за галантерейного купца панна Ленцкая не пойдет, будь он даже дипломат и любитель новшеств, и Вокульский решил...

Перед глазами у меня завертелись огненные круги. Я стукнул кружкой по столу и закричал:

— Вы лжете, пан Шпрот! Вот мой адрес! — И я швырнул ему мою визитную карточку.

— Зачем вы даете мне свой адрес? — удивился Шпрот. — Прислать вам на дом партию сукна, что ли?

— Я требую удовлетворения! — крикнул я, продолжая колотить по столу.

— Та-та-та! — протянул Шпрот и повертел пальцем в воздухе. — Вам легко требовать удовлетворения: известно — венгерский офицер! Для вас убить человека, а то и двух или дать себе лоб раскроить — самое разлюбезное дело!.. А я, сударь, торговый агент, у меня жена, дети, срочные дела...

— Я заставлю вас драться на дуэли!

— Как это — заставлю? Под конвоем поведете меня, что ли? Попробовали бы вы мне что-либо подобное сказать в трезвом виде, так я бы обратился в участок, а там бы вам показали дуэль!..

— Вы бесчестный человек! — крикнул я.

Тут он принялся колотить по столу.

— Кто бесчестный? Кому вы это говорите? Что, я по векселям не плачу, или плохой товар продаю, или обанкротился? Увидим на суде, кто честный, а кто бесчестный!

— Полноте! — унимал нас советник Венгрович. — Дуэли были в моде в старину, а не теперь. Пожмите друг другу руки...

Я встал из-за стола, залитого пивом, расплатился у стойки и вышел. Ноги моей больше не будет в этом кабаке!

Разумеется, после такого потрясения я не мог идти к пани Ставской. Сначала я даже опасался, что всю ночь не буду спать. Но потом как-то заснул. А на следующий день, когда Стах пришел в магазин, я заговорил об этом.

— Знаешь, что болтают? Будто ты продаешь магазин.

— Допустим, продаю; что ж тут плохого?

В самом деле! Что ж тут плохого? (Как это мне не пришла в голову такая простая мысль!)

— Да видишь ли, — тихо продолжал я, — болтают еще, будто ты женишься на панне Ленцкой...

— Предположим... Ну и что ж?

(Опять-таки он прав! Разве ему нельзя жениться на ком угодно, хоть бы, к примеру, на пани Ставской? Как я этого не сообразил и напрасно закатил скандал бедняге Шпроту!)

В этот вечер мне снова пришлось отправиться в ресторацию — конечно, не пиво пить, а мириться с незаслуженно обиженным Шпротом, поэтому я снова не зашел предупредить пани Ставскую, чтобы она не садилась у окна.

Таким образом, я узнал не без огорчения, что вражда купцов к Вокульскому возрастает, что магазин наш будет продан и что Стах женится на панне Ленцкой. Я говорю «женится», ибо, не будь у него твердой уверенности, не выразился бы он так определенно даже в разговоре со мной. Сейчас я уже наверное знаю, по ком тосковал он в Болгарии, для кого зубами и ногтями вырывал у судьбы состояние... Что ж, на все воля божия!

Но поглядите только, как я отклоняюсь от темы... Однако теперь я уж как следует займусь злоключениями пани Ставской и расскажу о них с молниеносной быстротой».

Глава восьмая. Дневник старого приказчика

«Наконец как-то вечером, в девятом часу, пошел я к моим дамам. Пани Ставская, как всегда, занималась с девочками в другой комнате, а пани Мисевичова с Элюней... опять-таки, как всегда, сидела у окна. Не понимаю, что они там видели в темноте, но уж их-то видели все, это несомненно. Я готов поклясться, что баронесса засела с биноклем у одного из своих темных окон и следила за каждым движением во втором этаже, благо шторы, по обыкновению, не были спущены.

Укрывшись за занавеской, чтобы эта образина по крайней мере не видела меня, я без долгих слов приступил к делу и говорю пани Мисевичовой:

— Простите, сударыня, не примите в обиду... зачем вы вечно сидите у окна? Нехорошо, право...

На это почтенная дама отвечала:

— Сквозняков я, сударь мой, не боюсь, и мне это доставляет удовольствие. Вообразите только, что подметила наша Эленка! Иногда освещенные окна образуют как бы азбуку... Элюня! — обратилась она к внучке.

— Посмотри-ка, милая, нет ли там какой буковки?

— Есть, бабушка, целых две: Н и Т.

— В самом деле! — подтвердила старушка. — Вот Н, а вон и Т. Взгляните-ка, сударь...

Действительно, против нас светились два окна в четвертом этаже, три в третьем и два во втором, складываясь в букву:

П П
П П П
П П

В заднем флигеле пять освещенных окон в четвертом этаже и по одному в третьем, втором и первом этажах образовали букву:

П П П П П
П
П
П

— Вот из-за этих-то окон, сударь, — продолжала бабушка, — хоть буквы на них складываются не часто, Элюня начала интересоваться азбукой и теперь не нарадуется, когда ей удастся из светлых квадратов составить какую-нибудь букву. Потому-то мы и не спускаем шторы по вечерам.

Я только плечами пожал. Ну как запретить девочке глядеть в окно, если она придумала себе такое милое развлечение!

— Как же нам не смотреть в окно, — вздохнула пани Мисевичова, — много ли у нас других удовольствий? Где мы бываем? Кого у себя принимаем? С тех пор как Людвик уехал, мы ни с кем не встречаемся. Для одних мы бедны, для других — подозрительны...

Она утерла глаза платком и продолжала:

— Ох, не следовало Людвику уезжать! Ну, посадили бы его в тюрьму... и что ж? Выяснилась бы его невиновность, и опять были бы мы вместе. А теперь он бог знает где, а моя дочь... Вот вы говорите — не смотреть... Да ведь она, бедняжка, только и знает что ждет, все прислушивается да присматривается — не едет ли Людвик или хоть весточку не пришлет ли. Стоит кому-нибудь быстрее обычного пройти по двору, она уж спешит к окну: не почтальон ли? А уж когда почтальон к нам завернет (мы, сударь, очень редко получаем письма), посмотрели бы вы, что с ней делается. В лице вся переменится, бледнеет, дрожит...

Я не смел рта раскрыть, а старушка, передохнув, продолжала:

— Да и сама я люблю сидеть у окошка, особенно если денек выдался погожий, небо чистое... Тогда у меня в памяти встает покойный муж, совсем как живой...

— Понимаю, — тихо сказал я, — о нем напоминает вам небо, где он теперь обитает.

— Не в том дело, пан Жецкий, — возразила старушка. — Он, конечно, на небе, я не сомневаюсь, — куда ж было попасть такому смиренному человеку? Но как погляжу я на небо да на стену нашего дома, так сразу мне вспоминается счастливый день нашей свадьбы... Покойный мой Клеменс был одет в голубой фрак и желтые нанковые панталоны, точь-в-точь такого цвета, как наш дом. — Тут старушка всплакнула.

— Ох, пан Жецкий, право же, нам, горемычным, окно не раз заменяет и театр, и концерт, и знакомых. На что же нам еще-то смотреть?

Не могу выразить, как грустно сделалось у меня на душе, когда по столь пустячному поводу я услышал целую драму... Вдруг в соседней комнате раздался шорох. Ученицы пани Ставской кончили занятия и собирались домой, а их обворожительная учительница осчастливила меня своим появлением.

Здороваясь, я заметил, что руки у нее холодные, а божественное личико выражает усталость и грусть. При виде меня она все же улыбнулась. Милый ангел! Она словно угадала, что ее нежная улыбка целую неделю потом озаряет мою серую жизнь!

— Мама рассказала вам, какой чести мы сегодня удостоились? — спросила она.

— Ах, правда, совсем из головы вылетело... — спохватилась старушка.

Между тем девочки, вежливо присев, удалились, и мы остались одни, так сказать в семейном кругу.

— Представьте себе, — заговорила Ставская, — сегодня к нам пожаловала с визитом баронесса...

В первую минуту я даже испугалась, потому что наружность у нее, бедняжки, не особенно приятная — бледная, в черном своем платье, и взгляд у нее какой-то такой... Но баронесса обезоружила меня тем, что при виде Элюни расплакалась и упала перед ней на колени, причитая: «Такая же была бедная моя дочурка, и вот ее нет в живых!»

Слушая пани Ставскую, я весь похолодел. Однако, не желая тревожить пустыми страхами, я решил не рассказывать ей о терзавших меня предчувствиях.

— Что же ей нужно от вас? — только спросил я.

— Она хочет, чтобы я помогла привести ей в порядок белье, платья, кружева — словом, весь гардероб. Баронесса надеется, что муж скоро вернется к ней, и хочет кое-что освежить, а кое-что прикупить. Но, по ее словам, у нее самой нет вкуса, вот она и обратилась ко мне за помощью и обещала платить по два рубля в день за три часа работы.

— И вы согласились?

— Боже мой, что же мне оставалось делать? Разумеется, поблагодарила и согласилась. Правда, это временная работа, но подвернулась она весьма кстати, потому что

позавчера (сама не знаю, по какой причине) я лишилась урока музыки по пять золотых за час.

Я вздохнул, догадываясь, что причиною тому, вероятно, послужило анонимное письмо, в сочинении которых Кшешовская была великая мастерица. Но пани Ставской я ничего не сказал. Разве мог я посоветовать ей отказаться от ежедневного заработка в два рубля?

О Стах, Стах! Почему бы тебе не жениться на ней? Засела у тебя в голове панна Ленцкая! Как бы не пришлось тебе потом пожалеть!

С тех пор всякий раз, когда я приходил к милым моим приятельницам, пани Ставская подробнейшим образом посвящала меня в свои взаимоотношения с баронессой Кшешовской, у которой бывала ежедневно, работая, разумеется, не по три, а по пять-шесть часов — все за те же два рубля.

Пани Ставская весьма снисходительна к людям; тем не менее, насколько я мог судить по осторожным высказываниям, ее неприятно поражали и квартира баронессы, и окружающие ее люди.

Прежде всего баронесса совершенно не пользуется своими просторными апартаментами. Гостиная, будуар, спальня, столовая, комната барона — все это в полном запустении. Мебель и зеркала покрыты чехлами; от растений остались засохшие прутья да горшки с гнилью вместо земли; на дорогих обоях лежит толстый слой пыли. Ест баронесса тоже как попало, иногда несколько дней подряд не берет в рот горячего и на такую большую квартиру держит только одну прислугу, которую обзывает распутницей и воровкой.

Когда пани Ставская спросила баронессу, не скучно ли ей жить так одиноко, та ответила:

— А что же мне делать, сироте несчастной и почти что вдове! Вот если, бог даст, преступный мой муж раскается в своих подлостях и вернется ко мне, тогда, может быть, изменится моя затворническая жизнь. А насколько я могу судить по снам и предчувствиям, которые ниспосылает мне небо во время моих горячих молитв, муж в ближайшие дни опомнится, потому что нет у него уже ни денег, ни кредита, все потерял он, несчастный безумец...

Слушая баронессу, пани Ставская отметила про себя, что судьбе ее раскаявшегося супруга вряд ли можно будет позавидовать.

Люди, посещавшие баронессу, также не внушали доверия пани Ставской. Чаще всего приходили какие-то старухи весьма неприятного вида, которых хозяйка принимала в передней, вполголоса беседуя с ними о своем супруге. Заходили еще и Марушевич и какой-то юрист в облезлой шубе. Этим господ баронесса приглашала в столовую и, разговаривая с ними, так громко плакала и ругалась, что слышно было во всем доме.

На робкое замечание пани Ставской, что лучше бы баронессе жить с родными, та возразила:

— С какими это, милочка моя? Никого у меня нет, да если б и были родные, не стала бы я принимать у себя людей столь корыстных и грубых. А мужнина родня от меня

отрекалась, потому что я не дворянской крови; однако это им не помешало выманить у меня в свое время добрых двести тысяч. Пока я давала им в долг без отдачи, они еще церемонились со мной, но когда взялась за ум, они попросту порвали всякие отношения со мной и даже принялись подзуживать моего несчастного мужа, чтобы он наложил запрет на мои капиталы. Ох, и натерпелась же я из-за этих людей! — воскликнула она и расплакалась.

Единственная комната (рассказывает пани Ставская), где баронесса проводит все свои дни, это детская ее покойной дочурки. Это печальный и странный уголок, потому что все в нем осталось в таком виде, как было при жизни ребенка. Стоит там кровать, на которой через каждые несколько дней сменяют белье, и шкафчик с одеждой, которую постоянно проветривают и чистят в гостиной, так как баронесса не позволяет выносить свои реликвии во двор. Еще там стоит столик с книжками и тетрадкой, раскрытой на той странице, где бедная девочка в последний раз написала: «Пресвятая дева, по...» — и, наконец, полка с множеством кукол, больших и маленьких, их кровати и полный гардероб.

В этой-то комнате пани Ставская чинит кружева и шелковые платья, которых у баронессы видимо-невидимо. Придется ли ей еще в них рядиться? Об этом пани Ставская не берется судить.

Однажды баронесса спросила пани Ставскую, знакома ли она с Вокульским, и, хоть та ответила, что почти незнакома, баронесса сказала следующее:

— Дорогая, вы мне окажете истинную милость, попросту благодеяние, если заступитесь за меня перед этим господином в одном важном для меня деле. Я хочу купить у него дом и даю уже девяносто пять тысяч рублей, а он из упрямства (других причин нет!) требует сто тысяч. Этот человек хочет меня разорить! Скажите вы ему, что он меня без ножа режет... — со слезами кричала баронесса, — и что за жадность господь покарает его!

Пани Ставская сильно смутилась и отвечала, что ни в коем случае не станет говорить об этом с Вокульским.

— Я его не знаю... Он был у нас всего один раз... Да и прилично ли мне вмешиваться в такие дела?

— Стоит вам пожелать, и вы сделаете с ним все что угодно, — возразила баронесса. — Но если вы не хотите спасти меня от гибели — что ж, воля божья... По крайней мере исполните свой христианский долг и скажите этому человеку, как я хорошо отношусь к вам...

Услышав это, пани Ставская встала и собралась уйти. Но баронесса бросилась ей на шею и так ругала себя, так умоляла простить ее, что у мягкосердечной пани Элены навернулись на глаза слезы, и она осталась.

Окончив свой рассказ, пани Ставская спросила тоном, в котором слышалась робкая просьба:

— Значит, пан Вокульский не хочет продавать свой дом?

— Какое не хочет? — сердито отвечал я. — Он продаст и дом, и магазин... все продаст...

Яркий румянец залил лицо пани Ставской; она повернула свой стул спинкой к лампе и тихо спросила:

— Почему же?

— Откуда мне знать! — сказал я, испытывая то жестокое удовольствие, какое нам всегда доставляет боль, причиняемая нашим близким. — Откуда мне знать?.. Говорят, он собирается жениться...

— Да, да, — подтвердила пани Мисевичова. — Поговаривают о панне Ленцкой.

— Это верно? — шепнула пани Ставская.

Она вдруг прижала руки к груди, словно у нее перехватило дыхание, и вышла в соседнюю комнату.

«Хорошенькое дело! — подумал я. — Видела его один раз и уже в обморок падает...»

— Не понимаю, какой ему смысл жениться? — обратился я к пани Мисевичовой. — Вряд ли он имеет успех у женщин.

— Ах, что вы говорите, пан Жецкий! — всплеснула руками старушка. — Как же ему не иметь успеха у женщин?

— Ну, красавцем его не назовешь...

— Его? Да он совершенный красавец! Что за фигура, рост, какое благородство в лице, а глаза!.. Вы, значит, не разбираетесь в этом, сударь мой. А я вам прямо скажу (мне, в моем возрасте, позволительно) — видала я на своем веку красивых мужчин (Людвик тоже был хорош собой), но такого, как Вокульский, вижу в первый раз. Его среди тысячи отличишь...

Я в душе удивлялся ее похвалам. Правда, я и сам знаю, что Стах хорош собой, но чтобы настолько... Ну, да я ведь не женщина.

Около десяти часов я попрощался с моими дамами; пани Ставская плохо выглядела, была бледна и жаловалась на головную боль.

Ну и осел же Стах! Такая женщина с первого взгляда без памяти влюбилась в него, а он, полоумный, бежит за панной Ленцкой. Нечего сказать, хорошо же устроен мир!

Будь я на месте господ бога... Да что болтать попусту.

Поговаривают, будто в Варшаве начнут проводить канализацию. К нам даже заходил по этому поводу князь, приглашал Стаха на совещание. А когда они кончили говорить о канализации, князь спросил насчет дома. Я был при этом и отлично все помню.

— Правда ли (простите, что затрону этот предмет), правда ли, — поинтересовался князь, — будто вы запросили с баронессы Кшешовской сто двадцать тысяч?

— Неправда, — ответил Стах. — Я прошу сто тысяч и не уступлю ни копейки.

— Баронесса чудачка, истеричка, но... это несчастная женщина. Она хочет купить ваш дом, во-первых, потому, что там скончалась ее обожаемая дочка, а во-вторых, чтобы спасти остатки капитала от расточительства мужа, который любит сорить деньгами... Так не могли бы вы, знаете, уступить ей немного? Как это возвышенно — облегчать жизнь несчастным! — закончил князь и вздохнул.

Я всего-навсего приказчик, но, откровенно говоря, меня удивила подобная благотворительность за чужой счет. Видно, Стаха это задело еще сильнее, потому что он ответил решительно и сухо:

— Значит, из-за того, что барон сорит деньгами, а его жене понравился мой дом, я должен терять несколько тысяч? С какой стати?

— Ну, не обижайтесь, уважаемый пан Вокульский, — сказал князь, пожимая ему руку. — Все мы как-никак живем среди людей: люди нам помогают, должны и мы кое-чем поступаться ради них...

— Мне вряд ли кто помогает, а мешают многие, — возразил Стах.

Они простились весьма холодно. Я заметил, что князь был недоволен.

Странные люди! Мало того, что Вокульский основал это Общество по торговле с Россией и дал им возможность наращивать пятнадцать процентов на их капитал, так они еще хотят, чтобы по первому их слову он подарил баронессе несколько тысяч рублей...

Но что за ловкая баба, куда только она не пролезет! К Стаху уже являлся какой-то ксендз и призывал его именем Христовым отдать баронессе дом за девяносто пять тысяч. Однако Стах отказал наотрез, и, надо думать, в ближайшем будущем мы услышим, что он закоренелый безбожник.

Теперь следует главное событие, которое я изложу с молниеносной быстротой.

Вскоре после посещения князя я опять собрался к пани Ставской (это было в тот самый день, когда император Вильгельм после истории с Нобилингом взял бразды правления в свои руки). В тот вечер эта бесподобная женщина была в прекрасном настроении и нахвалиться не могла баронессой.

— Представьте себе, — говорила она, — какая это, при всех ее чудачествах, благородная женщина! Заметив, что мне скучно без Элюни, она предложила мне всегда приводить с собою дочку на эти несколько часов...

— То есть на эти шесть часов за два рубля? — ввернул я.

— Ну, какие же шесть! Самое большее четыре... Элюня там отлично проводит время; правда, ей запретили что-либо трогать, зато она может сколько угодно смотреть на игрушки покойной девочки.

— А игрушки действительно так хороши? — спросил я, готовя про себя некий план.

— Прекрасные игрушки, — оживленно отвечала пани Ставская. — Особенно одна огромная кукла, у нее темные волосы, а если нажать... вот здесь, чуть пониже корсажа... — тут она зарумянилась.

— Позвольте спросить, не в животик ли?

— Да, да, — быстро проговорила она. — Тогда кукла водит глазками и говорит «мама!». Ах, до чего забавно! Мне самой хотелось бы такую. Зовут ее Мими. Элюня, как увидела ее в первый раз, всплеснула ручками, да так и застыла на месте. А когда пани Кшешовская нажала куклу и та заговорила, Элюня закричала: «Мама, мамочка, какая же она красавица! Какая умница! Можно поцеловать ее в щечку?» И поцеловала ее в носок лакированной туфельки.

С тех пор она даже во сне бредит этой куклой: как только проснется, просится к баронессе, а там — становится перед куклой, сложив ручки, как на молитву, и глядит не наглядится... Право же, — закончила пани Ставская, понизив голос (Элюня играла в соседней комнате), — я была бы счастлива, если бы могла ей купить такую куклу...

— Наверно, она очень дорогая, — заметила пани Мисевичова.

— Ну что же, маменька, пусть дорогая, — возразила пани Ставская, — кто знает, смогу ли я еще когда-нибудь доставить ей столько радости, как теперь этой куклой.

— Кажется, у нас есть как раз такая же кукла, — сказал я, — и если вы соблаговолите зайти к нам в магазин...

Я не осмелился предложить куклу в подарок, понимая, что матери будет приятнее самой обрадовать ребенка.

Хоть мы и говорили вполголоса, Элюня, должно быть, услышала, о чем идет речь и выбежала к нам с разгоревшимися глазенками. Чтобы отвлечь ее внимание, я спросил:

— Ну, Эленка, как тебе нравится баронесса?

— Так себе, — отвечала девочка, опершись на мое колено и глядя на мать. (Боже мой, почему я не отец этого ребенка?)

— А она разговаривает с тобой?

— Очень мало. Только раз она спросила, балует ли меня пан Вокульский?

— Вот как? А ты что?

— Я сказала, что не знаю, какой это пан Вокульский. Тогда баронесса говорит... Ах, как ваши часики громко тикают. Можно мне посмотреть?

Я вынул часы и дал их Элюне.

— Что же говорит баронесса? — напомнил я.

— Баронесса говорит: как же ты не знаешь пана Вокульского? Ну, тот, что к вам ходит с этим... раз... раз... развральником Жецким... Ха-ха-ха! Вы вральник, да?.. Покажите мне, что там внутри в часах...

Я взглянул на пани Ставскую. Она была так поражена, что даже забыла сделать замечание Элюне.

Попили мы чайку с сухими булками (прислуга объяснила, что сегодня нельзя было достать масла), и я попрощался с достойными дамами, поклявшись в душе, что, на месте Стаха, я не отдал бы баронессе дом дешевле ста двадцати тысяч рублей.

Между тем эта ведьма, исчерпав все возможные протекции и испугавшись, как бы Вокульский не поднял цену или не продал дом кому-нибудь другому, в конце концов решилась заплатить сто тысяч.

Говорят, она бесновалась несколько дней подряд, закатывала истерики, исколотила прислугу, обругала в нотариальной конторе своего поверенного, но все-таки купчую подписала.

Прошло несколько дней после продажи дома, и все было тихо. То есть тихо в том смысле, что мы перестали слышать о баронессе, зато начали ходить к нам с претензиями ее жильцы.

Первым прибежал сапожник — тот, из заднего флигеля, с четвертого этажа,

— плакаться, что новая владелица повысила ему квартирную плату на тридцать рублей в год. А когда я ему наконец втолковал, что нас это уже не касается, он вытер слезы и хмуро буркнул на прощание:

— Видать, пан Вокульский бога не боится, — взял да и продал дом кровопийце.

Слыхали вы что-нибудь подобное?

На другой день пожаловала к нам в магазин хозяйка парижской прачечной. Выглядела она внушительно: бархатный салоп, движения величавые, а физиономия полна решимости.

Уселась эта дама в кресло, осмотрелась вокруг, словно пришла с намерением купить парочку японских ваз, и вдруг разразилась:

— Ну, спасибо вам, сударь мой! Ловко вы со мной обошлись, нечего сказать... Купили дом в июле, а продали в декабре, скоро дельце сварганили и никому ни словечка... — И, багровея, продолжала: — Сегодня эта шельма прислала ко мне какого-то верзилу и велела освободить помещение. Что ей в башку втемяшилось, не пойму; ведь плачу я, кажется, аккуратно... А она, лахудра этакая, велит мне съезжать, да еще на заведение мое наговаривает, что, мол, девушки мои спутались со студентами... врет бессовестно... Где я среди зимы найду другое помещение... Разве я могу переехать из дома, куда мои клиенты привыкли ходить?... Да ведь я на этом могу тысячи потерять, а кто мне вернет, спрашивается?

Меня бросало то в жар, то в холод, пока я слушал эти излияния, выкрикиваемые звучным контральто в присутствии покупателей. Еле-еле удалось увести ее ко мне на квартиру и там уговорить, чтобы она подала на нас в суд о возмещении убытков!

Только эта баба ушла — трах! — влетает студент, тот, бородатый, который из принципа не платит за квартиру.

— Ну, как живете-можете? — спрашивает он. — Скажите, правда, что эта чертовка Кшешовская купила ваш дом?

— Правда, — говорю я, а сам думаю: «Этот, верно, уж просто бросится на меня с кулаками».

— Дело дрянь! — говорит бородач и щелкает пальцами. — Такой славный хозяин был этот Вокульский (Стах от них ни гроша за все время не видел) и, на тебе, продал дом... Значит, теперь Кшешовская может нас выставить вон?

— Гм... гм... — отвечаю я.

— И таки выставит, — вздохнул он. — Уж приходил к нам какой-то субъект, требовал, чтобы мы убирались... Ну, да, черт побери, без суда им нас с места не сдвинуть, а если попробуют... мы им покажем, на потеху всему дому! Прощайте.

Хорошо, думаю, что хоть этот не в претензии к нам. Пожалуй, они действительно устроят баронессе потеху...

Наконец на следующий день прибегает Вирский.

— Знаете, коллега, — говорит он в смятении, — эта баба уволила меня со службы и велит к Новому году съезжать с квартиры.

— Вокульский уже позаботился о вас, — отвечаю, — вы получите место в Обществе по торговле с Россией...

Так я выслушивал одних, успокаивал других, утешал третьих — словом, кое-как выдержал главный натиск. Я понял, что баронесса расправляется с жильцами, как Тамерлан, и начал инстинктивно тревожиться за прелестную и добродетельную пани Элену.

Между тем дело уже шло к концу декабря. Однажды открывается дверь, и входит к нам пани Ставская, еще прелестней обычного (она всегда прелестна — и когда весела и когда озабочена).

Смотрит на меня своими чарующими глазами и тихо говорит:

— Не можете ли вы мне показать эту куклу?

Кукла (даже целых три) уже давно была отложена, но я впопыхах не сразу ее отыскал. Клейн выразительно поглядывал на меня — смешной, право: еще подумает, что я влюблен в пани Ставскую.

Наконец вытаскиваю я коробку с тремя куклами: брюнеткой, блондинкой и шатенкой. Все три с настоящими волосами, все три, когда надавишь животик, ворочают глазами и издают писк, который, по мнению пани Ставской, звучит как «мама», по мнению Клейна — как «папа», а по-моему — как «гу-гу».

— Какая прелесть! — говорит Ставская. — Только, наверное, дорого стоит...

— Видите ли, — говорю я, — этот товар мы хотим сбить поскорей, поэтому можем уступить очень дешево. Сейчас я спрошу хозяина...

Стах сидел за шкафами и работал, но когда я сказал ему, что пришла пани Ставская и по какому делу, он обрадовался, бросил свои счета и поспешил в магазин. Я даже заметил, что он как-то необычно приветливо смотрит на пани Ставскую, словно она ему очень понравилась. Ну, наконец-то... слава тебе, господи!

Толковали мы, толковали и в конце концов убедили пани Элену, что кукла, как товар бракованный, который нам трудно сбыть, продается за три рубля какая угодно — блондинка или брюнетка.

— Я возьму эту, — сказала она, беря шатенку, — она точь-в-точь такая, как у баронессы. Вот обрадуется моя Элюня!

Когда нужно было платить, пани Ставскую снова одолели сомнения: ей все казалось, что такая кукла должна стоить рублей пятнадцать, и лишь объединенными усилиями Вокульского, Клейна и моими удалось ее уговорить, что на этих трех рублях мы еще заработаем.

Вокульский вернулся к своим занятиям, а я спросил пани Элену, что у них слышно и как она ладит с баронессой.

— Уже никак, — ответила она, покраснев. — Пани Кшешовская устроила мне сцену за то, что я не хотела оказать ей протекцию к пану Вокульскому и что ей пришлось заплатить за дом сто тысяч, ну, и так далее. Словом, я с ней распрощалась и больше никогда туда не пойду. И, разумеется, она потребовала, чтобы к Новому году мы освободили квартиру.

— А она с вами расплатилась?

— Ах! — вздохнула пани Елена и уронила муфточку, которую Клейн поспешил поднять.

— Значит, нет?

— Нет... Баронесса сказала, будто у нее сейчас нет денег и главное — уверенности, что мой счет правильный.

Мы с ней посмеялись над странными выходками баронессы и простились в отличном настроении. А наш Клейн распахнул перед ней дверь с такой неожиданной грацией, что одно из двух: или он считает ее уже нашей хозяйкой, или же сам влюблен в нее. Глупая голова! Он тоже живет в доме баронессы и изредка посещает пани Ставскую, но всегда сидит с таким унылым видом, что Эленка спросила однажды у бабушки: «Наверное, пан Клейн сегодня принял касторку?» Мечтатель! Ему ли думать о такой женщине!

А теперь я опишу трагедию, при воспоминании о которой меня до сих пор еще душит гнев.

Накануне сочельника 1878 года, после обеда, сижу я в магазине и вдруг получаю записку от пани Ставской с просьбой прийти сегодня вечером. Почерк меня поразил: видимо, пани Елена была сильно взволнована. Я решил, что она получила вести о муже.

«Наверное, он возвращается, — подумал я. — Черт бы побрал этих пропавших мужей, которые через несколько лет неожиданно одумываются!»

К вечеру влетает Вирский, растерянный, еле дух переводит. Тащит меня на мою квартиру, запирает дверь, не раздеваясь, бросается в кресло и говорит:

— Знаете, зачем Кшешовская вчера до полуночи торчала у Марушевича?

— До полуночи, у Марушевича?

— Да, и вдобавок со своим жуликом адвокатом. Марушевич, негодяй этакий, подсмотрел из своих окон, как пани Ставская наряжала куклу, и баронесса пошла к нему с биноклем проверить это...

— Ну и что же?

— А то, что у баронессы за несколько дней перед тем пропала кукла ее покойной дочки, и теперь эта полоумная обвиняет Ставскую...

— В чем?

— В краже куклы!

Я перекрестился.

— Пустяки! Кукла куплена у нас.

— Я знаю. Но сегодня в девять часов баронесса ворвалась к пани Ставской с околоточным, велела забрать куклу и составила протокол. Уже подана жалоба в суд...

— С ума вы сошли, Вирский! Ведь кукла куплена у...

— Знаю, знаю, да что из того, если скандал уже разразился! И самое скверное (я слышал от околоточного), что пани Ставская, не желая, чтобы Элюня увидела куклу, вначале отказывалась ее показать, умоляла говорить тише, даже расплакалась... Околоточный говорит, что он сам был застигнут врасплох, потому что не знал, зачем баронесса тащит его к пани Ставской. Но когда ведьма принялась орать: «Она меня обокрала! Кукла пропала в тот самый день, когда она была у меня в последний раз... Арестуйте ее, я всем своим имуществом отвечаю за правильность обвинения!» — ну, тут мой околоточный забрал куклу в участок и попросил пани Ставскую следовать за ним... Скандал, ужаснейший скандал!

— А вы чего же молчали? — в бешенстве закричал я.

— Я там уже не живу. А прислуга пани Ставской еще больше испортила дело — во всеуслышание обругала околоточного на улице, за что даже угодила в каталажку. Да тут еще хозяйка парижской прачечной, чтобы подольститься к баронессе, всячески поносила пани Ставскую... И теперь мы можем утешаться только тем, что славные студенты окатили баронессу какой-то дрянью, и она никак отмыться не может...

— Да, но суд... справедливость! — завопил я.

— Суд пани Ставскую оправдает, это ясно. Однако скандал остается скандалом... Репутация бедной женщины погублена — сегодня она уже отправила всех учениц по домам и сама не пошла на уроки. Сидят с матерью и целый день плачут.

Само собой, я не стал дожидаться закрытия магазина (теперь это случается со мной часто) и побежал к пани Ставской; даже не побежал, а поехал на извозчике.

По дороге меня осенила счастливейшая мысль — сообщить о случившемся Вокульскому, и я заехал к нему, хотя не был уверен, застану ли его дома, потому что в последнее время он все чаще несет службу при панне Ленцкой.

Вокульский был у себя, но какой-то расстроенный, — по-видимому, ухаживание не идет ему на пользу.

Однако, когда я рассказал историю с баронессой и куклой, он оживился, поднял голову, и глаза у него загорелись. (Я уже не раз замечал, что чужая беда — лучшее лекарство против наших собственных огорчений).

Он с интересом выслушал меня (мрачные мысли как рукой сняло) и сказал:

— Ну и отчаянная же баба эта баронесса! Но пани Ставской беспокоиться нечего: дело ее чистое, как стеклышко. В конце концов не ее одну преследует человеческая подлость!

— Тебе-то хорошо говорить, — возразил я, — ты мужчина, а главное, у тебя есть деньги... А она, бедняжка, сегодня уже лишилась всех своих уроков, вернее, сама отказалась от них. Чем же она теперь будет жить?

— Фью! — свистнул Вокульский и хлопнул себя по лбу. — Об этом я не подумал...

Он несколько раз прошелся по комнате (брови у него были нахмурены), наткнулся на стул, побарабанил пальцами по окну и вдруг подошел ко мне.

— Хорошо! — сказал он. — Ступай теперь к своим дамам, а я через час тоже приеду. Кажется, удастся кое-что сделать через пани Миллерову.

Я посмотрел на него с благоговением. У пани Миллеровой недавно умер муж, тоже галантерейный купец; ее магазин, капитал и кредит — все было в руках Вокульского. Я уже догадывался, как Стах собирается помочь пани Ставской.

Итак, я выскакиваю на улицу, прыг в пролетку, мчусь, как три паровоза, и быстрее ракеты влетаю к прелестной, благородной, несчастной, всеми покинутой пани Элене. Грудь мою распирает от радостных возгласов, и, раскрывая дверь, я хочу воскликнуть со смехом: «Чихать вам на все и на всех!» Вхожу — и веселости моей как не бывало.

Ибо прошу вообразить, что я увидел. В кухне — Марианна с обвязанной головой и вспухшей физиономией — несомненное доказательство, что она побывала в участке. Печь не топлена, обеденная посуда не мыта, самовар не поставлен, а вокруг пострадавшей сидят дворничиха, две прислуги и молочница — все с похоронными лицами.

Мороз продрал меня по коже, однако иду дальше, в гостиную.

Картина почти такая же. Посреди комнаты, в кресле, пани Мисевичова, тоже с обвязанной головой, подле нее пан Вирский, пани Вирская, хозяйка парижской прачечной, успевшая опять рассориться с баронессой, и еще несколько дам; все переговариваются вполголоса, зато сморкаются на целую октаву выше, чем при обычных обстоятельствах. В довершение всего вижу возле печки пани Ставскую: сидит бедняжка на табурете, белая как мел.

Словом, настроение похоронное, лица бледные или желтые, глаза заплаканные, носы красные. Одна Элюня кое-как держится: сидит за роялем со своей старой куколкой и время от времени ударяет по клавишам ее ручкой, приговаривая:

— Тише, Зосенька, тише... Не надо играть, у бабушки головка болит.

Добавьте сюда тусклый свет лампы, которая коптит, и... и... поднятые шторы, и вы поймете, что я почувствовал при этом.

Пани Мисевичова, увидев меня, залилась слезами — вероятно, из последних запасов.

— Ах, вы пришли, мой великодушный пан Жецкий? Не погнушались бедными женщинами, покрытыми позором! Ох, зачем же вы целуете мне руку! Несчастье преследует нашу семью... Недавно Людвика невесть в чем обвинили, а теперь пришел наш черед... Придется уехать отсюда хоть на край света... У меня под Ченстоховом сестра, там доживем мы остаток загубленной жизни...

Я шепнул Вирскому, чтобы он вежливо выпроводил гостей, и подошел к пани Ставской.

— Лучше бы мне умереть... — сказала она вместо приветствия.

Признаюсь, что, пробыв там несколько минут, я вконец обалдел. Я готов был поклясться, что пани Ставская, ее матушка и даже знакомые дамы действительно опозорены и всем нам остается только умереть. Мысль о смерти не мешала мне, однако, привернуть фитиль в лампе, от которой по всей комнате летали легчайшие, но очень черные хлопья сажи.

— Ну, сударыни мои, — вдруг поднялся Вирский, — пойдете-ка отсюда, пану Жецкому надо поговорить с пани Ставской.

Гости, в которых сочувствие не ослабило любопытства, заявили, что и они не прочь участвовать в разговоре. Но Вирский принялся так размашисто подавать им салопы, что бедняжки растерялись и, перецеловав пани Ставскую, пани Мисевичову, Элюню и пани Вирскую (я думал, что они сейчас начнут целовать даже стулья), не только убрались сами, но вдобавок заставили и супругов Вирских уйти вместе с ними.

— Раз секрет, так секрет, — сказала самая бойкая из них. — Вам тут тоже делать нечего.

Последний приступ прощальных приветствий, соболезнований и поцелуев, и, наконец, вся ватага выкатилась вон, не преминув, однако, задержаться в дверях и на лестнице для обмена любезностями. Ах, бабы, бабы! Иногда я думаю, что господь для того и сотворил Еву, чтобы Адаму осточертело пребывание в раю.

И вот мы остались в семейном кругу, но гостиная настолько пропиталась копотью и грустью, что я сам потерял всякую энергию. Жалобным голосом попросил я у пани Ставской разрешения открыть форточку и с невольным упреком посоветовал ей, чтобы по крайней мере отныне она опускала шторы на окнах.

— Вы помните, — сказал я пани Мисевичовой, — я давно обращал ваше внимание на шторы? Если б они были опущены, пани Кшешовская не могла бы подсматривать за вами.

— Правильно, но кто же мог предположить? — вздохнула пани Мисевичова.

— Так уж нам суждено, — шепотом добавила пани Ставская.

Я уселся в кресло, стиснул пальцы так, что суставы затрещали, и со спокойствием отчаявшегося человека стал слушать сетования пани Мисевичовой о позоре, который вновь обрушился на их семью, о смерти, которая кладет конец людским страданиям, о нанковых панталонах блаженной памяти Мисевича и о множестве тому подобных вещей. Не прошло и часу, как я был глубоко убежден, что суд по делу о кукле завершится всеобщим самоубийством, причем я, испуская дух у ног пани Ставской, решусь наконец признаться ей в любви.

Вдруг кто-то громко позвонил у кухонных дверей.

— Околоточный! — воскликнула пани Мисевичова.

— Барыни принимают? — послышался чей-то уверенный голос, мигом вернувший мне бодрость.

— Вот и Вокульский, — сказал я пани Ставской и подкрутил ус.

На чудном личике пани Элены появился румянец, подобный бледно-розовому лепестку, упавшему на снег. Божественная женщина! О, почему я не Вокульский!.. Тогда бы...

Вошел Стах. Пани Елена поднялась ему навстречу.

— Вы нас не презираете? — спросила она сдавленным голосом.

Вокульский удивленно взглянул ей в глаза и... два раза, один за другим,

— два раза, не сойти мне с этого места! — поцеловал ей руку. А как нежны были эти поцелуи, можно было судить по тому, что совсем не слышно было обычного в таких случаях чмокания.

— Ах, вы пришли, великодушный пан Вокульский?.. Не погнушались несчастными женщинами, покрытыми позором! — завела, не знаю уж в который раз, свою приветственную речь пани Мисевичова.

— Простите, сударыни, — прервал ее Вокульский. — Ваше положение, конечно, не из приятных, но я не вижу причин впадать в отчаяние. Через две-три недели дело выяснится, и тогда придет время убиваться — только не вам, а этой сумасшедшей баронессе. Как поживаешь, Элюня? — прибавил он, целуя девочку.

Он говорил таким спокойным, уверенным тоном и держался так непринужденно, что пани Мисевичова перестала охать, а пани Ставская взглянула на меня немного бодрее.

— Что же нам делать, великодушный пан Вокульский, который не погнушался... — начала пани Мисевичова.

— Сейчас терпеливо ждать, — перебил Вокульский. — На суде доказать, что баронесса лжет, а затем возбудить против нее иск за клевету; и если ее засадят в тюрьму, пускай отсидит свой срок до последнего часа. Месяц тюремного заключения пойдет ей на пользу. Я уже говорил с адвокатом, завтра он явится к вам.

— Сам бог послал вас, пан Вокульский! — воскликнула пани Мисевичова уже вполне обычным голосом и сорвала с головы повязку.

— Я пришел к вам по более важному поводу, — обратился Стах к пани Ставской (как видно, ему, ослу этакому, не терпелось ее покинуть!). — Вы прекратили свои уроки?

— Да.

— Откажитесь от них раз и навсегда. Это работа тяжелая и невыгодная. Возьмитесь лучше за торговое дело.

— Я?

— Да, вы. Вы умеете считать?

— Я училась бухгалтерии... — еле слышно произнесла пани Ставская. Она почему-то так разволновалась, что должна была опуститься на стул.

— Отлично. Так вот, на меня свалился еще один магазин вместе с его владелицей, вдовой. Почти весь капитал этого предприятия принадлежит мне, поэтому я должен иметь там своего человека, предпочтительно женщину, принимая во внимание владелицу магазина. Итак, согласны ли вы пойти на место кассирши, с жалованьем... пока что семьдесят пять рублей в месяц?

— Ты слышишь, Элена? — И пани Мисевичова обернула к дочери лицо, выражавшее крайнюю степень удивления.

— Значит, вы доверили бы свою кассу мне, несмотря на то, что меня обвиняют... — пролепетала пани Ставская и вдруг разрыдалась.

Однако очень скоро обе дамы успокоились, а через полчаса мы все уже пили чай, мирно беседуя и смеясь...

И это сделал Вокульский! Другого такого на всем свете не найти! Как тут его не любить? Правда... и я, может быть, был бы не менее добрым, только мне не хватает для этого пустячка... полмиллиона рублей, которыми располагает милейший Стах.

Тотчас же после рождества я повел пани Ставскую в магазин Миллеровой, которая приняла новую кассиршу очень сердечно и полчаса мне рассказывала, какой Вокульский благородный, умный и красивый... Как он спас магазин от банкротства, а ее с детьми от нищеты и как хорошо бы такому человеку жениться.

Игривая бабенка, хотя ей добрых тридцать пять лет! Не успела одного мужа спровадить на Повонзки, как уже готова (руку дал бы на отсечение) второй раз выскочить замуж... само собою, за Вокульского! Ей-богу, и не перечесть, сколько баб бегают за Вокульским (или за его капиталами?).

Пани Ставская, со своей стороны, всем восхищается: и службой, которая приносит ей жалованье, какого она никогда не получала, и новой квартирой, которую подыскал ей Вирский.

Квартира действительно недурна: передняя, кухонька с водопроводом и раковиной, три довольно уютные комнатки, а сверх того, садик. Пока что в нем торчат только три

высохших прутика да лежит куча кирпичей, но пани Ставская воображает, что летом устроит в нем рай. Рай, который весь уместится под носовым платком!

1879 год начался победой англичан в Афганистане: под предводительством генерала Робертса они вошли в Кабул. Наверное, соус кабуль поднимется в цене! Молодчина Робертс: без руки, а лупит афганцев так, что перья летят... Впрочем, таких дикарей лупить нетрудно: посмотрел бы я, мистер Робертс, как бы вы справились с венгерской пехотой!

Для Вокульского новый год тоже начался баталией с этим Обществом по торговле с Россией. Мне кажется, еще одно заседание, и он разгонит своих компаньонов на все четыре стороны. Что за странные люди, даром что интеллигенты: промышленники, купцы, дворяне, графы! Он им основал торговое общество, а они его же считают врагом этого общества и всю заслугу приписывают себе. Он им дает семь процентов за полугодие, а они еще недовольны и хотели бы снизить жалованье служащим.

А милые служащие, за которых Вокульский ломает копья! Чего-чего только они не наговаривают на него, называют его эксплуататором (NB — в нашем предприятии самые высокие оклады и премии), подкапываются друг под друга...

С грустью вижу, что с некоторых пор у нас начинают прививаться неизвестные ранее повадки: поменьше работать, погромче жаловаться, а потихоньку строить козни и распускать сплетни. Но зачем мне мешаться в чужие дела...

А теперь я с невероятной быстротой dokonчу рассказ о трагедии, которая неминуемо потрясет каждое благородное сердце.

Я уже успел позабыть о гнусном процессе Кшешовской против невинной, чистой, чудесной пани Ставской, как вдруг однажды, в конце января, над нами сразу разразилось два громовых удара: известие о том, что в Ветлянке вспыхнула чума, и — повестки мне и Вокульскому с вызовом в суд на завтра. У меня ноги онемели, и онемение это стало подниматься от пяток к коленям, а потом выше, к желудку, направляясь, по-видимому, к сердцу. «Чума или паралич?» — думал я. Но Вокульский принял повестку весьма равнодушно, и я преисполнился надежды.

И вот иду я вечером, такой бодрый, к моим дамам, уже на новую их квартиру, как вдруг слышу посредине улицы: «Клинг-кланг!.. клинг-кланг!» О, раны Христовы, да ведь это ведут арестантов?.. Что за ужасное предзнаменование!

Ох, какие грустные мысли овладели мной: «Что, если суд нам не поверит (ведь случаются судебные ошибки) и эту благороднейшую женщину бросят в тюрьму, хотя бы на неделю, хотя бы на один день, — что тогда? Она этого не переживет, да и я тоже... А если переживу, то разве лишь затем, чтобы заботиться о бедняжке Элуне.

Да! Я должен жить... Но что это будет за жизнь!

Вхожу к ним... Опять та же история! Пани Ставская, страшно бледная, сидит в сторонке на табурете, а у пани Мисевичовой на голове платок, смоченный в болеуспокаивающем растворе. Старушка благоухает камфарой и громко причитает:

— О великодушный мой пан Жецкий, вы не погнушались бедными опозоренными женщинами! Представьте себе, какое несчастье: завтра разбирается дело Элены... И

подумайте только, что будет, если суд ошибется и приговорит мою несчастную дочь к арестантским ротам?.. Не волнуйся, Эленка, мужайся, мужайся, авось бог помилует... Хотя сегодня мне приснился ужасный сон...

(Она видела сон... я повстречал арестантов... Быть беде!)

— Да что вы, полноте! — говорю я. — Наше дело чистое, мы выиграем... Велика важность — наше дело! Похуже вот история с чумой, — прибавил я, желая отвлечь ее внимание от столь горестного предмета.

Ну, и попал пальцем в небо! Старушка как всполошится:

— Чума? тут? в Варшаве? Что, Элена, не говорила я тебе? О-оо-ох! всем нам погибать... Известное дело, во время чумы все запираются по домам... еду подают через окна на шестах... трупы крючьями стаскивают в ямы...

Ну, вижу я, старушонка моя разошлась вовсю, и, чтобы поумерить ее пыл насчет чумы, я опять упомянул о суде, на что милая дама ответила длинным рассуждением о позоре, преследующем их семью, о возможном заключении пани Ставской в тюрьму, о том, что у них распаялся самовар...

Короче говоря, последний вечер перед судом, когда необходимо было собрать всю энергию, именно этот последний вечер прошел в разговорах о чуме и смерти, позоре и тюрьме. В голове у меня все так перепуталось, что, выйдя на улицу, я не сразу мог сообразить, куда мне надо: направо или налево.

На следующий день (дело было назначено на десять часов) я уже в восемь приехал к моим дамам, но не застал ни души. Все отправились к исповеди — мамаша, дочка, внучка и кухарка — и беседовали с богом до половины десятого, а я, несчастный (на дворе-то был январь), прогуливался на морозе перед домом и размышлял: «Только этого не хватает! Опоздают к разбору, а может, и уже опоздали, суд заочно вынесет приговор и, разумеется, не только осудит пани Ставскую, но вдобавок еще решит, что она сбежала, и разошлет объявления с ее приметам... С бабами всегда так!»

Наконец все четыре явились вместе с Вирским (неужели и этот благочестивый человек ходил сегодня к исповеди?) и мы в двух пролетках поехали в суд: я с пани Ставской и Элюней, а Вирский с пани Мисевичовой и кухаркой. Жаль, что не прихватили с собою еще кастрюлю, самовар и керосинку! Перед зданием суда мы увидели экипаж, в котором приехали Вокульский и адвокат. Они поджидали нас у лестницы, грязной, как будто по ней прошел батальон пехоты; у обоих были совершенно спокойные лица. Я даже готов держать пари, что они беседовали о чем-то постороннем, а не о пани Ставской.

— О благородный пан Вокульский, вы не погнушались бедными женщинами, покрытыми... — начала пани Мисевичова.

Но Стах подал ей руку, адвокат подхватил пани Ставскую, Вирский взял за ручку Элюню, а я присоединился к Марианне — и так вступили мы в святилище мирового судьбы.

Зал напомнил мне школу: судья восседал на возвышении, как учитель на кафедре, а против него, на скамьях, расставленных в два ряда, теснились обвиняемые и

свидетели. В эту минуту в памяти моей так живо встали детские годы, что я невольно глянул на печь, не сомневаясь, что увижу возле нее сторожа с розгой и скамейку, на которой нас пороли. По рассеянности я чуть было не крикнул: «Больше никогда не буду, господин учитель!» — однако вовремя опомнился.

Мы стали усаживать наших дам; не обошлось без небольшой стычки с евреями, которые, как я позже узнал, являются самыми терпеливыми слушателями судебных дел, в особенности — о краже и надувательстве. Однако место нашлось даже для славной Марианны, у которой был такой вид, словно она вот-вот начнет читать молитву и осенять себя крестным знамением.

Вокульский, наш адвокат и я поместились в первом ряду с краю, рядом с субъектом в рваном пальто и с подбитым глазом, на которого один из блюстителей порядка бросал свирепые взгляды.

«Вероятно, опять какое-нибудь столкновение с полицией», — подумал я.

Вдруг рот мой сам собой разинулся от удивления: перед кафедрой мирового судьи я увидел знакомые лица — налево от стола — Кшешовскую, ее плюгавого адвоката и прохвоста Марушевича, а направо — двух студентов. Один из них выделялся сильно потертой тужуркой и необычайно буйным красноречием, на втором была еще более потертая тужурка, на шее цветной шарф, а лицом он, ей-богу, смахивал на покойника, сбежавшего с катафалка.

Я внимательно взгляделся в него. Да, это он, тот самый тщедушный молодой человек, который во время первого визита Вокульского к пани Ставской бросил на голову баронессе селедку. Милый юноша! Но, право, мне никогда не случалось видеть существо столь худое и желтое...

Сначала я подумал, что баронесса привлекла к суду этих приятных молодых людей как раз по поводу вышеупомянутой селедки. Однако вскоре я убедился, что речь идет о другом, а именно о том, что Кшешовская, вступив во владение домом, вознамерилась выгнать на улицу своих самых заклятых врагов и одновременно самых несостоятельных своих должников.

Когда мы вошли, дело между баронессой и молодыми людьми достигло своего апогея.

Первый студент, красивый юноша с усиками и бачками, то приподнимаясь на цыпочки, то опускаясь на каблуки, рассказывал о чем-то судье; при этом он плавно размахивал правой рукой, а левой кокетливо подкручивал усики, далеко отставляя мизинец, украшенный перстнем с дыркой вместо камешка.

Второй юнец угрюмо молчал и прятался за спину своего товарища. В его позе я заметил некую любопытную деталь: молитвенно сложив ладони, он прижимал обе руки к груди, словно придерживая ими книжку или икону.

— Итак, ваши фамилии, господа? — спросил судья.

— Малеский, — с поклоном ответил обладатель бачков. — И Паткевич... — прибавил он, указав полным изящества жестом на своего мрачного коллегу.

— А где третий ответчик?

— Он нездоров, — ответил Малесский манерно. — Это наш сожитель, однако он весьма редко бывает у нас.

— Как это редко бывает? Где же он проводит целые дни?

— В университете, в анатомическом театре, случается — в столовой.

— Ну, а ночью?

— Об этом, господин судья, я мог бы вам сообщить только с глазу на глаз.

— А где же он прописан?

— О, прописан он в нашем доме, поскольку ему не хотелось бы лишний раз затруднять органы власти, — пояснил Малесский с видом лорда.

Судья обратился к Кшешовской:

— Что же, сударыня, вы по-прежнему не желаете оставлять в своем доме этих господ?

— Ни за что на свете! — ужаснулась баронесса. — Они ночи напролет рычат, топают, кукарекают, свистят... Нет в доме ни одной прислуги, которой они не заманили бы к себе... Ах, господи! — вдруг вскрикнула она, отворачиваясь.

Этот вопль удивил судью, но не меня. Я успел заметить, как Паткевич, не отнимая рук от груди, вдруг закатил глаза и опустил нижнюю челюсть, на мгновение совершенно уподобившись мертвецу. Лицо его и вся поза действительно могли перепугать даже нормального человека.

— Самое отвратительное, что господа эти выливают из окна какие-то жидкости...

— Уж не на вас ли, сударыня? — нагло спросил Малесский.

Баронесса посинела от злости, но промолчала: ей было стыдно признаться.

— Что же еще? — продолжал судья.

— А хуже всего (из-за чего я и заболела нервным расстройством), что господа эти по несколько раз в день стучат в мои окна черепом...

— Вы это делаете, господа? — обратился судья к студентам.

— С вашего позволения, господии судья, я сейчас все объясню, — начал Малесский, вставая в такую позу, как будто собирался танцевать менуэт. — Нам прислуживает дворник, который проживает внизу; так вот, чтобы не затруднять себя хождением вниз и вверх, на четвертый этаж, мы припасли длинную веревку, привешиваем к ней что под руку попадет (может случайно подвернуться и череп) и... стучим к нему в окно, — закончил он таким нежным тоном, что трудно было предположить что-нибудь предосудительное в столь невинном способе сигнализации.

— Ах, господи! — опять вскрикнула баронесса и пошатнулась.

— Ясно, больная женщина... — пробормотал Малесский.

— Я не больная — завопила Кшешовская. — Выслушайте меня, господин судья! Я не могу смотреть вон на того... он все время корчит такие рожи... Точно покойник... Я недавно потеряла дочку! — закончила она со слезами.

— Честное слово, у этой дамы галлюцинации! — заметил Малесский. — Кто тут похож на покойника? Паткевич? Такой хорошенький мальчик! — прибавил он, толкая вперед своего коллегу, который... в эту минуту, уже в пятый раз, изображал мертвеца.

Зал разразился хохотом; судья, пытаясь сохранить важность, уткнулся в бумаги и после долгой паузы строго объявил, что смеяться запрещено и всякий нарушающий тишину будет подвергнут денежному штрафу.

Паткевич, пользуясь беспорядком, дернул товарища за рукав и угрюмо шепнул:

— Что же ты, Малесский, свинья ты этакая, издеваешься надо мною в публичном месте?

— Да ведь ты и вправду хорошенький. Женщины по тебе с ума сходят!

— Так не потому ведь... — проворчал Паткевич, уже гораздо миролюбивее.

— Когда же вы, господа, уплатите двенадцать рублей пятьдесят копеек, причитающиеся с вас за январь месяц? — спросил судья.

На этот раз Паткевич изобразил человека с бельмом на глазу и парализованной половиной лица, а Малесский погрузился в глубокое раздумье.

— Если бы, — ответил он минуту спустя, — мы могли остаться до каникул, тогда... Вот что! Пусть баронесса заберет себе нашу мебель.

— Ах, ничего мне уже не надо, ничего... Только уезжайте вы от меня! Я не претендую даже на квартирную плату... — закричала баронесса.

— Как эта женщина компрометирует себя, — шепнул наш адвокат. — Таскается по судам, берет в поверенные какого-то прощельгу...

— Но мы, сударыня, мы претендуем на возмещение убытков! — заявил Малесский. — Где это видано, среди зимы гнать порядочных людей с квартиры! Если мы и найдем комнату, то уж такую дрянь, что по меньшей мере двое из нас умрут от чахотки...

Паткевич, вероятно чтобы придать вес словам оратора, задвигал ушами и кожей на голове, что вызвало новый приступ веселья в зале.

— Первый раз вижу нечто подобное! — сказал наш адвокат.

— Вы говорите о судебном разбирательстве? — осведомился Вокульский.

— Нет, о том, как он двигает ушами. Просто артистически!

Между тем судья написал и огласил приговор, в силу которого господа Малесский и Паткевич обязывались уплатить двенадцать рублей пятьдесят копеек за квартиру, а также освободить оную к восьмому февраля.

Тут произошло чрезвычайное событие. Паткевич, услышав приговор, испытал столь сильное потрясение, что лицо его позеленело, и он лишился чувств. К счастью, падая, он попал в объятия Малесского, иначе бедняга страшно бы расшибся.

В зале, разумеется, раздались сочувственные возгласы, кухарка пани Ставской заплакала, евреи начали показывать пальцами на баронессу и покашливать.

Смущенный судья прервал заседание и, кивнув головою Вокульскому (откуда они

знакомы?), пошел в другую комнату, а двое полицейских почти на руках вынесли несчастного юношу, который на этот раз действительно был похож на труп.

Лишь в прихожей, когда его положили на скамью и кто-то крикнул, чтобы его облили водой, больной вдруг вскочил и угрожающим тоном произнес:

— Ну-ну! Только, пожалуйста, без этих дурацких шуток...

После чего сам надел пальто, энергично втиснул ноги в довольно рваные калоши и легкой поступью покинул здание суда, к великому удивлению полицейских, обвиняемых и свидетелей.

В эту минуту к нашей скамье подошел какой-то чиновник и шепнул Вокульскому, что судья приглашает его к завтраку. Стах вышел, а пани Мисевичова принялась звать меня отчаянными знаками.

— Иисусе, Мария! — вздыхала она. — Вы не знаете, зачем судья вызвал этого благороднейшего из людей? Должно быть, хочет ему сказать, что положение Элены безнадежно... Ох, у бессовестной баронессы, как видно, большие связи... одно дело она уже выиграла, и, наверно, то же самое будет с Эленой... О, я несчастная! Нет ли у вас, сударь, каких-нибудь подкрепляющих капель?

— Вам нехорошо?

— Пока нет, хотя здесь душно... Но я страшно боюсь за Элену... А ну, как ее приговорят — она может лишиться чувств и умереть, если сразу не принять мер... Как вы думаете, дорогой мой, не следует ли мне броситься в ноги судье и заклинать его...

— Помилуйте, сударыня, это совсем лишнее... Наш адвокат как раз говорил, что баронесса уже и сама, наверно, хотела бы прекратить дело, да поздно.

— Почему же, мы согласимся! — вскричала старушка.

— Э, нет, почтеннейшая, — возразил я с некоторым даже раздражением. — Либо мы уйдем отсюда совершенно оправданные, либо...

— Умрем, хотите вы сказать? — перебила старушка... — О, не говорите этого... Вы даже не знаете, как неприятно в мои годы слышать о смерти...

Я отошел от старушки, окончательно павшей духом, и приблизился к пани Ставской.

— Как вы себя чувствуете, сударыня?

— Превосходно! — отвечала она с твердостью. — Еще вчера я ужасно боялась, но после исповеди мне стало легче, и теперь я совсем успокоилась.

Я сжал ее руку долгим... долгим пожатием, как умеют только истинно любящие, и побежал к своей скамье, потому что в зал вошел Вокульский, а за ним и судья.

Сердце мое неистово колотилось. Я оглянулся вокруг. Пани Мисевичова сидела с закрытыми глазами, по-видимому молилась, пани Ставская была очень бледна, но сосредоточенно-спокойна, баронесса нервно теребила свой салоп, а наш адвокат, поглядывая на потолок, подавлял зевоту.

В эту минуту Вокульский посмотрел на пани Ставскую, и — черт меня побери, если я не подметил в его глазах столь несвойственное ему выражение нежного участия...

Еще парочка таких процессов, и, я уверен, он до смерти влюбится в нее.

Судья несколько минут что-то писал, а кончив, объявил присутствующим, что теперь будет разбираться дело Кшешовской против Ставской о краже куклы.

Затем он пригласил обе стороны и их свидетелей выйти вперед.

Я стоял возле скамей для публики, и мне был слышен разговор двух кумушек; одна из них, помоложе, с багровым лицом, объясняла старшей:

— Видите, вон та красивая дама украла у той второй дамы куклу...

— Нашла тоже на что позариться!

— Что ж поделаешь! Не всякому гладильные катки воровать...

— Сами вы катки воруете, — откликнулся сзади них чей-то бас. — Вор не тот, кто свое отбирает, а тот, кто даст пятнадцать рублей задатку и думает, что купил товар...

Судья продолжал писать, а я попытался припомнить речь, которую приготовил вчера, чтобы защитить пани Ставскую и заклеить позором баронессу. Но все выражения и обороты перемешались у меня в голове, поэтому я снова начал осматриваться кругом.

Пани Мисевичова все еще тихонько молилась, а сидевшая позади нее Марианна плакала. У Кшешовской лицо посерело, она прикусила губу и опустила глаза, но каждая складка ее одежды дышала злобой... Рядом с нею, упорно глядя в землю, стоял Марушевич, а позади него — служанка баронессы, до такой степени перепуганная, как будто ей предстояло взойти на плаху...

Наш адвокат все еще зевал, Вокульский сжимал кулаки, а пани Ставская глядела на всех с таким кротким спокойствием, что, будь я скульптором, я изваял бы с нее статую оскорбленной невинности.

Неожиданно Элюня, не слушая уговоров Марианны, выбежала вперед и, схватив мать за руку, тихо спросила:

— Мамочка, зачем этот дядя позвал тебя сюда? Дай я скажу на ушко: наверное, ты шалила, и теперь он поставит тебя в угол...

— Ишь ты, подучили, — сказала багровая кумушка старшей.

— Такого бы вам здоровья, как ее подучили, — проворчал сзади нее бас.

— Вам бы такого здоровья за мою обиду... — гневно возразила кумушка.

— А вы околете от судорог, и на том свете черти вас будут раскатывать на моих катках, — отвечал противник.

— Тише! — крикнул судья. — Пани Кшешовская, что вы можете сообщить суду по этому делу?

— Выслушайте меня, господин судья! — патетически заговорила баронесса, выставив ногу вперед. — От умершей девочки осталась мне драгоценная память — кукла,

которая очень нравилась вот этой даме, — тут она показала на Ставскую, — и ее девочке...

— Обвиняемая бывала у вас?

— Да, я нанимала ее шить...

— Но ничего ей не заплатила! — гаркнул с конца зала Вирский.

— Тише! — осадил его судья. — Ну и что ж?

— В тот самый день, когда я рассчитала эту женщину, — продолжала баронесса, у меня пропала кукла. Я думала, что умру от огорчения, и сразу заподозрила ее... Предчувствие не обмануло меня; несколько дней спустя мой близкий знакомый, пан Марушевич, который живет как раз против нее, увидел из окна, как эта дама держит в руках мою куклу и, чтобы ее не опознали, надевает на нее другое платье. Тогда я пошла к нему на квартиру с моим поверенным и увидела в бинокль, что моя кукла действительно находится у этой дамы. На следующий день я явилась к ней, отобрала куклу, которую вижу тут на столе, и подала жалобу в суд.

— А вы, пан Марушевич, уверены, что это та самая кукла, которая была у пани Кшешовской? — спросил судья.

— То есть... собственно говоря... никакой уверенности у меня нет.

— Зачем же вы сказали это пани Кшешовской?

— Собственно... я не в этом смысле... — пролепетал Марушевич.

— Не лгите, сударь! — воскликнула баронесса. — Вы со смехом прибежали ко мне и сказали, что Ставская украла куклу и что это на нее похоже...

Марушевич вспыхнул, потом побледнел, снова покраснел, покрылся испариной и стал переминаться с ноги на ногу, что, по-видимому, служило у него признаком сильнейшего сокрушения.

— Подлец! — довольно громко сказал Вокульский. Я заметил, что замечание это отнюдь не ободрило Марушевича. Напротив, он, казалось, еще более растерялся.

Судья обратился к служанке.

— У вас была именно эта кукла?

— Не знаю которая... — еле слышно отвечала она. Судья протянул ей куклу, но служанка молчала, только моргала и ломала руки.

— Ах, это Мими! — закричала Элюня.

— О, господин судья! — воскликнула баронесса. — Дочь свидетельствует против матери.

— Ты знаешь эту куклу? — спросил судья у Элюни.

— Конечно знаю! Совсем такая же была в комнате у баронессы.

— Так это та самая?

— Ой нет, не та... У той было серое платьице и черные туфельки, а у этой туфельки желтые!

— Ну, хорошо... — пробормотал судья и положил куклу на стол. — Пани Ставская, что вы можете сказать?

— Эту куклу я купила в магазине пана Вокульского...

— А сколько вы за нее заплатили? — прошипела баронесса.

— Три рубля.

— Ха-ха-ха! — расхохоталась баронесса. — Этой кукле цена пятнадцать рублей...

— Кто вам продал куклу, сударыня? — спросил судья.

— Пан Жецкий, — краснея, ответила пани Ставская.

— Вы что скажете, пан Жецкий? — спрашивал судья.

Тут как раз наступил момент произнести мою речь. Я начал:

— Достопочтенный судья! С прискорбием и изумлением приходится мне... то есть... значит... я вижу перед собою торжествующее зло и... значит... попорченную...

Почему-то в горле у меня пересохло, и я не мог больше вымолвить ни одного слова. К счастью, вмешался Вокульский.

— Жецкий только присутствовал при покупке, а куклу продал я.

— За три рубля? — спросила баронесса, блеснув змеиными глазами.

— Да, за три рубля. Это бракованный товар, и мы хотели поскорей его сбыть.

— Вы и мне продали бы такую куклу за три рубля? — продолжала допрашивать баронесса.

— Нет! Вам уже больше никогда ничего не продадут в моем магазине.

— Как вы докажете, что кукла куплена у вас? — спросил судья.

— Вот именно! — подхватила баронесса. — Как вы докажете?

— Тише! — осадил ее судья.

— Где вы купили свою куклу? — спросил у баронессы Вокульский.

— У Лессера.

— Вот я и докажу, — сказал Вокульский. — Я выписывал эти куклы из-за границы в разобранном виде: головы отдельно, туловища отдельно. Господин судья, потрудитесь отпороть ей голову и увидите внутри марку моей фирмы.

Баронесса забеспокоилась.

Судья взял куклу, натворившую столько хлопот, надрезал перочинным ножом лиф ее платья и принялся осторожно отделять голову от туловища. Эленка сначала с удивлением наблюдала за этой операцией, а потом обернулась к матери и тихо спросила:

— Мамочка, зачем этот господин раздевает Мими? Ведь ей будет стыдно...

Вдруг она поняла, что делает судья, разразилась слезами и, уткнувшись лицом в платье пани Ставской, закричала:

— Мама, зачем он ее режет! Это же страшно больно! Ой, мама, мамочка, я не хочу, чтобы Мими резали...

— Не плачь, Элюня, Мими выздоровеет и будет еще красивее, — успокаивал девочку Вокульский, взволнованный не меньше ее.

Между тем голова Мими упала на протоколы. Судья заглянул внутрь и, протянув кукольную головку баронессе, сказал:

— Посмотрите, что это за марка? Кшешовская прикусила губу и промолчала.

— Пусть пан Марушевич прочтет вслух, что тут написано.

— «Ян Минцель и Станислав Вокульский...» — робко пробормотал Марушевич.

— Значит, не Лессер?

— Нет.

Все это время прислуга баронессы вела себя весьма странно: краснела, бледнела, пряталась за скамьи...

Судья, искоса наблюдавший за ней, вдруг окликнул ее:

— А теперь, барышня, скажите нам, что случилось с куклой вашей хозяйки? Только говорите правду, потому что вам придется присягнуть.

Перепуганная насмерть девушка схватилась за голову и, подбежав к столу, быстро заговорила:

— Кукла разбилась, ваша милость.

— Ваша кукла, та, которая была у пани Кшешовской?

— Она самая...

— Ну хорошо, так ведь только голова разбилась, а где же остальное?

— На чердаке, ваша милость... Ой, что мне будет!

— Ничего вам не будет; хуже было бы, если бы вы не сказали правду. А вы, обвинительница, слышали, как обстоит дело?

Баронесса опустила глаза и скрестила руки на груди, словно мученица.

Судья начал писать. Мужчина, сидевший во втором ряду (очевидно, торговец катками), обратился к даме с багровым лицом:

— Ну что, украли она? Видали, как вам нос-то утерли, а?

— Была бы мордашка смазливая, так и от тюрьмы отвертишься, — сказала багровая дама своей соседке.

— Ну, вам-то не отвертеться, — проворчал торговец катками.

— Дурак!

— Сама дура...

— Тише! — крикнул судья.

Нам велели встать, и мы выслушали приговор, полностью оправдывающий пани Ставскую.

— А теперь, — заключил судья, окончив чтение, — вы, сударыня, можете предъявить иск за клевету.

Он сошел с возвышения, пожал руку пани Ставской и прибавил:

— Мне очень жаль, что я вынужден был вас судить, зато теперь очень приятно вас поздравить.

Кшешовская истерически вскрикнула, а дама с багровым лицом заметила своей соседке:

— На хорошенькую мордашку так и судья, как муха на мед... Ну, да на Страшном суде будет иначе... — вздохнула она.

— Холера! Богохульница! — буркнул торговец катками.

Мы собрались уходить. Вокульский подал руку пани Ставской и пошел с нею вперед, а я осторожно повел по грязной лестнице пани Мисевичову.

— Говорила я, что так будет, — уверяла меня старушка, — а вы все сомневались...

— Кто, я сомневался?..

— Ну да, ходили все время как в воду опущенный... Иисусе, Мария! Да что ж это?

Последний возглас был обращен к тщедушному студенту, который вместе со своим товарищем поджидал у дверей, очевидно, Кшешовскую, и, думая, что это она, изобразил мертвеца... перед пани Мисевичовой!

Он сразу заметил свою ошибку и так застыдился, что побежал вперед.

— Паткевич! погоди же! она идет... — крикнул ему вдогонку Малесский.

— Да ну тебя ко всем чертям! — вспыхнул Паткевич. — Вечно ты меня компрометируешь.

Однако, заслышав шум в подъезде, он вернулся и опять представил покойника, на этот раз... перед Вирским!

Это окончательно сконфузило молодых людей, они поссорились и отправились домой врозь — Малесский по одной, а Паткевич по другой стороне улицы.

Однако, когда мы их обогнали в пролетках, они уже шли рядом и поклонились нам с чарующей грацией».

Глава девятая. Дневник старого приказчика

«Теперь мне понятно, почему я так расписался насчет дела пани Ставской. Вот почему...

На свете нередко встречаются маловеры, да и сам я подчас слабею в вере и сомневаюсь в божественном провидении. Частенько также, когда худо идут политические дела либо когда я вижу человеческую подлость и торжество мерзавцев (если позволительно употребить это выражение), я думаю:

«Старый глупец по имени Игнаций Жецкий! Ты воображаешь, будто династия Бонапартов воцарится опять, будто Вокульский совершит нечто необыкновенное, потому что талантлив, и будет счастлив, потому что честен?! Ты думаешь, ослиная твоя голова, что хотя поначалу прохвостам живется хорошо, а честным людям плохо, однако в конце концов злые все-таки будут посрамлены, а добрые прославлены?.. Так ты себе это представляешь? Все это твоя фантазия! На свете нет никакого порядка, никакой справедливости, одна борьба. Когда побеждают хорошие — хорошо, когда плохие — плохо, вот и все. Но думать, что есть какая-то высшая сила, помогающая только хорошим, — вздор, об этом забудь... Люди — как листья, разметанные ветром: бросит он их в траву, они и лежат на траве, а бросит в грязь — так и лежат в грязи...»

Подобные мысли нередко посещали меня в минуты сомнения; но процесс пани Ставской привел меня к прямо противоположным выводам — я уверовал в то, что хорошие люди рано или поздно дождутся справедливости.

Итак, рассудим... Пани Ставская — женщина благороднейшей души, значит она должна быть счастлива; Стах — человек высочайших достоинств, значит и он должен быть счастлив. Между тем Стах все время ходит расстроенный и грустный (иной раз я чуть не плакал, на него глядя), а пани Ставскую обвинили в краже...

Где же тут справедливость, вознаграждающая достойных?..

Сейчас увидишь ее, маловерный! А чтобы крепче убедить тебя, что в мире существует порядок, запишу здесь следующие пророчества:

Во-первых, пани Ставская выйдет замуж за Вокульского и будет с ним счастлива.

Во-вторых, Вокульский откажется от своей панны Ленцкой, женится на пани Ставской и будет с нею счастлив.

В-третьих, юный Люлю еще в этом году станет французским императором под именем Наполеона IV, расправится с немцами так, что от них останется только мокрое место, и установит справедливость во всем мире, что мне предсказывал еще мой покойный отец.

В том, что Вокульский женится на пани Ставской и совершит нечто необычайное, я теперь уже ничуть не сомневаюсь. Он еще, правда, не обручился с нею и даже еще не посватался, более того... он даже сам еще не знает, что сделает это. Но я уже вижу... ясно вижу, как пойдет дело, и дам голову на отсечение, что будет именно так... А нюх у меня тонкий, политический!

Ведь посмотрите только, что делается.

На второй же день после суда Вокульский был вечером у пани Ставской и сидел до одиннадцати часов. На третий день он был в магазине Миллеровой, проверил бухгалтерские книги и очень расхваливал пани Ставскую, что даже несколько задело

хозяйку. А на четвертый день... Ну, на четвертый день он, правда, не был ни у Миллеровой, ни у пани Ставской, зато со мной произошли странные события.

Перед обедом (как раз в магазине не было покупателей) ни с того ни с сего подходит ко мне — кто же? Молодой Шлангбаум, тот еврей, который работает в отделе русских тканей.

Гляжу я, мой Шлангбаум потирает руки, ус у него подкручен, а голову он задрал чуть не до потолка... «Спятил он, думаю, что ли?» А он здоровается со мною, но голову не опускает и говорит слово в слово следующее: — Надеюсь, пан Жецкий, что бы ни случилось, мы с вами останемся друзьями...

«Черт побери, думаю, уж не уволил ли его Стах со службы?» И отвечаю:

— Что бы ни случилось, пан Шлангбаум, вы можете быть уверены в моем расположении, если только не совершите каких-нибудь злоупотреблений...

На последних словах я сделал ударение, потому что у моего Шлангбаума был такой вид, словно он собрался либо купить у нас магазин (что мне казалось неправдоподобным), либо обокрасть кассу... Последнее, хоть он и принадлежит к честным иудеям, я не счел бы совершенно невероятным.

По-видимому, он смекнул это, так как чуть заметно усмехнулся и отправился в свой отдел. Через четверть часа я зашел туда как бы ненароком, но застал его, как всегда, за работой. Я бы даже сказал, что трудился он с еще большим рвением, чем обычно: взбегал по лесенке, доставал куски репса и бархата, опять укладывал их по местам — словом, вертелся волчком.

«Нет, думаю, уж он-то наверняка не станет нас обкрадывать...»

Я также с удивлением заметил, что Земба как-то подобострастно вежлив с Шлангбаумом, а на меня поглядывает как будто свысока, впрочем не слишком.

«Что ж, думаю, он хочет загладить перед Шлангбаумом прежние обиды, а в отношении меня, старшего приказчика, подчеркивает свое достоинство. Весьма похвально с его стороны: всегда следует немного задирать голову перед особами вышестоящими, а с нижестоящими быть предупредительным...»

Вечером зашел я в ресторанчик выпить пивца. Гляжу — сидят Шпрот и советник Венгрович. Мы со Шпротом после того столкновения, о котором я уже рассказывал, придерживаемся холодного тона, но с советником я поздоровался весьма сердечно. А он мне:

— Ну что, готово?

— Виноват, — говорю, — не понимаю. (Я думал, он намекает на процесс пани Ставской.) Не понимаю ваших слов, господин советник.

— Чего тут не понимать? — говорит он. — Магазин-то продан?

— Перекреститесь, господин советник, — говорю я, — какой магазин?

Почтенный советник, который опрокинул уже шестую кружку, захохотал и говорит:

— Хи-хи! Я-то перекрещусь, а вот вам и перекреститься не дадут, когда с христианского хлеба придется перейти на еврейскую халу: магазин-то ваш, говорят, купили евреи...

Я думал, что меня хватит удар.

— Господин советник, — говорю я, — вы человек солидный и не откажетесь сообщить, откуда у вас эти сведения.

— Да весь город об этом трезвонит: впрочем, пусть Шпрот даст вам по этому поводу разъяснения.

— Пан Шпрот, — говорю я, поклонившись, — мне отнюдь не хотелось бы обойтись с вами неуважительно, тем более что я требовал от вас удовлетворения, в чем вы мне отказали, как последний мерзавец... да, мерзавец, пан Шпрот... Однако заявляю вам, что вы либо разносите сплетни, либо сами измышляете их...

— Это еще что такое? — гаркнул Шпрот, опять, как тогда, колотя кулаком по столу. — Отказал, потому что не собираюсь давать удовлетворение ни вам, ни кому другому. При всем том повторяю: ваш магазин покупают евреи.

— Какие евреи?

— Черт их знает: Шлангбаумы, Хундбаумы, откуда мне их знать?

Я так разъярился, что велел подать пива, а тем временем советник Венгрович говорил:

— С евреями будет когда-нибудь большой скандал. Они нас так жмут, так отовсюду выкуривают и скупают наши предприятия, что трудно с ними управиться. Обжудить их не удастся, они на этот счет сильнее нас, зато как дойдет дело до кулаков — посмотрим, чья возьмет...

— Советник прав, — подхватил Шпрот. — Они уж так всего нахватались, что в конце концов придется у них силой отнимать, хотя бы для порядка. Вы посмотрите, господа, до чего дошло в той же торговле суконными тканями...

— Ну, — говорю, — коли магазин наш купят евреи, так и я к вам примкну! И мой кулак еще на что-нибудь пригодится... Но пока что, ради бога, не распускайте вы сплетни о Вокульском, не подзуживайте людей против евреев: и без того растет озлобление.

Я вернулся домой с головной болью, злой на весь мир. Ночью то и дело просыпался, а заснув, всякий раз видел во сне, что евреи и впрямь купили наш магазин и я, чтобы не умереть с голоду, хожу по дворам с шарманкой, на которой написано: «Сжальтесь над бедным старым офицером венгерской пехоты!»

Только утром мне пришла в голову простая, вполне здравая мысль: решительно объясниться со Стахом и, если он действительно продает магазин, подыскать себе другое место.

Хороша карьера после такой долголетней службы! Собаку, ту хоть пристрелят под старость; а родился человеком, так и слоняйся по чужим углам и думай, не придется ли окончить свои дни под забором...

До обеда Вокульский не заходил в магазин, так что к двум часам я собрался к нему. Уж не захворал ли он?

Иду и в воротах его дома сталкиваюсь с доктором Шуманом. Когда я сказал ему, что хочу навестить Стаха, доктор нахмурился.

— Не ходите к нему. Он расстроен, и надо оставить его в покое. Идемте-ка лучше ко мне, выпьем чайку... Кстати, есть у меня ваши волосы?

— Боюсь, — ответил я, — что скоро вы получите мои волосы вместе со всей шкурой.

— На предмет чучела?

— Стоило бы, потому что мир еще не видывал такого дурака.

— Успокойтесь, — ответил Шуман, — бывают и большие. А что случилось?

— Неважно, что со мною случилось, но вот я слышал, будто Стах продает магазин евреям... Ну, а у них я служить не намерен.

— Почему же? Вас что, тоже антисемитизм одолел?

— Нет, знаете, не быть антисемитом одно, а служить у евреев — другое.

— Кто же тогда будет у них служить? Например, я, даром что сам еврей, не намерен прислуживать этим паршивцам. Впрочем, — прибавил он, — откуда у вас подобные мысли? Если магазин будет продан, вы получите прекрасное место в Обществе по торговле с Россией...

— Ненадежное это дело... — заметил я.

— Очень надежное, потому что в нем слишком мало евреев и слишком много вельмож... Но вам, собственно, нечего беспокоиться... только уж не выдавайте меня... Вам совершенно нечего беспокоиться ни о магазине, ни о торговом обществе, так как Вокульский оставляет вам двадцать тысяч рублей...

— Оставляет?... мне?... Что это значит? — с удивлением вскричал я.

Мы как раз вошли в квартиру Шумана, и доктор велел подать самовар.

— Что это значит? Почему оставляет? — спросил я, несколько даже встревожившись.

— Почему, почему... — ворчал Шуман, шагая по комнате и потирая затылок.

— Почему — не знаю, но Вокульский сделал это. По-видимому, хочет на всякий случай приготовиться, как следует рассудительному и деловому человеку...

— Неужели опять дуэль?

— Эх, какое там!.. Вокульский слишком умен, чтобы дважды совершать одну и ту же глупость. Но, дорогой мой Жецкий, имея дело с такой бабой, нужно быть готовым ко всему...

— С какой бабой?... С пани Ставской? — спросил я.

— При чем тут пани Ставская! — вскинулся доктор. — Речь идет о более важной птице, о панне Ленцкой, в которую этот полоумный врезался по уши. Он уже

распробовал, что это за зелье, мучается, изводит себя, а оторваться не в силах. Нет ничего хуже поздней любви, особенно когда она вспыхнет у такого дьявола, как Вокульский.

— Но что же произошло? Ведь вчера он был на балу в ратуше.

— Потому он и был, что она там была, а я был, потому что они оба были. Забавная история! — проворчал доктор.

— Нельзя ли выразаться яснее? — спросил я, теряя терпение.

— Почему бы нет, тем более что это все уже видят. Вокульский по ней с ума сходит, она с ним весьма тонко кокетничает, а поклонники... выжидают.

— Черт знает что! — продолжал Шуман, шагая по комнате и потирая затылок. — Пока у панны Изабеллы не было ни гроша и никто к ней не сватался, ни одна собака к ним и носу не казала. Но стоило появиться Вокульскому, богачу, человеку с именем и с большими связями, которые даже преувеличивают, и немедленно панну Ленцкую окружил рой кавалеров более или менее глупых, потасканных и красивых, и теперь между ними не протолкаешься. И каждый вздыхает, закатывает глаза, нашептывает нежные словечки, томно пожимая ручку во время танцев...

— А она что же?

— Пустая бабенка! — сказал доктор и махнул рукой. — Ей бы презирать эту шваль, которая к тому же неоднократно ее оставляла, а она упивается таким обществом. Все это видят, и Вокульский видит, и это хуже всего...

— Так почему же, черт возьми, он не бросит ее?.. Кто-кто, а уж он-то не позволит шутить с собой.

Подали самовар. Шуман отослал слугу и налил чай.

— Видите ли, — сказал он, — Вокульский бесспорно бросил бы ее, если б мог трезво оценить положение. Вчера на балу в нем на мгновение проснулся лев, и, когда наш Стах подошел к панне Ленцкой, я готов был поклясться, что он сейчас выпалит: «Прощайте, сударыня, я разгадал ваши карты и не позволю себя обыгрывать!» Такое у него было лицо, когда он к ней подошел. Ну и что ж? Она разок глянула на него, шепнула что-то, пожала руку, и мой Стах всю ночь был так счастлив, что... сегодня охотно пустил бы себе пулю в лоб, если б не надеялся опять дожидаться взгляда, ласкового слова, пожатия руки... И не видит, болван, что она дарит десяток других совершенно такими же нежностями и даже в гораздо больших дозах, чем его.

— Что ж это за женщина?

— Такая же, как сотни и тысячи других! Красива, избалована и бездушна. Вокульский, поскольку у него есть деньги и влияние, годится ей в мужья, — разумеется за неимением лучшего, — но в любовники она себе выберет уж таких, которые ей больше под стать.

— А он, — продолжал Шуман, — то ли в ресторане Гопфера, то ли на сибирских равнинах так напичкался Альдонами, Гражинами, Марылями^[45] и прочими химерами, что видит в панне Ленцкой богиню. Он не просто любит ее, он преклоняется перед

ней, молится на нее, готов пасть ниц... Тягостно будет его пробуждение! Правда, Стах чистокровный романтик, однако он не пойдет по стопам Мицкевича, который не только простил ту, что над ним насмеялась, но и тосковал по изменнице и обессмертил ее. Прекрасный урок для наших девиц: хочешь прославиться, изменяй пламенным своим обожателям! Нам, полякам, суждено быть глупцами даже в такой нехитрой штуке, как любовь!

— И вы думаете, что Вокульский тоже свалляет дурака? — спросил я, чувствуя, что кровь во мне закипает, совсем как под Вилагошем.

Шуман так и подскочил на стуле.

— Вот уж нет, черт побери! Сейчас, пожалуйста, пусть сходит с ума, пока еще можно говорить себе: «А вдруг она полюбит меня, а вдруг она такая, как мне кажется?» Но если он не опомнится, убедившись, что она смеется над ним... тогда... тогда... не будь я еврей, если я первый не плюну ему в глаза! Такой человек, как он, может быть несчастлив, но не смеет сносить унижения!

Давно уже я не видел Шумана в таком раздражении. Еврей-то он еврей с головы до пят, это за три версты видно, но надежнейший друг и человек с честью.

— Ну, — сказал я, — успокойтесь, доктор; у меня есть лекарство против его болезни.

И я рассказал ему все, что знал о пани Ставской, и закончил:

— Лягу костями, слышите ли, костями лягу, а... женю Стаха на пани Ставской. Это женщина с умом и сердцем, и за любовь она заплатит любовью, а ему такую и надо.

Шуман кивал головою и поднимал брови.

— Что ж, попробуйте... Против тоски по женщине единственное лекарство — другая женщина. Хотя боюсь, что его уже поздно лечить...

— Он стальной человек, — заметил я.

— Именно это и опасно, — возразил доктор. — В таких натурах трудно изглаживается то, что однажды запечатлелось, и трудно склеить то, что дало трещину.

— Пани Ставская сделает это.

— Дай-то бог!

— И Стах будет счастлив!

— Эге!..

Я расстался с доктором, исполненный надежд. Я люблю пани Элену, отрицать нечего, но ради Стаха...

Только бы не было слишком поздно!

Но нет...

На следующий день забежал в магазин Шуман; по его усмешечкам и по тому, как он кусал губы, я понял, что он чем-то взвинчен и настроен иронически.

— Вы были у Стаха, доктор? — спросил я. — Как он сегодня?..

Шуман потащил меня за шкафы и взволнованно начал:

— Вот вам что делают бабы даже с такими людьми, как Вокульский! Знаете, отчего он нервничает?

— Убедился, что у панны Ленцкой есть любовник...

— Если бы так!.. Может быть, это бы его окончательно излечило. Но она слишком ловка, чтобы такой простодушный обожатель мог заметить, что происходит за кулисами. Впрочем, сейчас речь идет совсем о другом. Смешно сказать, стыдно сказать!..

Доктор запнулся. Потом хлопнул себя по лысине и тихо сказал:

— Завтра князь дает бал, и, конечно, там будет панна Ленцкая. Но, представьте, князь до сих пор не пригласил Вокульского, хотя другим разослал приглашения уже две недели назад... Из-за этого-то Стах и расхворался, поверите ли!

Доктор визгливо рассмеялся, обнажив свои почерневшие зубы, а я, ей-богу, покраснел от стыда.

— Теперь вы понимаете, до чего человек может докатиться?.. — спросил он. — Уже второй день он изводится тем, что какой-то князь не пригласил его на бал!.. Это он, наш любимый, наш изумительный Стах!

— Он сам вам это сказал?

— Как бы не так! — буркнул доктор. — Разумеется, нет. Достало бы силы сказать, так решился бы и на то, чтобы отклонить столь запоздалое приглашение.

— Вы думаете, его пригласят?

— Попробовали бы не пригласить! Это обошлось бы князю в пятнадцать процентов годовых, которые он получает в Обществе. Пригласить-то он его пригласит, потому что Вокульский, слава богу, еще реальная сила. Но сначала, зная его слабость к панне Ленцкой, князь потешится над ним, поиграет, как собачкой, которую дразнят мясом, чтобы выучить стоять на задних лапках. Не беспокойтесь, они его не выпустят из своих когтей, на это у них ума хватит; но они хотят его вышколить, чтобы он служил им, носил поноску и кусал только тех, кто им не мил.

Он взял свою бобровую шапку и, кивнув мне, вышел. Чудак все-таки!

Невесело было у меня на душе в тот день, я даже несколько раз ошибся в счете. Вдруг, когда я уже подумывал закрыть магазин, явился Стах. Мне показалось, что за последние дни он похудел. Равнодушно поздоровавшись со служащими, он начал рыться в своем столе.

— Что ты ищешь? — спросил я.

— Не было ли тут письма от князя?.. — в свою очередь, спросил он, не глядя мне в глаза.

— Всю корреспонденцию я посылал к тебе на дом.

— Знаю, но оно могло куда-нибудь завалиться, затеряться среди бумаг...

Мне легче было бы вырвать зуб, чем слышать этот вопрос. И так, Шуман был прав: Стах изводился потому, что князь не пригласил его на бал.

Когда магазин заперли и служащие ушли, Вокульский спросил:

— Что ты сегодня делаешь? Не пригласишь ли меня к себе на чай?

Само собою, я с радостью пригласил его, вспомнив доброе старое время, когда Стах проводил у меня почти все вечера. Как же давно это было! Сегодня он был мрачен, я озабочен, и, хотя нам обоим многое надо было сказать, мы не глядели друг другу в глаза. Мы даже заговорили о погоде, и только стакан чаю, в котором было добрых полстакана арака, немного развязал мне язык.

— Что-то все поговаривают о том, будто ты продаешь магазин, — начал я.

— Я уже почти продал его, — ответил Вокульский.

— Евреям?..

Он вскочил с кресла и, засунув руки в карманы, зашагал по комнате.

— А кому прикажешь продать? — спросил он. — Тем, кто не покупает магазинов, потому что у них есть деньги, или тем, кто потому бы и хотел купить, что у них денег нет? Магазин стоит сто двадцать тысяч рублей, что ж, мне выбросить их за окно?

— Страшное дело, как эти евреи нас вытесняют...

— Откуда?.. С тех позиций, которые мы не занимаем, или с тех, на которые мы сами их толкаем, заставляем, умоляем их занять. Ни один аристократ не купит моего магазина, зато каждый даст деньги еврею, чтобы тот купил и... выплачивал ему крупные проценты на одолженный капитал.

— Так ли?..

— Конечно, так, я ведь знаю, кто дает в долг Шлангбауму...

— Значит, покупает Шлангбаум?

— А кто ж еще? Уж не Клейн ли, Лисецкий, Земба?.. Они не получают кредита, а если б и получили, то вряд ли сумели бы использовать с толком...

— С евреями будут у нас крупные неприятности, — буркнул я.

— И сколько раз уже бывали, восемнадцать столетий подряд, а что получилось? В результате антисемитских преследований благороднейшие среди евреев погибли, а выжили только те, кто сумел спастись от истребления. Отсюда и нынешние евреи: выносливые, терпеливые, хитрые, сплоченные и мастерски владеющие единственным оружием, которое им осталось, — деньгами. Уничтожая в этом народе все лучшее, мы произвели искусственный отбор и вырастили самый отрицательный тип.

— Но подумал ли ты, что когда магазин перейдет в их руки, то десятки евреев получат хорошо оплачиваемую работу, а десятки наших людей ее лишатся?

— Не по моей вине, — с горечью возразил Вокульский. — Не моя вина, если те, с кем я связан личными отношениями, требуют, чтобы я продал магазин. Правда, общество на этом потеряет, но общество же и добивается этого.

— А моральный долг?

— Какой долг? — вспыхнул он. — В отношении тех, кто называет меня эксплуататором, или же тех, кто меня обкрадывает? Исполняя свой долг, человек обычно что-то получает взамен, — иначе это не долг, а жертва, которой никто не вправе от кого-либо требовать. А я, что я получаю взамен? Ненависть и клевету со стороны одних, пренебрежение со стороны других. Скажи сам: есть ли такой порок, которого бы мне ни приписывали, а за что?.. За то, что я нажил состояние и кормлю сотни людей.

— Клеветники есть всюду.

— Но не в таком количестве, как у нас. За границей честный выскочка вроде меня приобрел бы врагов, но зато снискал бы должное уважение, которое вознаграждает за обиды. А здесь... — И он махнул рукой.

Я залпом проглотил еще полстакана арака с чаем — для храбрости. Между тем Стах, услышав в коридоре шаги, подошел к дверям. Я догадался, что он все еще ждет приглашения князя.

В голове у меня уже шумело, и я решился спросить:

— А разве те, ради кого ты продаешь магазин, больше будут тебя ценить?

— А если будут ценить?.. — спросил он в раздумье.

— И будут любить тебя больше, чем те, кого ты покидаешь?

Он порывисто подошел ко мне и испытующе поглядел мне в глаза.

— А если будут любить?

— Ты уверен в этом?

Он бросился в кресло.

— Кто знает? — прошептал он. — Кто знает!.. И на что можно положиться в этом мире?

— Неужели тебе ни разу не приходило в голову, — продолжал я все смелее,

— что тебя, может быть, не только используют и обманывают, но вдобавок высмеивают и пренебрегают тобой?.. Скажи, ты никогда об этом не думал?.. Все на свете возможно, а в таком случае надо принять меры, чтобы уберечься если не от обмана, то хотя бы от смешного положения. К черту! — закончил я, стукнув стаканом по столу. — Можно жертвовать собою, когда есть ради чего, но нельзя позволять помыкать...

— Кто мной помыкает?.. — крикнул он, вскакивая.

— Все те, кто не уважает тебя так, как ты этого заслуживаешь.

Я испугался собственной смелости, но Вокульский смолчал. Он лег на кушетку, сцепил руки под голову, что у него было признаком необычайного волнения. Потом совершенно спокойным голосом заговорил о делах в магазине.

Около девяти дверь отворилась, и вошел лакей Вокульского.

— Письмо от князя! — объявил он.

Стах прикусил губу и, не вставая, протянул руку.

— Дай сюда, — сказал он, — и ступай спать.

Слуга ушел. Стах медленно вскрыл конверт, прочитал письмо, и, разорвав его, бросил в печку.

— Что это? — спросил я.

— Приглашение на завтрашний бал, — сухо ответил он.

— Ты пойдешь?

— И не думаю.

Я остолбенел... И вдруг меня осенила гениальнейшая мысль.

— Знаешь что? — сказал я. — А не пойти ли нам завтра вечером к пани Ставской?

Он сел на кушетке и, улыбаясь, ответил:

— Что ж, это неплохо... Она очень милая женщина, да и давно уже я там не был. Кстати, надо бы как-нибудь при случае послать игрушек девочке.

Ледяная стена между нами рухнула. К нам вернулась давнишняя искренность, и мы до полуночи проболтали, вспоминая прошлое. На прощанье Стах сказал мне:

— Случается, что человек глупеет, но потом опять берется за ум... Награди тебя бог, старина.

Золотой мой, любимый Стах!

В лепешку расшибусь, а женю его на пани Ставской!

В день бала ни Стах, ни Шлангбаум не явились в магазин. Я догадался, что они, наверное, договариваются о продаже нашего магазина.

В иных обстоятельствах такое событие отравило бы мне весь день. Но сегодня я и не подумал о том, что наша фирма исчезнет и ее заменит еврейская вывеска. Да что мне магазин! Лишь бы Стах был счастлив или по крайней мере перестал мучиться. Я должен его женить, хоть бы весь мир перевернулся!

Утром я послал пани Ставской записочку, извещая ее, что мы с Вокульским зайдем к ним сегодня выпить чаю. С запиской я позволил себе послать коробку игрушек для Элюни. В коробке был лес со зверями, комплект мебели для куклы, маленький сервизик и медный самоварчик. Всего товару, вместе с упаковкою, на 13 рублей 60 копеек.

Нужно будет что-нибудь придумать и для пани Мисевичовой. Таким манером расположение бабушки и внучки послужит мне чем-то вроде щипчиков, которыми я с обеих сторон защемлю сердечко прелестной мамы, так что ей придется капитулировать еще до дня святого Яна.

(Ах, черт! А муж за границей? Ну, да что муж... Пусть бы своевременно принимал меры... Впрочем, тысяч за десять мы получим развод с отсутствующим и, наверное, давно усопшим супругом...)

После закрытия магазина отправляюсь к Стаху. Лакей отпирает мне дверь, а сам держит в руках накрахмаленную сорочку. Проходя через спальню, вижу на стуле фрак, жилетку... Ой, беда, неужели из нашего визита ничего не выйдет?

Стах читал в кабинете английскую книжку. (И на черта ему сдался этот английский язык! Ведь жениться можно, будучи даже глухонемым!) Поздоровался он со мною приветливо, но не без замешательства. «Надо брать быка за рога!»

— подумал я и, не выпуская из рук шляпы, говорю:

— Ну, как будто мешкать нечего. Идем, а то еще наши дамы лягут спать.

Вокульский отложил книжку и призадумался.

— Мерзкий вечер, — сказал он, — метель...

— Другим эта метель не мешает приехать на бал, так почему же она нам должна испортить вечерок! — ответил я, прикидываясь дурачком.

Стаха словно что-то кольнуло. Он вскочил с кресла и велел подавать шубу. Слуга, помогая ему одеться, сказал:

— Только вы скорей возвращайтесь, пора уже одеваться, да и парикмахер сейчас придет.

— Не надо, — бросил Стах.

— Еще чего! Небось не пойдете танцевать непричесанный...

— Я не поеду на бал.

Слуга с удивлением развел руками и расставил ноги.

— Что это вы, барин, сегодня выкидываете? — закричал он. — В уме вы, что ли, повредились?... Пан Ленцкий так просил...

Вокульский стремительно вышел из комнаты, хлопнув дверью перед носом развязного лакея.

«Ага! — подумал я. — Значит, князь спохватился, что Стах может не прийти, и прислал будущего тестя с извинениями. Прав Шуман, что они не хотят его выпускать из рук, ну, да мы, голубчики, у вас его вырвем!»

Четверть часа спустя мы уже были у пани Ставской. Чудо как нас приняли! Марианна посыпала пол в кухне песочком, пани Мисевичова нарядилась в шелковое платье табачного цвета, а у пани Ставской были в тот вечер такие прелестные глаза, румянец и губки, что, право, можно дух испустить от счастья, осыпая поцелуями эту дивную женщину.

Я не хочу ничего себе внушать, но, ей-богу, Стах весь вечер поглядывал на нее весьма внимательно. Он даже не заметил, что Элюне повязали новые ленты.

Ну и вечер был! Как пани Ставская благодарила нас за игрушки, как накладывала Вокульскому сахару в чай, как задела его несколько раз рукавом... Теперь-то уже Стах наверняка сюда зачистит, сначала со мною, а потом и без меня.

Во время ужина злой, а может быть, добрый дух направил взгляд пани Мисевичовой на газету.

— Смотри, Елена, — сказала она дочери, — сегодня у князя бал.

Вокульский нахмурился и, отведя взор от личика пани Ставской, уставился в тарелку. Решившись действовать храбростью, я заметил не без иронии:

— Воображаю, какое прекрасное должно быть общество у этого князя! Наряды, тонкое обхождение...

— Не так-то оно прекрасно, как кажется, — заметила старушка. — За наряды частенько не плачено, а насчет обхождения... Конечно, иное дело в гостиных с графами да князьями, а иное — дома, с бедными мастерицами.

(О, как вовремя выступила старушка со своей критикой!) «Слушай, слушай же, Стах!» — подумал я и опять спрашиваю:

— Значит, великосветские дамы не очень-то обходительны с мастерицами!

— Какое! — отвечала пани Мисевичова, махнув рукой. — Я знаю одну портниху, которую засыпают заказами, потому что она большая искусница и дешево берет. Частенько, вернувшись от иной дамы, она горячими слезами обливается. Сколько ведь намучается, дожидаясь с примерками этими, с переделками да со счетом... А каким тоном они разговаривают, как грубы и как торгуются... Эта портниха говорит (вот не сойти мне с этого места!), что легче иметь дело с четырьмя еврейками, чем с одной важной дамой. Хотя и еврейки нынче пошли не те: стоит какой-нибудь разбогатеть, как она изъясняется только по-французски, а торгуется и капризничает не хуже тех.

Хотел было я спросить, не шьет ли и панна Ленцкая у этой портнихи, да пожалел Стаха. И без того он переменялся в лице, бедняга!

После чая Элюня разложила на ковре свои новые игрушки, поминутно издавая радостные возгласы; мы с пани Мисевичовой расположились у окна (никак не отвадишь ее от этой привычки!), а Вокульский и пани Ставская уселись на диван: она с каким-то вязанием, а он с папирсой.

Старушка с таким жаром принялась мне рассказывать о том, каким великолепным уездным начальником был ее покойный супруг, что я почти не слышал, о чем беседовали пани Ставская с Вокульским. А разговор, кажется, был интересный, так как беседовали они вполголоса:

«Я видел вас в прошлом году в Кармелитском костеле, у гроба господня».

«А я вас лучше всего запомнила, когда вы летом приходили в тот дом, где мы жили. И мне показалось, сама не знаю почему...»

— А сколько возни бывало с паспортами!.. — продолжала свое пани Мисевичова. — Бог весть кто получал, кому их выдавали, на чью фамилию...

«Разумеется, всегда, когда только вам будет угодно», — говорила, зарумянившись, пани Ставская.

«...И я не покажусь вам назойливым?..»

— Прекрасная пара! — тихо сказал я пани Мисевичовой.

Она поглядела на них и со вздохом сказала:

— Что с того! Даже если б несчастного Людвика уже не было в живых...

— Господь милостив, не будем терять надежду...

— Что он жив?.. — спросила старушка, отнюдь не выказывая восторга.

— Нет, я не о том... Но...

— Мама, мне хочется спать, — заявила Элюня.

Вокульский встал, и мы простились.

«Кто знает, — подумал я, — не попался ли уже наш осетр на удочку?»

На улице все еще сыпал снег. Стах отвез меня домой и, не знаю зачем, дожидался в санях, пока я не войду в ворота.

Я вошел, однако в подъезде задержался. И только когда дворник запер ворота, я услышал, как на улице зазвенели бубенчики отъезжающих саней.

«Вот ты каков? — подумал я. — Посмотрим же, куда ты теперь отправишься...»

Поднявшись к себе, я надел старое пальто, цилиндр и, преобразившись таким образом, через полчаса снова зашагал по улице.

В квартире Стаха было темно: значит, он куда-то поехал, но куда же?

Я кликнул извозчика и несколько минут спустя остановился неподалеку от дома, в котором жил князь.

У подъезда уже стояло несколько карет, другие только подъезжали, но второй этаж был ярко освещен, играл оркестр, и в окнах время от времени мелькали тени танцующих.

«Там панна Ленцкая», — подумал я, и сердце мое почему-то сжалось.

Я оглянулся вокруг. Фу ты, как снег валит! Еле-еле можно различить трепещущие на ветру огоньки фонарей... Пора спать.

Я перешел на другую сторону, чтобы сесть в свободные санки, и... чуть не столкнулся с Вокульским. Он стоял под деревом, весь осыпанный снегом, и не отрываясь глядел на окна.

«Вон оно как?.. Так нет же, голубчик, сдохнешь, а женишься-таки на пани Ставской!»

Перед лицом подобной опасности я решил действовать энергично. На следующий же день я отправился к Шуману.

— Знаете, доктор, — говорю ему, — что случилось со Стахом?

— Что же, ногу сломал?

— Хуже. Правда, хотя князь приглашал его дважды, он на бал все-таки не поехал; однако около полуночи, в метель, стоял перед его домом и глядел на окна. Вы понимаете?

— Понимаю. Для этого не надо быть психиатром.

— Поэтому я твердо решил женить Стаха еще в этом году, и не позднее дня святого Яна.

— На панне Ленцкой? — встревожился доктор. — Не советую вам вмешиваться.

— Не на панне Ленцкой, а на пани Ставской.

Шуман схватился за голову.

— Сумасшедший дом! — пробормотал он. — В полном составе... У вас, Жецкий, несомненно, водянка мозга.

— Вы меня оскорбляете! — крикнул я, выходя из себя.

Он стал против меня, вцепился в лацканы моего сюртука и с яростью заговорил:

— Послушайте, почтеннейший... Я употребляю сравнение, которое вы должны понять. Допустим, у вас ящик, полный... ну, хотя бы кошельков; можно ли в тот же ящик положить — ну... хотя бы галстуки? Нельзя. Итак, если у Вокульского сердце полно панной Ленцкой, можно ли втиснуть туда пани Ставскую?

Я разжал его пальцы, вцепившиеся в мои лацканы, и ответил:

— А я выну кошельки и положу вместо них галстуки! Понятно вам, господин ученый?..

И тотчас ушел, потому что мне наконец надоели его грубости. Воображает тоже, будто умней его и на свете нет!

От доктора я поехал к пани Мисевичовой. Ставская была у себя в магазине, Элюню я спровадил в другую комнату, к игрушкам, а сам подсел к старушке и без долгих слов приступил к делу:

— Как вы полагаете, уважаемая пани, Вокульский — достойный человек?

— Ах, милый пан Жецкий, как вы можете об этом спрашивать? Когда мы жили в его доме, он снизил нам квартирную плату, Элену спас от такого позора, устроил на службу с жалованьем в семьдесят пять рублей в месяц, прислал Злюне столько игрушек...

— Простите, — перебил я. — Итак, если вы тоже считаете его благородным человеком, то позвольте сказать вам, под величайшим секретом, что он очень несчастлив...

— Во имя отца и сына... — перекрестилась старушка. — Это он-то несчастлив, он? Когда у него магазин, и торговое общество, и такое огромное состояние!.. Он несчастлив, хотя только недавно продал такой дом? Разве что у него есть долги, о которых я не знаю...

— Долгов у него нет ни копейки, — говорю я, — а после продажи магазина у него наберется добрых шестьсот тысяч, хотя два года назад у него было всего тысяч тридцать — разумеется, не считая самого предприятия... Но, сударыня, деньги — это не все. Если у человека, кроме кармана, есть еще сердце...

— Да ведь я слышала, что он женится, к тому же на красавице, панне Ленцкой?

— В том-то и горе: Вокульский не может, не имеет права жениться...

— Разве у него есть какой-нибудь изъян?.. Такой крепкий мужчина...

— Он не имеет права жениться на панне Ленцкой, она ему не пара. Ему надо бы такую жену, как...

— Как моя Елена... — подхватила пани Мисевичова.

— Вот-вот! — вскричал я. — И не такую, как она, а именно ее... Елена Ставская должна стать его женой!..

Старушка расплакалась.

— Знаете ли, милый пан Жецкий, — заговорила она, всхлипывая, — это моя заветная мечта... А что нашего дорогого Людвика нет в живых, я готова дать голову на отсечение... Сколько раз он мне снился, и всегда или голый, или совсем на себя не похожий...

— К тому же, — говорю я, — даже если он жив, мы добьемся развода.

— Конечно! За деньги всего можно добиться.

— Вот именно!.. Все дело в том, чтобы пани Ставская не противилась...

— Благородный пан Жецкий! — воскликнула старушка. — Да она, клянусь вам, уже влюблена в Вокульского... Заскучала, бедняжка, по ночам не спит и все вздыхает, просто на глазах сохнет; а вчера, когда вы тут с ним были, что с ней творилось! Я, мать, узнать ее не могла!

— Значит, решено! — прервал я. — Уж я постараюсь, чтобы Вокульский приходил сюда как можно чаще, а вы, сударыня... влияйте соответственно на пани Элену. Вырвем Стаха из рук панны Ленцкой, и... даст бог, ко дню святого Яна сыграем и свадьбу...

— Побойтесь бога, а Людвик?

— Умер, умер, — говорю я. — Голову дам на отсечение, что его нет в живых...

— Ну, в таком случае воля божия...

— Только... прошу вас, держите это в строжайшем секрете. Дело важности чрезвычайной.

— За кого вы меня принимаете, сударь? — обиделась старушка. — Здесь, здесь... — прибавила она, ударяя себя в грудь, — любая тайна укрыта, как в могиле. Тем более тайна моей дочери и этого благородного человека.

Мы оба были глубоко взволнованы.

— Однако, — сказал я, собираясь уходить, — мог ли кто-нибудь предположить, что такая ничтожная вещь, как кукла, может способствовать счастью двух людей?

— Кукла?

— Ну конечно! Если бы пани Ставская не купила у нас куклу, не было бы суда, Стах не принял бы так близко к сердцу судьбу пани Эллены, пани Елена не влюбилась бы в него, и они бы не поженились... Ведь разбирая по существу, если в Стахе проснулось более нежное чувство к пани Ставской, то именно начиная с суда...

— Проснулось, вы говорите?

— Еще бы! А разве вы сами не видели, как они вчера шептались на этом вот диване? Вокульский давно уже не был так оживлен и даже растроган, как вчера.

— Бог послал вас, дорогой пан Жецкий, — воскликнула старушка и на прощанье поцеловала меня в голову.

Теперь я доволен собою и, хочешь не хочешь, вынужден признать, что голова у меня меттерниховская. Попробуй другой додуматься влюбить Стаха в пани Ставскую и так все устроить, чтобы им не мешали.

Должен сказать, что сейчас я уже ничуть не сомневаюсь, что и пани Ставская и Вокульский попались в расставленную ловушку. Она за несколько недель похудела (но похорошела еще больше, плутовка!), а он буквально теряет голову. Если только вечером он не у Ленцких (там, кстати, он бывает не часто, потому что барышня по-прежнему разъезжает по балам), то непременно отправляется к пани Ставской и просиживает у нее чуть ли не до полуночи. А как он оживляется, с каким чувством рассказывает ей о Сибири, о Москве, о Париже!.. Я все знаю, хотя сам не хожу туда по вечерам, чтобы им не мешать; зато на другой день пани Мисевичова мне все рассказывает — разумеется, под строжайшим секретом.

Одно только мне не понравилось.

Узнав, что Вирский иногда заходит к нашим дамам и, конечно, вспугивает воркующую парочку, я собрался предостеречь его.

Только я оделся и вышел, как вдруг в сенях встречаю его самого. Разумеется, возвращаюсь, зажигаю свет. Потолковали мы с ним о политике... Потом я меняю предмет разговора и без церемоний начинаю:

— Я хотел вам сообщить весьма доверительно...

— Знаю уже, знаю! — говорит он и смеется.

— Что вы знаете?

— Да что Вокульский влюблен в пани Ставскую.

— Раны Христовы! — восклицаю я. — Кто же вам сказал?

— Ну, прежде всего не бойтесь, я секрет не выдам, — с важностью говорит он. — У нас в семье секрет — все равно как на дне колодца.

— Но кто же вам сказал?

— Мне, видите ли, сказала жена, которая узнала это от пани Колеровой...

— А та откуда?

— Пани Колеровой сказала пани Радзинская, а пани Радзинской, которая дала торжественнейшую клятву молчать, доверила эту тайну пани Денова, приятельница пани Мисевичовой.

— Как пани Мисевичова неосторожна!

— Полноте! — говорит Вирский. — Что ж ей, бедной, оставалось, если пани Денова на нее напустилась, что, мол, Вокульский просиживает у них до утра и дело, мол, нечисто... Разумеется, старушка растревожилась и сказала, что у них не шашни на уме, а законный брак и что, бог даст, ко дню святого Яна они и обвенчаются.

У меня даже голова разболелась, да что было делать? Ох, бабы, бабы!

— Что слышно в городе? — спрашиваю, чтобы прекратить щекотливый разговор.

— Потеха, — говорит он, — потеха с этой баронессой! Дайте-ка мне сигару, расскажу вам целых две длинных истории.

Я дал ему сигару, и он рассказал свои истории, которые окончательно убедили меня в том, что дурные люди рано или поздно бывают наказаны, а хорошие вознаграждены и что в самом черством сердце все же теплится искорка совести.

— Давно ли вы были у наших дам? — спрашивает, в свою очередь, Вирский.

— Дней пять... шесть тому назад, — отвечаю. — Вы понимаете, я не хочу мешать Вокульскому... да и вам советовал бы то же самое. Молодые скорее сговорятся между собою, чем с нами, стариками.

— Позвольте! — прерывает Вирский. — Пятидесятилетний мужчина — совсем не старик, а как раз в самом соку...

— Как яблоко, которое вот-вот упадет.

— Вы правы: пятидесятилетний мужчина весьма склонен к падению. И если б не жена и дети, пан Игнаций! пан Жецкий!.. черт меня побери, если я не способен еще соперничать с молодыми! Но, сударь мой, человек женатый — калека: женщины на него и смотреть не хотят. Хотя... пан Игнаций...

Тут глазки у него заблестели и лицо приняло такое выражение, что будь он человеком набожным, то завтра же пошел бы к исповеди.

Не раз уж я примечал, что у дворян нрав таков: к ученью или торговле смекалки нет, зато насчет выпивки, потасовки или скабрзностей — первые мастера, хоть бы из иного уже песок сыпался... Пакостники!

— Все это прекрасно, — говорю я, — но что вы собирались мне рассказать?

— Ага! Я сейчас как раз сам об этом подумал, — отвечает Вирский и дымит сигарой не хуже котла с асфальтом. — Так вот, помните вы студентов из нашего дома, которые жили над квартирою баронессы?

— Малесский, Паткевич и тот, третий? Как же не помнить таких озорников! Веселые парни!

— Весьма, весьма, — подтвердил Вирский. — Накажи меня бог, если при этих сорвиголовах можно было держать молодую кухарку дольше восьми месяцев. Поверьте, пан Жецкий! Они втроем могли бы заполнить все воспитательные дома... Видно, их там в университете тому только и обучают. В мои времена, бывало, если помещик, имея молодого сына, откупался за год тремя, ну четырьмя коровами... фью-фью!.. приходский ксендз уже был в обиде, что ему портят овечек. А эти, сударь мой!..

— Вы собирались рассказать о баронессе, — напомнил я, потому что не люблю, когда в седую голову лезет всякий вздор.

— Именно... Так вот... Самый отчаянный из них — Паткевич, тот, что прикидывается мертвецом. Только, бывало, стемнеет, как эта дохлятина вылезает на лестницу, и такой, скажу я вам, визг подымался, словно там бегало целое стадо крыс.

— Ведь вы хотели о баронессе...

— Именно... Так вот, уважаемый... Но и Малесский лицом в грязь не ударит!.. Так вот, как вам известно, баронесса добилась в суде решения, в силу которого студенты должны были съехать с квартиры восьмого числа. Дни идут, а они и в ус себе не дуют... Восьмое, девятое, десятое... Они ни с места, а у госпожи баронессы со злости печенка пухнет. Наконец она, посоветовавшись с Марушевичем и со своим, с позволения сказать, адвокатом, пятнадцатого февраля натравливает на них судебного пристава и полицию.

Лезут они, значит, пристав и полиция, на четвертый этаж — стук-стук! Дверь заперта, но изнутри спрашивают: «Кто там?» — «Именем закона, откройте!» — говорит пристав. «Закон законом, — отвечают изнутри, — да у нас нет ключа. Кто-то нас запер, наверное баронесса». — «Вы с властями шуток не шутите, — говорит пристав, — знаете ведь, что обязаны освободить помещение».

— «Конечно, — отвечают изнутри, — да только через замочную скважину не выйдешь. Разве что...»

Пристав, ясное дело, посылает дворника за слесарем и ждет с полицейскими на лестнице. Через полчаса является слесарь; простой замок отпирает отмычкой, но с английским никак не сладит. Крутит, вертит — ни с места... Бежит наш слесарь за инструментом и опять исчезает на добрых полчаса, а тем временем во дворе собирается толпа, гам, крик, и в третьем этаже госпожа баронесса закатывает отчаянную истерику.

Пристав все дожидается на лестнице, как вдруг подлетает к нему Марушевич. «Любезный! — кричит. — Поглядите-ка, что они вытворяют!..» Пристав выбегает во двор и видит следующую сцену.

Окно в четвертом этаже раскрыто настежь (в феврале-то месяце), а из окна летят во двор тюфяки, одеяла, книжки, черепа и все прочее. Немного погода спускается на веревке сундук, а за ним — кровать.

«Ну, что же вы молчите?» — кричит Марушевич. «Надо составить протокол,

— говорит пристав. — Хотя... они ведь съезжают с квартиры, так, может, не стоит им препятствовать?»

Вдруг — новый фортель. В раскрытом окне четвертого этажа появляется стул, на стуле Паткевич, два молодчика толкают его — и... Паткевич мой вместе со стулом едет на веревках вниз!.. Тут уж пристав схватился за сердце, а один из полицейских перекрестился.

«Свернет себе шею! — переговариваются бабы. — Иисусе, Мария! Спасите его душу!..» Слабонервный Марушевич убегает к пани Кшешовской, а тем временем стульчик с Паткевичем задерживается у третьего этажа, как раз перед окном баронессы.

«Прекратите же, господа, эти шутки!» — кричит пристав товарищам Паткевича.

«Легко сказать, а у нас веревка оборвалась...» — отвечают они.

«Спасайся, Паткевич!» — кричит сверху Малесский. Во дворе суматоха. Бабы (а из них не одна волновалась за здоровье Паткевича) поднимают вой, полицейские столбенеют, а пристав совсем теряет голову.

«Станьте на карниз! Стучите в окно!» — кричит он Паткевичу.

Моему Паткевичу незачем было это повторять дважды. Он так начал стучаться к баронессе в окно, что сам Марушевич не только форточку открыл, но даже собственноручно втащил парня в комнату.

Баронесса и та растревожилась и говорит Паткевичу:

«Господи боже мой! И зачем вы такие фокусы выкидываете?»

«Иначе я не имел бы удовольствия попрощаться с вами, уважаемая», — отвечает Паткевич и показывает ей такого покойничка, что женщина валится на пол и кричит:

«Некому за меня заступиться!.. Нет уже мужчин!.. Мужчину!.. Мужчину!..»

Она орала так, что было слышно во дворе, а пристав — тот так даже превратно истолковал ее вопли и сказал полицейским:

«Вот ведь какой недуг одолел бедную женщину! Да и что тут мудреного, если она уже два года живет врозь с мужем».

Паткевич, будучи медиком, пощупал пульс у баронессы, велел дать ей валериановых капель и преспокойно удалился. Между тем слесарь принялся отбивать английский замок. Когда он закончил работу, порядком искромсав дверь, Малесский вдруг вспомнил, что оба ключа — и от простого и от английского замка — лежат у него в кармане.

Не успела баронесса прийти в себя, как пресловутый адвокат принялся ее подзуживать, чтобы она подала в суд на Паткевича и Малесского. Но ей уже так осточертело судиться, что, обругав своего советчика, она только поклялась отныне не пускать в дом ни одного студента, хоть бы квартира век пустовала.

Потом, как мне рассказывали, она, громко плача, стала просить Марушевича, чтобы он уговорил барона извиниться перед нею и переехать домой.

«Я знаю, — рыдала она, — у него уже нет ни гроша, за квартиру он не платит и даже столуется в долг вместе со своим лакеем. Но я все забуду и заплачу все его долги, лишь бы он обратился на путь истинный и вернулся домой. Без мужчины мне не справиться с таким домом... еще год — и я умру тут одна...»

— Во всем этом я вижу кару Божию, — закончил Вирский, сдувая пепел с сигары. — А орудием сей кары будет барон...

— Ну, а вторая история? — спросил я.

— Вторая короче, но зато любопытнее. Представьте себе, баронесса, сама баронесса Кшешовская, вчера нанесла визит пани Ставской...

— Ох, черт! плохо дело... — испугался я.

— Совсем нет, — возразил Вирский. — Баронесса пришла к пани Ставской, закатила истерику и со слезами, чуть не на коленях, стала молить обеих дам, чтобы они простили ей этот процесс из-за куклы, иначе, мол, она не найдет себе покоя до конца своих дней...

— И они ее простили?

— Не только простили, но и расцеловались с ней и даже обещали испросить для нее прощения у Вокульского, о котором баронесса отзывалась с величайшей похвалой...

— Черт побери! — вскричал я. — Зачем же они с нею говорили о Вокульском? Ох, быть беде!

— Помилуйте, что вы! — успокаивал меня Вирский. — Женщина раскаялась, жалеет о своих грехах и, несомненно, исправится.

Он отправился домой, потому что было уже за полночь. Я его не задерживал, раздосадованный тем, что он поверил в искренность баронессы. Ну, да, впрочем, кто ее знает, может, она и в самом деле вступила на стезю добродетели!

Post scriptum. Я так был уверен, что Мак-Магону удастся совершить переворот в пользу юного Наполеона, и вдруг узнаю, что Мак-Магона лишили власти, президентом республики провозглашен гражданин Гриви, а юный Наполеон поехал воевать куда-то в Наталь, в Африку.

Делать нечего, пусть мальчик учится воевать. Не пройдет и полугодя, как он вернется, увенчанный славой, и тогда французы сами призовут его к себе, а мы тем временем поженим Стаха с пани Эленой.

Надо сказать, что уж если я берусь за что-нибудь, то по-меттерниховски, и кто-кто, а я понимаю естественный ход событий.

Итак, да здравствует Франция с Бонапартами и Вокульский с пани Эленой!..»

Глава десятая. Дамы и женщины

В этом году, и на масленицу и теперь, во время поста, фортуна снова, уже в третий или четвертый раз, улыбнулась пану Ленцкому.

Его дом был полон гостей, а в прихожей снежными хлопьями сыпались визитные карточки. И снова пан Томаш был счастлив; он мог принимать у себя, и больше того — принимать с разбором.

— Наверное, я скоро умру, — не раз говорил он дочери. — Однако я испытываю глубокое удовлетворение оттого, что меня оценили хоть перед смертью.

Панна Изабелла слушала его с улыбкой. Она не хотела рассеивать его иллюзии, но была уверена, что рой визитеров является на поклон не к ее отцу. Ведь такой изящный кавалер, как пан Нивинский, охотнее всего танцевал с ней, а не с отцом; пан Мальборг, образец хорошего тона и законодатель мод, беседовал с ней, а не с отцом; а пан Шастальский, приятель обоих вышеупомянутых молодых людей, чувствовал себя безнадежно несчастным опять-таки из-за нее, а не из-за отца. Пан Шастальский недвусмысленно объявил ей об этом; и хоть сам он не был ни столь изящным танцором, как пан Нивинский, ни законодателем мод, как пан Мальборг, все же был приятелем и пана Нивинского и пана Мальборга. Он жил неподалеку от них, с ними вместе обедал, с ними вместе заказывал себе английские и французские костюмы, и пожилые дамы, не находя в нем иных достоинств, называли его поэтической натурой.

Однако ничтожный случай, одна фраза заставила панну Изабеллу искать разгадку своих побед в другом направлении.

Однажды на балу она сказала панне Пантаркевич:

— Право, никогда еще я не веселилась в Варшаве так, как в этом году.

— Да, ты восхитительна, — кратко ответила панна Пантаркевич и развернула веер, словно желая скрыть невольный зевок.

— Девушки в «известном возрасте» умеют казаться интересными, — громко заметила пани Упадальская, урожденная де Гинс, обращаясь к пани Вывротницкой, урожденной Фертальяской.

Раскрытый веер панны Пантаркевич и словечко пани Упадальской, урожденной де Гинс, поразили панну Изабеллу. Она была достаточно умна, чтоб разобраться в обстановке, к тому же столь выразительно прокомментированной.

«При чем тут возраст? — думала она. — Двадцать пять лет — это еще не „известный возраст“... Что они болтают?»

Она оглянулась и увидела устремленные на нее глаза Вокульского. Колеблясь, чему приписать свои победы: «известному возрасту» или Вокульскому, она... предпочла Вокульского.

Кто знает, уж не он ли явился невольным вдохновителем преклонения, которое ее окружало?..

Она принялась размышлять.

Прежде всего отец Нивинского вложил капитал в основанное Вокульским торговое общество, приносившее (что было известно даже панне Изабелле) огромные прибыли. Затем Мальборг, окончивший какое-то техническое училище (о чем он скромно умалчивал), хлопотал о службе на железной дороге и действительно получил ее

благодаря протекции Вокульского (что он тщательнейшим образом скрывал). Служба эта имела то огромное достоинство, что не требовала работы, и тот страшный недостаток, что не приносила трех тысяч рублей в год. За это пан Мальборг был даже в обиде на Вокульского, но, учитывая связи влиятельного купца, ограничивался лишь тем, что произносил его имя с иронической усмешкой.

У Шастальского не было ни капитала в торговом обществе, ни службы на железной дороге. Но, поскольку оба его приятеля, и Нивинский и Мальборг, были в претензии к Вокульскому, то и Шастальский был на него в претензии и, вздыхая возле панны Изабеллы, говорил:

— Бывают же счастливицы, которые... Кто эти «которые», панне Изабелле так и не привелось узнать. Но всякий раз при слове «которые» ей приходил на ум Вокульский. Тогда она сжимала кулачки и твердила про себя: «Деспот... Тиран...» — хотя Вокульский не проявлял ни малейшей склонности к тирании и деспотизму. Он лишь присматривался к ней и думал:

«Ты ли это, или... не ты...»

Порой, когда молодые и старые франты увивались вокруг панны Изабеллы и глаза ее сверкали, как алмазы или как звезды, светлые небеса его восторгов омрачало облачко и бросало на душу тень какого-то смутного сомнения. Но Вокульский закрывал глаза, он не хотел видеть этой тени. Панна Изабелла была его жизнью, счастьем, его солнцем, которого не могли затмить какие-то мимолетные тучки, вдобавок, наверное, вымышленные.

Случалось, вспоминался ему Гейст, мудрец и отшельник, вынашивавший великие замыслы; он указывал Вокульскому иную цель, нежели любовь панны Изабеллы. Но стоило Вокульскому встретиться взглядом с панной Изабеллой, как мысли эти рассеивались, словно сон.

«Какое мне дело до человечества! — говорил он себе, пожимая плечами. — За все человечество, за будущность всего мира, за мое собственное бессмертие... я не отдал бы одного ее поцелуя...»

И при мысли об этом поцелуе с ним творилось что-то странное. Воля его слабела, он почти лишался сознания и вновь приходил в себя, лишь увидев панну Изабеллу в обществе светских франтов. Только слыша ее беззаботный смех и непринужденную речь и видя, как она бросает пламенные взгляды на господ Нивинского, Мальборга или Шастальского, он вдруг, на одно мгновение, чувствовал, что с глаз его спадает пелена, открывая ему иной мир и иную панну Изабеллу. Тогда, неведомо откуда, вспыхивал перед ним образ его молодости, исполненной титанического борения. Он видел нужду, из которой выбился благодаря тяжелому труду, слышал свист снарядов, пролетавших некогда над его головой, потом видел лабораторию Гейста, где зарождались явления неизмеримой важности, — и, глядя на господ Нивинского, Мальборга и Шастальского, думал: «Что я тут делаю? Как могло случиться, что я молюсь у одного с ними алтаря?..»

Он готов был расхохотаться, но безумие вновь овладевало им, и снова ему начинало казаться, что панна Изабелла достойна того, чтобы к ее ногам положить жизнь.

Как бы то ни было, под влиянием неосмотрительного выражения пани Упадальской, урожденной де Гинс, в панне Изабелле совершалась перемена в пользу Вокульского. Она стала внимательней прислушиваться к высказываниям знакомых, навещавших ее отца, и заметила, что у каждого из них есть либо капиталец, который он хотел бы вложить в предприятие Вокульского, «хотя бы из пятнадцати процентов», либо родственник, которого он хотел куда-нибудь пристроить, либо какое-нибудь иное дело к Вокульскому. Что касается дам, то они либо тоже хотели оказать кому-то протекцию, либо имели дочерей на выданье, причем и не думали скрывать, что не прочь отбить Вокульского у панны Изабеллы и даже, если возраст допускал, готовы самолично его осчастливить.

— Ах, быть женой такого человека! — говорила пани Вывротницкая, урожденная Фергальская.

— Даже не обязательно женой! — с усмешкой возразила баронесса фон Плес, у которой муж уже пять лет был разбит параличом.

«Тиран... Деспот...» — повторяла панна Изабелла, замечая, что на этого купца, которым она пренебрегала, обращены взоры стольких людей — с надеждой или завистью.

Несмотря на еще тлевшие в ее душе остатки презрения и отвращения к Вокульскому, она вынуждена была признать, что этот угрюмый и резкий человек имеет и больший вес в обществе, и более осанистый вид, чем предводитель, барон Дальский и даже господа Нивинский, Мальборг и Шастальский.

Однако более всего повлиял на ее решение князь.

С тех пор как в декабре прошлого года Вокульский, несмотря на просьбу князя, отказался уступить Кшешовской десять тысяч рублей, а затем ни в январе, ни в феврале текущего года не пожертвовал ни гроша на опекаемых князем бедных, князь несколько охладел к Вокульскому. Он был разочарован. Он полагал и считал себя вправе полагать, что человек, подобный Вокульскому, заслужив его княжеское расположение, должен отречься не только от своих вкусов и целей, но даже от состояния и собственного «я». Такой человек обязан любить то, что любит князь, ненавидеть то, что он ненавидит, служить только его интересам и угождать только его прихотям. Между тем этот выскочка (хотя, бесспорно, истинный дворянин) не только не собирался быть княжеским слугою, но даже имел дерзость быть самостоятельным человеком; не раз он спорил с князем и, хуже того, напрямик отказывался исполнять его требования.

«Резкий человек... корыстный... эгоист...» — думал князь, все более удивляясь дерзости этого выскочки.

Случилось так, что Ленцкий, которому уже трудно было скрыть, что Вокульский ухаживает за его дочерью, обратился к князю за советом и спросил его мнение о Вокульском.

А князь, при всех своих слабостях, был человеком честным, в своих суждениях о людях исходил не из собственных пристрастий, а считался с общественным мнением. Поэтому он попросил Ленцкого подождать недели две-три, пока он «составит себе

представление»; а так как у него были разнообразные знакомства и нечто вроде собственной тайной полиции, ему удалось узнать много интересного.

Прежде всего он заметил, что дворяне хотя и язвят по адресу Вокульского, называя его выскочкой и демократом, однако гордятся им: чувствуется, мол, наша кровь, хоть и прибился к купцам! А когда нужно было кого-нибудь противопоставить еврейским банкирам, всякий раз даже самые закоснелые дворяне выдвигали Вокульского.

Купцы же и особенно фабриканты ненавидели Вокульского; однако все их обвинения сводились к тому, что «он дворянин... важный барин... политик!» — чего князь опять-таки никоим образом не мог ему поставить в вину. Но наиболее интересные сведения он получил от монашек. Был в Варшаве некий возчик и брат его, железнодорожник, работавший на линии Варшава — Вена; оба они благословляли Вокульского; были какие-то студенты, которые повсюду рассказывали, что Вокульский дает им стипендию; были ремесленники, обязанные ему устройством мастерских; были мелочные торговцы, которым Вокульский помог открыть лавочки. Наконец, удалось обнаружить даже (о чем монашки говорили с благочестивым ужасом и краской стыда) некую падшую женщину, которую Вокульский извлек из нищеты и поместил в монастырь св.Магдалины, где она стала честной женщиной, насколько, оговаривались монашки, такая особа вообще может быть честной.

Сообщения эти не только удивили, но просто встревожили князя. Вокульский сразу вырос в его глазах. Он оказался человеком с собственной программой... более того — человеком, ведущим самостоятельную политику и пользующимся большим влиянием среди простонародья...

Поэтому, придя в назначенный срок к Ленцкому, князь не преминул увидеться также с панной Изабеллой. Он многозначительно обнял ее и произнес следующие загадочные слова:

— Дорогая моя! У тебя в руках редкая птица... Смотри же держи ее крепко и береги, чтобы она росла на благо нашей несчастной отчизне...

Панна Изабелла вспыхнула, угадав, что сия редкая птица — Вокульский.

«Тиран... Деспот...» — подумала она.

И все же в отношениях ее с Вокульским лед был сломлен. Она уже решила выйти за него...

Однажды, когда Ленцкому слегка нездоровилось, а панна Изабелла читала у себя в кабинете, ей доложили о приезде Вонсовской. Панна Изабелла поспешила в гостиную, где, кроме пани Вонсовской, застала кузена Охоцкого, весьма мрачно настроенного.

Приятельницы расцеловались с подчеркнутой нежностью, но Охоцкий, который умел видеть не глядя, заметил, что одна из них, а может, и обе обижены, впрочем не слишком.

«Неужели из-за меня? — подумал он. — Надо мне держаться осмотрительнее».

— А, и вы здесь, кузен! — сказала панна Изабелла, протягивая ему руку.

— Почему же в таком унынии?

— А должен бы радоваться, — вмешалась Вонсовская, — потому что всю дорогу из банка любезничал со мной и, заметь, с успехом. На углу Аллеи я позволила ему отстегнуть две пуговицы на моей перчатке и поцеловать мне руку. Ох, Белла, если б ты знала, как он неумело это сделал...

— Неужели? — воскликнул Охоцкий, покраснев до ушей. — Хорошо же! С сегодняшнего дня не стану больше целовать вам руку... Клянусь!

— Еще сегодня, до вечера, вы поцелуете мне обе руки, — решительно заявила Вонсовская.

— Могу ли я засвидетельствовать свое почтение пану Ленцкому? — церемонно произнес Охоцкий и, не дожидаясь ответа, вышел из гостиной.

— Ты сконфузила его, — сказала панна Изабелла.

— Пусть не любезничает, если не умеет. В таких случаях неуклюжесть — тот же самый грех. Разве нет?

— Когда же ты приехала?

— Вчера утром. Но мне пришлось дважды побывать в банке, заехать в магазины, навести дома порядок. Сейчас при мне Охоцкий... пока не найдется кто-нибудь поинтереснее. Не уступишь ли ты мне из своей свиты... — выразительно прибавила она.

— Откуда у тебя такие сведения! — сказала панна Изабелла, краснея.

— Они дошли до меня даже в захолустье. Старский рассказывал, и не без ревности, что в этом году, как, впрочем, и всегда, ты была царицей балов. Говорят, Шастальский совсем голову потерял.

— Как и оба его столь же скучных приятеля, — с улыбкой отвечала панна Изабелла. — Каждый вечер все трое в меня влюблялись и по очереди признавались мне в своих чувствах с таким расчетом, чтобы не мешать друг другу, а потом все трое делились друг с другом своими сердечными тайнами. Эти господа все делают сообща.

— А ты как на это смотришь?

Панна Изабелла пожала плечами.

— Что же тут спрашивать!

— Я слышала также, — продолжала Вонсовская, — что Вокульский объяснился...

Панна Изабелла принялась теребить бант на своем платье.

— Так уж сразу и объяснился... Он объясняется всякий раз, когда меня видит: и глядя на меня и не глядя, и говоря и не говоря... как все они...

— А ты?

— Пока что провожу свою программу.

— Можно узнать какую?

— Разумеется; я даже предпочитаю не делать из этого тайну. Прежде всего еще у председательши... Кстати, как она себя чувствует?

— Очень плохо. Старский уже почти не выходит из ее комнаты, и нотариус ездит ежедневно, только, кажется, напрасно... Итак, что же с программой?

— Еще в Заславеке, — продолжала панна Изабелла, — я намекнула о продаже магазина (тут она сильно покраснела), и он будет продан самое позднее в июне.

— Отлично. Что ж дальше?

— Затем я не знаю, как быть с этим торговым обществом. Он, разумеется, готов немедленно с ним покончить, но я еще сама колеблюсь. Участвуя в нем, можно иметь около девяноста тысяч рублей в год, без него — всего тридцать тысяч; тут, сама понимаешь, есть о чем призадуматься.

— Я вижу, ты начинаешь разбираться в цифрах.

Панна Изабелла брезгливо махнула рукой.

— Ах, видно, я никогда не научусь в них разбираться. Но и он мне об этом толкует понемножку... и отец, да и тетка.

— И ты так прямо и говоришь с ним?

— О нет... Но если спрашивать о некоторых вещах не подобает, приучаешься вести беседу так, чтобы нам и без вопросов все выкладывали. Неужели ты не понимаешь?

— Ясно. Ну, а дальше? — с оттенком нетерпения в голосе допытывалась Вонсовская.

— Последнее условие — чисто морального свойства. Как я узнала, у него нет никакой родни, что является его величайшим достоинством, а я оговорила, что сохраню все мои прежние знакомства...

— И он безропотно согласился?

Панна Изабелла немного высокомерно посмотрела на приятельницу.

— Ты в этом сомневалась?

— Ни минуты. Значит, Старский, Шастальский...

— Да, да, Старский, Шастальский, князь Мальборг... словом — все, кого мне вздумается выбрать сейчас и в будущем. Как же иначе?

— Совершенно правильно. А ты не боишься сцен ревности?

Панна Изабелла расхохоталась.

— Я — и сцены!.. Ревность — и Вокульский!.. Ха-ха-ха!.. Нет в мире человека, который бы осмелился устроить мне сцену, а тем более он. Ты понятия не имеешь о его беззаветном обожании. Его доверие, доходящее до полного отречения от собственной личности, — право, это как-то даже обезоруживает меня... кто знает, не привяжет ли меня к нему хотя бы одно это...

Вонсовская чуть заметно прикусила губу.

— Вы будете очень счастливы, во всяком случае... ты, — сказала она, подавляя вздох. — Хотя...

— Ты видишь какое-то «хотя»? — спросила панна Изабелла с неподдельным изумлением.

— Я тебе кое-что скажу, — начала Вонсовская необычным для нее сдержанным тоном. — Председательша очень любит Вокульского, по-видимому очень хорошо его знает, хотя и непонятно откуда, и часто со мной беседовала о нем. И знаешь, что она однажды сказала?

— Любопытно, — отозвалась панна Изабелла, все больше удивляясь.

— «Боюсь, — сказала она, — что Белла совсем не понимает Вокульского, кажется мне, она с ним играет, а с ним играть нельзя. И еще мне кажется, что она оценит его слишком поздно».

— Это сказала председательша? — холодно спросила панна Изабелла.

— Да. Скажу уж тебе все. Речь свою она закончила словами, которые поразили меня и взволновали: «Ты, Казя, припомнишь мои слова позже, когда они сбудутся, ведь умирающие прозорливы...»

— Неужели председательше так худо?

— Во всяком случае, нехорошо, — сухо закончила Вонсовская, чувствуя, что разговор больше не клеится.

Последовала пауза, которую, к счастью, прервало появление Охоцкого. Вонсовская весьма сердечно попрощалась с приятельницей и, бросив игривый взгляд на своего спутника, заявила:

— Ну, а теперь едем ко мне обедать.

Охоцкий соорил независимую мину, которая должна была означать, что он не поедет с Вонсовской. Тем не менее, насупясь еще сильнее, он взял шляпу и вышел вслед за нею.

Сев в экипаж, Охоцкий отвернулся от своей соседки и, глядя на улицу, заговорил:

— Скорей бы уж Белла решила насчет Вокульского в ту или другую сторону.

— Вы бы, конечно, предпочли именно в «ту», чтобы остаться одним из друзей дома. Но ничего не выйдет, — сказала Вонсовская.

— Прошу прощения, сударыня, — обиделся Охоцкий. — Это не по моей части... Предоставляю сие Старскому и ему подобным...

— Так зачем же вам нужно, чтобы Белла скорее решила?

— Очень нужно! Голову дам на отсечение, что Вокульскому известна какая-то важная научная тайна, но я уверен — он мне ее не откроет, пока сам будет в такой лихорадке... Ох, эти женщины с их гнусным кокетством...

— Ваше менее гнусно?

— Нам можно.

— Вам можно... тоже хорош! — вскипела вдовушка. — И это говорит человек передовой в век эмансипации!

— К чертям эмансипацию! — рассердился Охоцкий. — Хороша эмансипация! Вам бы все привилегии, и мужские и женские, а обязанностей никаких... Распахивай перед ними двери, уступай им место, за которое ты же заплатил, влюбляйся в них, а они...

— Зато в нас ваше счастье, — насмешливо заметила Вонсовская.

— Какое там счастье!.. На сто мужчин приходится сто пять женщин, уж чего тут дорожиться?

— Наверное, ваши поклонницы, горничные, не дорожатся?

— Разумеется! Но всего несноснее великосветские дамы и служанки в ресторанах. Сколько жеманства, капризов...

— Вы забываетесь! — надменно произнесла Вонсовская.

— Ну, так позвольте поцеловать ручку, — ответил Охоцкий и тут же исполнил свое намерение.

— Не смейте целовать эту руку...

— Тогда другую...

— Ну что, разве я не сказала, что еще до вечера вы поцелуете мне обе руки?

— Ах, ей-богу... Не хочу я у вас обедать... Я здесь выйду.

— Остановить экипаж?

— Зачем?

— Вы же хотели выйти...

— А вот и не выйду... Несчастный я человек, надо же родиться с таким дурацким характером...

Вокульский приходил к Ленцким раза два в неделю и чаще всего заставал только пана Томаша. Тот приветствовал его с отеческой нежностью, а затем часа два рассказывал о своих болезнях или о своих делах, деликатно давая понять, что уже считает его членом семьи.

Обычно панны Изабеллы не оказывалось дома: она была то у тетки-графини, то у знакомых или в магазинах. Когда же Вокульскому выпадало редкое счастье и он заставал панну Изабеллу, они перекидывались несколькими словами, да и то на посторонние темы, потому что она всегда либо собиралась куда-нибудь с визитом, либо принимала у себя.

Дня через два после посещения пани Вонсовской Вокульскому посчастливилось: панна Изабелла была дома. Она протянула ему руку, которую он, как всегда, поцеловал с благоговейным обожанием, и сказала:

— Вы слышали? Председательше совсем худо...

Вокульский встревожился.

— Бедная, славная старушка... Будь я уверен, что мое появление ее не взволнует, я бы поехал туда... А уход за ней хороший?

— О да! Подле нее Дальские, — тут она улыбнулась, — ведь Эвелина уже вышла за барона; затем Феля Яноцкая и... Старский.

Лицо ее слегка зарумянилось, и она смолкла.

«Вот плоды моей бестактности, — подумал Вокульский. — Она заметила, что Старский мне неприятен, и смущается при каждом упоминании о нем. Как это подло с моей стороны!»

Он хотел сказать о Старском что-нибудь лестное, но слова застряли у него в горле. Чтобы прервать неловкое молчание, он спросил:

— Куда вы в этом году собираетесь на лето?

— Еще не знаю. Тетя Гортензия прихварывает; может быть, мы поедем к ней в Краков. Однако, должна признаться, я бы с большей охотой посетила Швейцарию, если б это зависело от меня.

— А от кого же?

— От отца... Впрочем, я еще не знаю, как все сложится... — ответила она, краснея, и окинула Вокульского особенным, только ей свойственным взглядом.

— Допустим, все сложится по вашей воле, — сказал он, — примете ли вы меня в спутники?

— Если вы заслужите...

Она произнесла это таким тоном, что Вокульский потерял самообладание, бог знает уж который раз в этом году.

— Могу ли я чем-нибудь заслужить ваше расположение? — спросил он, беря ее руку. — Разве из жалости... Нет, только не жалость. Это чувство одинаково тягостно и дарителю и одаряемому. Я жалости не хочу. Но подумайте, что стану я делать, так долго не видя вас? Правда, и теперь мы видимся очень редко; вы даже не знаете, как мучительно тянется время, когда ждешь... Но пока вы в Варшаве, я говорю себе: «Я увижу ее — послезавтра, завтра...» Наконец, я могу увидеть в любую минуту если не вас, то по крайней мере вашего отца, Миколая или хоть этот дом... Ах, вы могли бы совершить милосердный поступок и одним словом рассеять... не знаю, страдания мои или пустые мечты... Самая страшная правда лучше неизвестности, — вы, наверно, знакомы с этим определением...

— А если эта правда не так страшна?.. — спросила панна Изабелла, не глядя ему в глаза.

В передней раздался звонок, и минуту спустя Миколай подал визитные карточки пана Рыдзевского и пана Печарковского.

— Приси, — сказала панна Изабелла.

В гостиную вошли два элегантных молодых человека, из коих один обладал тонкой шеей и довольно явственной лысиной, а другой — томным взглядом и деликатнейшим голосом. Они вошли вместе и встали рядом, держа шляпы на одном уровне, разом поклонились, разом уселись, разом положили ногу на ногу, после чего пан Рыдзевский сосредоточился на попытках удержать свою шею в вертикальном положении, а пан Печарковский завел разговор.

Не переводя дыхания, он говорил о том, что в настоящее время по случаю великого поста весь христианский мир устраивает рауты, что перед великим постом была масленица, которая прошла исключительно весело, а после великого поста наступит самая тяжелая пора, когда не знаешь, что делать. Затем он сообщил панне Изабелле, что в продолжение великого поста, кроме раутов, можно посещать лекции, где очень мило проводишь время, если рядом сидят знакомые дамы, и что в этот великий пост особой утонченностью отличаются приемы у Жежуховских.

— Как восхитительно, как оригинально, право! — рассказывал он. — Ужин, разумеется, обычный: устрицы, омары, рыба, дичь; но на десерт, для знатоков, поверите ли?.. Каша!.. Настоящая каша!.. Как ее?..

— Греческая, — в первый и в последний раз изрек пан Рыдзевский.

— Не греческая, а гречневая. Просто чудо, феерия!.. Каждая крупинка выглядит так, словно ее готовили отдельно... Мы буквально объедаемся этой кашей, я, князь Келбик, граф Следзинский[46]... Попросту уму непостижимо!.. Подают ее на серебряных блюдах...

Панна Изабелла смотрела на рассказчика с таким восхищением, так живо отвечала на каждую его фразу движением, улыбкой или взглядом, что у Вокульского потемнело в глазах. Он встал и, простившись, вышел вон.

«Не понимаю я эту женщину! — думал он. — Когда она настоящая и с кем она настоящая?»

Но, пройдя немного по морозу, он поостыл.

«В конце концов, — думал он, — что ж тут особенного? Она вынуждена жить с людьми своего круга; а живя с ними, приходится слушать их дурацкие речи. Ее ли вина, что она прекрасна как богиня и что ее все боготворят?.. Но все же... выбирать себе подобных знакомых... Ах, подлый я человек, всегда, всегда приходят мне в голову низкие мысли!..»

Всякий раз после посещения панны Изабеллы, когда его, подобно назойливым мухам, одолевали сомнения, он спасался работой. Проверял счета, заучивал английские слова, читал новые книги. А когда и это не помогало, шел к пани Ставской, просиживал у нее вечер и — странное дело! — в ее обществе обретал если не полный покой, то по крайней мере целительный отдых.

Они разговаривали о самых обыденных вещах. Чаще всего она рассказывала о магазине Миллеровой, о том, что дела там идут лучше, так как публика узнала, что предприятие в большей части принадлежит Вокульскому. Потом сообщала, что Элюня становится послушнее, а если иногда и расшалится, то стоит бабушке пригрозить, что

она пожалуется пану Вокульскому, как девочка сразу унимается. Потом упоминала о Жецком, говорила, что бабушка и она сама очень любят, когда он приходит, потому что он рассказывает множество подробностей из жизни пана Вокульского. И пана Вирского бабушка тоже очень любит, оттого что он всегда восторгается паном Вокульским, Вокульский смотрел на нее с удивлением. В первое время ему казалось, что это лесть, и ему становилось не по себе. Но Ставская говорила с таким простодушием, что постепенно он стал видеть в ней лучшего друга, который хотя и переоценивает его, но делает это с неподдельной искренностью.

Он также заметил, что Ставская никогда не занималась своей особой. После работы она возилась с Элюней, ухаживала за матерью, помогала, чем могла, прислуге и множеству посторонних людей, большею частью беднякам, которые ничем не могли ее отблагодарить. Если же, случалось, не было и этих забот, она открывала клетку канарейки и меняла ей воду или подсыпала зерна.

«Ангельская душа!» — думал Вокульский и однажды вечером сказал ей:

— Знаете, о чем я думаю, когда смотрю на вас?

Она робко подняла на него глаза.

— Я иногда думаю, что если бы вы прикоснулись к тяжелораненому, он перестал бы ощущать боль и раны его закрылись бы.

— Вам кажется, что я похожа на колдунью? — спросила она, сильно смутившись.

— Нет. Мне кажется, что вы похожи на святую.

— Пан Вокульский прав, — подтвердила Мисевичова.

Ставская рассмеялась.

— Это я-то святая!.. — наконец сказала она. — Если б кто-нибудь мог заглянуть в мое сердце, то увидел бы, как часто заслуживаю я порицания... Ах, да теперь мне все равно... — закончила она с отчаянием в голосе.

Мисевичова украдкой перекрестилась. Вокульский не обратил на это внимания.

Он думал о другой.

Ставская не умела определить свое чувство к Вокульскому. Несколько лет она его знала в лицо, даже находила привлекательным, но была к нему совершенно равнодушна. Потом Вокульский исчез из Варшавы; разнеслась весть, что он уехал в Болгарию и нажил огромное состояние. О нем много говорили, и Ставская начала им интересоваться. Как-то один из знакомых назвал Вокульского «чертовски энергичным человеком», ей понравилось выражение «чертовски энергичный», и она решила лучше его разглядеть.

С этой целью она несколько раз заходила в его магазин. В первый раз она вовсе не застала Вокульского, во второй увидела издали; наконец, однажды ей удалось обменяться с ним двумя или тремя словами, и тогда он произвел на нее сильное впечатление. Ее поразил контраст между словами «чертовски энергичный» и тем, как он держался; не чувствовалось в нем ничего «чертовского», — напротив, он был тих и

грустен. И еще она заметила его глаза, большие и мечтательные, да, да, мечтательные...

«Прекрасный человек!» — подумала она.

Однажды летом она повстречалась с ним возле дома, где тогда жила. Вокульский посмотрел на нее с любопытством, а она почему-то смутилась и покраснела до корней волос. Она рассердилась на себя за это смущение и румянец и долго в душе упрекала Вокульского за то, что он с таким любопытством посмотрел на нее.

С тех пор, когда в ее присутствии произносили имя Вокульского, она не могла скрыть чувство неловкости; ее томило какое-то недовольство — то ли им, то ли собой, она не знала. Скорее всего собой, потому что Ставская никогда и никого ни в чем не винила; и, наконец, при чем тут он, если она такая смешная и ни с того ни с сего смущается.

Когда Вокульский купил дом, где они жили, и Жецкий с его ведома снизил им квартирную плату, пани Ставская (хотя все кругом толковали ей, что богатый домовладелец не только может, но даже обязан снижать квартирную плату) почувствовала к Вокульскому благодарность. Постепенно благодарность сменилась восхищением, когда у них начал бывать Жецкий, рассказывавший множество подробностей из жизни своего Стаха.

— Это замечательный человек! — часто говорила ей мать.

Ставская слушала и молчала, но постепенно пришла к убеждению, что Вокульский самый замечательный человек, какой когда-либо существовал на земле.

После возвращения Вокульского из Парижа старый приказчик зачастил к Ставской, беседуя с нею все более задушевно и откровенно. Он рассказал — разумеется, под величайшим секретом, — что Вокульский влюблен в панну Ленцкую, чего он, Жецкий, отнюдь не одобряет. Понемногу в Ставской стала зарождаться неприязнь к панне Ленцкой и сочувствие к Вокульскому. Тогда же ей пришло в голову, но лишь на одну минуту, что Вокульский, должно быть, очень несчастлив и что весьма похвально поступил бы тот, кто вызволил бы его из сетей кокетки.

Потом на Ставскую обрушилось сразу два удара: обвинение в краже и потеря заработка. Однако Вокульский не прекратил знакомства с нею, как поступили бы многие на его месте; мало того, он добился ее оправдания в суде и предложил выгодную работу в магазине.

Тогда Ставская призналась себе, что человек этот стал ей близок и дорог не меньше, чем Элюня и мать. Для нее началась странная жизнь. Кто бы к ним ни пришел, непременно заговаривал о Вокульском, напрямик или обиняками. Денова, Колерова и Радзинская толковали ей, что Вокульский самая блестящая партия в Варшаве; мать намекала, что Людвика уже нет в живых, а если он и жив, то недостоем того, чтобы о нем помнили. Наконец, Жецкий при каждом посещении твердил, что Стах несчастлив и что его надо спасать, а спасти его может только она.

— Но какими средствами? — спросила она, не совсем понимая, что говорит.

— Полюбите его, а уж средства найдутся, — ответил Жецкий.

Она промолчала, но в душе стала горько упрекать себя за то, что не может полюбить Вокульского, даже если бы хотела. Сердце у нее уже высохло; да и есть ли у нее сердце? Правда, она постоянно думала о Вокульском — и в магазине и дома; по вечерам поджидала его, а когда он не являлся, бывала расстроена и грустна. Он часто ей снился, — но ведь это не любовь! Любить она уже не способна. По правде говоря, она и мужа перестала любить. Ей казалось, что воспоминание о нем — словно осеннее дерево, с которого облетели листья и остался лишь голый черный ствол.

«Какая там любовь, — думала она. — Во мне уж давно угасли страсти».

Между тем Жецкий неустанно осуществлял свой хитроумный план. Сначала он говорил ей, что панна Ленцкая погубит Вокульского, потом — что только другая женщина могла бы развеять этот дурман, потом заявил, что Вокульский успокаивается в ее обществе и, наконец (но об этом он упоминал в виде догадки), что Вокульский как будто склонен ее полюбить.

От этих разговоров Ставская худела, бледнела и теряла покой. Ею овладела одна мысль: что она ответит, если Вокульский объяснится ей в любви?.. Правда, сердце ее давно омертвело, но хватит ли у нее мужества оттолкнуть его и сказать, что она к нему равнодушна? И могла ли она остаться равнодушной к такому человеку — не потому, что она ему многим обязана, а потому, что он был несчастлив и любил ее. «Какая женщина, — думала она, — не сжалилась бы над этим истерзанным сердцем, столь кротким в своих страданиях!»

Поглощенная внутренней борьбой, сомнениями, которыми ей даже не с кем было поделиться, Ставская не замечала перемены в поведении Миллеровой, не обращала внимания на ее улыбочки и недомолвки.

— Как поживает пан Вокульский? — часто спрашивала ее владелица магазина. — Ох, какая вы стали худенькая!.. Пан Вокульский не должен позволять вам столько работать...

Однажды, примерно во второй половине марта, Ставская, вернувшись домой, застала мать в слезах.

— Что это значит, мамочка?.. Что случилось? — встревожилась пани Елена.

— Ничего, ничего, дитя мое... Зачем отравлять тебе жизнь сплетнями?.. Боже мой, до чего люди подлы!

— Наверное, вы получили анонимное письмо? Я получаю чуть ли не каждый день письма, в которых меня называют любовницей Вокульского; ну и что ж? Я догадываюсь, что это проделки Кшешовской, и бросаю их в печь.

— Ничего, ничего, дитя мое... если бы только письма... Но сегодня у меня были Радзинская и Денова, такие почтенные женщины, и... Но зачем мне отравлять тебе жизнь... Они говорят (якобы подобные слухи носят по городу), что ты ходишь не в магазин, а к Вокульскому...

Впервые в жизни в Ставской проснулась львица. Глаза ее засверкали; подняв голову, она твердо произнесла:

— А если бы даже так, что из того?

— Господь с тобою, что ты! — ахнула мать, всплеснув руками.

— Ну, а если бы? — повторила Ставская.

— А муж?

— Где он, мой муж? Впрочем, пусть убивает меня...

— А дочь... Элюня?.. — пролепетала старушка.

— Оставим в покое Элюню, будем говорить только обо мне...

— Елена... дитя мое... но ведь ты не стала его...

— Любовницей?.. Нет, я ему не любовница, потому что он еще не просил меня об этом. И какое мне дело до Деновой, или Радзинской, или до мужа, который покинул меня?.. Право, я сама не понимаю, что со мною творится... Но знаю одно — человек этот завладел моею душой...

— Но будь же благоразумна... Хотя...

— Я благоразумна... пока это в моих силах... Но я не хочу считаться с обществом, которое обрекает людей на пытки только за то, что они любят друг друга. Ненавидеть можно, — продолжала она с горькой усмешкой, — красть, убивать... все, все можно, только любить нельзя... Ах, мамочка, если я не права, почему же Иисус Христос не говорил людям: «Будьте благоразумны», а говорил: «Любите друг друга»?

Мисевичова умолкла, пораженная этим бунтом, на который не считала способной свою дочь. Ей казалось, что небо обрушилось, когда из уст этой тихой голубки посыпались слова, которых она не слыхала, не читала и которых у нее не было в мыслях даже во время тифозной горячки.

На следующий день явился Жецкий; он пришел огорченный, а когда Мисевичова передала ему весь разговор, вконец был подавлен.

Как раз сегодня утром произошло следующее.

В магазин к Шлангбауму пришел — кто же?.. Марушевич! И они оживленно беседовали около часу. Остальные приказчики, узнав, что магазин покупает Шлангбаум, сразу переменялись к нему и стали крайне предупредительны. Пан Игнаций, напротив, держался теперь очень надменно. Как только Марушевич ушел, он спросил:

— Какие у вас дела с этим негодяем, пан Шлангбаум?

Но и тот уже набрался спеси; он выпятил нижнюю губу и ответил:

— Марушевич просит ссудить денег барону, а для себя подыскать какую-нибудь должность. Вы знаете, в городе уже болтают, будто Вокульский передает мне торговое общество. Марушевич обещает взамен, что барон и его супруга будут посещать мой дом...

— И вы намерены принимать такую ведьму?

— Почему же нет? Барон будет ходить ко мне, а баронесса — к моей жене. В душе я демократ, но как быть, если глупые люди считают, что гостиная лучше выглядит с баронами и графами, чем без них? Чего не сделаешь ради связей, пан Жецкий!

— Поздравляю.

— Пойдите, пойдите... Кроме того, Марушевич мне сказал, что по городу ходит слух, будто Стасек взял на содержание эту... как ее... Ставскую... Правда это, пан Жецкий?

Старый приказчик плюнул ему под ноги и вернулся к своей конторке. Под вечер он пошел посоветоваться с Мисевичовой, и тут она сказала ему, что дочь ее не стала любовницей Вокульского только потому, что он этого не требует...

От Мисевичовой Жецкий ушел в полном расстройстве.

«Ну и пусть бы она была его любовницей, — говорил он про себя. — Подумаешь! Мало ли весьма уважаемых дам заводят любовные связи, да еще с какими ничтожествами... Гораздо хуже, что Вокульский и не помышляет о ней. Вот в чем беда!.. Необходимо что-нибудь предпринять...»

Но сам он уже ничего не мог придумать — и отправился к доктору Шуману.

Глава одиннадцатая. Как порою открываются глаза

Доктор сидел у лампы с зеленым абажуром и внимательно просматривал кипу бумаг.

— Что это, почтеннейший, — спросил Жецкий, — опять вы корпите над волосами? Фу ты, сколько цифр! Целая бухгалтерия, совсем как в магазине.

— Это и есть бухгалтерия — и именно вашего магазина и вашего торгового общества, — отвечал Шуман.

— А какое отношение вы имеете к этому?

— Даже чересчур близкое. Шлангбаум уговаривает меня доверить ему капитал. А так как я предпочитаю иметь шесть тысяч годового дохода вместо четырех, то и согласился выслушать его предложение. Но действовать наобум я не люблю, а потому попросил показать мне счета. Ну и вижу, — мы с ним сговоримся.

Жецкий был поражен.

— Никак не думал, что вы станете заниматься такими делами!

— Глуп я был, вот что, — пожал плечами доктор. — У меня на глазах нажил состояние Вокульский, идет в гору Шлангбаум, а я сижу на своих жалких грошах и ни с места. Не идти вперед — значит отставать!

— Но наживать деньги не по вашей части!

— Почему не по моей? Поэтом или героем родится не всякий, но деньги нужны всем, — возразил Шуман. — Деньги — это кладовая самой благородной силы в человеке, кладовая человеческого труда. Это Сезам, перед которым открываются все двери, скатерть-самобранка, на которой всегда можно пообедать, лампа Аладдина, которую стоит потерять — и получишь все, что душе угодно. Волшебные сады,

роскошные замки, прекрасных королевен, верных слуг и самоотверженных друзей — за деньги все получишь...

Жецкий закусил губу.

— Вы не всегда так рассуждали, — сказал он.

— Tempora mutantur, et nos mutamur in illis *<Времена меняются, и мы меняемся вместе с ними (лат.)>*, — спокойно отвечал доктор. — Я убил десять лет на исследование волос, истратил тысячу рублей на издание брошюры в сто страниц... и ни одна собака не заинтересовалась ни мной, ни моей брошюрой. Что же, попробую следующие десять лет посвятить коммерческим операциям и заранее уверен, что все меня будут любить и превозносить до небес. Стоит только ввести в обычай приемы и занять экипаж...

Оба помолчали, не глядя друг на друга. Шуман был мрачен, Жецкий смущен.

— Я хотел бы, — заговорил он наконец, — потолковать с вами о Стахе...

Доктор нетерпеливо отодвинул от себя бумаги.

— Чем же я ему могу помочь, — проворчал он. — Это неизлечимый мечтатель, он никогда не образумится. Неотвратно близится он к материальному и моральному краху, как все вы, вместе с вашей системой.

— С какой системой?..

— С вашей, польской системой.

— А чем вы собираетесь ее заменить?

— Нашей, еврейской...

Жецкий так и подскочил.

— Еще месяц назад вы называли евреев паршивцами!..

— Они и есть паршивцы. Но система у них замечательная: она побеждает всюду, между тем как ваша система терпит один крах за другим.

— А в чем вы ее видите, эту новую систему?

— В умах, которые вышли из еврейской среды и достигли вершин цивилизации. Возьмите Гейне, Берне, Лассаля, Маркса, Ротшильда, Блайхредера — вот они, новые пути мира! Их проложили евреи: те самые евреи, презренные и гонимые, но терпеливые и гениальные.

Жецкий протер глаза; ему казалось, что он видит сон. Наконец он сказал:

— Простите, доктор, но... уж не разыгрываете ли вы меня?.. Полгода назад я слышал от вас совсем иные речи...

— Полгода назад, — раздраженно подхватил Шуман, — вы слышали протест против старых порядков, а сейчас слышите новую программу. Человек — не устрица, которая так прирастает к своей раковине, что ее только ножом отдерешь. Человек видит все, что происходит вокруг, мыслит, взвешивает и в результате отбрасывает прежние,

ложные представления, убедившись, что они ложны. Но вам этого не понять, и Вокульскому тоже... Все вы банкроты, все... Счастье еще, что вам на смену идут новые силы.

— Не понимаю я вас.

— Сейчас поймете, — продолжал доктор со все большим жаром. — Возьмите семейство Ленцких. Что они делали? Проматывали свои богатства: проматывал дед, отец и, разумеется, сын, у которого под конец осталось тридцать тысяч, спасенных благодаря Вокульскому, ну, и — красавица дочь на покрытие недостачи.

А что тем временем делали Шлангбаумы? Сколачивали деньги. Сколачивали и дед и отец, так что сын, еще недавно скромный приказчик, через год будет заправилкой в нашей торговле. И они сознают это, недаром старый Шлангбаум еще в декабре сочинил шараду:

Первое — по-немецки змея,
Второе — растение значит,
А целое — вверх быстро скачет, —

и тут же объяснил мне, что это — «Шланг-Баум» <Шланге (Schlange) — змея, баум (Baum) — дерево (нем.)>. Шарада дрянная, зато работают они хорошо! — со смехом прибавил доктор.

Жецкий понурил голову, а Шуман продолжал:

— Возьмите князя: что он делает? Причитает над «несчастной отчизной», только с него и возмешь. А барон Кшешовский? Старается вытянуть побольше денег у жены. А барон Дальский? Терзается от страха, как бы супруга ему не изменила. Пан Марушевич рыщет, где бы подзанять денег, а если не удастся занять, попросту жульничает, а пан Старский не отходит от постели умирающей бабки, чтобы подсунуть ей завещание, составленное в его пользу.

Остальные господа дворяне — и покрупнее и помельче, — должно быть, почували, что все предприятие Вокульского перейдет в руки Шлангбаума, и уже ездят к нему с визитами. Невдомек им, бедняжкам, что он урежет их прибыли по меньшей мере на пять процентов... А самый умный из них, Охоцкий, вместо того чтобы пустить в эксплуатацию электрические лампы своей системы, носится с мыслью о летательных машинах. Да, да... мне кажется, он уже несколько дней совещается на этот счет с Вокульским. Рыбак рыбака видит издалека, а мечтатель — мечтателя...

— Ну, уж Стаху, надеюсь, вы ничего не поставите в упрек, — нетерпеливо перебил его Жецкий.

— Ничего; не говоря, конечно, о том, что он никогда не держался одного дела и всю жизнь гонялся за химерами. Был официантом — захотелось ему в ученые; только было начал учиться — стал метить в герои. Даже разбогател он не потому, что был купцом, а потому, что по уши влюбился в панну Ленцкую. Так и сейчас, приблизившись к цели (что, впрочем, еще бабушка надвое сказала), он уже ведет переговоры с Охоцким... Ей-богу, не понимаю: о чем может беседовать финансист с таким Охоцким?.. Лунатики!

Жецкий щипал себя за ногу, чтобы не наговорить доктору грубостей.

— Заметьте, — сказал он, помолчав, — я пришел к вам по делу, которое касается не только Вокульского, но и женщины... женщины, доктор, а против них-то уж вы, верно, ничего не скажете.

— Ваши женщины не лучше ваших мужчин. Через десять лет Вокульский мог бы стать миллионером и крупной силой в стране, но дернуло его связать свою судьбу с панной Ленцкой — и он продал великолепный доходный магазин, несомненно бросит не менее доходное торговое общество, а затем пустит на ветер все состояние. Или вот Охоцкий... Другой на его месте давно бы занялся электрическим освещением, раз уж ему удалось сделать изобретение, а он разгуливает по Варшаве с хорошенькой пани Вонсовской — барынькой, для которой ловкий танцор куда интереснее самого гениального изобретателя.

Иначе поступил бы еврей. Электротехник нашел бы себе женщину, которая сидела бы с ним в лаборатории или торговала бы электрическими приборами. А финансист, как Вокульский, не стал бы влюбляться очертя голову, а искал бы богатую невесту. На худой конец даже взял бы бедную и красивую, но в таком случае пустил бы в оборот ее обаяние. Она устраивала бы светские приемы, прельщала бы гостей, улыбалась богатым, флиртовала бы с влиятельными лицами — словом, всеми мерами способствовала бы процветанию фирмы, а не ее краху.

— И об этом вы судили иначе полгода назад, — заметил Жецкий.

— Не полгода, а десять лет тому назад. Тогда я даже травился после смерти невесты, но это только лишний довод против вашей системы. Сейчас меня мороз по коже подирает, как подумаю, что я мог так бессмысленно умереть или жениться на женщине, которая разорила бы меня.

Жецкий встал.

— Итак, — спросил он, — теперь ваш идеал Шлангбаум?

— Идеал — нет, но это стоящий человек.

— Который выносит из магазина бухгалтерские книги...

— Это его право. Как-никак, а с июля он там будет хозяином.

— А пока что развращает приказчиков, будущих своих подчиненных?

— Он их всех выгонит...

— И этот ваш идеал, когда просил Стаха принять его на работу, видно уже тогда замышлял о том, чтобы захватить в свои руки весь магазин?

— Почему захватить, он просто покупает! — воскликнул доктор. — А по-вашему, лучше, если бы не нашлось покупателя и магазин пропал бы без толку? Так кто же из вас умнее: вы, за десятки лет ничего не скопивший, или Шлангбаум, который за один год овладел такую твердыней, никому, кстати сказать, не причиняя зла, а Вокульскому уплачивая наличными?..

— Может, вы и правы, но мне это как-то не по душе, — проворчал Жецкий, качая головой.

— Не по душе, потому что вы принадлежите к людям, считающим, что человеку полагается лежать камнем на месте и обрастать мхом. По-вашему, Шлангбаумы должны век оставаться приказчиками, Вокульские — хозяевами, а Ленцкие — их сиятельствами... Нет, милейший мой! Общество — как кипящая вода; то, что вчера было снизу, сегодня взлетает вверх...

— А завтра опять упадет вниз, — закончил Жецкий. — До свидания, доктор.

Шуман пожал ему руку.

— Вы сердитесь?

— Нет... но не приемлю я этого преклонения перед деньгами.

— Это переходное состояние.

— А откуда вы знаете, что мечтательность подобных Вокульских и Охоцких — не такое же переходное состояние? Летательная машина сейчас кажется чем-то невероятным, но так только кажется; я немного разбираюсь в ее значении, недаром Стах годами толковал мне об этой машине. Допустим, Охоцкому удастся ее построить; подумайте сами, что нужнее человечеству — ловкость Шлангбаумов или мечты Вокульских и Охоцких?

— Ну, это пустое! — перебил доктор. — Я-то уже на этот пир не попаду.

— А если бы попали, вам бы пришлось, наверное, еще раз переменить программу.

Доктор смутился.

— Оставим это... Какое же у вас было ко мне дело?

— Насчет бедняжки Ставской... Она всерьез влюбилась в Вокульского.

— Фу ты! Нашли с чем приходить ко мне! — отмахнулся доктор. — Тут одни богатеют и входят в силу, другие разоряются, а этот ко мне пристает с любовными историями какой-то Ставской! Незачем было заниматься сватовством...

Жецкий вышел от доктора в таком унынии, что даже не обратил внимания на грубость его последних слов. Только на улице он спохватился и почувствовал горечь.

— Вот она, еврейская дружба! — проворчал он.

Великий пост прошел не так скучно, как опасались в высшем свете.

Во-первых, провидение позаботилось о сильном разливе Вислы, что послужило предлогом для устройства публичного концерта и ряда частных вечеров с музыкой и декламацией в пользу пострадавших от наводнения. Затем состоялся доклад (из серии публичных лекций, затеянных Обществом земледельческих колоний) одного краковянина, многообещающего члена аристократической партии, на который собралась самая изысканная публика. Потом, когда от наводнения пострадал город Сегед, снова последовал сбор пожертвований, давший, правда, очень мало денег, зато вызвавший огромное оживление в гостиных. В доме графини даже состоялся любительский спектакль и были разыграны две пьесы на французском языке и одна на английском.

Панна Изабелла принимала деятельное участие во всех благотворительных мероприятиях. Она посещала концерты, вручала букет ученому краковянину, выступала в живых картинах в роли ангела милосердия и играла в пьесе Мюссе «С любовью не шутят».

Господа Нивинский, Мальборг, Рыдзевский и Печарковский засыпали ее цветами, а Шастальский по секрету признался нескольким дамам, что, вероятно, еще в этом году будет вынужден лишить себя жизни.

Как только разошлась весть о задуманном самоубийстве, Шастальский сделался героем всех раутов, а панну Изабеллу стали называть «жестокосердой».

Когда мужчины уходили играть в вист, дамы неопределенного возраста наслаждались от души, стараясь посредством хитроумных маневров сблизить панну Изабеллу с Шастальским. С неопишымым сочувствием наблюдали они в лорнеты страдания молодого человека — это, пожалуй, могло заменить спектакль. Они сердились на панну Изабеллу за то, что она сознает свое превосходство и, казалось, каждым жестом, каждым взглядом говорит: «Смотрите, он меня любит, из-за меня он так несчастлив!»

Вокульский, бывая в свете, видел лорнеты, устремленные на Шастальского и панну Изабеллу, даже слышал замечания, назойливые, как жужжание ос, но ничего не подозревал. Дамы перестали обращать на него внимание с тех пор, как стало известно, что у него серьезные намерения.

— Несчастливая любовь куда больше волнует! — шепнула однажды Вонсовской панна Жежуховская.

— Кто знает, где на самом деле несчастная и даже трагическая любовь! — ответила Вонсовская, глядя на Вокульского.

Четверть часа спустя панна Жежуховская попросила, чтобы ее познакомили с Вокульским, а еще через четверть часа сообщила ему (потупив при этом глаза), что, по ее мнению, исцелять раны истерзанного, безмолвно страдающего сердца — благороднейшая роль женщины.

Однажды, в конце марта, Вокульский, придя к панне Изабелле, застал ее в отличном настроении.

— Прекрасная новость! — воскликнула она, необычно приветливо здороваясь с ним. — Вы знаете, приехал знаменитый скрипач Молилари.

— Молилари? — повторил Вокульский. — Ах да, я слышал его в Париже.

— И вы говорите о нем с таким равнодушием? — удивилась панна Изабелла.

— Разве вам не нравится его игра?

— Признаюсь, я даже не особенно внимательно слушал...

— Не может быть! Значит, вы не были на его концерте... Шастальский (положим, он всегда преувеличивает) сказал, что, только слушая Молилари, он мог бы умереть без сожаления. Вывротницкая в восторге от него, а Жежуховская собирается устроить раут в его честь.

— Насколько я могу судить, это довольно заурядный скрипач.

— Помилуйте, что вы! Рыдзевскому и Печарковскому представился случай видеть его альбом с отзывами... Печарковский говорит, что этот альбом преподнесли Молилари его поклонники. Так вот все европейские рецензенты называют его гениальным.

Вокульский покачал головой.

— Я слушал его в зале, где самые дорогие места стоили два франка.

— Не может быть, это был, наверное, не он... Он получил орден от папы, от персидского шаха, у него титул... Такие награды не достаются заурядным скрипачам.

Вокульский с изумлением всматривался в раздумывавшееся лицо и блестящие глаза панны Изабеллы. Эти аргументы были так красноречивы, что он усомнился в собственной памяти и ответил:

— Возможно...

Однако панну Изабеллу неприятно задело его равнодушие к искусству. Она нахмурилась и весь вечер была с ним холодна.

«Глупец я! — думал он, уходя. — Вечно я суюсь с чем-нибудь таким, что ее раздражает. Если она меломанка, то мое мнение о Молилари может ей показаться святотатством...»

Весь следующий день он упрекал себя в непонимании искусства, примитивности, бестактности и даже в недостаточном уважении к панне Изабелле.

«Несомненно, — думал он, — более талантлив тот скрипач, который понравится ей, нежели тот, который пришелся бы по вкусу мне. Надо быть нахалом, чтобы с таким апломбом высказывать свое суждение, тем более что я, вероятно, не сумел оценить его игру...»

Ему было очень стыдно.

На третий день он получил от панны Изабеллы коротенькую записочку.

«Сударь, — писала она, — вы должны помочь мне познакомиться с Молилари, только непременно, непременно... Я обещала тете, что уговорю Молилари играть в пользу ее приюта; следовательно, вы сами понимаете, насколько это для меня важно».

В первую минуту Вокульскому показалось, что получить доступ к гениальному скрипачу будет труднее, чем выполнить все предыдущие поручения. К счастью, он вспомнил, что знает одного музыканта, который успел познакомиться с Молилари и ходил за ним как тень.

Когда Вокульский рассказал музыканту о своих заботах, тот сначала широко раскрыл глаза, потом нахмурил брови и, наконец, после долгих размышлений заявил:

— Это трудное дело, очень трудное, но ради вас я постараюсь. Только мне придется его подготовить, соответственно расположить. Знаете что? Зайдите завтра в гостиницу в час дня, я буду у него завтракать. Вы незаметно вызовите меня через слугу, а я уж постараюсь, чтоб он вас принял.

Эти предосторожности и тон музыканта покоробили Вокульского; все же в назначенный час он отправился в гостиницу.

— Пан Молилари у себя? — спросил он швейцара.

Швейцар, знавший Вокульского, послал своего помощника наверх, а сам стал занимать его разговором.

— Ну, ваша милость, скажу я вам, людно у нас сделалось из-за этого итальянца!.. Господа валом валят, будто к чудотворной иконе, а пуще всего женщины...

— Вот как?

— Да, ваша милость. Пришлет сперва письмо, потом букет, а там и сама заявляется под вуалью, мол так ее никто не узнает... Право, вся прислуга смеется! А он не всякую принимает, хоть иные его лакею и по трешнице совали. Зато как разгуляется, так возьмет и закажет еще два номера, в разных концах коридора, и в каждом номере другую ублажает... Рьяный, черт!

Вокульский взглянул на часы: прошло десять минут. Он попрощался с швейцаром и направился к лестнице, чувствуя, как в нем закипает гнев. «Ну и прохвост! — думал он. — Да и дамочки тоже хороши!..»

По дороге ему встретился помощник швейцара, бежавший во весь дух.

— Пан Молилари, — сказал он, — велел просить вашу милость чуточку обождать...

Вокульский чуть не схватил его за шиворот, но сдержался и повернул к выходу.

— Ваша милость, вы уходите?.. А что прикажете передать пану Молилари?

— Пошли ты его... знаешь куда!

— Слушаюсь, ваша милость, да только он не поймет, — отвечал обрадованный слуга и, подскочив к швейцару, заметил: — Наконец-то хоть один барин раскусил этого замухрышку-итальянца. Прощельга! Нос задирать умеет, а как до чаевых, так три раза гривенник перевернет, пока даст... Легавая сука его, уroda, родила. Гнида... бродяга... проходимец!

На миг Вокульский почувствовал раздражение против панны Изабеллы. Как можно было восторгаться человеком, которого поднимает на смех даже прислуга в гостинице! Как можно быть одной из его многочисленных поклонниц!.. И, наконец, пристало ли заставлять его, Вокульского, добиваться знакомства с таким пошляком!..

Однако гнев его скоро остыл; ему пришла в голову весьма справедливая мысль, что панна Изабелла, не зная Молилари, могла поддаться очарованию его славы.

«Познакомится с ним и охладет, — подумал он. — Но уж я, во всяком случае, не стану служить им посредником».

Вернувшись домой, Вокульский застал у себя Венгелека, который уже час его дожидался.

Парень выглядел совсем варшавянином, но немного осунулся.

— Похудел ты, побледнел, — сказал Вокульский, присмотревшись к нему. — Загулял, что ли?

— Нет, ваша милость, только болел я десять дней. На шее вскочила какая-то пакость, так что доктор меня резал. Но вчера я уже ходил на работу.

— Деньги тебе нужны?

— Нет. Я только хотел поговорить насчет того, как бы вернуться в Заслав.

— Тебе уже не терпится! А научился ты чему-нибудь?

— Еще бы! Я и по слесарному делу могу, и по столярному малость... Корзинки тоже выучился очень прекрасные плести и рисовать. Ну, и в случае если придется красками писать, — тоже...

Говоря это, он кланялся, краснел и мял в руках шапку.

— Хорошо, — ответил, помолчав, Вокульский. — На инструменты получишь шестьсот рублей. Хватит?.. А когда ты собираешься ехать?

Парень покраснел еще пуще и поцеловал руку Вокульскому.

— Я бы, значит, не извольте, ваша милость, гневаться... хотел бы... того... жениться... Только вот не знаю...

Он почесал затылок.

— На ком же? — спросил Вокульский.

— На той девушке, Марианне, что живет у возчика Высоцкого. Я в этом же доме живу, только наверху.

«Хочет жениться на моей монашке!» — подумал Вокульский. Он прошелся по комнате и сказал:

— А хорошо ли ты знаешь Марианну?

— Чего тут не знать? Мы ведь с ней три раза на дню видимся, а по воскресеньям так и все время вместе — или я к ней хожу, или оба сидим у Высоцких.

— Так. Но ты знаешь, кем она была год тому назад?

— Знаю, ваша милость. Как приехал я сюда, по доброте вашей, мне Высоцкая сразу и сказала: «Смотри, малый, берегись, девка-то была распутная...» Таким манером я с первого дня узнал, каковская она; обмана я от нее не видел.

— Как же случилось, что ты решил на ней жениться?

— Бог его знает как. Поначалу я все насмеялся над ней, и как, бывало, кто пройдет под окном, я говорю: «Верно, и это знакомый панны Марианны: барышня-то наша не из одной печи хлеб едала». А она ничего, только голову опустит и крутит свою машинку, аж звон стоит, а лицо так и пышет.

Потом, замечаю я, бельишко мое кто-то латать стал; ну, купил я ей на рождество зонтик за десять злотых, а она мне — полдюжины ситцевых платков с моею меткой. Высоцкая мне и говорит: «Держи ухо остро, малый, она ведь видала виды». Я и

выкинул это из головы, а по правде сказать, не будь она таковская, я бы еще на масленой женился.

Аккурат в среду, на первой неделе поста, Высоцкий мне рассказал, как это с нею случилось, с Марианной, значит. Наняла ее в услужение какая-то барыня, в бархате; ну и услужение оказалось — не приведи господи! Она все бежать норовила, а ее всякий раз ловят и грозятся: «Ты лучше сиди смирно, а то упечем тебя в тюрьму за кражу». — «Да что ж я украла?» — она спрашивает. «Прибыль мою, гадина!» — кричит барыня. «Так бы ей и не вырваться оттуда до самого Страшного суда, — говорил Высоцкий, — если б не увидел ее в костеле пан Вокульский. Он-то и выкупил ее и от беды спас».

— Говори, говори дальше, — подбодрил его Вокульский, заметив, что венгелек запнулся.

— Тогда-то я понял, что никакого тут распутства нет, а такое уж несчастье. Спрашиваю Высоцкого: «Женились бы вы на Марианне?» — «И с одной бабой хлопот не оберешься», — отвечает он. «А если б, к примеру, были вы в холостом положении, тогда как?» — «Эх, говорит, да у меня уж и любопытства к женскому полу нет». Вижу я, не хочет старик язык развязывать, и до тех пор к нему приставал, пока он не сказал: «Нет, я бы не женился, не поверил бы, что ее к старому не потянет. Женщина хороша, покуда блюдет себя, а как разнуздается — сущий дьявол».

А тут в начале поста господь бог милостивый наслал на меня болячку, и слег я в постель, да еще вот доктор шею порезал. А Марианна и давай ко мне ходить, да постель мою оправлять, да порезанное место перевязывать... Доктор сказал, кабы не ее заботы, лежать бы мне еще неделю лишнюю. А меня иной раз даже злость брала, особенно когда лихорадка трепала.

Вот я и говорю ей однажды: «Из чего вы, панна Марианна, хлопочете? Может, думаете, что я женюсь на вас? Так я еще с ума не спятил и не женюсь на такой, которая десятерых имела...» А она ничего, только голову опустила и слезы из глаз закапали. «Я и сама понимаю, говорит, мыслимо ли вам на мне жениться?» Как я это услышал, у меня, с позволения сказать, под ложечкой засосало от жалости. И я тут же сказал Высоцкой: «Знаете, пани Высоцкая, я, может, женюсь на Марианне...» А она мне: «Не будь дураком, смотри...»

— Нет, сударь, не смею я вам говорить про это, — вдруг воскликнул Венгелек, снова целуя руку Вокульскому.

— Говори смело!

— «Смотри, — говорит мне Высоцкая, — не обидеть бы тебе нашего милостивца пана Вокульского этой женитьбой... Кто ее знает, не к нему ли ходит Марианна...»

Вокульский остановился перед ним.

— Этого ты опасешься? — спросил он. — Даю тебе честное слово, что я никогда не вижусь с этой девушкой.

Венгелек с облегчением перевел дух.

— Ну и слава богу! Сами посудите: одно — что не посмел бы я вашей милости поперек дороги стать за все ваши благодеяния, а другое...

— Что же другое?

— А другое вот что: потеряла она себя по несчастью, когда ее злые люди заставляли, и ее вины в том нет. Но если она сейчас надо мной, над больным, слезы проливала, а сама к вашей милости бегала — это уж такая шельма, что ее убить надо, как бешеную собаку, чтобы на людей не бросалась.

— Так как же? — спросил Вокульский.

— Да как? Женюсь после праздника, — ответил Венгелек. — За чужие грехи она страдать не должна. Не ее была на то воля.

— Тебе нужно еще что-нибудь?

— Больше ничего.

— Так будь здоров, а перед свадьбой зайди ко мне. Марианна получит в приданое пятьсот рублей и сколько потребуется на белье и обзаведение хозяйством.

Венгелек ушел от него глубоко взволнованный.

«Вот логика простых душ! — подумал Вокульский. — Презрение к пороку, но сострадание к несчастью».

И этот простодушный мещанин сразу вырос в его глазах, представ как выразитель высшей справедливости, несущий опозоренной женщине мир и прощение.

В конце марта у Жежуховских состоялся большой раут в честь Молинару. Вокульский тоже получил приглашение, написанное прелестной ручкой панны Жежуховской.

Он приехал довольно поздно, как раз в ту минуту, когда маэстро, вняв наконец мольбам, решился осчастливить собравшихся концертом собственного сочинения. Один из варшавских музыкантов сел за рояль аккомпанировать скрипачу, другой подал ему скрипку, третий переворачивал ноты аккомпаниатору, четвертый встал позади маэстро, дабы мимикой и жестами подчеркивать наиболее блестящие или трудные места его творения.

Кто-то попросил публику соблюдать тишину, дамы уселись полукругом, мужчины столпились за их стульями, и концерт начался.

Вокульский взглянул на скрипача и сразу подметил некоторое сходство между ним и Старским. Молинару носил такие же небольшие бачки и усики, а на лице его запечатлелось то же выражение пресыщенности, которое отличает мужчин, пользующихся успехом у прекрасного пола. Играл Молинару хорошо, держался с достоинством, но чувствовалось, что он уже вошел в роль полубога, снисходящего к благоговеющим перед ним смертным.

Время от времени скрипка звучала громче, тогда физиономия музыканта, стоявшего позади маэстро, расплывалась в восторге и по залу проносился легкий, быстро смолкавший гул. Среди торжественно важных мужчин и задумчивых, обратившихся в слух, замечтавшихся или дремлющих дам Вокульский разглядел несколько женских

лиц со странным выражением: головы, в упоении откинутае назад, пылающие щеки, горящие глаза, полуоткрытые, вздрагивающие губы, словно они находились под действием какого-то наркотика.

«Страшное дело! — подумал Вокульский. — Что за нездоровые личности впрягаются в триумфальную колесницу этого господина».

Тут он оглянулся — и похолодел... Неподалеку от него сидела панна Изабелла, упоенная и разгоряченная более других. Он не верил своим глазам.

Маэстро играл с четверть часа, но Вокульский не слышал ни звука. Он очнулся, лишь когда раздался гром аплодисментов. Потом снова забыл, где находится, хотя отлично видел, как Молилари шепнул что-то на ухо Жежуховскому и как тот, взяв его под руку, представил панне Изабелле.

Она приветствовала скрипача румянцем и взглядом, полным неопиcуемого восхищения. Как раз в эту минуту пригласили к столу; маэстро тотчас подал ей руку и повел в столовую. Они прошли мимо Вокульского почти вплотную, Молилари даже задел его локтем, но оба были так поглощены друг другом, что панна Изабелла не заметила Вокульского. Потом они уселись вчетвером за столик — Шастальский с панной Жежуховской и Молилари с панной Изабеллой, и видно было, что им очень уютно.

Вокульскому опять показалось, что с глаз его спадает пелена, за которой он видит совсем иной мир и иную панну Изабеллу. Но в тот же миг он ощутил нестерпимую боль в груди; в голове у него помутилось, нервы были невероятно напряжены. Испугавшись за свой рассудок, он поспешно вышел в переднюю, а оттуда на улицу.

— Боже милосердный! — шептал он. — Сними же с меня это проклятье!

В нескольких шагах от Молилари, у миниатюрного столика, сидели Вонсовская и Охоцкий.

— Моя кузина решительно перестает мне нравиться, — сказал Охоцкий, глядя на панну Изабеллу. — Вы видите?

— Уже час я смотрю на нее, — отвечала Вонсовская. — Но, кажется, и Вокульский что-то заметил, потому что даже переменялся в лице. Жаль мне его.

— О, за Вокульского можете не беспокоиться. Правда, сейчас он побежден, но когда наконец прозреет... Такого веером не убьешь.

— Тогда может произойти трагедия...

— Никакой, — возразил Охоцкий. — Люди сильных страстей опасны, когда у них ничего нет в резерве...

— Вы имеете в виду эту... как ее... пани Ста... Стар...

— Боже упаси, там ничего нет и никогда не было. К тому же для влюбленного мужчины другая женщина не является резервом.

— Так что же?

— Вокульский — человек незаурядного ума, и ему известно замечательное изобретение, осуществление которого могло бы перевернуть весь мир.

— Вам оно тоже известно?

— Я знаю, в чем его сущность, и видел доказательство его существования, но не знаю подробностей. Клянусь, — воскликнул Охоцкий, воодушевляясь, — ради подобного дела можно пожертвовать даже десятком возлюбленных!

— Значит, вы и мною пожертвовали бы, неблагодарный?

— А разве вы моя возлюбленная?.. Я ведь не лунатик.

— Но вы меня любите.

— Может, еще скажете — как Вокульский Изабеллу?.. И не собираюсь... Хотя в любой момент готов...

— В любой момент вы готовы на грубость. Но... тем лучше, если вы не любите меня.

— И даже догадываюсь почему. Вы равнодушны к Вокульскому.

Вонсовская вспыхнула; она так смешалась, что уронила на пол веер. Охоцкий поднял его.

— Я не хочу разыгрывать перед вами комедию, несносное вы существо! — ответила она, помолчав. — Он и в самом деле не безразличен мне, и потому... я стараюсь всеми силами, чтобы он добился Беллы, раз уж... этот безумец любит ее.

— Клянусь, среди всех знакомых мне дам вы единственная женщина, которая чего-нибудь стоит... Но довольно об этом... С тех пор как я узнал, что Вокульский любит Беллу (а как он ее любит!), моя кузина производит на меня странное впечатление. Раньше я считал ее необычайно интересной, а сейчас она кажется мне пошлой, раньше — возвышенной, сейчас — ничтожной... Правда, так кажется мне только минутами, причем спешу оговориться, что могу ошибаться.

Вонсовская улыбнулась.

— Говорят, когда мужчина смотрит на женщину, дьявол надевает ему розовые очки.

— Но иногда и снимает их.

— Что бывает довольно мучительно. Знаете что, — прибавила Вонсовская, — поскольку мы с вами почти родня, давайте перейдем на «ты»...

— Нет уж, спасибо.

— Почему?

— Я не собираюсь быть вашим поклонником.

— Я предлагаю вам дружбу.

— Вот именно. Это мостик, по которому...

В эту минуту панна Изабелла порывисто поднялась со своего места и подошла к ним; она была взволнована и возмущена.

— Ты покидаешь маэстро? — спросила ее Вонсовская.

— Это просто наглец! — ответила панна Изабелла голосом, в котором слышался гнев.

— Очень рад, кузина, что вы так быстро раскусили этого полишинеля, — заметил Охоцкий. — Не угодно ли посидеть с нами?

Но панна Изабелла, бросив на него уничтожающий взгляд, заговорила с Мальборгом, который как раз подошел к ней, и удалилась в зал.

В дверях она глянула из-за веера на Молинари, который весело беседовал с панной Жежуховской.

— Мне кажется, любезный пан Охоцкий, что вы скорее станете нашим Коперником, чем научитесь осторожности, — сказала Вонсовская. — Как можно при Изабелле называть этого господина полишинелем?

— Да ведь она сама назвала его наглецом!

— И все же она интересуется им.

— Ну, только, пожалуйста, не дурачьте меня. Если она не интересуется человеком, который ее боготворит...

— То как раз будет интересоваться тем, кто ее не уважает.

— Влечение к острым приправам — признак испорченного здоровья, — заметил Охоцкий.

— Какая же из наших дам здорова? — воскликнула Вонсовская, обводя презрительным взглядом зал. — Подайте-ка мне руку и пойдем в гостиную.

В дверях они встретились с князем, который очень приветливо поздоровался с Вонсовской.

— Как вам Молинари, князь?.. — спросила она.

— У него весьма красивый тон... весьма...

— И мы будем принимать его у себя?

— Разумеется... в прихожей...

В несколько минут острога князя облетела все залы... Хозяйка дома вынуждена была внезапно покинуть гостей по причине мигрени.

Когда Вонсовская, переговариваясь по дороге со знакомыми, вошла вместе с Охоцким в гостиную, то увидела, что панна Изабелла уже снова сидит с Молинари.

— Кто из нас оказался прав? — спросила вдова, легонько хлопнув Охоцкого веером. — Бедный Вокульский!

— Уверяю вас, что он не такой бедный, как панна Изабелла.

— Почему?

— Если женщины любят только тех, кто их не уважает, то моя кузина очень скоро будет сходить с ума по Вокульскому.

— Вы ему расскажете?.. — возмутилась Вонсовская.

— Ни за что! Я ему друг, и поэтому мой долг — не предупреждать его об опасности. Но я, кроме того, мужчина и, ей-богу, чувствую, что уж если между мужчиной и женщиной началась такого рода борьба...

— То проиграет мужчина.

— Ошибаетесь, сударыня. Проиграет женщина, причем будет разбита в пух и прах. Женщины всегда оказываются на положении рабынь, потому что льнут к тем, кто ими пренебрегает.

— Не богохульствуйте!

Воспользовавшись тем, что Молинару заговорил с Вывротницей, Вонсовская подошла к панне Изабелле, взяла ее под руку и стала прогуливаться с нею по гостиной.

— Ты все-таки помирилась с этим наглецом? — спросила пани Вонсовская.

— Он извинился.

— Так скоро? А обещал он по крайней мере исправиться?

— Я уж позабочусь, чтобы ему нечего было исправлять.

— Тут был Вокульский, — продолжала Вонсовская, — и как-то внезапно ушел.

— Давно?

— Когда вы сели ужинать; он стоял вот тут, в дверях.

Панна Изабелла нахмурилась.

— Милая Казя, — сказала она, — я знаю, к чему ты клонишь. Так вот, заявляю тебе раз и навсегда, что я не собираюсь ради Вокульского отказываться от своих симпатий и вкусов. Супружество — не тюрьма, а я меньше, чем кто-либо, гожусь для роли затворницы.

— Ты права, но все-таки хорошо ли ради каприза оскорблять такое чувство?

Панна Изабелла смутилась.

— Что же мне, по-твоему, делать?

— Это уж твое дело. Ты с ним еще не связана...

— Ах, вот что... теперь понимаю... — усмехнулась панна Изабелла.

Мальборг и Нивинский, стоявшие у окна, наблюдали за обеими дамами в лорнет.

— Красивые женщины! — вздохнул Мальборг.

— И каждая в своем роде, — прибавил Нивинский.

— А какую бы ты выбрал?

— Обоих.

— А я Беллочку, а потом... Вонсовскую.

— Как они жмутся друг к дружке, как улыбаются... Все затем, чтобы дразнить нас. Женщины на этот счет ловкие!

— А на самом деле могут ненавидеть одна другую.

— Ну, во всяком случае, не в эту минуту, — закончил Нивинский.

К прохаживавшимся дамам подошел Охоцкий.

— А вы, кузен, тоже в заговоре против меня? — спросила панна Изабелла.

— В заговоре? Никогда! С вами, сударыня, я могу воевать только в открытую.

— «Сударыня»? «Воевать в открытую»!.. Что это значит? Ведь войны ведутся с целью заключить выгодный мир!

— Я держусь иной системы.

— Правда? — усмехнулась панна Изабелла. — Так бьюсь об заклад, что вы сложите оружие, кузен: я считаю, что война уже объявлена.

— Вы ее проиграете, кузина, и даже там, где рассчитываете на полную победу, — торжественно ответил Охоцкий.

Панна Изабелла нахмурилась.

— Едем домой, Белла, — шепнула ей в эту минуту проходившая мимо графиня.

— Что же, обещал Молилари?.. — так же тихо спросила панна Изабелла.

— Я и не подумала его звать, — надменно отвечала графиня.

— Почему, тетя?..

— Он произвел неблагоприятное впечатление.

Если бы панне Изабелле сообщили, что Вокульский погиб из-за Молилари, великий скрипач нисколько бы не упал в ее глазах. Но известие о том, что он произвел дурное впечатление, неприятно поразило ее.

Она простилась с музыкантом холодно, почти высокомерно.

Несмотря на то, что знакомство ее с Молилари продолжалось лишь несколько часов, он живо ее заинтересовал.

Вернувшись поздно вечером домой, она взглянула на своего Аполлона, и ей показалось, что в чертах и осанке мраморного бога есть что-то общее с музыкантом. Она покраснела, вспомнив, как часто статуэтка меняла обличье; одно время она даже была похожа на Вокульского. Вскоре, однако, панна Изабелла успокоилась, решив, что сегодняшняя перемена — уже последняя, что все предыдущие увлечения были ошибкой и что если Апполон и мог кого-нибудь олицетворять, то лишь одного Молилари.

Ей не спалось, в сердце боролись самые противоречивые чувства: гнев, боязнь, любопытство и какая-то истома. Минутами она даже изумлялась, вспоминая, как дерзко вел себя скрипач. С первых слов он заявил, что она самая красивая из всех виденных им женщин; идя с нею к столу, он страстно прижал к себе ее локоть и

признался ей в любви. А за ужином, невзирая на присутствие Шастальского и панны Жежуховской, он так настойчиво искал под столом ее руку. И... что ж ей оставалось делать!

Таких бурных чувств она еще никогда не встречала. По-видимому, он действительно влюбился в нее с первого взгляда, влюбился безумно, смертельно. Разве не шепнул он ей на ухо (это даже заставило ее встать из-за стола), что, не задумываясь, пожертвовал бы жизнью ради того, чтобы провести с нею несколько дней. «И как же он рисковал, говоря подобные слова!» — подумала панна Изабелла. Ей не приходило в голову, что он рисковал самое большее тем, что будет вынужден удалиться до конца ужина.

«Какое чувство! Какая страсть!..» — мысленно повторяла она.

Два дня панна Изабелла не выходила из дому и никого не принимала. На третий день ей стало казаться, что Аполлон хоть и похож на Молилари, но иногда напоминает Старского. В тот же день после обеда она приняла явившихся с визитом Рыдзевского и Печарковского, которые сообщили ей, что Молилари уже уезжает, что он восстановил против себя все высшее общество и что его альбом с рецензиями — надувательство, ибо там не помещены неблагоприятные отзывы. В заключение молодые люди заявили, что только в Варшаве столь посредственного скрипача и вульгарного человека могли встретить такими овациями.

Панна Изабелла была возмущена и не преминула напомнить пану Печарковскому, что не кто иной, как он, расхваливал итальянского виртуоза. Печарковский изобразил удивление и, призвав в свидетели присутствующего тут же пана Рыдзевского и отсутствующего Шастальского, заявил, что Молилари с первой же минуты не внушал ему доверия.

Следующие два дня панна Изабелла была убеждена, что великий скрипач оказался жертвою зависти. Она твердила себе, что только он заслуживает ее сочувствия и что она никогда, никогда его не забудет.

Тем временем Шастальский прислал ей букет фиалок, и панна Изабелла не без угрызений совести заметила, что Аполлон начинает походить на Шастальского, а образ Молилари быстро тускнеет в ее памяти.

Прошла почти неделя после концерта. Панна Изабелла, не зажигая лампы, сидела в своей комнате; вдруг перед глазами ее встало давно забытое видение. Ей почудилось, будто она с отцом съезжает в карете с какой-то горы в долину, окутанную клубами дыма и пара. Из густых клубов высовывается огромная рука и хватает карту, пан Томаш с тревожным любопытством смотрит на эту руку. «С кем отец играет?..» — подумала она. В этот миг подул ветер, туман рассеялся, и показалось лицо Вокульского, тоже огромных размеров. «Год назад у меня было такое же видение, — подумала панна Изабелла. — Что это значит?»

И тогда только вспомнила, что Вокульский уже неделю у них не был.

От Жежуховских Вокульский вернулся домой в необычном настроении. Приступ неистовства прошел, сменившись безразличием. Всю ночь Вокульский не спал, но бессонница не раздражала его. Он спокойно лежал, ни о чем не думая, и лишь с любопытством прислушивался к бою часов. Час... два... три...

На следующий день он встал поздно и долго сидел за чаем, опять прислушиваясь к бою часов. Одиннадцать... двенадцать... час... Как это скучно!

Ему захотелось почитать, но лень было идти в библиотеку за книгой; он растянулся на кушетке и принялся размышлять о теории Дарвина.

«Что такое естественный отбор? Это следствие борьбы за существование, в которой погибают особи, не обладающие определенными свойствами, и побеждают более жизнеспособные. Какое же свойство самое важное: половое влечение? Нет, отвращение к смерти. Особи, лишенные чувства отвращения к смерти, должны погибнуть в первую очередь. Если бы человека не страшила смерть, это умнейшее животное не стало бы влачить оковы жизни. В староиндийской поэзии сохранились следы существования древней расы, которая испытывала меньшее отвращение к смерти, чем мы. Ну, и раса эта вымерла, а потомки ее стали или рабами, или аскетами.

Но что такое отвращение к смерти? Несомненно, инстинкт, основанный на заблуждении. Бывают люди, испытывающие отвращение к мышам, существам совершенно безобидным, или даже к землянике — весьма вкусной ягоде. (Когда это я ел землянику?.. Ах да, в конце сентября прошлого года, в Заславеке... Любопытное местечко этот Заславок; хотел бы я знать, жива ли еще председательша и испытывает ли она отвращение к смерти?..)

Да и что такое страх смерти?.. Обман чувств! Умереть — это значит не быть нигде, ничего не ощущать и ни о чем не думать. В скольких же местах меня нет сейчас: ни в Америке, ни в Париже, ни на луне, ни даже в собственном магазине, — и это меня ничуть не трогает. А о скольких вещах я не думал мгновение назад, о скольких не думаю сейчас? Я думаю только об одной какой-нибудь вещи и не думаю о миллиардах других, даже не знаю об их существовании — и мне это совершенно безразлично.

Так что же может быть неприятного в том, что я, находясь не в миллионе мест, а только в одном, и думая не о миллиарде вещей, а только об одной, перестану находиться и в этом одном месте и думать об этой одной вещи?.. В самом деле, страх смерти — самое нелепое заблуждение, которому человечество поддается уже столько веков. Дикари боятся грозы, грохота огнестрельного оружия, даже зеркала, а мы, якобы цивилизованные люди, боимся смерти...»

Он поднялся, высунулся в окно и, усмехаясь, стал разглядывать прохожих, которые спешили куда-то, раскланивались со знакомыми, жестикулировали, оживленно разговаривали о чем-то. Он наблюдал механическую галантность мужчин, привычное кокетство женщин, равнодушные физиономии извозчиков, их усталых лошадей и не мог удержаться от мысли, что вся эта жизнь, полная тревожений и горя, в сущности, изряднейшая глупость.

Так он просидел до позднего вечера. На следующий день явился Жецкий и напомнил ему, что сегодня первое апреля и нужно выплатить Ленцкому проценты в сумме двух тысяч пятисот рублей.

— Ах, правда, — сказал Вокульский. — Завези ему...

— Я думал, что ты сам отвезешь...

— Мне что-то не хочется...

Жецкий повертелся по комнате, покашлял и наконец сказал:

— Пани Ставская что-то приуныла... Может, навестишь ее?

— В самом деле, я давно у нее не был. Зайду сегодня вечерком.

Получив такой ответ, Жецкий более не мешкал. Он очень нежно простился с Вокульским, забежал в магазин за деньгами, нанял извозчика и поехал к Мисевичовой.

— Я только на минутку, у меня очень спешное дело, — заговорил он весело. — Знаете, Стах сегодня будет у вас... Мне кажется (только сообщаю вам это под величайшим секретом), что Вокульский уже решительно порвал с Ленцкими...

— Неужели? — воскликнула Мисевичова, всплеснув руками.

— Я почти уверен, но... до свидания... Стах зайдет вечером...

Действительно, Вокульский вечером зашел и, что еще важнее, стал приходить ежедневно. Он являлся довольно поздно, когда Элюня уже спала, а Мисевичова уходила к себе, и часами просиживал со Ставской. Обычно он молчал, слушая ее рассказы о магазине Миллеровой или об уличных происшествиях. Сам он говорил редко или изрекал афоризмы, даже не имевшие связи с тем, о чем шла речь.

Однажды он сказал, без всякого повода:

— Человек — словно ночная бабочка: летит без оглядки в огонь, хоть и больно ему, хоть и погибнет он там. Однако, — прибавил он, помолчав, — обычно так действуют, пока не одумаются. Этим и отличается человек от бабочки...

«Он говорил о панне Ленцкой!» — подумала Ставская, и сердце ее учащенно забилося.

В другой раз он рассказал ей странную историю:

— Я слышал о двух закадычных друзьях, один из которых жил в Одессе, а другой в Тобольске; они несколько лет не виделись и оба очень соскучились.

Наконец тобольский друг, не в силах больше терпеть, решил сделать сюрприз одесскому и, не предупредив его, приехал в Одессу. Но приятеля он не застал: тот тоже стосковался и поехал в Тобольск...

Дела помешали им встретиться на обратном пути. Они увиделись только несколько лет спустя, и знаете, что тогда выяснилось?

Ставская подняла на него глаза.

— Вообразите, разыскивая друг друга, оба они в один и тот же день проезжали через Москву, останавливались в одной и той же гостинице и жили в двух соседних номерах. Иногда судьба зло подшучивает над людьми!

— Вероятно, в жизни это не часто случается... — тихо сказала Ставская.

— Кто знает!.. Кто знает!.. — возразил Вокульский.

Он поцеловал ей руку и ушел в раздумье.

«Нет, с нами так не будет», — подумала она в глубоком волнении.

Вечерами у Ставской Вокульский несколько оживлялся, даже немного ел и разговаривал.

Но остальное время он пребывал в апатии. Почти не притрагивался к еде, только выпивал огромное количество чаю, не интересовался делами, пропустил квартальное заседание своего Общества, ничего не читал и даже не думал. Ему казалось, что некая сила, которую он даже не умел бы назвать, вышвырнула его за борт повседневных дел, надежд и стремлений и что жизнь его подобна неодушевленному телу, несущемуся в пустоте.

«Ведь не пуцу же я себе пулю в лоб, — думал он. — Добро бы из-за банкротства, а так... Я презирал бы самого себя, если б отправился на тот свет из-за юбки... Надо было остаться в Париже... Кто знает, может быть, уже сейчас в моих руках было бы оружие, которое рано или поздно сметет с лица земли чудовищ с человеческими лицами».

Жецкий, догадываясь, что происходит с его другом, заходил к нему во всякое время дня, пытаясь вовлечь его в разговор. Но ничто, ни погода, ни торговля, ни политика, не интересовало Вокульского. Только однажды он оживился, когда Жецкий сказал, что Миллерова притесняет Ставскую.

— А чего ей надо?

— Может быть, она завидует, что ты бываешь у пани Ставской и платишь ей хорошее жалованье.

— Ничего, она уймется, когда я отдам магазин Ставской, а ее посажу кассиршей.

— Боже упаси, что ты! — ужаснулся Жецкий. — Ты погубишь пани Ставскую!

Вокульский зашагал по комнате.

— Ты прав. Как бы то ни было, если между женщинами начались раздоры, надо их разделить... Уговори Ставскую, чтобы она открыла магазин на свое имя, а мы доставим ей средства. Я с самого начала имел это в виду, а теперь вижу, что нечего больше откладывать.

Разумеется, пан Игнаций в ту же минуту полетел к своим дамам и сообщил им радостную новость.

— Не знаю, прилично ли нам принимать такой подарок, — смущенно заметила пани Мисевичова.

— Да какой же это подарок? — вскричал Жецкий. — Через несколько лет вы нам выплатите долг, и все будет в порядке. Как вы полагаете? — обратился он к Ставской.

— Я поступлю так, как захочет пан Вокульский. Велит он мне открыть магазин — открою, велит остаться у Миллеровой — останусь.

— Полно, Елена! — с упреком сказала мать. — Подумай, в какое положение ты себя ставишь, можно ли так говорить!.. Счастье еще, что нас не слышат чужие.

Ставская ничего не ответила, к великому огорчению пани Мисевичовой; старушку ужасала решительность дочери, прежде такой уступчивой и кроткой.

Однажды Вокульский, переходя улицу, заметил проезжавшую в карете Вонсовскую. Он поклонился и продолжал бесцельно идти вперед; вскоре его нагнал слуга.

— Барыня просят вашу милость...

— Что это с вами делается? — воскликнула красивая вдовушка, когда Вокульский подошел к карете. — Садитесь же, поедemте по Аллеям.

Он сел, и карета покатила.

— Что все это значит? — продолжала Вонсовская. — Выглядите вы ужасно, уже десять дней не были у Беллы... Ну, скажите же что-нибудь!

— Мне нечего говорить. Я не болен и не думаю, чтобы панне Изабелле были нужны мои посещения.

— А если нужны?

— Я никогда на этот счет не обольщался, а сейчас меньше чем когда-либо.

— Но... но, сударь... давайте говорить начистоту. Вы ревнивец, а это роняет мужчин в мнении женщин. Вы рассердились за Молинару...

— Ошибаетесь, сударыня. Я настолько не ревнив, что даже не намерен препятствовать панне Изабелле выбирать между мною и Молинару. У нас с ним равные шансы — я знаю.

— О сударь, это уж слишком! — возмутилась Вонсовская. — Что ж, значит, бедной женщине, которую мужчина удостоил обожания, уж и поговорить с другим нельзя?.. Не ожидала я, что человек вашего склада станет смотреть на женщину, как на наложницу в гареме. Наконец, чего вы хотите? Допустим даже, что Белла кокетничала с Молинару, так что из того?.. Это длилось всего один вечер и завершилось таким пренебрежительным прощанием со стороны Беллы, что просто неловко было смотреть.

У Вокульского отлегло от сердца.

— Дорогая пани Вонсовская, не будем притворяться, что не понимаем друг друга. Вы знаете, что для мужчины любимая женщина — святыня, алтарь. Правильно или нет, тем не менее это так. И вот, когда первый встречный авантюрист приближается к этой святыне, как к стулу, и обращается с нею, как со стулом, а святыня чуть ли не в восторге от подобного обращения, тогда... понимаете ли?.. начинаешь подозревать, что алтарь-то и на самом деле — всего только стул. Ясно я выражаюсь?

Вонсовская откинулась на спинку сиденья.

— О сударь, даже чересчур ясно! Однако что бы вы сказали, если бы кокетство Беллы оказалось только невинной мезтью, а верней, предостережением?..

— Кому?

— Вам. Вы-то ведь по-прежнему интересуетесь пани Ставской?

— Я? Кто вам сказал?..

— Предположим, очевидцы: Кшешовская, Марушевич...

Вокульский схватился за голову.

— И вы этому верите?..

— Не верю, потому что Охоцкий мне поручился, что это вздор; но разубедил ли так же кто-нибудь Беллу и удовольствовалась ли она этим — неизвестно.

Вокульский взял ее за руку.

— Дорогая пани Вонсовская, беру назад все, что я сказал о Молинари. Клянусь, я благоговею перед панной Изабеллой и как о величайшем несчастье скорблю о своих опрометчивых словах... Только теперь я вижу, как позорно вел себя...

Он был в таком отчаянии, что Вонсовской стало его жаль.

— Ну, ну, — сказала она, — успокойтесь, не надо преувеличивать... Даю вам честное слово (хотя, говорят, у женщины нет чести), что все, о чем мы говорили, останется между нами. Впрочем, я уверена, что сама Белла простила бы вам эту вспышку. Это было гадко, но... влюбленным прощают и не такие промахи.

Вокульский расцеловал обе ее руки, но она тут же отняла их.

— Пожалуйста, не любезничайте со мной, потому что для женщины любимый мужчина — алтарь... А теперь довольно, дальше я вас не повезу, ступайте вон-вон туда, к Белле, и...

— И что?

— И признайте, что я умею держать слово.

Голос ее дрогнул, но Вокульский этого не заметил. Он выскочил из кареты и бегом направился к дому Ленцких, мимо которого они как раз проезжали.

Ему отворил Миколай. Вокульский велел доложить о себе барышне. Панна Изабелла была одна и немедленно приняла его, вся розовая от смущения.

— Вы так давно не были у нас, — проговорила она. — Неужели вы хворали?

— Хуже, — ответил он, не садясь. — Я тяжело и незаслуженно оскорбил вас...

— Вы, меня?

— Да, оскорбил подозрением. Я был на концерте у Жежуховских... — продолжал он сдавленным голосом, — и ушел, даже не простившись с вами... Дальше не стоит рассказывать... но я чувствую, что вы вправе прогнать меня как человека, не оценившего вас... осмелившегося заподозрить...

Панна Изабелла пристально поглядела ему в глаза и, протянув руку, сказала:

— Я прощаю вас... садитесь.

— Не торопитесь прощать: это может окрылить меня надеждой...

Она задумалась.

— Ах, боже мой, что же поделаешь?.. Если уж вам так важно питать надежду... надейтесь!..

— И вы, вы говорите это, панна Изабелла?..

— Видно, так суждено, — ответила она, улыбаясь.

Он страстно припал к ее руке, которой она не отнимала, потом отошел к окну и снял что-то с шеи.

— Примите от меня эту вещицу, — сказал он, подавая ей золотой медальон на цепочке.

Панна Изабелла принялась с любопытством его рассматривать.

— Странный подарок, не правда ли? — сказал Вокульский, раскрывая медальон. — Видите вот эту пластинку, легонькую, как паутина?.. Представьте, это драгоценность, какой не найдешь ни в одной сокровищнице мира, зернышко великого изобретения, которое может изменить судьбы человечества. Кто знает, не родятся ли из этой пластинки воздушные корабли... Но не о том сейчас речь... Отдавая ее в ваши руки, я вместе с нею вручаю вам свою будущность...

— Так это талисман?

— Почти. Ради этой вещицы я мог бы уехать за границу и все мое состояние и остаток жизни отдать новой работе. Быть может, потом оказалось бы, что это пустая потеря времени, что мною владела мания, но, во всяком случае, мысль об этом изобретении была единственной вашей соперницей. Единственной... — повторил он с ударением.

— Вы собирались нас покинуть?

— И не далее, как сегодня утром. Поэтому я отдаю вам этот амулет. Отныне для меня нет на свете иного счастья, кроме вас... Вы — или смерть!

— Если так, то беру вас в плен, — сказала панна Изабелла и повесила амулет на шею. И, опуская его за лиф, потупилась и покраснела.

«Какой же я негодяй! — подумал Вокульский. — И такую женщину я смел подозревать... Ах, подлец!»

По дороге домой он зашел в магазин. У него было такое сияющее лицо, что пан Игнаций даже испугался.

— Что с тобой? — спросил он.

— Поздравь меня! Панна Ленцкая — моя невеста.

Но Жецкий побледнел и не поздравил его.

— Я получил письмо от Мрачевского, — сказал он после долгой паузы. — Как тебе известно, Сузин еще в феврале послал его во Францию.

— И что ж? — прервал его Вокульский.

— Так вот, он пишет мне из Лиона, что Людвик Ставский благополучно здравствует и живет в Алжире под фамилией Эрнста Вальтера. Кажется, торгует вином. Кто-то видел его в прошлом году.

— Мы это проверим, — ответил Вокульский и спокойно записал адрес в алфавитном указателе.

С тех пор он все вечера проводил у Ленцких и даже получил приглашение у них обедать.

Несколько дней спустя к нему пришел Жецкий.

— Ну что, старина, — весело приветствовал его Вокульский, — как там принц Люлю?.. А ты все еще сердишься на Шлангбаума, что он смел купить магазин?..

Старый приказчик мрачно тряхнул головой.

— Пани Ставская, — сказал он, — уже не ходит к Миллеровой... Она прихворнула... поговаривает об отъезде из Варшавы... Ты не наведишь ее?..

— Да, надо бы зайти, — ответил Вокульский, потирая лоб. — Ты говорил с нею насчет магазина?

— Конечно; даже одолжил ей тысячу двести рублей.

— Из твоих скудных сбережений?.. А почему она не займет у меня?

Жецкий промолчал.

К двум часам Вокульский поехал к Ставской. Она очень осунулась, и ее кроткие глаза казались еще больше и грустнее.

— Что же это, — спросил Вокульский, — я слышал, вы хотите уехать из Варшавы?

— Да... Может быть, муж вернется... — отвечала она сдавленным голосом.

— Жецкий говорил мне об этом, и, если позволите, я постараюсь проверить это известие...

Ставская залилась слезами.

— Вы так добры к нам... — шепнула она. — Будьте же счастливы...

В это же время Вонсовская нанесла визит панне Изабелле и узнала, что Вокульский получил ее согласие.

— Наконец-то, — сказала пани Вонсовская. — Я думала, ты никогда не решишься.

— Видишь, я сделала тебе приятный сюрприз, — ответила панна Изабелла. — Как бы то ни было, он будет идеальным мужем: богатый, незаурядный, а главное — необычайно кроткий. Он не только не ревнует, но даже извиняется за подозрения. Это меня окончательно обезоружило... У истинной любви — на глазах повязка... Ты молчишь?

— Я думаю.

Между тем Марианна, не снимая цепочки, приоткрыла дверь и увидела на площадке весьма элегантного мужчину с шелковым зонтиком и саквояжем. За мужчиною, который, несмотря на тщательно выбритую верхнюю губу и пышные бакенбарды, чем-то смахивал на камердинера, стояли носильщики с чемоданами и тюками.

— Чего вам? — машинально спросила служанка.

— Отпирай-ка двери, обе половины! — повелительно сказал мужчина с саквояжем. — Это вещи барона и мои...

Дверь распахнулась, мужчина велел носильщикам поставить чемоданы и тюки в передней и спросил:

— Где тут кабинет барина?

В эту минуту выбежала баронесса, растрепанная, в незастегнутом капоте.

— Что это? — взволнованно закричала она. — Ах, это ты Леон... А где барин?..

— Господин барон, кажется, в магазине у Стемпека... Я хотел поставить вещи по местам, но где же кабинет барина, где моя комната? — Погоди минутку... — засуетилась баронесса. — Марианна сейчас переберется из кухни, а ты туда...

— Я на кухню? — спросил мужчина, названный Леоном. — Вы шутите, ваша милость. Я с баринком уговорился, что у меня будет отдельная комната...

Баронесса растерялась.

— Что это я!.. — поправилась она. — Тогда вот что, Леон, займи пока помещение в четвертом этаже, где жили студенты.

— Это дело другое, — ответил Леон. — Если там две-три комнатухи, я могу даже поселиться с поваром...

— С каким поваром?

— Как же, ваша милость, без повара вам не обойтись. Тащите вещи наверх,

— обратился он к носильщикам.

— Что вы делаете? — крикнула баронесса, видя, что те забирают все чемоданы и тюки.

— Они берут мои вещи. Ступайте же! — скомандовал Леон.

— А барина где же?

— Вот, пожалуйста... — ответил слуга, подавая Марианне саквояж и зонтик.

— А постель?.. одежда?.. всякая утварь?.. — ужаснулась баронесса, заламывая руки.

— Ваша милость, не устраивайте сцен в присутствии слуг! — пожурил ее Леон. — Все необходимые вещи должны быть у барина дома.

— Да, да, конечно... — прошептала присмирившая баронесса.

Расположившись наверху, куда пришлось еще отнести кровать, стол, несколько стульев, таз и кувшин воды, пан Леон надел галстук, чистую, хотя и тесноватую сорочку, облачился во фрак и, вернувшись в квартиру к баронессе, важно уселся в передней.

— Через полчаса, — сказал он Марианне, вынимая золотые часы, — господин барон, наверное, придут, потому что они всегда от четырех до пяти почивают. Ну как, скучновато вам тут? — прибавил он. — Ничего, я вас расшевелю...

— Марианна!.. Марианна! иди сюда!.. — позвала из своей комнаты баронесса.

— Что это вы так бежите? — удивился Леон. — Помирает она там, старуха ваша, что ли?.. Небось подождет...

— Да боюсь я, она знаете, какая сердитая, — шептала Марианна, вырываясь от него.

— Сердитая... сами вы ее распустили, оттого и сердитая. Им только дай волю, так сразу на шею сядут... При бароне вам будет полегче, он понимает настоящее обхождение. Только одеваться вам придется понаряднее, а то прямо послушница... Мы монашек не любим.

— Марыся!.. Марыся!..

— Ну, ступайте теперь, только не спеша, — напутствовал ее Леон.

Вопреки предположениям Леона, барон прибыл к своей супруге не в четыре часа, а лишь около пяти.

На нем был новый сюртук и шляпа, а в руке тросточка с серебряным набалдашником в форме копыта. Он казался спокойным, но под этой внешней оболочкой верный слуга подметил сильное волнение. Еще в передней пенсне дважды соскочило с его носа, а левое веко дергалось чаще, чем перед дуэлью или даже за партией штосса.

— Доложи обо мне баронессе, — сказал Кшешовский, понизив голос.

Леон распахнул двери гостиной и возвестил:

— Господин барон!..

А когда барон вошел, он прикрыл за ним дверь, выпроводил из передней Марианну, прибежавшую из кухни, и стал подслушивать.

Баронесса, сидевшая на кушетке с книжкой, при виде супруга поднялась. Барон отвесил ей глубокий поклон, она хотела ответить, но снова упала на кушетку.

— Муж мой... — прошептала она, закрывая лицо руками. — О! что же ты делаешь...

— Весьма сожалею, — ответил барон, вторично отвешивая поклон, — что вынужден свидетельствовать вам свое почтение в подобных обстоятельствах.

— Я готова простить все, если...

— Это весьма похвально для нас обоих, — прервал барон, — поскольку и я готов простить вам все неприятности, которые вы причинили моей особе. Но, к несчастью, вы изволили злоупотреблять моим именем; оно, правда, ничем особенно не знаменито в мировой истории, но тем не менее заслуживает, чтобы с ним обходились бережнее.

— Именем?.. — повторила баронесса.

— Да, сударыня, именем, — ответил барон, и поклонился в третий раз, по-прежнему не выпуская из рук шляпы. — Вы простите, сударыня, что я коснусь столь неприятного

предмета, но... с некоторых пор мое имя треплют по всем судам... Например, в настоящий момент вам угодно вести целых три процесса: два против жильцов и один против вашего бывшего поверенного, который, не в обиду ему будь сказано, действительно последний негодяй.

— Но позволь! — возопила баронесса, срываясь с кушетки. — Ведь у тебя самого в настоящий момент одиннадцать судебных дел из-за тридцати тысяч долга!

— Извините... У меня семнадцать судебных дел из-за тридцати девяти тысяч долга, если только память мне не изменяет. Но то ведь процессы из-за долгов. Среди них вы не найдете ни одного, который я возбудил бы против честной женщины, обвинив ее в краже куклы... Среди моих прегрешений нет ни одного анонимного письма, которое очернило бы невинную особу, а среди моих кредиторов ни одному не пришлось бежать из Варшавы, спасаясь от клеветы, как это случилось с некоей пани Ставской благодаря стараниям баронессы Кшешовской...

— Ставская была твоей любовницей...

— Извините! Не отрицаю, что я добивался ее благосклонности, но, клянусь честью, это самая порядочная женщина, какую мне только случалось встретить в жизни. Пусть вас не оскорбляет лестный отзыв о посторонней особе, соблаговолите поверить, что пани Ставская — женщина, которая пренебрегла даже моими... моими ухаживаниями, а поскольку, баронесса, я имею честь довольно хорошо знать женщин обычного типа... мое мнение кое-что значит.

— Чего же ты хочешь наконец? — спросила баронесса уже твердым голосом.

— Я хочу... оберегать имя, которое мы оба носим. Хочу... чтобы в этом доме уважали баронессу Кшешовскую. Хочу покончить с судами и служить вам опорой... С этой целью я вынужден просить вашего гостеприимства. А когда я наведу порядок...

— Ты уйдешь от меня?

— Вероятно.

— А твои долги?

Барон поднялся со стула.

— О моих долгах можете не беспокоиться, — сказал он тоном глубокого убеждения. — Если Вокульский, незнатный дворянин, за несколько лет сколотил миллионы, то барон Кшешовский сможет выплатить сорок тысяч долгов. Я докажу, что умею работать...

— Ты бредишь, муж мой, — возразила баронесса. — Как тебе известно, я сама из семьи, которой удалось сколотить состояние, а потому говорю тебе: ты не сумеешь заработать даже на собственное пропитание... Какое там! Тебе не прокормить даже последнего бедняка!..

— Значит, вы отказываетесь от опоры, которую я предлагаю вам, уступая просьбам князя и желая спасти честь своего имени?

— Напротив! Займись же наконец мною, а то до сих пор...

— Я, со своей стороны, — перебил барон, снова поклонившись, — постараюсь забыть прошлое...

— Ты давно его забыл... Ты даже не был на могиле нашей дочери...

Таким образом, барон вновь водворился в доме своей супруги. Он прекратил процессы против жильцов, бывшему поверенному баронессы заявил, что велит его выпороть, если тот когда-нибудь выразится о своей клиентке без должного уважения, написал письмо с извинениями Ставской и послал ей (за тридевять земель, под Ченстохов) огромный букет. Затем нанял повара и, наконец, вместе с супругой нанес визиты чуть не всему высшему обществу, заранее сообщив Марушевичу, который раззвонил об этом где только мог, что, если какая-нибудь из дам не явится к ним с ответным визитом, барон вызовет ее мужа на дуэль.

В свете возмущались дикими притязаниями барона, тем не менее ответные визиты нанесли Кшешовским все, и почти все стали поддерживать с ними отношения.

За это баронесса (признак необычайной деликатности с ее стороны), никому ни слова не сказав, начала выплачивать мужнины долги. Одних кредиторов она ругала, перед другими плакалась, почти всем что-нибудь урезывала, ссылаясь на разбойничьи проценты, сердилась, выходила из себя — но тем не менее платила. В особом ящике ее письменного стола набралось уже несколько фунтов мужниных векселей, когда произошел следующий случай.

Магазин Вокульского в июле должен был перейти во владение Генрика Шлангбаума. Так как новый хозяин не желал принимать на себя ни долгов, ни ссуд прежней фирмы, пан Жецкий спешно приводил в порядок все счета.

В числе должников оказался и барон Кшешовский, которому Жецкий отправил письмо с напоминанием о долге и просьбой ответить возможно скорее.

Напоминание это, как и все документы подобного рода, попало в руки баронессы; она же, вместо того чтобы заплатить, написала Жецкому грубое письмо, в котором прямо обвиняла его в мошенничестве, нечестной уловке при покупке лошади и тому подобном.

Точно через двадцать четыре часа после отправки этого письма в квартиру Кшешовских явился Жецкий и потребовал свидания с бароном.

Барон принял его весьма радушно, хотя был заметно удивлен, увидев бывшего секунданта своего противника в столь сильном раздражении.

— Я пришел к вам с претензией, — начал старый приказчик. — Позавчера я позволил себе послать вам счет...

— Ах да... я что-то задолжал вашей фирме... Сколько же там?

— Двести тридцать шесть рублей тридцать копеек...

— Завтра же постараюсь удовлетворить ваши требования...

— Это еще не все, — перебил Жецкий. — Вчера я получил от вашей почтенной супруги вот это письмо...

Прочитав послание баронессы, Кшешовский призадумался и наконец ответил:

— Весьма сожалею, что баронесса употребила столь не парламентские выражения, но... что касается покупки лошади, она права... Пан Вокульский (впрочем, я его за это не виню) действительно дал мне за лошадь шестьсот рублей, а расписку взял за восемьсот.

Жецкий позеленел от гнева.

— Милостивый государь, весьма прискорбно, но... один из нас оказался жертвой обмана... грубого обмана, сударь! И вот доказательство...

Он достал из кармана два листа бумаги и один из них протянул Кшешовскому. Тот глянул — и закричал:

— Значит, это негодяй Марушевич?.. Но, клянусь честью, он отдал мне только шестьсот рублей и вдобавок долго распространялся насчет корыстолюбия пана Вокульского...

— А вот это? — продолжал Жецкий, протягивая второй лист.

Барон осмотрел документ со всех сторон. У него побелели губы.

— Теперь я все понимаю, — сказал он. — Расписка эта подложная, и совершил подлог Марушевич. Я не занимал денег у пана Вокульского!

— Тем не менее баронесса назвала нас мошенниками...

Барон встал.

— Простите, сударь, — сказал он. — От имени моей жены приношу вам самые глубокие извинения и независимо от любого удовлетворения, которое я готов дать вам, господа, я сделаю все, чтобы исправить зло, причиненное пану Вокульскому... Да, сударь... Я поеду с визитами ко всем моим приятелям и заявлю им, что пан Вокульский — джентльмен, что он заплатил за лошадь восемьсот рублей и что мы оба оказались жертвами интригана и негодяя Марушевича. Кшешовские, пан... пан...

— Жецкий.

— ...уважаемый пан Жецкий, Кшешовские никогда и никого не чернили. Они могут заблуждаться, но без злого умысла, пан...

— Жецкий.

— ...уважаемый пан Жецкий.

Тем и кончился разговор; старый приказчик, сколько ни уговаривал его барон, не слушал никаких доводов и не пожелал видиться с баронессой.

Барон проводил его до дверей и, не удержавшись, заметил Леону:

— Все-таки купцы — люди с достоинством.

— У них деньги, ваша милость, кредит, — ответил Леон.

— Вот дурак! Так если у нас нет денег, значит нет и достоинства?

— Есть, ваша милость, только на другой манер.

— Уж конечно, не на купеческий!.. — надменно ответил барон и велел подать визитку.

Прямо от барона Жецкий отправился к Вокульскому и подробно рассказал ему о проделках Марушевича и раскаянии барона, а под конец вручил ему подложные документы, советуя подать в суд.

Вокульский слушал его с серьезным видом, даже одобрительно покачивал головой, но смотрел куда-то в сторону и думал о другом.

Старый приказчик, сообразив, что тут ему больше нечего делать, попрощался со своим Стахом и, уходя, сказал:

— Я вижу, ты чертовски занят; так лучше сразу передай дело юристу.

— Хорошо... хорошо... — отвечал Вокульский, не сознавая, что ему говорит пан Игнаций. В эту минуту он думал о развалинах Заславского замка, где впервые увидел слезы на глазах панны Изабеллы.

«Сколько в ней благородства... Какая утонченность чувств! Не скоро еще познаю я все сокровища этой прекрасной души...»

Он теперь по два раза в день ездил к Ленцким, а если не к ним, то по крайней мере в те дома, где бывала панна Изабелла, где он мог смотреть на нее, обменяться с ней несколькими словами. Пока что ему этого было достаточно, а о будущем он не смел думать.

«Мне кажется, я умру у ее ног... — говорил он себе. — Ну и что же? Умру, глядя на нее, и, может быть, целую вечность буду ее видеть. Кто знает, не заключена ли вся будущая жизнь в последнем ощущении человека?..»

И повторял за Мицкевичем:

И сколько лет спать буду так — не знаю...

Когда ж велят с могилой распроститься,

Ты, об уснувшем друге вспоминая,

Сойдешь с небес, поможешь пробудиться!

И, ощущая вновь прикосновенье любимых рук,

К груди твоей прильну я;

Проснусь, подумав, что дремал мгновенье,

Твой видя взор, лицо твое целую!^[47]

Несколько дней спустя к нему влетел барон Кшешовский.

— Я уже два раза заезжал к вам! — воскликнул он, взясь со своим пенсне, которое, казалось, составляло единственный предмет его жизненных забот.

— Вы? — удивился Вокульский. И вдруг вспомнил о том, что ему рассказывал Жецкий, а также о двух визитных карточках барона, которые он нашел вчера на своем столе.

— Вы догадываетесь, по какому поводу я здесь? — говорил барон. — Пан Вокульский, могу ли я надеяться, что вы мне простите невольную мою вину перед вами?

— Ни слова более, барон! — перебил Вокульский, обнимая его. — Это пустяки. Впрочем, если бы я и заработал на вашей лошади двести рублей, к чему бы мне это скрывать?

— Верно! — воскликнул барон, хлопнув себя по лбу. — Как это мне раньше не пришло в голову... А прогос насчет заработка: не могли бы вы указать мне способ, как быстро разбогатеть? Мне до зарезу нужно раздобыть сто тысяч в течение года...

Вокульский улыбнулся.

— Вы смеетесь, кузен (мне думается, уже можно вас так называть?). Вы смеетесь, а между тем сами же и вполне честно нажили миллионы в течение двух лет...

— Даже и не двух, — заметил Вокульский. — Но это богатство не заработано, а выиграно. Я выиграл, несколько раз подряд удваивая ставку, как шулер, а вся моя заслуга в том, что я играл некраплеными картами.

— Значит, опять-таки удача! — вскричал барон, срывая пенсне. — Ах, дорогой кузен, у меня нет удачи ни на грош. Половину состояния я проиграл, остальное поглотили женщины, и теперь хоть пулю себе в лоб пускай! Нет, мне решительно не везет!.. Вот и сейчас: я думал, этот осел Марушевич соблазнит баронессу... То-то был бы рай дома! Как бы она стала снисходительна к моим грешкам... Да какое там! Баронесса и не думает мне изменять, а этого шута горохового ждут арестантские роты... Пожалуйста, непременно упрячьте его туда, потому что его подлости даже мне надоели. Итак, — заключил он, — между нами мир и согласие. Прибавлю только, что я побывал у всех знакомых, до кого могли дойти мои неосмотрительные слова насчет лошади, и подробнейшим образом разъяснил, как было дело... Пусть Марушевич отправляется в тюрьму — туда ему и дорога, а я на этом выиграю две тысячи в год... Был я также у пана Томаша и панны Изабеллы и им тоже рассказал о нашем недоразумении... Вспомнить страшно, как этот негодяй умел выжимать из меня деньги! Уже год, как у меня их нет, а он умудрялся брать у меня в долг. Гениальный прохвост!.. Я чувствую, что если его не сошлют на каторгу, мне от него не избавиться. До свидания, кузен.

Не прошло и десяти минут после ухода барона, как слуга доложил Вокульскому, что какой-то господин непременно хочет его видеть, но отказывается назвать себя.

«Неужели Марушевич?» — подумал Вокульский.

Действительно, вошел Марушевич, бледный, с горящими глазами.

— Сударь! — мрачно проговорил он, закрывая дверь кабинета. — Вы видите перед собой человека, который решил...

— Что же вы решили?

— Я решил покончить счеты с жизнью... Это тяжелая минута, но иного выхода нет. Честь...

Он передохнул и снова заговорил в волнении:

— Правда, я мог бы раньше убить вас, причину моих несчастий...

— О, не стесняйтесь, пожалуйста, — заметил Вокульский.

— Вы шутите, а между тем оружие и в самом деле при мне, и я готов...

— Испытайте-ка свою готовность.

— Сударь! Так не разговаривают с человеком, стоящим на краю могилы. Если я пришел, то лишь затем, чтобы доказать, что при всех моих заблуждениях сердце у меня благородное.

— Зачем же вы тогда стоите на краю могилы?

— Чтобы спасти свою честь, которой вы хотите меня лишить.

— О!.. Оставьте при себе это бесценное сокровище, — ответил Вокульский и вынул из стола роковые бумаги. — Речь идет об этих документах, не правда ли?

— Вы еще спрашиваете? Вы издеваетесь над моим отчаянием!

— Послушайте, пан Марушевич, — сказал Вокульский, просматривая документы, — я мог бы сейчас прочитать вам нотацию или просто помучить вас неизвестностью. Но поскольку мы оба уже совершеннолетние, то...

Он разорвал бумаги на мелкие клочки и отдал их Марушевичу.

— Сохраните это себе на память.

Марушевич упал перед ним на колени.

— Сударь! — вскричал он. — Вы подарили мне жизнь! Моя благодарность...

— Не ломайтесь, — перебил его Вокульский. — За вашу жизнь я был совершенно спокоен, так же как я совершенно уверен, что рано или поздно вы угодите в тюрьму. Просто мне не хотелось сокращать вам этот путь.

— О, вы безжалостны! — ответил Марушевич, машинально стряхивая пыль с колен. — Одно доброе слово, одно теплое рукопожатие могло бы повернуть меня на новую стезю. Но вы на это неспособны...

— Ну, прощайте, пан Марушевич. Только не вздумайте когда-нибудь подписаться моим именем, потому что тогда... понятно?

Марушевич ушел разобиженный.

«Это ради тебя, ради тебя, любимая, сегодня я избавил от тюрьмы человека. Страшное дело — лишить кого-нибудь свободы, даже вора или клеветника!» — размышлял Вокульский.

С минуту еще в нем происходила борьба. Он то упрекал себя, что не воспользовался случаем избавить общество от негодяя, то задумывался — что случилось бы с ним, если б

его засадили в тюрьму, оторвали от панны Изабеллы на долгие месяцы, может быть годы.

«Какой ужас — никогда более не видеть ее!.. и, наконец, кто знает, не в милосердии ли высшая справедливость?.. Как я стал сентиментален!..»

— О чем?

— Если он знает тебя так же, как ты его, то вы совсем друг друга не знаете.

— Тем приятнее проведем мы медовый месяц.

— От души желаю.

Глава двенадцатая. Примирение супругов

С середины апреля баронесса Кшешовская круто изменила образ жизни.

Раньше она день-деньской только и делала что распекала Марианну, писала жильцам грозные уведомления по поводу мусора на лестнице да допрашивала дворника: не сорвано ли объявление о сдаче квартир, ночуют ли дома девушки из парижской прачечной, не приходил ли околоточный по какому-нибудь делу? И велела ему хорошенько присматриваться к тем, кто пожелает снять помещение в четвертом этаже, особенно к молодым, в случае же если это окажутся студенты, отказывать, говоря, что квартира уже сдана.

— Смотри же, Каспер, не забудь, — говорила она в заключение, — прогоню тебя вон, если вотрется сюда какой-нибудь студент. Хватит с меня этих нигилистов, развратников, безбожников, которые таскают сюда человеческие черепа!..

После каждой такой беседы дворник, вернувшись в свою каморку, швырял шапку на стол и кричал:

— Ей-богу, повешусь или сбегу от такой хозяйки, черт бы ее побрал! Дворник и на рынок по пятницам ходи, и в аптеку бегай по два раза на дню, и белье катать носи, и пес ее знает, куда только не вздумает посылать! Она уже посулилась, что будет меня с собой на кладбище возить, могилку прибирать... Слыханное ли дело! Уйду, уйду отсюда на святого Яна, хоть бы пришлось двадцать рублей отступного дать...

Но с середины апреля баронесса стала ласковой. Этому способствовало несколько обстоятельств.

Во-первых, однажды к ней пришел незнакомый юрист с конфиденциальным вопросом: известно ли ей что-нибудь о средствах барона?.. А если бы таковые имелись (в чем он, впрочем, сомневался), то следовало бы их указать, дабы избавить барона от позора, ибо его кредиторы готовы прибегнуть к крайним мерам.

Баронесса торжественно заверила адвоката, что супруг ее при всем своем коварстве и жестокосердии никакими денежными средствами не располагает. Тут она истерически разрыдалась, что заставило адвоката поспешно ретироваться. Однако, как только жрец правосудия удалился, баронесса чрезвычайно быстро пришла в себя и, кликнув Марианну, обратилась к ней необычно спокойным тоном.

— Нужно будет повесить чистые занавески, Марыся; я предчувствую, что наш несчастный барин скоро одумается.

Несколько дней спустя к баронессе явился князь собственной персоной. Они заперлись в дальней комнате, и, пока говорили, баронесса успела раза три разрыдаться и один раз упасть в обморок. Но о чем они говорили, этого не знала даже Марианна. По уходе князя баронесса велела немедленно позвать Марушевича, а когда тот прибежал, сказала удивительно кротким голосом, перемежая речь свою вздохами:

— Мне кажется, пан Марушевич, что мой заблудший муж наконец раскаялся... Так будьте добры, поезжайте и купите мужской халат и домашние туфли... Примерьте на себя, ведь оба вы, бедняги, тщедушные...

Марушевич поднял брови, но деньги взял и купил, что требовалось. По мнению баронессы, заплатить сорок рублей за халат и шесть за туфли — было дороговато, но Марушевич ответил, что в ценах не разбирается, а покупал в первоклассных магазинах, и больше об этом не было речи.

Прошло еще несколько дней, и в квартиру Кшешовской явились два еврея с вопросом — дома ли барон? Баронесса, вместо того чтобы обрушиться на них с криком, как делала обычно, на этот раз очень сдержанно велела им выйти вон. Потом позвала дворника и сказала ему:

— Дорогой Каспер, мне кажется, наш бедный барин не сегодня-завтра придет домой... Надо постелить дорожку на лестнице до третьего этажа. Только следи, дружок, как бы прутья не разворовали... И не забудь раза два в неделю выбивать дорожку.

Она больше не распекала Марианну, не писала уведомлений жильцам и не изводила дворника... Целыми днями ходила она по своей просторной квартире, скрестив руки на груди, бледная, молчаливая, взволнованная.

Заслышав грохот пролетки, остановившейся перед домом, она бросалась к окну; при каждом звонке бежала в гостиную и прислушивалась из-за притворенных дверей, с кем разговаривает Марианна.

После нескольких дней такой жизни она еще больше побледнела и стала еще раздражительнее. Все быстрее шагала она по комнатам, то и дело бросалась на стул или кресло с сильным сердцебиением и в конце концов слегла в постель.

— Вели снять с лестницы дорожку, — сказала она Марианне хриплым голосом. — Видно, какой-нибудь мерзавец опять одолжил барину денег.

Но не успела она договорить, как в передней энергично позвонили. Баронесса послала Марианну отворить, а сама, охваченная предчувствием, начала одеваться, невзирая на головную боль. Все валилось у нее из рук.

Глава тринадцатая. *Tempus fugit, aeternitas manet*

Время течет, вечность неизменна (лат.).

Хотя дело Марушевича было улажено с глазу на глаз, все же оно не осталось в тайне. Вокульский рассказал о его посещении Жецкому и велел вычеркнуть из книг мнимый долг барона, Марушевич же повинился барону, прибавив, однако, что теперь уже не за что сердиться, раз долг списан со счета, а он, Марушевич, намерен исправиться.

— Я чувствую, — говорил он, вздыхая, — что мог бы совершенно перемениться, будь у меня хоть тысячи три в год... Подлый мир, где такие люди, как я, зря пропадают!

— Ну, ну, полно, Марушевич, — успокаивал его барон. — Я тебя очень люблю, но ведь всем известно, что ты прохвост.

— А в мое сердце вы заглянули? Знаете вы, какие в нем чувства? О, если б существовал суд, умеющий читать в душе человека, еще не известно, кто из нас был бы оправдан, я или те, кто судят меня?

В общем, и Жецкий, и барон, и князь, и два или три графа, узнавшие о «новой проделке» Марушевича, — все признавали, что Вокульский поступил великодушно, но не по-мужски.

— Поступок прекрасный, — говорил князь, — но... не в стиле Вокульского. Мне казалось, он принадлежит к числу людей, которые представляют в обществе силу, творящую добро и карающую мерзавцев. Любой ксендз мог поступить так, как Вокульский с Марушевичем... Боюсь, он теряет свою энергию...

Энергии Вокульский не терял, но действительно изменился во многих отношениях. Например, магазин он совсем забросил, даже мысль о нем внушала ему отвращение, потому что звание галантерейного купца роняло его в глазах панны Изабеллы. Зато с большим рвением занялся Обществом по торговле с Россией, так как оно приносило огромные прибыли и тем самым увеличивало состояние, которое он хотел сложить к ногам панны Изабеллы.

С той минуты, как он сделал предложение и получил согласие, его охватило какое-то странное чувство размягченности и жалостливости. Ему казалось, что он не только не способен кого-нибудь обидеть, но и сам не сумел бы защитить себя, если, конечно, дело не касалось панны Изабеллы. Зато он испытывал непреодолимую потребность делать людям добро. Не ограничившись дарственной в пользу Жецкого, он дал Лисецкому и Клейну, своим бывшим приказчикам, по четыре тысячи рублей — за ущерб, который нанес им, продав магазин Шлангбауму. Он назначил также около двенадцати тысяч на награды инкассаторам, швейцарам, посыльным и возчикам.

Венгелеку он не только справил пышную свадьбу, но и прибавил к сумме, которую обещал новобрачным, еще несколько сот рублей. Как раз в эту пору у возчика Высоцкого родилась дочь, и Вокульского пригласили в крестные, а когда сметливый отец назвал новорожденную Изабеллой, Вокульский преподнес своей крестнице пятьсот рублей на приданое.

Это имя было ему очень дорого. Нередко в тишине своей одинокой квартиры он брал карандаш, бумагу и без конца писал: «Изабелла, Иза... Белла...», а потом сжигал листки, чтобы имя любимой не попало в чужие руки. Он собирался купить под Варшавой небольшой земельный участок, построить виллу и назвать ее «Изабелин». Однажды ему вспомнилось, как во время его скитаний по Уралу один ученый нашел

новый минерал и советовался, как бы его назвать. Тогда Вокульский не знал еще панны Изабеллы, но теперь упрекал себя в недогадливости и огорчался, что не предложил назвать его «изабелитом». Наконец, прочитав в газетах о том, что открыт новый астероид и открывший его астроном не знает, как назвать его, Вокульский собирался назначить крупную награду тому, кто откроет новую планету и назовет ее «Изабелла».

Безмерная страсть к одной женщине все же не вполне вытеснила мысли о другой. Иногда он вспоминал пани Ставскую, которая, как он знал, готова была для него пожертвовать всем, и чувствовал как бы угрызения совести.

— Но что же делать? — говорил он себе. — Не моя вина, что я люблю другую... Хотя бы она скорей забыла меня и была счастлива...

Он решил, во всяком случае, обеспечить ее будущее и окончательно выяснить судьбу ее мужа.

«Пусть хоть не тревожится о завтрашнем дне и не думает о приданом для дочери...»

Часто он видел панну Изабеллу в многочисленном кругу знакомых, молодых и старых. Но его уже не задевали ни ухаживания мужчин, ни ее взгляды и улыбки.

«Такая уж у нее натура, — думал он. — Иначе она не умеет ни смотреть, ни смеяться. Она как цветок или солнце, которые невольно дарят счастьем всех и всех чаруют своей красотой».

Однажды он получил телеграмму из Заславека — приглашение на похороны председательши.

— Умерла?... — прошептал он. — Жаль, прекрасной души была женщина!.. Почему я не был подле нее в последние минуты?..

Он огорчился, загрустил, но на похороны старушки, которая проявила к нему столько участия, не поехал. У него не хватило духу расстаться с панной Изабеллой хотя бы на несколько дней...

Он уже сознавал, что больше не принадлежит себе, что все его мысли, чувства, стремления, все помыслы его и надежды неразрывно связаны с одной женщиной. Умри она — и ему не пришлось бы даже убивать себя: душа его сама полетела бы за ней, как птица, лишь на минутку присевшая на ветку. Он даже не говорил ей о своей любви — как не говорят о тяжести собственного тела или о воздухе, который наполняет человека и окружает его со всех сторон. Если ему случалось подумать о ком-нибудь другом, не о ней, он в изумлении вздрагивал, как человек, чудом занесенный в незнакомую местность.

Это была не любовь, а экстаз.

Однажды, в мае, его вызвал к себе Ленцкий.

— Представь себе, — сказал он, — мы должны ехать в Краков. Гортензия больна, хочет видеть Беллу (кажется, речь идет о завещании), ну, и, конечно, она рада будет познакомиться с тобой... Ты можешь поехать с нами?

— В любую минуту, — ответил Вокульский. — Когда вы едете?

— Надо бы сегодня, но, наверное, задержимся до завтра.

Вокульский обещал к завтрашнему дню собраться. Когда он, попрощавшись с паном Томашем, зашел к панне Изабелле, она сообщила ему, что Старский в Варшаве.

— Бедный мальчик! — со смехом сказала она. — Получил от председательши только две тысячи в год да на руки десять тысяч. Я советую ему жениться на богатой, но он предпочитает отправиться в Вену, а оттуда, всего вернее, в Монте-Карло... Я предложила ему ехать с нами. Будет веселей, не правда ли?

— Разумеется, — ответил Вокульский. — Тем более что мы возьмем отдельный вагон.

— Так до завтра.

Вокульский уладил самые неотложные дела, заказал на железной дороге салон-вагон до Кракова и в восемь часов, отправив свои вещи, был у Ленцких. Они втроем выпили чаю и к десяти часам поехали на вокзал.

— Где же пан Старский? — спросил Вокульский.

— Понятия не имею, — ответила панна Изабелла. — Может, он и вовсе не поедет... Это такой ветрогон!

Они уже сидели в вагоне, а Старского все не было. Панна Изабелла кусала губы и поминутно выглядывала в окно. Наконец, после второго звонка, показался на перроне Старский.

— Сюда, сюда! — закричала панна Изабелла. Но Старский не слышал; Вокульский выбежал из вагона и привел его.

— Я думала, вы уж не приедете, — сказала панна Изабелла.

— Чуть было так и не случилось, — ответил Старский, здороваясь с паном Томашем. — Я был у Кшешовского, и вообразите, кузина, мы играли с двух часов дня до девяти вечера...

— И снова проигрались?

— Конечно... Таким, как я, не везет в карты... — прибавил он, взглянув на нее.

Панна Изабелла слегка покраснела.

Поезд тронулся. Старский сел по левую руку панны Изабеллы, и они стали разговаривать то по-польски, то по-английски, все чаще переходя на английский. Вокульский сидел справа от панны Изабеллы; не желая мешать разговору, он сел к окну, возле пана Томаша.

Ленцкому нездоровилось; он укутался в крылатку и плед, укрыл одеялом ноги. Затем велел закрыть все окна в вагоне и завесить фонари, потому что его раздражал свет. Теперь он надеялся заснуть, его даже начало клонить ко сну; но тут он заговорил с Вокульским и увлекся, пространно рассказывая о сестре своей Гортензии, которая смолоду была к нему очень привязана, о нравах при дворе Наполеона III, с которым он несколько раз беседовал, о прекрасных манерах и любовных похождениях Виктора-Эммануила и о многом другом.

До Пруткова Вокульский внимательно слушал его. За Прутковым слабый и монотонный голос пана Томаша начал действовать ему на нервы. Зато все чаще до его слуха долетал разговор панны Изабеллы со Старским, который они вели по-английски. Несколько фраз заставило его насторожиться, и он даже спросил себя: не предупредить ли их, что он понимает по-английски?

Он уже собирался встать, но случайно посмотрел в противоположное окно вагона и увидел в стекле, словно в зеркале, тусклое отражение панны Изабеллы и Старского. Они сидели очень близко друг к другу и оба покраснелись, хотя беседовали таким тоном, словно речь шла о чем-то безразличном.

Однако Вокульский заметил, что этот безразличный тон не соответствует содержанию разговора; ему почудилось даже, что, болтая так непринужденно, они хотят кого-то ввести в заблуждение. И тогда впервые, с тех пор как он знал панну Изабеллу, в голове его пронеслось страшное слово: «Ложь! ложь!»

Он сидел, прижавшись к спинке дивана, смотрел на оконное стекло и — слушал. Каждое слово Старского и панны Изабеллы падало ему на лицо, на голову, на грудь каплями свинцового дождя...

Теперь он уже не думал предупреждать их, что понимает, о чем они говорят, только слушал, слушал...

Поезд как раз отъехал от Радзивиллова, когда внимание Вокульского привлекла следующая фраза:

— Ты можешь поставить ему в упрек что угодно, — говорила по-английски панна Изабелла. — Он не молод и не изыскан, слишком сентиментален и временами скучен; но обвинить его в жадности?.. Даже папа находит его чересчур щедрым...

— А случай с паном К.? — возразил Старский.

— Насчет скаковой лошади?.. Вот и видно, что ты приехал из захолустья. У нас недавно был барон и сказал, что именно в этом случае господин, о котором мы говорим, поступил как джентльмен.

— Джентльмен не спустил бы мошеннику, если б не был с ним связан какими-нибудь темными делишками, — с усмешкой заметил Старский.

— А сколько раз спускал ему барон?

— Как раз за бароном-то и водятся разные грешки, о которых известно пану М. Ты плохо защищаешь своих протеже, кузина, — насмешливо сказал Старский.

Вокульский крепче прижался к спинке дивана, чтобы не сорваться и не ударить Старского. Но сдержался.

«Каждый вправе судить других, — сказал он себе. — Посмотрим, что будет дальше».

Несколько минут он слышал только стук колес и заметил, что вагон сильно раскачивается.

«Никогда я не ощущал такой качки в вагоне», — подумал он.

— А этот медальон, — издевался Старский, — хорош подарок к обручению... Не очень-то щедрый жених: влюблен, как трубадур, а...

— Будь уверен, — перебила его панна Изабелла, — что он отдал бы мне все свое состояние...

— Так бери же, бери, кузина, и дай мне в долг тысяч сто... А что, нашлась его чудотворная медяшка?

— Нет, не нашлась, и я очень огорчена. Боже, если б он когда-нибудь узнал...

— О том, что мы потеряли его медяшку, или о том, как мы искали его медальон? — чуть слышно проговорил Старский, прижимаясь к ее плечу.

У Вокульского потемнело в глазах.

«Я теряю сознание...» — подумал он, хватаясь за оконный ремень. Ему казалось, что вагон скачет по рельсам и вот-вот произойдет крушение.

— Перестань, это наглость!.. — говорила панна Изабелла, понизив голос.

— В этом моя сила, — ответил Старский.

— Ради бога... Ведь он может увидеть... Я тебя возненавижу!

— Нет, влюбишься в меня без памяти, потому что никто другой бы не отважился... Женщинам нравятся демонические мужчины...

Панна Изабелла придвинулась ближе к отцу. Вокульский смотрел в противоположное окно и слушал.

— Предупреждаю тебя, — сказала она с раздражением, — ты не переступишь порога нашего дома... А если осмелишься... я ему все расскажу!

Старский рассмеялся.

— Не бойся, милая кузина, не приду, пока ты сама меня не позовешь, и уверен, что ждать придется недолго. Через неделю этот чересчур благоговейщий супруг наскучит тебе и ты захочешь развлечься. Тут ты и вспомнишь повесу-кузена, который никогда не умел быть серьезным, постоянно острил, а иногда был отчаянно смел... И пожалеешь о том, кто всегда готов был тебя обожать, но никогда не ревновал, умел уступать другим, потакал твоим капризам...

— Вознаграждая себя в других местах, — закончила панна Изабелла.

— Вот именно! Поступай я иначе, тебе нечего было бы мне прощать, ты боялась бы моих упреков.

Не меняя позы, он обнял ее правой рукой, а левой сжал ее ручку, прикрытую накидкой.

— Да, кузина, — продолжал он. — Такой женщине, как ты, мало насущного хлеба уважения и пряничков обожания... Время от времени тебе нужно шампанское, кто-нибудь должен опьянять тебя, хотя бы цинизмом...

— Циником быть легко...

— Не у каждого хватает на это смелости. Спроси-ка у этого господина, мог ли он когда-нибудь предположить, что его неземное преклонение стоит меньше моих богохульств?

Вокульский уже не слышал продолжения разговора; он был поглощен другим: стремительной переменой, которая происходила в нем самом. Если бы вчера ему сказали, что он будет немым свидетелем подобной беседы, он бы не поверил; он посчитал бы, что первая же фраза убьет его или приведет в бешенство. Но когда это случилось, он убедился, что существует нечто худшее, чем измена, чем разочарование и унижение...

Что же?.. Да езда по железной дороге. Как содрогается вагон... как он мчится!.. Сотрясение поезда передается его ногам, легким, сердцу, мозгу; в нем самом все дрожит, каждая косточка, каждый нерв...

А поезд все мчится по бескрайнему полю, под исполинским сводом небес!.. И ему придется ехать еще бог весть как долго... может быть, пять, а может, и десять минут!..

Что ему Старский или даже панна Изабелла... Они стоят друг друга!.. Но вот поезд, поезд... ах, как качает...

Он боялся, что вот-вот расплчется, закричит, разобьет окно и выскочит из вагона... Хуже того: будет молить Старского, чтобы тот его спас: от чего?.. Был момент, когда он хотел забиться под диван, просить своих спутников навалиться на него, чтобы как-нибудь доехать до станции.

Он закрыл глаза, стиснул зубы, вцепился обеими руками в бахрому обивки; на лбу у него выступил пот и стекал по лицу, а поезд все раскачивался и мчался вперед... Наконец раздался свисток... один, другой... и поезд остановился.

«Я спасен», — подумал Вокульский.

В это время проснулся Ленцкий.

— Какая это станция? — спросил он Вокульского.

— Скерневицы, — ответила панна Изабелла.

Кондуктор открыл дверь. Вокульский сорвался с места. Он толкнул пана Томаша, едва не упал на противоположный диван, споткнулся на ступеньках и побежал к буфету.

— Водки! — крикнул он.

Удивленная буфетчица подала ему рюмку. Вокульский поднес ее к губам, но почувствовал в горле спазмы, тошноту и поставил нетронутую рюмку на стойку.

Между тем Старский говорил панне Изабелле:

— Ну, уж извини, дорогая, при дамах не бросаются сломя голову из вагона.

— Может быть, он нездоров? — ответила она, чувствуя смутную тревогу.

— Нездоровье, во всяком случае, не столь опасное, сколь не терпящее отлагательства... Не заказать ли тебе что-нибудь в буфете?

— Пусть принесут сельтерской.

Старский ушел; панна Изабелла взглянула в окно. Ее тревога все возрастала.

«Тут что-то кроется... — думала она. — Как он странно выглядел!»

Из буфета Вокульский прошел в конец перрона. Он несколько раз глубоко вздохнул, напился воды из бочки, возле которой стояла какая-то бедная женщина и несколько евреев, и немного пришел в себя. Увидев обер-кондуктора, Вокульский окликнул его:

— Любезный, возьмите в руки листок бумаги...

— Что с вами, сударь?

— Ничего. Возьмите в конторе какую-нибудь бумажку, подойдите к нашему вагону и скажите, что получена телеграмма для Вокульского.

— Это для вас?..

— Да...

Обер-кондуктор был крайне удивлен, однако поспешил на телеграф. Через минуту он вышел оттуда и, подойдя к вагону, в котором сидел пан Ленцкий с дочерью, крикнул:

— Телеграмма для пана Вокульского!

— Что это значит? Покажите-ка... — послышался встревоженный голос пана Томаша.

Но в тот же момент возле кондуктора очутился Вокульский, взял бумагу, спокойно развернул ее и, хотя было темно, сделал вид, что читает.

— Что это за телеграмма? — спросил его пан Томаш.

— Из Варшавы, — ответил Вокульский. — Я должен вернуться...

— Вы возвращаетесь? — испугалась панна Изабелла. — Случилось какое-нибудь несчастье?

— Нет, сударыня. Меня вызывает компаньон.

— Прибыль или убыток? — тихо спросил пан Томаш, высовываясь в окно.

— Колоссальная прибыль! — в тон ему ответил Вокульский.

— А... тогда поезжай... — посоветовал пан Томаш.

— Но зачем же вам оставаться здесь? — воскликнула панна Изабелла. — Вам придется ждать варшавского поезда; лучше поезжайте с нами, навстречу ему. Мы проведем еще несколько часов вместе...

— Белла отлично придумала! — заметил пан Томаш.

— Нет, сударь. Я уж поеду отсюда хотя бы на паровозе, чтобы не терять несколько часов.

Панна Изабелла смотрела на него широко раскрытыми глазами. Что-то открылось ей в нем, что-то совсем новое — и заинтересовало. «Какая богатая натура!» — подумала она.

В несколько минут Вокульский, без всякого повода, вырос в ее глазах, а Старский показался маленьким и смешным.

«Но отчего он остается? Откуда тут взялась телеграмма?» — спрашивала она себя, и вслед за смутной тревогой ее охватил страх.

Вокульский снова пошел в буфет, за носильщиком, чтобы тот вынес его вещи из вагона, и столкнулся со Старским.

— Что с вами? — вскричал Старский, вглядываясь в лицо Вокульского, на которое падала полоса света из окна.

Вокульский взял его под руку и повел в конец перрона.

— Пан Старский, не обижайтесь на то, что я вам скажу, — глухо произнес он. — Вы заблуждаетесь в оценке своей особы... В вас столько же демонического, сколько в спичке яда... И вы не обладаете никакими свойствами шампанского... Скорей свойством лежалого сыра, который возбуждающе действует на больные желудки, но у здорового человека может вызвать рвоту... Извините, пожалуйста.

Старский был ошеломлен. Он ничего не понял и вместе с тем как будто что-то начинал понимать... «Уж не сумасшедший ли передо мной», — подумал он.

Раздался второй звонок, пассажиры гурьбой бросились из буфета к вагонам.

— И еще я хотел вам дать совет, пан Старский: наслаждаясь благосклонностью прекрасного пола, применяйте уж лучше традиционную осторожность, чем эту вашу демоническую дерзость. Ваша дерзость разоблачает женщин. А женщины разоблачений не любят, и вы рискуете потерять их расположение, что было бы весьма прискорбно и для вас, и для ваших фавориток.

Старский все еще смотрел на него с недоумением.

— Если я вас чем-нибудь оскорбил, — сказал он, — то готов дать удовлетворение.

Прозвучал третий звонок.

— Господа, прошу садиться! — кричали кондукторы.

— Нет, сударь, — отвечал Вокульский, направляясь к вагону Ленцких. — Если б я хотел получить от вас удовлетворение, то сделал бы это без лишних формальностей, и вас бы уже не было в живых. Скорей уж вы вправе требовать от меня удовлетворения за то, что я посмел вторгнуться в садик, где вы выращиваете свои цветочки... В любое время к вашим услугам... Вы знаете мой адрес?

Они подошли к вагону, у дверей которого уже стоял кондуктор. Вокульский силой заставил Старского подняться на ступеньки, втолкнул его внутрь, и кондуктор захлопнул дверь.

— Что же ты не прощаешься, пан Станислав? — удивленно крикнул пан Томаш.

— Счастливого пути!.. — ответил Вокульский, кланяясь.

В окне показалась панна Изабелла. Обер-кондуктор свистнул, в ответ загудел паровоз.

— Farewell, miss Iza, farewell! <Прощайте, мисс Иза, прощайте! (англ.)> — крикнул Вокульский.

Поезд тронулся. Панна Изабелла бросилась на диван против отца; Старский отошел в угол.

— Так, так... — пробормотал Вокульский. — Поладите, голубчики, не доезжая Петркова...

Он смотрел на мелькающие вагоны и смеялся.

На перроне никого не было. Вокульский прислушивался к шуму удалявшегося поезда; он то ослабевал, то снова звучал громче и, наконец, совсем стих.

Потом он слышал шаги железнодорожников, уходивших со станции, грохот сдвигаемых столиков в буфете; потом в буфете один за другим погасли огни, и официант, зевая, закрыл стеклянные двери, проскрипевшие какое-то слово.

«Они потеряли мою пластинку, разыскивая медальон!.. — думал Вокульский.

— Я сентиментален и скучен... Ей, кроме насущного хлеба уважения и пряничков обожания, нужно шампанское... Прянички обожания — неплохая острота!.. А какое бишь шампанское ей по вкусу?.. Ага, цинизма!.. Шампанское цинизма — тоже неплохая острота... что ж, хотя бы ради этого стоило учиться английскому...»

Бесцельно блуждая, он очутился между двумя вереницами запасных вагонов. С минуту он не знал, куда идти. И вдруг с ним сделалось что-то странное: то была галлюцинация. Ему показалось, что он стоит внутри огромной башни, которая рушится без малейшего шума. Он жив, но его завалило грудой обломков, из-под которых он не может выбраться. Не было выхода!

Он тряхнул головой, и видение исчезло.

«Просто меня клонит ко сну, — подумал он. — В сущности, не произошло ничего неожиданного; все это можно было заранее предугадать, и ведь я все видел... Какие пошлые разговоры она вела со мной!.. Что ее занимало?.. Балы, рауты, концерты, наряды... Что она любила?.. Только себя. Ей казалось, что весь мир существует для нее, а она создана для развлечений. Она кокетничала... да, да, бесстыдно кокетничала со всеми мужчинами; а у женщин оспаривала первенство в красоте, преклонении и нарядах... Что она делала? Ничего. Служила украшением гостиных... Единственная ценность, благодаря которой она могла достигнуть благосостояния, была ее любовь — поддельный товар!.. А Старский... что же Старский? Такой же паразит, как она... Он был лишь эпизодом в ее жизни, богатой опытом. К нему нечего предъявлять претензии: они одного поля ягоды. Да и к ней тоже... Да, она любит дразнить воображение, как настоящая Мессалина! Ее обнимал и искал медальон кто попало, даже такой вот Старский, бедняга, вынужденный за неимением дела стать соблазнителем...»

Верил я прежде, что есть в этом мире

Белые ангелы с светлыми крыльями!.. [48]

Хороши ангелы! Ну и светлые крылья!.. Молилари, Старский и, как знать, сколько других... Вот к чему приводит знакомство с женщинами по поэтическим произведениям!

Надо было изучать женщин не через посредство Мицкевичей, Красинских и Словацких, а по данным статистики, которая учит, что десятая часть этих белых ангелов — проститутки; ну, а если бы случилось на этот счет обмануться, то по крайней мере разочарование было бы приятным...»

В эту минуту послышался какой-то рев: наливали воду в котел или резервуар. Вокульский остановился. В этом протяжном, унылом звуке ему почудился целый оркестр, исполняющий мелодию из «Роберта-Дьявола»: «Вы, почившие здесь в приютах могильных...» Смех, плач, вопль тоски, визг, безобразные крики — все это звучало одновременно, и все заглушал могучий голос, проникнутый безысходной скорбью.

Он готов был поклясться, что слышит звуки оркестра, и снова поддался галлюцинации. Ему казалось, что он на кладбище; вокруг разверстые могилы, и из них выскальзывают уродливые тени. Одна за другою они принимают облики прекрасных женщин, между которыми осторожно пробирается панна Изабелла, маня его рукою и взглядом.

Его охватил такой ужас, что он перекрестился; призраки рассеялись.

«Хватит, — подумал он. — Так я с ума сойду...»

И решил забыть о панне Изабелле.

Было уже часа два ночи. В телеграфной конторе горела лампа с зеленым абажуром и слышалось постукивание аппарата. Возле станционного здания прохаживался какой-то человек; завидев Вокульского, он снял шапку.

— Когда идет поезд в Варшаву? — спросил его Вокульский.

— В пять часов, ваша милость, — ответил человек и потянулся к его руке, словно хотел ее поцеловать. — Я, ваша милость...

— Только в пять!.. — повторил Вокульский. — Лошадьми можно... А из Варшавы когда?

— Через три четверти часа. Я, ваша милость...

— Через три четверти... — прошептал Вокульский. — Четверти... четверти... — повторил он, чувствуя, что неясно выговаривает букву «р».

Он повернулся спиной к незнакомцу и пошел вдоль насыпи по направлению к Варшаве. Человек посмотрел ему вслед, покачал головой и исчез во мраке.

— Четверти... четверти... — бормотал Вокульский.

«Язык у меня заплетается?.. Какое странное стечение обстоятельств: я учился, чтобы добыть панну Изабеллу, а выучился — чтобы ее лишиться... Или вот Гейст. Ради того он сделал великое открытие и ради того доверил мне священный залог, чтобы пан Старский имел лишний повод для своих поисков... Все она отняла у меня, даже последнюю надежду... Если бы меня сейчас спросили, действительно ли я знал

Гейста, видел ли его удивительный металл — я не сумел бы ответить и даже сам сейчас не вполне уверен, не обман ли это воображения... Ах, если б я мог не думать о ней... хоть несколько минут...

Так вот же не буду о ней думать...»

Была звездная ночь, чернели поля, вдоль полотна горели редкие сигнальные фонари. Бредя вдоль насыпи, Вокульский споткнулся о большой камень, и в то же мгновение перед глазами его встали развалины заславского замка, камень, на котором сидела панна Изабелла, и ее слезы. Но на этот раз слезы не скрыли ее лживого взгляда.

«Так вот же не буду о ней думать... Уеду к Гейсту, начну работать с шести утра до одиннадцати ночи, буду следить за малейшим изменением давления, температуры, напряжения тока... У меня не останется ни минуты...»

Ему показалось, что кто-то идет позади. Он обернулся, но ничего не разглядел, только заметил, что левым глазом видит хуже, чем правым, и это нестерпимо его раздражало.

Он хотел вернуться на станцию, но почувствовал, что не сможет вынести вида людей. Даже думать было мучительно, почти до физической боли.

— Не знал я, что человеку может быть в тягость собственная душа... — пробормотал он. — Ах, если б я мог не думать...

Далеко на востоке забрезжил свет и показался тоненький лунный серп, заливая окрестности невыразимо унылым сиянием. И вдруг Вокульскому явилось новое видение. Он был в тихом, пустынном лесу; стволы сосен диковинно изогнулись, не слышно было ни одной птицы, не шелохнулась ни одна ветка. Все было погружено в печальный полумрак. Вокульский чувствовал, что и этот мрак, и горечь, и грусть точат его сердце и исчезнут только вместе с жизнью, если вообще когда-нибудь исчезнут...

Меж сосен, куда ни глянь, сквозили клочки серого неба, и каждый из них превращался в подрагивающее стекло вагона, в котором тускло отражалась панна Изабелла в объятиях Старского.

Вокульский был уже не в силах бороться с призраками; они завладели им, отняли у него волю, исказили мысли, отравили сердце. Дух его утратил всякую самостоятельность: его воображением управляло любое впечатление, повторяясь в бесчисленных, все более мрачных и болезненных формах, словно эхо в пустом здании.

Он опять споткнулся о камень, и этот ничтожный повод разбудил в нем длинную вереницу мучительных образов.

Ему казалось, что когда-то... давно, давно... он сам был камнем, холодным, слепым и бесчувственным.

И когда он лежал так, гордый своей мертвой неподвижностью, которую не могли оживить никакие земные катаклизмы, в нем или над ним прозвучал вопрошающий голос:

«Хочешь ли стать человеком?»

«Что значит человек?» — ответил камень.

«Хочешь видеть, слышать, чувствовать?»

«Что значит чувствовать?..»

«Так хочешь ли познать нечто совсем новое? Хочешь изведать существование, которое в один миг дает больше, чем испытали все камни за миллионы веков?»

«Я не понимаю, — ответил камень, — но могу быть чем угодно».

«А если, — повторил сверхъестественный голос, — после этого нового бытия у тебя останется вечная горечь?»

«Что значит горечь?.. Я могу быть чем угодно».

«Итак, будешь человеком», — прозвучало над ним.

И он стал человеком. Он прожил несколько десятков лет и за эти годы многого жаждал и выстрадал столько, сколько неживой природе не испытать за целую вечность. Преследуя одну цель, он находил тысячу других; спасаясь от одного страдания, попадал в море страданий и столько перечувствовал, столько передумал, исчерпал столько сил в мире слепых стихий, что, наконец, возмутил против себя природу.

«Довольно! — кричали со всех сторон. — Довольно!.. Уступи место другим в этом игрище!..»

«Довольно!.. Довольно!.. Довольно!.. — кричали камни, деревья, воздух, земля и небо... — Уступи другим!.. пусть и они познают новое бытие!»

Довольно!.. Значит, он снова должен обратиться в ничто, и как раз в ту минуту, когда высшее бытие оставляет ему, как последнее воспоминание, лишь отчаяние утраты и сожаление о недостигнутом!..

— Ах, скорее бы взошло солнце... — шептал Вокульский. — Вернусь в Варшаву... возьмусь за какую угодно работу и покончу с этими глупостями, которые мне только расстраивают нервы... Ей нравится Старский? Пусть берет Старского!.. Я проиграл в любви? Что ж!.. Зато выиграл в другом... Нельзя иметь все...

Уже несколько минут он ощущал на усах какую-то липкую влагу.

«Кровь?» — подумал он, вытер губы и при свете спички увидел на платке пену.

— Все мои добрые дела обращаются против меня, — проговорил он вполголоса.

Обессиленный, он опустился на землю возле маленькой дикой груши, которая росла неподалеку от насыпи. Поднялся ветер и зашевелил листочки; шелест их почему-то напомнил Вокульскому давно минувшие годы.

«Где мое счастье?..» — подумал он.

Что-то сдавило ему грудь и начало подкатывать к горлу. Он хотел вздохнуть — и не мог; задыхаясь, обхватил руками деревце, продолжавшее шелестеть, и крикнул:

— Умираю!..

Ему казалось, что кровь заливает мозг, грудь его вот-вот разорвется, он извивался от боли и вдруг разразился рыданиями.

— Господи... господи, смилуйся!.. — повторял он, захлебываясь слезами.

Стрелочник на коленях подполз к нему и тихонько подсунул руку ему под голову.

— Плачь, благодетель мой!.. — говорил он, наклонившись к Вокульскому. — Плачь, плачь и призывай имя господне... Не тщетно будешь ты призывать его... Кто под кров твой, боже, прибегает, с сердцем открытым тебе себя вверяет, тот скажет смело: под защитой божьей ничто худое мне грозить не может... От сетей лукавых он тебя избавит... Что там, ваша милость, богатство, что все сокровища мира! Все человека обманет, один господь бог не обманет...

Вокульский припал лицом к земле. Ему казалось, что каждая слеза уносит из его сердца частицу боли, разочарования и отчаяния. Расстроенная мысль начала приходить в равновесие. Он уже отдавал себе отчет в происходящем и понимал, что в минуту горя, когда все, казалось, его предало, ему остались верны земля, простой человек и бог.

Понемногу он успокаивался, рыдания все реже разрывали ему грудь, он ощутил слабость во всем теле и крепко заснул.

Светало, когда он проснулся; он сел, протер глаза, увидел подле себя стрелочника и все вспомнил.

— Долго я спал? — спросил он.

— С четверть часика... или с полчаса... — ответил стрелочник.

«Черт побери, бешенство у меня начинается, что ли?..»

Вдруг он увидел вдали два огонька, медленно приближавшиеся к нему; позади них виднелась какая-то черная глыба, за которой густым снопом тянулись искры.

Поезд!..

И ему представилось, что это тот самый поезд, в котором едет панна Изабелла. Он снова увидел вагон, тусклый свет фонаря, завешенного голубым камлотом, и в углу панну Изабеллу в объятиях Старского...

— Люблю... люблю... — прошептал он. — Не могу забыть...

Сердце его сжала такая мука, для которой на человеческом языке названия нет. Все терзало его — усталая мысль, наболевшее чувство, раздавленная воля, самое существование... И внезапно его охватило уже не желание, а неистовая жажда смерти.

Поезд медленно приближался. Вокульский, не отдавая себе отчета в том, что делает, бросился на рельсы. Он дрожал, зубы его стучали, обеими руками он ухватился за шпалы, в рот ему набился песок... На пути упал свет фонарей, рельсы тихо дребезжали под колесами паровоза...

— Господи, помилуй меня и спаси... — прошептал он и закрыл глаза.

Вдруг на него пахнуло теплом, и в то же мгновение что-то с силой рвануло его и столкнуло с рельсов... Поезд пронесся в нескольких дюймах от его головы, обдав паром и горячим пеплом. На миг он потерял сознание, а когда очнулся, увидел какого-то человека, который придавил ему коленом грудь и держал его за руки.

— Что ж это вы, ваша милость, задумали?.. — говорил человек. — Где ж это видано!.. Господь бог...

Он не договорил. Вокульский столкнул его с себя, схватил за шиворот и швырнул наземь.

— Чего тебе нужно, подлец?.. — закричал он.

— Ваша... ваша милость... да ведь я Высоцкий...

— Высоцкий?.. Высоцкий?.. — повторил Вокульский. — Врешь. Высоцкий в Варшаве...

— Я брат его, стрелочник. Ваша милость сами изволили устроить меня сюда еще в прошлом году, после пасхи... Ну мог ли я смотреть на такую беду?» Да и запрещается у нас на дороге под машину лезть...

Вокульский задумался и отпустил его. Потом вынул бумажник, достал несколько сотенных и, протянув их Высоцкому, сказал:

— Вот что... вчера я был пьян... Смотри же, никому ни слова о том, что тут было. А это возьми... для детишек...

Стрелочник повалился ему в ноги.

— Я думал, ваша милость все потеряли, и потому...

— Ты прав, — задумчиво ответил Вокульский. — Я потерял все, кроме богатства. О тебе я не забуду, хотя... лучше бы меня уже не было в живых!

— Я так сразу и подумал, что не станет такой барин искать беды, хотя бы все деньги потерял. Злоба людская вас до этого довела!.. Но и ей конец придет. Бог правду видит, да не скоро скажет. Вот помяните мое слово...

Вокульский поднялся с земли и пошел на станцию. Вдруг он обернулся к Высоцкому.

— Когда будешь в Варшаве, зайди ко мне... Но ни слова о том, что тут было...

— Бог мне свидетель, не скажу, — сказал Высоцкий и снял шапку.

— А в другой раз... — прибавил Вокульский и положил руку ему на плечо,

— в другой раз... Если встретится тебе человек, который... понимаешь?.. если встретится тебе такой, не спасай его... Когда кто-нибудь добровольно захочет предстать пред господним судом со своей обидой, не мешай ему... Не мешай!

Глава четырнадцатая. Дневник старого приказчика

«Политическая ситуация обрисовывается все яснее. Имеются уже две коалиции. С одной стороны — Россия с Турцией, с другой — Германия, Австрия и Англия. А если так, значит в любую минуту может разразиться война, в ходе которой будут разрешены важные, чрезвычайно важные вопросы.

Только будет ли война? Ведь все мы склонны обольщаться своей прозорливостью. Так вот — будет, на этот раз непременно будет! Лисецкий говорит, что я каждый год

пророчу войну, и ни разу мое пророчество не сбылось. Олух он, деликатно выражаясь... Одно дело — прежде, а другое — теперь.

Читаю я, например, в газетах, что Гарибальди в Италии возмущает народ против Австрии. А зачем, спрашивается?.. Затем, что он ждет большой войны. Но и это еще не все: через несколько дней я слышу, что генерал Тюрр всеми святыми закликает Гарибальди не втягивать итальянцев в беду.

Что это значит?.. В переводе на язык простых смертных это значит: «Не кипятитесь, голубчики-итальянцы, Австрия вам и без того уступит Триест, если выиграет войну. А вот если по вашей милости она проиграет, то ничего вы не получите...»

Это факты весьма и весьма знаменательные — и призывы Гарибальди, и уговоры Тюрра. Гарибальди горячится, ибо видит, что война на носу, а Тюрр успокаивает, ибо предвидит и дальнейшие события.

Но когда именно вспыхнет война? В конце июня или в начале июля? Так может думать человек, несведущий в политике, но не я. Ибо немцы не станут начинать войну, не обезопасив себя со стороны Франции. Каким же образом они себя обезопасят? Шпрот утверждает, что такой возможности нет, а я вижу, что есть, и весьма простая. О, Бисмарк — хитрая бестия, я в этом все больше убеждаюсь!

Да и для чего бы Германии и Австрии вовлекать в союз Англию?.. Ясное дело — они желают припасти успокоительное для Франции и склонить ее к объединению с ними. А произойдет это следующим образом.

В английской армии служит юный Наполеон — Люлю, который сражается с зулусами в Африке, как его дед, Наполеон Великий. Когда англичане закончат войну, они произведут юного Наполеона в генералы и скажут французам:

— Любезные! Вот Бонапарт, он воевал в Африке, где покрыл себя неувядаемой славой, как его дед. Сделайте же его своим императором, а мы за то ловким политическим маневром выщарапаем у немцев Эльзас и Лотарингию. Ну, заплатите вы им пять-шесть миллиардов, — да ведь это лучше, чем затевать новую войну, которая обойдется в десять миллиардов, а чем кончится для вас, еще не известно...

Французы, конечно, провозгласят Люлю императором, заберут свои земли, заплатят деньги, вступят в союз с Германией, а уж тогда, с этакой кучей денег, Бисмарк покажет себя!

О, это умная шельма! И кто-кто, а Бисмарк сумеет провести свой план. Я давно смекнул, какая это продувная бестия, и стал питать к нему слабость, только скрывал ее. Ну, и язва, скажу я вам! Он женат на дочке Путткамера, а Путткамеры, как известно, — родня Мицкевичу.[49] Притом, говорят, он без ума от поляков и даже советовал сыну немецкого наследника учиться по-польски...

Ну, если в этом году не будет войны... То-то расскажу я Лисецкому сказку про дурачка! Он, бедняга, воображает, будто политическая мудрость заключается в том, чтобы ничему не верить. Чушь!.. Суть политики в комбинациях, сообразующихся с естественным ходом вещей.

Итак, да здравствует Наполеон IV! Правда, сейчас о нем никто и не думает, но я уверен, что во всей этой кутерьме он сыграет главную роль. А если возьмется за дело умеючи, то не только даром вернет Эльзас и Лотарингию, но еще и расширит границы Франции до самого Рейна. Лишь бы Бисмарк не спохватился слишком рано и не догадался, что использовать в своих целях Бонапарта — все равно что впрягать в тачку льва. Мне таки кажется, что в этом единственном вопросе Бисмарк просчитается. И, откровенно говоря, я об этом сожалеть не стану, ибо он никогда не внушал мне доверия.

.....

Что-то неладно у меня со здоровьем. Не то чтобы у меня что-нибудь болело, но так как-то... Не могу много ходить, потерял аппетит, даже не очень хочется писать.

В магазине почти нечего делать: там уже хозяйничает Шлангбаум, а я только так, между прочим занимаюсь делами Стаха. К октябрю Шлангбаум должен окончательно расплатиться с нами. Бедствовать мне не придется, потому что славный Стах обеспечил мне полторы тысячи в год пожизненной пенсии; но как подумаю, что скоро уже потеряю всякое значение в магазине и ничем не буду вправе распорядиться...

Не стоит жить... Иной раз такая тоска берет, что, если б не Стах и не юный Наполеон, сделал бы с собою невесть что... Кто знает, старый дружище Кац, не умнее ли ты поступил? Надеяться тебе, правда, уже не на что, зато и нечего бояться разочарований... Не говорю, что я их опасаясь, потому что ведь ни Вокульский, ни Бонапарт... Но все же... что-то не то...

Как я ослабел: мне уже и писать трудно. Хорошо бы поехать куда-нибудь... Боже мой, за двадцать лет я носа не высунул за варшавскую заставу! А временами так тянет еще хоть раз перед смертью взглянуть на Венгрию... авось на старых полях сражений я разыскал бы хоть кости старых товарищей... Эх, Кац, Кац!.. Помнишь ли этот дым, и свист, и сигналы?.. И какая тогда была зеленая трава, и как светило нам солнце!..

Ничего не поделаешь, придется собраться в путь, поглядеть на горы и леса, подышать воздухом широких равнин, залитых солнцем, — и начать новую жизнь. Может, даже переберусь куда-нибудь в провинцию, поближе к пани Ставской. Да и что же еще остается пенсионеру?

Странный человек Шлангбаум; не думал я, зная его бедняком, что он станет так задирает нос. Уже успел через Марушевича познакомиться с баронами, а через баронов с графами и только не может пока добраться до князя, который с евреями вежлив, но близко к себе не подпускает.

А в то время как Шлангбаум задирает нос, в городе поднимается крик против евреев. Всякий раз, когда я захожу выпить кружечку пива, обязательно кто-нибудь набрасывается на меня с бранью из-за того, что Стах продал магазин евреям.

Советник брюзжит, что евреи лишают его третьей части пенсии; Шпрот сетует, что из-за евреев дела его идут хуже; Лисецкий плачется, что Шлангбаум рассчитывает его со дня святого Яна, а Клейн помалкивает.

Уже и в газетах пописывают против евреев, а что всего удивительней, даже доктор Шуман, даром что сам иудей, на днях завел со мной такой разговор:

— Вот увидите, не пройдет и нескольких лет, как с евреями начнутся крупные неприятности.

— Извините, пожалуйста, — говорю я, — ведь вы сами, доктор, недавно хвалили их!

— Хвалил, потому что это гениальная раса, но натура у них преподлая. Представьте, оба Шлангбаума, старый и молодой, хотели меня объегорить — это меня-то!

«Ага! — подумал я. — Опять тебя к нам потянуло, как только единоверцы пошарили у тебя в кармане...»

И, по правде говоря, я окончательно охладел к Шуману.

А чего-чего они ни наговаривают на Вокульского. И мечтатель, и идеалист, и романтик... Может, все потому, что он никогда ни с кем не поступает по-свински.

Когда я передал этот разговор Клейну, наш заморыш возразил:

— Он считает, что неприятности начнутся только через несколько лет? Можете его успокоить — начнутся раньше...

— Господи Иисусе! — говорю я. — Почему ж это?

— Мы-то их уже раскусили, хоть они и с нами заигрывают... Ловкие субъекты! Да просчитались на этот раз... Знаем мы, что они могли бы натворить, если б им дать волю...

Я считал Клейна человеком весьма передовых убеждений, может даже чересчур передовых, а теперь полагаю, что он попросту ретроград. К тому же, что означает сие: «мы, с нами»?

И это век, пришедший на смену восемнадцатому! Тому самому веку, который начертал на своих знаменах: «Свобода, равенство и братство»? За что же, черт побери, я воевал с австрийцами?.. За что погибали мои товарищи?..

Чепуха! Пустое! Все это переменит император Наполеон IV.

Тогда и Шлангбаум не будет так нагло себя вести, и Шуман перестанет кичиться своим еврейством, и Клейн не будет им угрожать.

А время это не за горами, если даже Стах Вокульский...

Ах, как я утомлен... нет, надо куда-нибудь поехать.

.....

Не настолько я стар, чтобы мне помышлять о смерти; но, боже мой, если рыбу вынуть из воды, даже самую молодую и крепкую, она издохнет, потому что лишится привычной среды...

Похоже, что и я оказался такой рыбой, вытасченной из воды; в магазине у нас Шлангбаум уже распоясался вовсю и, чтобы показать свою власть, выгнал швейцара и инкассатора за то, дескать, что они не выказывали ему должного уважения.

Когда я вступился за них, он с возмущением ответил:

— Посмотрите только, как они ведут себя со мною и как — с Вокульским!.. Ему, правда, они не кланялись так низко, зато в каждом их движении, в каждом взгляде видно было, что они готовы за него в огонь и в воду...

— Так вы хотите, чтобы они и за вас пошли в огонь и в воду? — спросил я.

— А как же? Ведь они едят мой хлеб, я им даю работу и жалованье плачу...

Я боялся, что Лисецкий (он прямо посинел, слушая подобную чушь) отпустит ему оплеуху; тот, однако, сдержался и только спросил:

— А знаете ли, почему за Вокульского мы пошли бы в огонь и в воду?

— Потому что у него денег больше...

— Нет, пан Шлангбаум. Потому что у него есть то, чего у вас нет и никогда не будет, — ответил Лисецкий, ударяя себя в грудь.

Шлангбаум налился кровью, как вурдалак.

— Что это значит? Чего у меня нет? Пан Лисецкий, мы не можем вместе работать... Вы насмехаетесь над ритуальными обрядами...

Я схватил Лисецкого за руку и потащил его за шкафы. Всех рассмешила обида Шлангбаума. Только Земба (он единственный останется в магазине) хорохорился и кричал:

— Хозяин прав... Нельзя издеваться над вероисповеданием, вера — чувство священное! Где же свобода совести?.. где прогресс, где цивилизация?.. уравнение в правах?..

— Наглый подлиза, — проворчал Клейн и шепнул мне: — Ну, разве Шуман не прав, что они в конце концов нарвутся на неприятности? Помните, как он держался в первые дни, а посмотрите, каков теперь!

Я, разумеется, отчитал Клейна: по какому праву он запугивает своих сограждан какими-то неприятностями? А все же в глубине души не могу не признать, что Шлангбаум за один год сильно переменился.

Раньше он был тихоня, а сейчас стал нахальным и заносчивым; раньше молчал, когда его обижали, а сейчас сам на тебя орет по всякому поводу. Раньше называл себя поляком, а сейчас кичится тем, что он еврей. Раньше он даже верил в благородство и бескорыстие, а сейчас говорит только о своих деньгах и связях. Плохо это может кончиться!..

Зато перед покупателями он ходит за задних лапках, а графам или хотя бы баронам готов пятки лизать. С подчиненными же — суций гиппопотам! То и дело фыркает, никому не дает шагу ступить. Не очень-то красиво... Но, с другой стороны, ни советник Шпрот, ни Клейн, ни Лисецкий не имеют права грозить евреям какими-то неприятностями...

Итак, что же я теперь значу в магазине при этом уроде? Принимаюсь счет составлять — он заглядывает мне через плечо; даю какое-нибудь распоряжение — он тут же громко его повторяет. В магазине он меня затирает, при знакомых покупателях то и

дело говорит: «Мой друг Вокульский... мой знакомый барон Кшешовский... мой приказчик Жецкий...» А когда мы одни, обращается ко мне: «дорогой, милый Жецкий...»

Несколько раз я в самой деликатной форме давал ему понять, что эти ласкательные эпитеты не доставляют мне удовольствия. Но он, бедняга, не понимает намеков, а я все терплю да терплю и когда-то еще выйду из себя... У меня всегда так. Лисецкий вскипает сразу, потому-то Шлангбаум и считается с ним.

Что ни говори, а Шуман был прав, утверждая, будто мы, из поколения в поколение, только и думаем, как бы транжирить деньги, а они — как бы сколотить деньгу. В этом смысле они уже теперь могли бы первенствовать на свете, если б ценность людей измерялась только деньгами. Впрочем, не мое дело... Магазином я теперь почти не занимаюсь и все чаще подумываю о поездке в Венгрию. Двадцать лет не видеть ни полей, ни лесов... страшно подумать!

Я уже начал выправлять паспорт, думал, хлопоты протянутся с месяц. Между тем взялся за это Вирский — и в четыре дня раздобыл мне паспорт. Я даже струхнул...

Делать нечего, надо ехать хоть неделки на две-три. Думал, приготовления к отъезду займут не меньше недели... Куда там! Опять вмешался Вирский, сегодня купил мне чемодан, а назавтра уложил мои вещи и говорит: «Поезжай!»

Меня даже зло взяло. С чего это они, черт возьми, хотят от меня избавиться? Велел всем наперекор вынуть вещи, а чемодан покрыть ковром, потому что мне это уже на нервы начало действовать. Но, что ни говори, хорошо бы куда-нибудь поехать... так бы хорошо...

Однако мне надо сначала набраться сил. У меня по-прежнему нет аппетита, я худею, плохо сплю, хотя по целым дням хожу сонный; начались у меня какие-то головокружения, сердцебиения... Эх! все пройдет...

Клейн тоже опустил. Опаздывает в магазин, таскает с собой какие-то книжонки, ходит на какие-то там собрания. Но самое скверное, что из суммы, назначенной ему Вокульским, он уже взял тысячу рублей и истратил в один день. На что?

При всем том хороший он парень! А лучше всего о его порядочности свидетельствует тот факт, что даже баронесса Кшешовская не выгнала его из своего дома, и он так и живет у себя на четвертом этаже, как всегда тихо, скромно, в чужие дела носа не сует.

Только бы ему развязаться с подозрительными знакомствами; у евреев, может, неприятностей не будет, зато у него...

Вразуми его господь бог и защити!

.....

Клейн рассказал мне потешную и весьма поучительную историю. Я смеялся до слез, а вместе с тем получил лишнее доказательство божественной справедливости даже в самых мелких делах.

«Кратковременно торжество безбожников», — говорит, кажется, священное писание, а может быть, какой-нибудь отец церкви. Впрочем, кто бы ни сказал, правильность этих слов полностью подтвердилась на примере баронессы и Марушевича.

Как известно, баронесса, избавившись от Малесского и Паткевича, строго-настрого наказала дворнику ни под каким видом не пускать на четвертый этаж студентов, хотя бы помещение пустовало; и действительно, студенческая комната несколько месяцев не сдавалась, зато хозяйка поставила на своем.

Тем временем к ней вернулся супруг и, разумеется, взял в свои руки управление домом. Постоянно нуждаясь в деньгах, барон, естественно, из себя выходил из-за этой пустующей комнаты, поскольку каприз баронессы сокращал его доходы на сто двадцать рублей в год.

А тут еще барона подстрекал Марушевич (они уже помирились!), опять без конца занимавший у него деньги.

— К чему вам проверять, — не раз говорил он, — всякого, кто хочет снять у вас комнату, студент он или не студент? Зачем усложнять дело? Раз пришел не в мундире — значит, не студент; а если заплатит за месяц вперед — надо брать, и дело с концом!

Барон принял близко к сердцу эти советы; он даже велел дворнику, в случае если бы нашелся жилец, без долгих разговоров прислать его наверх. Дворник, само собою, рассказал об этом жене, жена — Клейну, а тот, разумеется, предпочитал соседей, которые бы ему пришлось по душе.

Итак, дня через два или три после упомянутого распоряжения к барону явился некий франт со странной физиономией и в еще более странном костюме: брюки его не подходили к жилетке, жилетка — к сюртуку, а галстук — уж вовсе ни к чему не подходил.

— В вашем доме, господин барон, сдается комната для холостяков за десять рублей в месяц? — спрашивает незнакомец.

— Да, — отвечает барон, — вы можете осмотреть ее.

— О, зачем же! Я уверен, что барон не стал бы сдавать плохих комнат. Разрешите внести задаток?

— Пожалуйста, — отвечает барон. — А так как вы верите мне на слово, то и я не спрашиваю никаких подробностей...

— О, если вам угодно...

— Люди благоспитанные довольствуются взаимным доверием, — возразил барон. — Итак, надеюсь, ни у меня, ни у моей жены — у моей жены в особенности — не будет повода к неудовольствию...

Молодой человек горячо пожал ему руку.

— Даю вам слово, — воскликнул он, — что мы никогда не причиним неприятностей вашей жене, которая, право, незаслуженно предубеждена против...

— Довольно, довольно, сударь... — перебил его барон, взял задаток и выдал расписку.

После ухода незнакомца барон вызвал к себе Марушевича.

— Боюсь, — сказал он сконфуженно, — что я выкинул глупость... Квартирант уже есть, но, судя по описанию, это, кажется, один из тех молодцов, которых выселила моя жена...

— Не все ли равно! — возразил Марушевич. — Лишь бы платили вперед.

Утром на другой день в комнатку на четвертом этаже въехало трое молодых людей, да так тихо, что их даже никто не видел. Не обратили также внимания на то, что по вечерам они встречаются с Клейном. А несколько дней спустя к барону прибежал Марушевич в весьма возбужденном состоянии и закричал:

— Подумайте, это действительно те прохвосты, которых выгнала баронесса! Малесский, Паткевич...

— Ну и что же, — сказал барон, — жене они не докучают, лишь бы платили...

— Но мне они докучают! — взорвался Марушевич. — Стоит мне открыть окно, как они стреляют в меня из трубки горохом, что вовсе не так приятно. А когда у меня собираются гости или приходит какая-нибудь дама (прибавил он тихо), они так барабанят горохом в окна, что усидеть невозможно. Мне это мешает... это меня компрометирует! Я буду жаловаться в полицию...

Разумеется, барон сообщил об этом своим жильцам, прося их больше не стрелять в окна Марушевича. Те прекратили обстрел, зато когда Марушевич принимал у себя даму (что случалось довольно часто), тотчас кто-нибудь из молодых людей высовывался в окно и орал:

— Дворник! Дворник!.. Не знаете, что за дама пошла к пану Марушевичу?

Разумеется, дворник понятия не имел, приходила ли вообще дама, но после такого вопроса весь дом узнавал об этом.

Марушевич бесился, тем более что барон на все его жалобы отвечал:

— Ты сам мне посоветовал их пустить...

Баронесса тоже присмирела, потому что боялась, с одной стороны, мужа, а с другой — студентов.

Таким образом, баронесса понесла кару за свою злобу и мстительность, а Марушевич — за свои интриги, и обоих покарала одна и та же рука, а мой славный Клейн получил соседей по душе. Все-таки есть справедливость на свете!..

.....

Ей-богу, Марушевич совершенный бесстыдник! Сегодня прибежал к Шлангбауму жаловаться на Клейна.

— Послушайте, — говорит, — один из ваших служащих, который проживает в доме баронессы Кшешовской, просто компрометирует меня...

— Как же он вас компрометирует? — спрашивает Шлангбаум, широко раскрывая глаза.

— Он бывает у студентов, которые живут против меня. А они, понимаете ли, заглядывают ко мне в окна, стреляют в меня горохом, а когда у меня собирается несколько человек, орут на весь двор, что у меня игорный притон!..

— С июля пан Клейн у меня уже не служит, — отвечает Шлангбаум. — Поговорите лучше с паном Жецким, они давно знакомы.

Марушевич прицепился ко мне и давай опять рассказывать историю про студентов, которые обзывают его шулером и компрометируют навещающих его дам.

«Воображаю, что это за дамы!» — подумал я, а вслух сказал:

— Пан Клейн по целым дням сидит в магазине и не может отвечать за своих соседей.

— Да, но у пана Клейна с ними какие-то делишки! Это он надоумил их опять поселиться у нас в доме, он бывает у них и принимает их у себя.

— Молодого человека тянет к молодежи, — возразил я.

— Да я-то не хочу из-за этого страдать! Пусть он их уймет, или... я на всех на них подам в суд.

Дикое требование: чтобы Клейн унимал студентов, а может, еще расхваливал перед ними Марушевича! Тем не менее я предупредил Клейна и прибавил, что было бы весьма неприятно, если бы он, приказчик Вокульского, оказался причастным к какому-нибудь делу о студенческих беспорядках.

Клейн выслушал меня и пожал плечами.

— Какое это имеет ко мне отношение? Я, может быть, и сам с удовольствием повесил бы этого негодяя, но горох я ему в окно не швырял и шулером не обзывал. Что мне до его шулерских проделок?

Он прав! Поэтому я не сказал ему больше ни слова.

Надо ехать... надо ехать! Только бы Клейн не впутался в какую-нибудь глупую историю. Право, хуже малых детей: хотят весь мир перестроить, а забавляются чепухой!

.....

Или я жестоко ошибаюсь, или мы стоим на пороге чрезвычайных событий.

В мае Вокульский поехал с Ленцкими в Краков и предупредил меня, что не знает, когда вернется, — может быть, только через месяц.

Между тем вернулся он не через месяц, а на следующий день, и такой жалкий, что больно было глядеть на него. Ужас, что случилось с человеком за одни сутки!

Когда я спросил, что случилось, почему он вернулся, Стах смешался, а потом сказал, что получил телеграмму от Сузина и едет в Москву. Однако на другой день раздумал и заявил, что в Москву не поедет.

— А если дело важное? — спросил я.

Он махнул рукой и пробормотал:

— К черту все дела!

Теперь он по целым дням не выходит из дому и большей частью лежит. Я был у него и нашел в весьма раздраженном состоянии, а слуга мне сказал, что он не велел никого принимать.

Послал я к нему Шумана, но Стах и с ним не стал разговаривать, только сказал, что не нуждается в докторе. Но Шуман на этом не успокоился; а так как человек он дотошный, то сам принялся за расследование и узнал любопытные вещи.

Он говорит, что Вокульский сошел с поезда около полуночи в Скерневицах под предлогом, что получил телеграмму, потом исчез со станции и вернулся только на рассвете, перепачканный землей и как будто пьяный. На станции полагают, что он действительно выпил и заснул где-то в поле.

Объяснение это не убедило ни меня, ни Шумана. Доктор уверяет, что Стах, по-видимому, порвал с панной Ленцкой и даже, может быть, пытался выкинуть глупость... Но я думаю, что он в самом деле получил телеграмму от Сузина.

Как бы то ни было, а ехать надо, со здоровьем моим плохо. Я еще не инвалид и не вправе из-за кратковременного недомогания отказываться от будущего.

.....

Мрачевский в Варшаве и живет у меня. Раздобрел, как монах, возмужал, загорел. А сколько стран он объездил за последние месяцы!

Был в Париже, потом в Лионе, из Лиона заехал под Ченстохов к пани Ставской и вместе с нею прибыл в Варшаву. Потом отвез ее под Ченстохов, прожил там с недельку и, кажется, помог ей открыть магазин. Затем помчался в Москву, оттуда опять под Ченстохов к пани Ставской, снова погостил у нее и теперь живет у меня.

Мрачевский утверждает, что никакой телеграммы Сузин Вокульскому не посылал, и не сомневается, что Вокульский порвал с панной Ленцкой. Он, по-видимому, обмолвился об этом и пани Ставской, и она (ангел во плоти, а не женщина!), приехав две недели тому назад в Варшаву, навестила меня и все допытывалась про Стаха: «Здоров ли он, сильно ли изменился, грустит ли и неужели так никогда и не перестанет убиваться?..»

Зачем ему убиваться?.. Допустим, он действительно порвал с панной Ленцкой; что ж, на его век, слава богу, женщин хватит; и если только Стах захочет, то может жениться хотя бы на пани Ставской.

Золотая, бриллиантовая женщина! Как она любила его и, кто знает, не любит ли еще и сейчас... Ей-богу, вот бы штука была, если б Стах к ней вернулся. Она так хороша собой, так благородна, так самоотверженна... Если есть какой-то смысл в том, что делается на свете (в чем я иногда сомневаюсь), — Вокульский должен жениться на Ставской.

Но ему следует торопиться, потому что, если не ошибаюсь, о ней серьезно подумывает Мрачевский.

— Дорогой мой! — часто говорит он мне, ломая руки. — Дорогой мой, что это за женщина, что за женщина! Если б не ее злополучный муж, я бы давно уже сделал ей предложение.

— А она бы согласилась?

— Ох, не знаю, — вздохнул он. Бросился на стул, так что сидение затрещало, и говорит:

— Когда я увидел ее впервые после ее отъезда из Варшавы, меня словно громом поразило, до того она мне понравилась...

— Положим, ты и раньше был к ней неравнодушен.

— Но не настолько. Приехал я из Парижа в Ченстохов в мечтательном настроении, а она такая бледненькая, глаза такие печальные; я и подумал: «А вдруг выйдет?..» — и давай ухаживать. Но при первых же нежных словах она оборвала меня, а когда я бросился на колени и стал клясться в любви — расплакалась. Ах, пан Игнаций, эти слезы... Я совсем голову потерял, ну, совершенно... Черт бы побрал наконец ее мужа, или достать бы хоть денег на развод... Пан Игнаций! Неделя жизни с этой женщиной, и я либо умер бы, либо пришлось бы меня возить в колясочке... Да, дорогой мой... Теперь только я чувствую, как люблю ее.

— А если она любит другого?

— Кого? Уж не Вокульского ли?.. Ха-ха-ха! Кто ж полюбит такого бирюка? Женщине нужно выказывать свои чувства, говорить ей о любви, о страсти, пожимать ручку, а если дается, то и... А разве этот истукан способен на что-либо подобное!.. Гонялся за панной Изабеллой, как легавый за уткой, пока думал, что через нее завяжет отношения с аристократией и что у барышни богатое приданое. А увидел, как обстоят дела, и сбежал в Скерневицах. Нет, сударь, с женщинами так нельзя...

Признаюсь, не понравился мне пыл Мрачевского. Будет он этак падать на колени, скулить да плакать, да, пожалуй, в конце концов и вскружит голову пани Ставской. Вот тогда-то Вокульский пожалеет, потому что, честное слово офицера, это единственная подходящая для него женщина.

Ну, поживем — увидим, а пока что в путь... в путь...

.....

Брррр! Вот так уехал!.. Купил билет до Кракова, сел в вагон на Венском вокзале и — после третьего звонка выскочил.

Не могу ни на минуту расстаться с Варшавой и с магазином... Жить без них не могу...

Вещи свои я получил на вокзале только на следующий день, потому что они уже укатили чуть не в Петрков.

Если всем моим планам суждено так осуществляться, то поздравляю...»

Глава пятнадцатая. Душа в летаргическом сне

Вокульский не выходил из своей комнаты. Лежа или сидя на диване, он машинально вспоминал свое возвращение из Скерневиц.

Около пяти утра он купил в кассе билет первого класса, однако не помнил, сам ли он попросил такой билет, или это решили без него; сел он почему-то в купе второго класса и там видел ксендза, который всю дорогу смотрел в окно, и еще рыжего немца, который, сняв ботинки и положив ноги в грязных носках поперек прохода, спал как убитый. Напротив сидела какая-то старая дама, у которой так болели зубы, что она даже не возмущалась поведением своего разутого соседа.

Вокульский хотел подсчитать, сколько человек в купе, и после долгих усилий сообразил, что без него трое, а с ним четверо. Потом стал раздумывать: почему это три человека и один человек в сумме составляют четыре человека, — и заснул.

Пришел он в себя только в Иерусалимской Аллее, уже на извозчике. Но когда он приехал в Варшаву, кто вынес его чемодан, каким образом он очутился в пролетке — этого он не помнил; впрочем, ему было бы все равно.

У дверей своей квартиры он звонил не менее получаса, хотя было около восьми утра. Наконец лакей ему отпер, заспанный, полуодетый, перепуганный внезапным возвращением барина. Войдя в спальню, Вокульский убедился, что верный слуга спал на его кровати. Однако он не стал его бранить, только велел подать самовар.

Сконфуженный лакей, с которого сон как рукой сняло, поспешно сменил простыни и наволочки, и Вокульский, увидев свежую постель, не стал пить чай, а разделся и лег.

Он проспал до пяти часов дня, а потом, умывшись и одевшись, перешел в гостиную, где машинально опустился в кресло и снова дремал до вечера. Когда на улице зажглись фонари, он велел подать лампу и принести из ресторана бифштекс. Съел его с аппетитом, запил вином и около полуночи снова улегся спать.

На другой день его навестил Жецкий, но долго ли он сидел и о чем они говорили — Вокульский не помнил. Только на следующую ночь ему сквозь сон померещилось, будто он видит встревоженное лицо Жецкого.

Потом он совсем потерял представление о времени, не видел смены дня и ночи, не замечал, быстро или медленно проходят часы. Время его не интересовало, словно оно перестало для него существовать. Он только ощущал пустоту внутри и вокруг себя, ему даже казалось, что его квартира стала как-то просторней.

Однажды ему приснилось, будто он лежит на высоком катафалке, и он начал думать о смерти. Ему представилось, что он непременно умрет от паралича сердца; но это его не пугало и не радовало. Иногда от долгого сидения в кресле у него немели ноги, и он думал, что это уже приближается смерть, и с равнодушным любопытством ждал, скоро ли онемееет и сердце. Эти наблюдения его немного развлекали, но скоро он снова впадал в апатию.

Он приказал никого не принимать; все же доктор Шуман несколько раз навестил его.

При первом визите он пощупал ему пульс и велел показать язык.

— Может быть, английский?.. — спросил Вокульский, но тут же опомнился и вырвал руку.

Шуман проникательно поглядел ему в глаза.

— Ты нездоров, — сказал он. — Что у тебя болит?

— Ничего. Ты опять взялся за практику?

— А как же? — воскликнул Шуман. — И первый курс провел на самом себе: вылечился от мечтательности.

— Весьма похвально, — ответил Вокульский. — Жецкий что-то говорил мне о твоём выздоровлении.

— Жецкий полоумный... старый романтик... Это вымирающая порода! Тот, кто хочет жить, должен трезво смотреть на мир... А ну-ка, по очереди закрывай глаза. Делай, как я говорю: левый, правый... правый... Положи ногу на ногу...

— Чем ты занимаешься, дорогой мой?

— Осматриваю тебя.

— Вот как! И надеешься что-нибудь высмотреть?

— А как же!

— А потом?

— Буду тебя лечить.

— От фантазерства?

— Нет, от неврастении.

Вокульский усмехнулся и, помолчав, спросил:

— Скажи, а ты можешь вынуть из человека мозг и на его место вложить другой?

— Пока что нет...

— Ну так оставь меня.

— Я могу тебе внушить новые желания...

— Они уже есть у меня. Мне хочется провалиться сквозь землю, глубоко-глубоко... как в колодце заславского замка. И еще мне хочется, чтобы меня засыпало обломками вместе со всем моим богатством, чтобы и следа от меня не осталось. Таковы мои теперешние желания — плод всех предыдущих.

— Романтика! — вскричал Шуман, похлопывая его по плечу. — Ничего, и это пройдет.

Вокульский не отвечал. Он сердился на себя за свою вспышку и удивлялся: с чего вдруг он вдался в откровенность? Глупая откровенность! Кому какое дело до его желаний? Зачем он говорил об этом? Зачем, как бесстыдный нищий, обнажил свои раны?

После ухода доктора он заметил в себе какую-то перемену: прежняя абсолютная апатия сменилась каким-то новым чувством. То была неопределенная боль, сначала едва ощутимая, потом быстро усилившаяся и застывшая в постоянном напряжении. В первый момент она была подобна легкому булавочному уколу, а потом непрерывно стала ощущаться в сердце, как какое-то инородное тело, не крупнее лесного орешка.

Он уже начал жалеть о минувшей апатии, но вспомнил слова Фейхтерслебена.[50]

«Я радовался своему страданию, ибо мне казалось, что я подметил в себе ту плодотворную борьбу, которая порождает и порождает все в нашем мире, где непрерывно борются бесконечные силы».

— Так что же это такое! — спросил он себя, чувствуя, как в душе его апатия сменяется тупой болью. И тут же ответил: — Ага, это пробуждается сознание...

Постепенно в его мозгу, все еще как будто застланном пеленой, начала вырисовываться картина. Вокульский с любопытством всмотрелся в нее и различил фигуру женщины в объятиях мужчины... Картина сначала поблескивала фосфорическим сиянием, потом порозовела... пожелтела... позеленела... посинела... и, наконец, стала бархатисто-черной. Потом ненадолго исчезла и снова начала появляться во всех цветах поочередно — от фосфорического до черного.

Одновременно усиливалась боль.

«Я страдаю — значит, я существую!»[51] — подумал он и засмеялся.

Так прошло несколько дней: он то всматривался в изменчивые краски картины, то прислушивался к изменчивому течению боли. Временами она совсем исчезала, но потом появлялась вновь, неуловимая, как атом, разрасталась, заполняла собою все сердце, все существо его, весь мир... и в момент, когда страдание переходило всякие границы, боль опять исчезала, уступая место абсолютному спокойствию и удивлению.

Исподволь в душе его стало зарождаться желание — желание избавиться от этой боли и от этого видения. Оно было как искра, вспыхивающая во мраке ночи. Какая-то слабая надежда блеснула перед Вокульским.

— Интересно, способен ли я еще мыслить? — задал он себе вопрос.

Чтобы проверить себя, он начал вспоминать таблицу умножения, потом множить в уме двузначные числа на однозначные и двузначные на двузначные. Не доверяя себе, он записывал результаты умножения и потом проверял их... Цифры сходились.

Вокульский воспрянул духом.

«Я еще не потерял рассудка!» — подумал он с радостью.

Он начал представлять себе расположение своей квартиры, варшавские улицы, Париж... Надежда крепла: он заметил, что не только отчетливо помнит все, но вдобавок упражнения памяти доставляют ему известное облегчение. Чем больше думал он о Париже, чем ярче представлял себе оживленное движение на улицах, здания, рынки, музеи, тем быстрее тускнела фигура женщины в объятиях мужчины...

Он уже стал прохаживаться по квартире, и однажды глаза его остановились на кипе репродукций. То были копии картин Дрезденской и Мюнхенской галерей, «Дон-Кихот» с иллюстрациями Дорэ, Хоггарт...

Он вспомнил, что присужденные к гильотине облегчают себе муку ожидания, просматривая картинки... и с тех пор по целым дням разглядывал иллюстрации. Окончив одну книгу, он брался за другую, третью... и опять возвращался к первой.

Боль притуплялась, видения являлись все реже, крепла надежда...

Чаще всего он просматривал «Дон-Кихота», неизменно производившего на него очень сильное впечатление.

Он вспоминал удивительную историю человека, который долгие годы прожил в атмосфере поэтических вымыслов, — как он сам, сражался с ветряными мельницами — как он сам; был жестоко разбит, так же, как и он, испортил себе жизнь, гоняясь за идеалом женщины, так же, как он, и вместо принцессы нашел грязную коровницу — опять-таки как он...

«А все-таки Дон-Кихоту еще повезло, — думал он. — Только на краю могилы он лишился своих иллюзий... А я?..»

Снова и снова просматривая все те же картинки, он привыкал к ним, и его внимание притуплялось. Глядя на Дон-Кихота, Санчо Панса и погонщиков мулов на иллюстрациях Дорэ, на «Бой петухов» и «Улицу джина» Хоггарта, он все чаще видел вагон, подрагивающее стекло, а в нем — неясное отражение Старского и панны Изабеллы...

Тогда он забросил иллюстрации и принялся читать книги, знакомые еще с детства или с того времени, когда он служил у Гопфера. С неизъяснимым волнением освежал он в памяти «Житие св. Женевьевы», «Танненбергскую розу», «Ринальдини» [52], «Робинзона Крузо» и, наконец, «Тысячу и одну ночь». Опять ему почудилось, что время и действительность перестали существовать, что его истерзанная душа улетела с земли и блуждает по каким-то зачарованным странам, где сердца исполнены благородства, где подлость не прикрывается лицемерной маской и где царит вечная справедливость, исцеляющая страдания и вознаграждающая обездоленных.

И тут его поразило одно наблюдение. В то время как польская литература внушала ему иллюзии, завершившиеся душевным крахом, — целительный покой он находил лишь в произведениях иностранных литератур.

«Неужели мы действительно народ мечтателей, неужели никогда уже не явится ангел к вифсаидской купели, окруженной болящими?» — с тревогой думал он.

Однажды ему принесли с почты толстый пакет.

«Из Парижа?» — спросил он. «Да, из Парижа». — «Любопытно, что это».

Но любопытство было не настолько сильно, чтобы распечатать конверт и прочесть письмо.

«Какое толстое! И кому, черт возьми, охота столько писать».

Он швырнул конверт на письменный стол и опять погрузился в чтение «Тысячи и одной ночи».

«Что за услада для истерзанного ума — дворцы из драгоценных камней, деревья, цветущие изумрудами и рубинами!.. Магические слова, перед которыми расступаются стены, волшебные лампы, с помощью которых можно сокрушать врагов и в мгновение ока переноситься за сотни верст... А всеильные чародеи?.. Как жаль, что такое могущество доставалось злым и подлым людям...»

Он откладывал книгу в сторону и, посмеиваясь над собой, начинал мечтать. В грезах он был чародеем, обладающим двумя безделицами: властью над силами природы и способностью становиться невидимым...

— Я думаю, если б мне удалось похозяйничать несколько лет, мир выглядел бы иначе... — произнес он вслух. — Самые большие бездельники превратились бы в Сократов и Платонов...

Тут он взглянул на парижский конверт и вспомнил слова Гейста: «Человечество состоит из змей и тигров, и лишь изредка среди них можно встретить человека... Нынешние бедствия происходят оттого, что великие изобретения попадали без разбора в руки людей и чудовищ... Я такой ошибки не совершу, и если когда-нибудь открою металл легче воздуха, то отдам его только подлинным людям. Пусть они наконец получают оружие в свое исключительное владение, пусть порода их множится и становится могучей...»

— Бесспорно, лучше бы такие вот Охоцкие и Жецкие были в силе, а не Старские и Марушевичи... — пробормотал Вокульский.

«Вот это достойная цель! — мысленно продолжал он. — Будь я моложе... Впрочем... Ведь и у нас попадаются люди, и у нас можно бы многое сделать...»

Он опять принялся за сказки «Тысячи и одной ночи», но заметил, что они не увлекают его, как прежде. В сердце заныла прежняя боль, а перед глазами все отчетливей рисовалась фигура панны Изабеллы в объятиях Старского.

Вспомнил он Гейста в деревянных сандалиях, потом его странный дом, обнесенный оградой... И вдруг вообразил, что дом этот служит первой ступенью гигантской лестницы, наверху которой возвышается статуя, теряющаяся в облаках. Она изображала женщину, голова и торс которой были скрыты, и видны были только бронзовые складки ее одежды. На постаменте, на который опирались ее ноги, чернела надпись: «Чистая и неизменная». Он не понимал, что это значит, но чувствовал, как от статуи исходит, наполняя его сердце, какой-то величавый покой. Ему показалось странным, что он, способный испытывать подобные чувства, мог влюбиться в панну Изабеллу, мог сердиться на нее или ревновать к Старскому...

Он вспыхнул от стыда, хотя был один в комнате.

Видение исчезло. Вокульский очнулся. Опять он был только слабым, пострадавшим человеком, но в душе его звучал какой-то могучий голос, словно отголосок апрельской грозы, предвещающей своими раскатами весну и возрождение.

Первого июня его навестил Шлангбаум. Он вошел неуверенно, но, присмотревшись к Вокульскому, приободрился.

— Я не навестил тебя раньше, — начал он, — так как знал, что ты прихворнул и не хотел никого видеть. Ну, слава богу, теперь все прошло...

Он ерзал на стуле и украдкой разглядывал комнату: должно быть, полагал, что застанет тут большой беспорядок.

— Ты по делу? — спросил Вокульский.

— Не столько по делу, сколько с предложением. Понимаешь, когда я узнал, что ты болен, мне пришло в голову... Видишь ли, тебе нужно хорошенько отдохнуть, бросить на время все дела, вот мне и пришло в голову — не захочешь ли ты оставить у меня эти сто двадцать тысяч рублей?.. Ты бы без всяких хлопот получал десять процентов.

— Вот как? — заметил Вокульский. — Я своим компаньонам без всяких хлопот для себя платил пятнадцать.

— Но сейчас времена не те... Впрочем, охотно дам тебе пятнадцать, если ты оставишь мне свою фирму...

— Ни фирмы, ни денег, — нетерпеливо отрезал Вокульский. — Фирмы лучше бы и вовсе не было, а деньги... У меня их столько, что хватит с меня дохода с процентных бумаг. Да и того много!

— Значит, ты хочешь забрать свой капитал ко дню святого Яна?

— Могу его оставить тебе до октября, и даже без процентов, при условии, что ты не рассчитаешь служащих, которые пожелают остаться.

— Нелегкое условие, однако...

— Как хочешь.

Оба помолчали.

— А какие у тебя планы насчет Общества по торговле с Россией? — спросил Шлангбаум. — Судя по твоим словам, ты оттуда собираешься уйти?

— Весьма возможно.

Шлангбаум покраснел, хотел что-то прибавить, но не решился.

Поговорили еще несколько минут о посторонних вещах, и Шлангбаум ушел, попрощавшись очень тепло.

«Как видно, он не прочь занять мое место и там, — думал Вокульский. — Что ж, пускай... Мир принадлежит тем, кто его завоевывает».

Все же ему показалось нелепым, что Шлангбаум в такую минуту заговорил с ним о собственных делах.

«Все в магазине жалуются на него, говорят, что он задирает нос, притесняет служащих... Правда, и обо мне говорили то же самое...»

Взгляд его снова упал на стол, где уже несколько дней валялось письмо из Парижа. Он взял его, зевнул, но наконец распечатал.

Это было сообщение баронессы, имеющей связи в дипломатическом мире, а также несколько официальных документов. Он просмотрел их и убедился, что это свидетельство о смерти Эрнста Вальтера, иначе — Людвига Ставского, скончавшегося в Алжире.

Вокульский задумался.

«Получи я эти бумаги три месяца тому назад — кто знает, что было бы сейчас... Ставская хороша собой, а главное, благородна... поистине благородна... Может быть, она в самом деле любила меня... Ставская — меня, а я — ту... Какая ирония судьбы!..»

Он бросил бумаги на стол и вспомнил маленькую, чистенькую гостиную, где столько вечеров провел со Ставской и где всегда чувствовал себя так спокойно.

«Ну, вот я и оттолкнул счастье, которое само шло мне в руки. Но можно ли назвать счастьем то, к чему нас не тянет?.. А вдруг она хоть один день терзалась, как я?.. Как жестоко устроен мир, если двое людей, несчастных по одной и той же причине, не могут помочь друг другу».

Документы о кончине Ставского пролежали еще несколько дней, а Вокульский все никак не мог решить, что с ними делать.

Сначала он вовсе не думал о них, но они то и дело попадались ему на глаза, и его стали мучить угрызения совести.

«В конце концов, — говорил он себе, — я выписал их для Ставской — значит, нужно их отдать Ставской; но где она?.. Не знаю. А забавная получилась бы история, если бы я сейчас женился на ней... Избавился бы наконец от своего одиночества... Элюня — милый ребенок... Вот и цель в жизни. Только она, пожалуй, не выгадала бы... Что я мог бы ей сказать? Что я болен, что мне нужна сиделка, и потому, сударыня, я имею честь предложить вам пятнадцать тысяч в год? И даже позволяю себя любить, хотя сам... уже по горло сыт любовью?..»

День шел за днем, а Вокульский все еще не придумал, как переслать бумаги Ставской. Надо было узнать, где она живет, написать заказное письмо, отправить на почту... Наконец он вспомнил, что проще всего вызвать Жецкого (с которым он не виделся уже более месяца) и передать документы ему. Но чтобы вызвать Жецкого, надо позвонить лакею, послать его в магазин...

— Э-эх, оставьте вы меня в покое! — проворчал он и снова погрузился в чтение — на этот раз путешествий. Посетил Соединенные Штаты, Китай... Но бумаги Ставской не давали ему покоя. Он сознавал, что с ними надо что-нибудь предпринять, но чувствовал, что ничего не предпримет.

Такое состояние духа удивляло даже его самого.

— Рассуждаю ведь я правильно, — говорил он себе, — правда, когда мне не мешают воспоминания... Чувствую правильно... Ох, даже чересчур правильно! Только... не хочется заниматься этим делом, как, впрочем, и всякими другими... Итак, у меня модная нынче болезнь воли... Чудное открытие!.. Да ведь я, черт побери, никогда не придерживался моды. А в сущности, какое мне дело — в моде оно или не в моде! Мне так удобно, следовательно...

Уже подходило к концу путешествие по Китаю, когда ему пришло на ум, что, будь у него сильная воля, он мог бы рано или поздно забыть об известных событиях и известных особах.

— А меня это так терзает... так терзает... — простонал он.

Он жил, совершенно потеряв представление о времени.

Однажды к нему ворвался Шуман.

— Ну, что слышно? — спросил он. — Вижу, мы принялись за чтение. Романы — хорошо... путешествия — отлично... Не хочешь ли прогуляться? Прекрасная погода, а ты, верно, за пять недель вдоволь насладился своей квартирой...

— Ты своею наслаждался лет десять... — ответил Вокульский.

— Правильно. Но у меня было занятие: я исследовал человеческие волосы и мечтал о славе. А главное — у меня не было на шее забот, своих и чужих. Ведь через две-три недели состоится заседание Общества по торговле с Россией.

— Я выхожу из него...

— Вот так так! Отличная мысль! — насмешливо произнес Шуман. — И вдобавок, чтобы заслужить всеобщую признательность, предложим им в директоры Шлангбаума. Он им покажет, как и мне... Гениальная раса эти евреи, но и сволочи же...

— Ну, ну, ну...

— Уж ты, пожалуйста, не защищай их, — вскинулся Шуман, — я их не просто так знаю, я их вижу насквозь... Голову даю на отсечение, что в настоящую минуту Шлангбаум подкапывается под тебя в твоём Обществе, ручаюсь, что он вотрется туда... Как же иначе, разве польская шляхта могла бы обойтись без еврея?

— Ты, я вижу, недолюбливаешь Шлангбаума?

— Нисколько, я даже восхищаюсь им и охотно бы ему подражал, да, к сожалению, не сумею. А как раз теперь во мне пробуждаются инстинкты моих предков: любовь к коммерческим комбинациям. О, голос крови!

Как бы мне хотелось иметь миллион рублей, чтобы нажить второй миллион, потом третий... и стать младшим братом Ротшильда. Между тем даже такой вот Шлангбаум водит меня за нос... Я так долго вращался в вашем обществе, что в конце концов утратил драгоценнейшие черты своей расы... Но это великая раса! Они завоюют весь мир, и даже не с помощью своего ума, а наглостью и обманом...

— Так порви с ними, крестись...

— И не подумаю. Во-первых, креститься — не значит порвать с ними, да и я из тех жидовских феноменов, что не любят притворяться и врать. Во-вторых, если я не порвал с ними, когда они были слабы, то тем более не порву сейчас, когда они стали сильны.

— Мне кажется, что именно сейчас они слабее, чем прежде, — заметил Вокульский.

— Не потому ли, что их начали ненавидеть?

— Полежим, ненависть — сказано слишком сильно.

— Да перестань ты, я ведь не слеп и не глуп... Знаю, что болтают насчет евреев в мастерских, кабаках, магазинах и даже в газетах... И не сомневаюсь, что в ближайшие годы разразятся новые преследования, после которых мои братья во Израиле станут

еще умнее, сильнее и сплоченнее... Ох, когда-нибудь они рассчитаются с вами! Прохвосты они отчаянные, но я вынужден признать их гениальность и не стану отрицать своей к ним симпатии... Последний замызганный еврейчик мне милее самого опрятного барчука; а когда я, впервые за двадцать лет, зашел в синагогу и услышал песнопения — честное слово, на глаза мои навернулись слезы... Что и говорить! Прекрасен Израиль в торжестве своем, и сладко подумать, что в торжестве угнетенных есть частичка твоей заслуги!

— Шуман, мне кажется, у тебя жар.

— Вокульский, я уверен, что у тебя бельмо, но не на глазу, а на мозгах...

— Как ты можешь говорить при мне подобные вещи?

— Говорю я прежде всего потому, что не хочу быть гадиной, которая жалит исподтишка, а во-вторых... ты, Стах, с нами воевать не будешь... Ты разбит, разбит своими же... Магазин ты продал, из Общества выходишь... Песенка твоя спета.

Вокульский понурился.

— Сам посуди, — продолжал Шуман, — кто остался с тобой? Я, еврей, презираемый и обездоленный, равно как и ты... и по вине тех же людей... по вине великосветских господ...

— Ты становишься сентиментален.

— Это не сентиментальность! Они кичились перед нами своим величием, рекламировали свои добродетели, навязывали нам свои идеалы... А теперь скажи сам: чего стоят их идеалы и добродетели, в чем их величие, которое нуждалось в поддержке твоего кармана? Всего год провел ты с ними, якобы на равноправном положении, и до чего они тебя довели? Посуди же, до чего они должны были довести тех, кого целые столетия угнетали, топтали ногами?.. Потому-то советую тебе: объединись с евреями! Удвоишь состояние и, как гласит Ветхий завет, «узришь врагов у стоп твоих...» Взамен за фирму и несколько теплых слов мы отдадим в твои руки Ленцких, Старских и еще кое-кого в придачу... Шлангбаум не годится тебе в компаньоны, это шут гороховый.

— Допустим, вы перегрызете горло всем этим ясновельможным господам... А дальше что?

— Нам не останется ничего иного, как объединиться с вашим народом, мы станем его интеллигенцией, ибо сейчас у него интеллигенции нет... Мы научим его нашей философии, нашей политике и экономике, и наверняка при нас ему будет лучше, чем при нынешних руководителях... Ну и руководители! — рассмеялся он.

Вокульский махнул рукой.

— Сдается мне, что ты, который всех и вся лечишь от расслабляющей мечтательности, сам страдаешь этой болезнью.

— То есть... почему?

— Да потому... У вас у самих нет почвы под ногами, а собираетесь других сваливать с ног... Лучше подумайте о справедливом равноправии, а не о завоевании мира и не

беритесь лечить чужие пороки, не избавившись от своих собственных, которые увеличивают число ваших врагов. Впрочем, ты и сам не знаешь, чего хочешь: то презираешь евреев, то переоцениваешь их...

— Я презираю отдельные личности, но массу уважаю.

— А я наоборот: массу презираю, а личности подчас высоко ценю.

Шуман задумался.

— Делай как знаешь, — сказал он, беря шляпу. — Однако факт, что если ты выйдешь из Общества, оно попадет в руки Шлангбаума и его паршивой шайки. Между тем, оставшись там, ты мог бы привлечь к делу людей честных, порядочных, у которых пороков немного, а связи среди евреев огромные.

— Так или сяк, Обществом завладеют евреи.

— С той разницей, что без тебя это сделают евреи синагогального толка, а с твоей помощью — евреи университетского толка.

— Не все ли равно! — пожал плечами Вокульский.

— Отнюдь. Нас с ними связывает общность расы и положения, но разделяет разность воззрений. У нас — наука, у них — талмуд, у нас — ум, у них — смекалка; мы немножко космополиты — они хотели бы отгородиться от всего мира и не признают ничего, кроме своей синагоги и кагала. Когда речь идет о борьбе с общим противником, они превосходные союзники, но если дело касается прогресса внутри иудейства... они только страшное бремя! И потому интересы цивилизации требуют, чтобы именно мы могли влиять на коренные вопросы. Они только и сумеют что испакостить мир лапсердаками и чесноком, а не способствовать его совершенствованию... Пораздумай над этим, Стах!..

Он обнял Вокульского и вышел, насвистывая арию: «Рахиль, ты мне дана небесным провиденьем...»

«Итак, — размышлял Вокульский, — по-видимому, предстоит драка между прогрессивными и реакционными евреями, оспаривающими друг у друга нашу шкуру, и от меня ожидают, что я примкну к одной из сторон... Заманчивая роль!.. Ах, как все это скучно и нудно...»

И он вернулся к своим мечтам. Опять перед ним встали потрескавшиеся стены Гейстова дома и бесконечная лестница, наверху которой возвышалась бронзовая статуя богини с головой, окутанной облаками, и загадочной надписью у подножья: «Чистая и неизменная...»

Он смотрел на складки ее одежды, и на минуту ему стали смешны и панна Изабелла, и ее победоносный поклонник, и собственные терзания.

«Возможно ли?.. возможно ли?.. чтобы я...»

Но статуя вдруг исчезла, а боль вернулась и расположилась в его сердце полновластной хозяйкой.

Через несколько дней после Шумана пришел Жецкий.

Он очень исхудал, опирался на палку и так обессилен, поднимаясь на второй этаж, что упал, задыхаясь, на стул и еле мог говорить.

Вокульский ужаснулся.

— Что с тобой, Игнаций? — воскликнул он.

— Э, пустое... Малость состарился, а малость... Пустое!

— Да ты лечись, дорогой, съезди куда-нибудь...

— Признаюсь тебе, я уже пробовал уехать... Даже сидел уже в вагоне... Но такая тоска меня взяла по Варшаве... по нашему магазину, — прибавил он тише, — что... И-и-и! Куда там!.. Извини, что я пришел сюда...

— Ты еще извиняешься, старина дорогой!.. Я думал, ты на меня сердишься...

— На тебя? — возразил Жецкий, с любовью глядя на Вокульского. — На тебя?.. Ну, да чего там... Меня заставили прийти дела и большая неприятность...

— Неприятность?

— Представь себе, Клейна арестовали...

Вокульский подался назад вместе со стулом.

— Клейна и тех двух... помнишь? Малесского и Паткевича...

— За что?

— Они ведь жили в доме баронессы Кшешовской, ну и, по правде сказать, немножко... допекали... этого... Марушевича... Он из себя вон выходил, а они свое... Наконец он побежал в участок жаловаться... Явилась полиция, произошел какой-то скандал, и всех троих упрятали в тюрьму.

— Дети! Малые дети... — тихо сказал Вокульский.

— И я тоже говорил, — подхватил Жецкий. — Конечно, ничего им не будет, но все-таки неприятность. Марушевич, осел этакий, сам перепугался. Прибежал ко мне, божился, что он тут ни при чем... Я уж не выдержал и говорю ему: «Не сомневаюсь, что вы ни при чем, но несомненно также, что в наше время господь бог жалует негодяев... По совести, это вам полагалось бы сейчас сидеть за решеткой за подлоги, а не этим сорванцам...» Он даже расплакался. Поклялся, что отныне вступит на праведный путь, а если до сих пор не вступил, то лишь по твоей вине. «Я был преисполнен благороднейших намерений, — говорил он, — но пан Вокульский, вместо того чтобы протянуть мне по-дружески руку и поддержать мою готовность к добру, пренебрег мною...»

— Вот честная душа! — рассмеялся Вокульский. — Что еще слышно?

— В городе поговаривают, что ты выходишь из Общества...

— Верно...

— И отдаешь его евреям...

— Позволь, ведь мои компаньоны не подержанное платье, чтобы их можно было отдавать, — рассердился Вокульский. — У них есть деньги, есть головы на плечах... Пусть ищут подходящих людей и сами устраивают свои дела.

— Как же, найдут они! А если б даже нашли — кому довериться, как не евреям? А евреи всерьез заинтересовались этим делом. Дня не проходит, чтобы не заглянул ко мне Шуман или Шлангбаум, и каждый старается меня уговорить, чтобы я после твоего ухода взял на себя руководство Обществом...

— Фактически ты и теперь руководишь им...

Жецкий махнул рукой.

— С помощью твоих замыслов и денег! Но не о том речь... Судя по всему, Шуман принадлежит к одной партии, а Шлангбаум к другой, и оба нуждаются в подставном лице. В разговорах со мною один на другого собак вешает, но вчера я слышал, будто обе их партии готовы прийти к соглашению.

— Умники! — шепнул Вокульский.

— Разочаровался я в них, — продолжал Жецкий. — Как старый купец скажу тебе: все у них держится на бахвальстве, надувательстве и низкопробной дешевке.

— Ну, не слишком-то ругай их, ведь мы сами вырастили их такими...

— Вовсе не мы! — возмущенно воскликнул Жецкий. — Они всюду на один манер. Где только я ни встречал их — в Пеште и Константинополе, в Париже и Лондоне, — принцип у них везде один: «Давай поменьше, бери побольше», — и это как в материальном, так и в духовном смысле. Мишура... одна мишура!

Вокульский встал и зашагал из угла в угол.

— Прав был Шуман, — заметил он, — что вражда к евреям растет, если даже ты...

— Я не чувствую к ним вражды... вообще я уже не вояка... Но ты только погляди, что творится вокруг! Они втираются всюду, открывают магазины, готовы все захватить в свои руки... И стоит одному устроиться повыше, он уже тащит за собой целый легион своих — ничуть не лучше, а даже хуже наших. Увидишь, во что они превратят наш магазин: каких заведут приказчиков, какие товары... И не успели они завладеть магазином, а уже заводят связи с аристократией, осаждают твое Общество...

— Сами мы виноваты, сами! — повторял Вокульский. — Мы не можем запретить кому-либо завоевывать себе лучшее положение, но можем не отступать с занятых позиций.

— А ты сам отступаешь.

— Не по их вине; они со мною обошлись честно.

— Потому что ты был им нужен. Они использовали тебя и твои связи, как ступеньку...

— Ну, ладно, — оборвал Вокульский. — Мы друг друга не переубедим. Да, вот что... Я получил официальное свидетельство о смерти Людвига Ставского.

Жецкий вскочил.

— Мужа пани Элены?.. Где оно? — взволнованно спросил он. — Да ведь это спасение для всех нас!

Вокульский протянул Жецкому документы, и тот схватил их трясущимися руками.

— Царствие ему небесное, и... слава богу! — говорил он, читая. — Ну, милый Стах, теперь уж никаких препятствий... Женись на ней... Ах, если б ты знал, как она тебя любит... Я тотчас же уведомяю бедняжку, а бумаги ты отвези ей сам и... тут же сделай предложение... Я уже вижу, Общество спасено, а может, и магазин уцелеет... Сотни людей, которых ты избавишь от нужды, будут благословлять вас... Что это за женщина... Только с нею ты найдешь наконец покой и счастье...

Вокульский остановился перед ним и покачал головой.

— А она со мной?

— Она любит тебя безумно... Ты даже не представляешь...

— А знает она, кого любит? Разве ты не видишь, что я развалина, и самого худшего вида — развалина духовная... Отравить кому-нибудь счастье я сумею, но дать... Если я могу еще что-нибудь дать людям, то только деньги и труд, и то... не нынешним людям, совсем, совсем другим...

— Да перестань ты!.. — вскричал Жецкий. — Женись на ней, и сразу тебе все представится в другом свете...

Вокульский грустно улыбнулся.

— Да, жениться... Связать хорошее, невинное существо, злоупотребить благороднейшими чувствами, а душою быть далеко, далеко... А через годик, другой, пожалуй, ее же попрекать тем, что ради нее я отказался от великих замыслов...

— Политика?.. — таинственно шепнул Жецкий.

— Какая там политика!.. Было у меня и время и возможность разочароваться в ней... Есть кое-что поважнее политики.

— Уж не изобретение ли Гейста?

— А ты откуда знаешь?

— От Шумана.

— Ах, правда... Я забыл, что Шуман всегда все знает. Тоже талант...

— И весьма полезный. Все же советую: подумай о пани Ставской, иначе...

— Ты ее отобьешь? — усмехнулся Вокульский. — Отбивай, отбивай. Даю слово, нуждаться вы не будете.

— Тьфу ты... да перестань, право! Свет бы вверх дном перевернулся, если бы такой старый хрыч, как я, помышлял о подобной женщине. Нет, тут есть кое-кто поопаснее... Мрачевский... Просто с ума сходит по ней и уже третий или четвертый раз поехал ее навестить... А женское сердце не камень...

— О... Мрачевский!.. Что, он уже не разыгрывает из себя социалиста?

— Какое! Теперь он говорит, что стоит, мол, человеку отложить первую тысячку да вдобавок познакомиться с такой прелестной женщиной, как всякая политика вылетает вон из головы.

— Бедняга Клейн держался иных взглядов, — заметил Вокульский.

— Ну, что там Клейн, отчаянная башка! Хороший малый, но приказчик никудышный... Мрачевский — вот кто был бриллиант! Красавец, болтал по-французски, а как посматривал на покупательниц, как подкручивал усики... Этот своего не упустит, и вот увидишь, сманит он твою пани Ставскую!

Старик собрался уходить, но в дверях остановился и прибавил:

— Женись на ней, Стах, женись... Осчастливишь женщину, сохранишь торговое общество, а может, и магазин спасешь. Подумаешь, изобретения!.. Я еще понимаю в наше время политические цели, когда с минуты на минуту могут произойти события чрезвычайной важности. Но какие-то летательные машины... Впрочем, может, и они пригодятся? — прибавил он, подумав. — Гм... пожалуй, поступай как хочешь, только скорее решай насчет пани Ставской, потому что, ей-богу, Мрачевский зевать не станет. Он малый не промах! Летательные машины... Фу ты! Впрочем, кто знает... Может быть... может быть, и они на что-нибудь пригодятся!

Вокульский остался один.

«Париж или Варшава? — подумал он. — Там цель возвышенная, но, может статься, недостижимая, тут — несколько сот человек...»

— Которых я видеть не могу!.. — неожиданно вырвалось у него.

Он подошел к окну и постоял, глядя на улицу, просто чтобы прийти в себя. Но все его раздражало: движение экипажей, суeta прохожих, их озабоченные или улыбающиеся лица... Более же всего расстраивал его вид женщин. Каждая казалась ему воплощением глупости и притворства.

«Рано или поздно каждая найдет своего Старского, — думал он. — Во всяком случае, каждая его ищет».

Вскоре его снова навестил Шуман.

— Дорогой мой, — смеясь, крикнул доктор еще в дверях, — можешь выгнать меня вон, но я все равно буду донимать тебя визитами...

— Да пожалуйста, приходи почаще! — ответил Вокульский.

— Так ты согласен?.. Чудесно... Наполовину ты вылечился... Однако что значит сильный мозг! Не прошло и двух месяцев тяжелой мизантропии, а ты уже способен снисходить к представителям человеческого рода, да к тому еще в моем лице. Ха-ха-ха!.. Ну, а если бы впустить в твою клетку этакую шикарную бабочку...

Вокульский побледнел.

— Ну, ну... знаю, что рано... Хотя, вообще говоря, пора бы тебе показаться на люди. Это окончательно бы тебя вылечило. Возьми, например, меня, — разглагольствовал Шуман. — Пока я сидел в четырех стенах, скучно мне было, как черту на колокольне;

но чуть только вылез на свет божий, уж к моим услугам тысяча удовольствий. Шлангбаум старается меня обжудить и удивляется с каждым днем все сильнее, убеждаясь, что хоть на вид я прост, а все его ходы наперед угадываю. Он даже начал меня уважать...

— Довольно скромное удовольствие, — заметил Вокульский.

— Погоди! Второе удовольствие доставляют мне мои единовѣрцы из финансовых кругов; они, видишь ли, вбили себе в голову, будто я обладаю необычайным коммерческим даром, и вместе с тем надеются вести меня на поводу... Воображаю их горькое разочарование, когда выяснится, что мне не хватает ни коммерческой сноровки, ни наивности, пользуясь которой они рассчитывали сделать меня пешкою в своих руках...

— А ты так советовал мне объединиться с ними!

— Это особая статья. Я и нынче советую. Осмотрительный союз с умными евреями никого еще не оставлял в проигрыше, по крайней мере в финансовом смысле. Но одно дело — быть компаньоном, а совсем иное — пешкой, какую меня хотят сделать... Ох, евреи, евреи!.. в лапсердаках или во фраках, но обязательно пройдохи!

— Что, однако же, не мешает тебе обожать их и заключать сделки с Шлангбаумом?

— Это опять-таки особая статья, — возразил Шуман. — Евреи, по-моему, самая гениальная в мире раса, и вдобавок это моя раса, потому-то я восхищаюсь ими и, в массе, люблю их. Что же до сделок с Шлангбаумом... побойся бога, Стах! Умно ли было бы с нашей стороны, если бы мы грызлись друг с другом сейчас, когда надо спасти такое великолепное предприятие, как Общество по торговле с Россией? Ты бросаешь его на произвол судьбы, и оно либо разлетится, либо достанется немцам, то есть в обоих случаях стране будет нанесен ущерб. А так и для страны будет польза, и для нас...

— Я перестаю тебя понимать, — заметил Вокульский. — Евреи то великая нация, то пройдохи... Шлангбаума следует то выбросить из Общества, то принять... Польза от этого будет то для евреев, то для нашей страны... Совершенная путаница!

— Это у тебя, дорогой мой, мозги набекрень... Никакой путаницы нет, все ясно как день. Единственно кто кое-как движет вперед отечественную промышленность и торговлю, это евреи, и потому каждое их экономическое достижение способствует развитию страны... Понятно?

— Об этом надо бы еще поразмыслить... Ну, а каково твое следующее удовольствие?

— Преогромное. Представь себе, при первой же вести о моих грядущих финансовых успехах меня уже хотят женить... Это меня-то, с моей еврейской мордой и лысиной!..

— Кто?.. на ком?

— Ну конечно, наши знакомые. А на ком?.. На ком угодно! Хоть на христианке, и вдобавок из самого благородного семейства, лишь бы я крестился...

— А ты?..

— Знаешь, я готов попробовать, просто из любопытства. Интересно посмотреть, как молодая, красивая, благовоспитанная христианка из хорошего дома будет мне признаваться в любви... Тут, братец мой, целый миллион удовольствий. Вот бы я позабавился, глядя, как она старается добиться моей руки и сердца! Вот бы позабавился, слушая, как она декламирует о своей жертве на благо семьи, а может, и родины. И, наконец, вот еще развлечение — наблюдать, как она станет вознаграждать себя за свою жертву, изменяя мне — по старому ли методу, то есть тайком, или по-новому, то есть открыто, и даже, может быть, требуя моего попустительства...

Вокульский за голову схватился.

— Ужасно... — вырвалось у него.

Шуман искоса следил за ним.

— Старый романтик... старый романтик!.. — произнес он. — Ты хватаешься за голову, потому что в твоём расстроенном воображении все еще гнездится химера идеальной любви, женщины с ангельской душой... Такие попадаются не более одной на десяток-значит, у тебя девять шансов против одного, что такой ты не встретишь. А хочешь знать, каково большинство?.. Присмотрись, как люди живут. Либо мужчина, как петух, увивается за десятком кур, либо женщина, как волчица в феврале, приманивает к себе целую стаю одуревших волков или псов... И, скажу тебе, нет ничего унизительнее, чем оказаться в такой стае и попасть в зависимость от волчицы... Тут лишишься и богатства, и здоровья, и сердца, и энергии, а напоследок и рассудка... Стыд и срам тому, кто не способен вырваться из такой грязи.

Вокульский сидел молча, с широко открытыми глазами. Потом тихо сказал:

— Ты прав...

Доктор схватил его за руку и, сильно встряхнув ее, закричал:

— Я прав?.. И ты это говоришь?.. Ну, значит, ты спасен... Да, из тебя еще будет толк. Плюнь на все прошлое: на собственные горести и на чужую подлость... Найди себе какую-нибудь цель, все равно какую, и начинай новую жизнь. Продолжай зарабатывать деньги или делай замечательные открытия, женись на Ставской или основывай новое торговое общество — только стремись к чему-нибудь и что-нибудь делай. Понятно? И боже тебя упаси прилепиться к женской юбке! Люди с твоей энергией командуют, а не исполняют, руководят, а не идут на поводу... Особа, имевшая возможность выбирать между тобою и Старским и выбравшая Старского, тем самым доказала, что недостойна даже его... Вот мой рецепт, ясно? А теперь будь здоров и оставайся со своими мыслями.

Вокульский не удерживал его.

— Сердишься? — спросил Шуман. — Не удивительно, я выжег тебе основательную язву; а то, что осталось, само пройдет. Ну, будь здоров.

После ухода доктора Вокульский распахнул окно и расстегнул ворот рубашки. Ему было душно, жарко, казалось — вот-вот его хватит удар. Он вспомнил Заславек и обманутого барона, при котором сам играл почти такую же роль, какую Шуман при нем...

Он дал волю воображению, и рядом с видением панны Изабеллы в объятиях Старского ему представилась стая запыхавшихся волков, гоняющихся по снегу за волчицей... И он был тоже среди них!..

Снова он почувствовал нестерпимую боль и в то же время отвращение и гадливость к самому себе.

— Как я был глуп и ничтожен!.. — воскликнул он, хлопнув себя по лбу. — Столько видеть, столько слышать и все же пасть так низко... Я... я!.. соперничал со Старским и черт знает с кем еще!

На этот раз он смело вызвал в своей памяти образ панны Изабеллы; смело всматривался в ее точеные черты, пепельные волосы, в глаза, отливающие всеми цветами — от голубого до черного. И ему почудилось, что на ее лице, шее, плечах и груди пятнами выступили следы поцелуев Старского.

«Прав был Шуман, — подумал он, — я действительно выздоровел».

Однако понемногу гнев его остыл, и снова вкрались в сердце сожаление и тоска.

В следующие дни Вокульский уже ничего не читал. Он вел оживленную переписку с Сузиным и много размышлял.

Размышлял о том, что теперь, проведя около двух месяцев взаперти в своем кабинете, он перестал быть человеком и уподобился до известной степени устрице, которая, сидя на одном месте, потребляет без разбора все, что подсунет ей случай.

А ему что дал случай?

Сначала книги; одни открыли ему, что он Дон-Кихот, а другие пробудили в нем влечение к миру чудес, где люди обладают властью над силами природы.

Теперь его не прельщала уже роль Дон-Кихота, ему захотелось обладать властью над силами природы.

По очереди забегали к нему Шлангбаум и Шуман, и от них он узнал, что две еврейские партии ведут между собою борьбу за руководящую роль в Обществе после его ухода. Во всей стране не было никого, кто способен был осуществлять и развивать его замыслы, — никого, кроме евреев, а те выступали во всеоружии кастового нахальства, пронырливости и бессердечия, да еще убеждали его в том, будто его упадок, а их торжество послужат на пользу родине...

И его охватило такое отвращение к торговле, коммерческим обществам и всяким прибылям, что он сам себе удивлялся: как он мог почти два года заниматься подобными делами?

«Я добивался богатства ради нее... — думал он. — Торговля... Я и торговля!.. И это я нажил свыше полумиллиона рублей за два года, связывался с дельцами, ставил на карту свой труд и жизнь... И выиграл... Да, выиграл. Разве я не понимал, я, идеалист, ученый, что трудом не заработаешь полмиллиона даже за целую жизнь, за три жизни!.. Хорошо, хоть одно утешение оставили мне эти шулерские махинации — сознание, что я не воровал и не жульничал... Видно, бог дураков любит...»

Потом случай (опять случай!) принес ему письмо из Парижа о смерти Ставского, с тех пор мысль о Ставской всякий раз напоминала ему о Гейсте.

«Говоря по правде, я должен бы вернуть обществу этот шулерский выигрыш. Бедность и темнота у нас страшные, и именно эти бедные и темные люди, как человеческий материал, наиболее достойны уважения... А для этого единственный способ — жениться на Ставской. Она, несомненно, не только бы не противилась, но, напротив, всей душой поддерживала бы мои намерения. Ей самой пришлось испытать и тяжелую трудовую жизнь, и бедность, и она поистине великодушна...» Так рассуждал Вокульский, но чувствовал совсем иное: презрение к людям, которых хотел осчастливить. Он чувствовал, что пессимизм Шумана не только поколебал в нем страсть к панне Изабелле, но и отравил его самого. Ему трудно было отделаться от вьевшихся в душу слов, что человеческий род состоит либо из кур, зазывающих петуха, либо из волков, гоняющихся за волчицей, и что, куда ни посмотришь, девять шансов против одного, что наткнешься на зверя, а не на человека.

— Черт бы его побрал вместе с его лечением! — проворчал Вокульский. И задумался над тем, что говорил Шуман.

Три человека различали в людском роде звериные черты: он сам, Гейст и Шуман. Но он считал, что звери в человеческом образе являются исключением, а человечество в целом состоит из положительных единиц. Гейст утверждал обратное, — для него человеческая толпа была стадом скотов, а отдельные положительные индивиды являлись исключением; однако Гейст верил, что со временем число хороших людей увеличится и они начнут управлять миром, — потому-то он десятки лет работал над открытием, которое должно было способствовать этому торжеству. Шуман также утверждал, что огромное большинство людей — звери, но не верил в лучшее будущее и другим не внушал подобной надежды. Он навеки обрекал человеческий род на скотское состояние, причем евреям все же была предназначена почетная роль щук среди карасей.

«Хороша философия», — думал Вокульский.

Однако сам чувствовал, что в его истерзанной душе, словно на свежевспаханном поле, шумановский пессимизм быстро пускает корни. Он замечал, что в нем угасает не только любовь, но и возмущение против панны Изабеллы. Ибо, поскольку весь мир состоит из скотов, нет смысла ни влюбляться в них, ни сердиться, если кто-нибудь оказался скотом, не лучшим и, наверное, не худшим, чем все остальные.

«Дьявольское лечение! — повторял он. — Но, впрочем, может быть, самое радикальное!.. Я катастрофически обанкротился со своими воззрениями; но кто поручится, что и Гейст не ошибается в своих, что не окажется прав Шуман? Жецкий — тварь, Ставская — тварь, Гейст — тварь, я сам — тварь... Идеалы — это размалеванные ясли, а в них намалеванная трава, которая никого не насытит. И так, к чему жертвовать собою, к чему влюбляться? Нужно просто вылечиться, а потом поочередно потчевать себя сочным мясом и красивыми женщинами, запивая то и другое душистым винцом... Иногда что-нибудь почитать или куда-нибудь съездить, послушать концерт — и так дотянуть до старости!»

За неделю до заседания, которое должно было решить судьбу торгового общества, к Вокульскому зачастили с визитами. Приходили купцы, аристократы, юристы, и все заклинали его не покидать председательский пост и не подвергать опасности организацию, созданную им самим. Вокульский принимал посетителей с таким холодным равнодушием, что у них отпадала охота излагать свои аргументы; он говорил, что устал, болен и потому вынужден выйти из Общества.

Посетители уходили, потеряв надежду, но каждый признавал, что, по-видимому, Вокульский действительно тяжело болен. Он исхудал, отвечал немногословно и резко, а глаза его лихорадочно горели.

— Надорвался от жадности! — говорили купцы.

За несколько дней до окончательного срока Вокульский вызвал своего поверенного и просил его сообщить компаньонам, что, согласно заключенному с ними договору, он изымает свою долю капитала и выбывает из членов Общества. Остальные могут сделать то же самое.

— А деньги? — спросил поверенный.

— Для них уже приготовлены в банке, а у меня свои расчеты с Сузиным.

Поверенный ушел в подавленном состоянии. В тот же день к Вокульскому приехал князь.

— Что я слышу! — начал он, пожимая Вокульскому руку. — Ваш поверенный держится так, словно вы и вправду собираетесь нас покинуть.

— А вы, князь, думали, я шучу?

— Да нет... Просто, я думаю, вы заметили какую-то несообразность в нашем договоре и...

— И торгуюсь, чтобы вынудить вас подписать другой, в силу которого ваши проценты уменьшатся, а мои прибыли возрастут?... — подхватил Вокульский. — Нет, князь, я отстраняюсь совершенно серьезно.

— Значит, вы подводите своих компаньонов?

— Почему? Вы сами, господа, заключили со мной соглашение только на год, и сами же требовали такого ведения дела, чтобы в течение месяца по расторжении договора каждый из членов мог изъять свой капитал. Таково было ваше настойчивое требование. Я же отступаю от договора только в том, что возвращу деньги не через месяц, а через час после ликвидации Общества.

Князь упал в кресло.

— Общество останется, но вместо вас в него войдут иудеи... — тихо сказал он.

— Это уж зависит от вас.

— Евреи в нашем Обществе! — вздохнул князь. — Они, чего доброго, даже на заседаниях будут говорить по-еврейски... несчастная наша отчизна! Несчастный язык!

— Ничего страшного, — заметил Вокульский. — Большинство наших компаньонов обычно разговаривали на заседаниях по-французски, и с языком ничего не случилось; так не повредят ему, наверное, и несколько слов по-еврейски.

Князь покраснел.

— Да ведь иудеи, почтеннейший... чуждая раса!.. А как раз сейчас все так восстановлены против них...

— Это ничего не значит. Впрочем, кто вам мешает собрать нужные капиталы, как это сделали евреи, и доверить их не Шлангбауму, а кому-нибудь из купцов христиан?

— Мы не знаем такого, который заслуживал бы доверия.

— А Шлангбаума вы знаете?

— Кроме того, у нас нет достаточно способных людей. Все это приказчики, а не финансисты...

— А я чем был? Тоже приказчиком и даже прислуживал в ресторане, а все же Общество приносило обещанные прибыли.

— Вы исключение...

— Откуда вы знаете, что нет еще таких же исключений за прилавками и в погребках? Поищите.

— Иудеи сами приходят к нам...

— Вот именно! — воскликнул Вокульский. — Евреи приходят к вам или вы приходите к ним, но парвеню из христиан не может к вам даже подступиться, столько помех стоит у него на пути. Я кое-что знаю об этом. Ваши двери так плотно закрыты перед купцом и промышленником, что надо либо бомбардировать их сотнями тысяч рублей, либо пролезать в щель наподобие клопа. Приоткройте двери, и тогда, может быть, сумеете обойтись без евреев.

Князь закрыл лицо руками.

— Ох, пан Вокульский... все, что вы говорите, вполне справедливо, но очень горько, очень жестоко... Однако не об этом речь... Я понимаю ваше озлобление против нас, но... есть ведь обязанности перед Обществом.

— Ну, я не считаю, что исполнял их, получая с моего капитала пятнадцать процентов. И не думаю, что стану худшим гражданином, ограничившись пятью...

— Мы же расходует эти деньги, — возразил уже несколько обиженно князь.

— Мы даем заработок людям...

— И я буду расходовать. Поеду летом в Остенде, на осень в Париж, на зиму в Ниццу...

— Извините! Мы не только за границей поддерживаем людей. Мало ли здешних ремесленников...

— Дожидается платы за свой труд по году и дольше, — подхватил Вокульский. — Оба мы, ваше сиятельство, знаем таких покровителей отечественной промышленности даже среди компаньонов нашего Общества...

Князь вскочил с кресла.

— Ну-уу... это уж некрасиво, пан Вокульский! — задыхаясь, сказал он. — У нас немало серьезных недостатков, не спорю, немало грехов, но вам-то жаловаться на нас не приходится... Вы всегда пользовались нашей поддержкой... уважением!

— Уважением! — рассмеялся Вокульский. — Неужели вы думаете, князь, я не понимал, чего стоило это уважение и какое место было мне отведено среди вас?.. Пан Шастальский, пан Нивинский и... даже пан Старский, всю жизнь бездельничавший и неизвестно откуда бравший деньги, — все они пользовались у вас во сто крат большим уважением, чем я. Да что я говорю! Любой проходимец, будь он только иностранцем, без труда проникал в ваши гостиные, а мне пришлось брать их приступом, пуская в ход... да хотя бы те же пятнадцать процентов от вверенных мне капиталов!.. Вот кто пользовался вашим уважением и несравненно большими привилегиями, чем я... В то время как каждый из перечисленных господ в подметки не годится моему швейцару, потому что тот занимается делом и по крайней мере не разлагает общество...

— Пан Вокульский, вы к нам несправедливы... Я понимаю, что вы имеете в виду, и стыжусь, честное слово... Но мы не отвечаем за проступки отдельных личностей...

— Нет, все вы отвечаете, потому что личности эти росли среди вас, а то, что вы, князь, называете проступком, является лишь плодом ваших воззрений, вашего неуважения ко всякому труду и ко всяким обязанностям...

— В вас говорит обида, — запротестовал князь и собрался уходить. — Обида понятная, но, пожалуй, неправильно адресованная... Прощайте. Итак, вы отдаете нас на съедение иудеям?

— Надеюсь, вы с ними сговоритесь легче, чем с нами, — насмешливо ответил Вокульский.

У князя на глазах показались слезы.

— Я думал, — взволнованно произнес он, — вы послужите золотым мостом между нами и теми, что... все дальше отходят от нас.

— Я готов был служить мостом, но его подпилили, и он рухнул... — ответил Вокульский, кланяясь.

— Значит, мы снова возвращаемся в окопы святой троицы?..

— Это еще не окопы, а пока лишь торговое соглашение с евреями...

— И это говорите вы? — спросил князь, бледнея. — В таком случае, я... в этом Обществе не останусь... О, наша несчастная отчизна!

Он кивнул Вокульскому и ушел.

Наконец состоялось заседание, решившее судьбу Общества по торговле с Россией.

Прежде всего правление, организованное Вокульским, представило отчет за истекший год. Оказалось, что оборот раз в пятнадцать превышал капитал, принесший не пятнадцать, а восемнадцать процентов прибыли. Члены Общества были растроганы этим сообщением и, по предложению князя, поднялись с мест, выражая свою благодарность правлению и отсутствующему Вокульскому.

Потом встал поверенный Вокульского и заявил, что его клиент по состоянию здоровья устраняется от участия не только в правлении, но и в Обществе. Все давно были подготовлены к этому известию, тем не менее оно произвело угнетающее впечатление.

Воспользовавшись паузой, князь попросил слова и уведомил собравшихся, что вследствие ухода Вокульского он также выбывает из Общества. Сообщив это, он немедленно покинул зал заседания, а уходя, сказал одному из своих приятелей:

— Я никогда не обладал коммерческими способностями, а Вокульский — единственный человек, которому я мог доверить честь своего имени. Раз его нет, так и мне здесь нечего делать.

— А дивиденды?.. — тихо спросил приятель.

Князь взглянул на него свысока.

— То, что мною сделано, я делал не ради дивидендов, а ради нашей несчастной отчизны. Я хотел влить в нашу среду немного свежей крови и свежих воззрений; однако, должен признаться, я проиграл, и отнюдь не по вине Вокульского... Бедная наша отчизна!

Уход князя, при всей его неожиданности, не произвел особенного впечатления, ибо присутствующие уже были предупреждены, что так или иначе, а Общество не распадется.

Затем выступил один из юристов и дрожащим голосом произнес весьма прочувственную речь, в коей возвестил, что с уходом Вокульского Общество теряет не только руководителя, но и пять шестых капитала. «Можно было ожидать, что оно рухнет, засыпав обломками всю страну, тысячи служащих, сотни семейств...» Тут оратор остановился, рассчитывая на ошеломляющий эффект. Но собравшиеся приняли его слова с полным равнодушием, заранее зная, что последует дальше.

Юрист заговорил снова, призывая присутствующих не падать духом, «ибо нашелся доблестный гражданин, человек с коммерческим опытом и даже друг и компаньон Вокульского, который готов поддержать пошатнувшееся Общество, как Атлас поддержал небо. Сей муж, жаждущий утереть слезы тысячам людей, спасти от разорения отчизну и повести нашу торговлю по новым путям...»

При этих словах все головы повернулись к тому месту, где сидел потный и красный Шлангбаум.

— Сей муж, — вскричал юрист, — это...

— Мой сын Генричек... — откликнулся из угла чей-то голос.

Такого эффекта никто не ожидал, и зал разразился хохотом. Тем не менее члены правления притворились, будто они приятно изумлены, и обратились к собранию с

вопросом: угодно ли ему принять пана Шлангбаума в качестве компаньона и руководителя? И, получив единодушное согласие, пригласили нового руководителя на председательское место.

Тут опять произошло небольшое замешательство: немедленно потребовал слова Шлангбаум-отец и, произнеся несколько похвал в адрес сына и членов правления, заявил, что Общество впредь не может гарантировать более десяти процентов годового дохода.

Поднялся шум, выступило человек пятнадцать, и после весьма оживленных прений было вынесено постановление о приеме новых членов, рекомендованных паном Шлангбаумом, а также о передаче руководства делами Общества тому же пану Шлангбауму.

Последним эпизодом явилась речь доктора Шумана, который, получив приглашение вступить в члены правления, не только отказался от столь почетного поста, но даже позволил себе язвительно подшутить над объединением аристократов с евреями.

— Это нечто вроде внебрачной связи, — сказал он. — Но, поскольку иногда от такого сожительства рождаются гениальные дети, будем надеяться, что и наше объединение даст какие-нибудь редкостные плоды...

Члены правления забеспокоились, кое-кто из собравшихся возмутился, но большинство наградило оратора шумными аплодисментами.

Вокульский знал о ходе заседания во всех подробностях; с неделю еще он не мог отделаться от посетителей и писем, подписанных и анонимных.

Благодаря этим обстоятельствам он испытал новое, странное состояние духа. Словно оборвались все нити, связывавшие его с людьми, и они стали ему безразличны и безразлично стало все, что их интересует. Он чувствовал себя актером, который, окончив свою роль и сойдя со сцены, где минуту назад смеялся, сердился и плакал, теперь сидит среди зрителей и смотрит на игру своих товарищей, как на ребяческую забаву.

«Чего они мечтают?.. Как это глупо...» — думал он. Ему казалось, будто он смотрит на мир откуда-то извне, и дела человеческие представлялись ему с какой-то новой, неожиданной стороны.

В первые дни ему не давали покоя компаньоны, служащие и клиенты Общества, недовольные правлением Шлангбаума, а может быть, и опасавшиеся за собственную судьбу. Они уговаривали его вернуться и занять оставленный пост, пока еще не поздно и пока договор с Шлангбаумом не подписан.

При этом многие рисовали свое положение в самых мрачных красках, иные плакали, и Вокульский на минуту жалел их. Но вместе с тем он обнаружил в себе такую черствость и равнодушие к людскому горю, что сам удивился.

«Что-то умерло во мне...» — думал он, наотрез отказывая просителям.

Потом хлынула новая волна посетителей; эти приходили якобы поблагодарить за оказанные им услуги, а в действительности желали удовлетворить свое любопытство и

посмотреть, как выглядит этот некогда сильный человек, о котором теперь шла молва, будто он совсем опустился.

Эти не упрашивали Вокульского вернуться в Общество, ограничиваясь похвалами его прошлой деятельности и уверениями, что не скоро найдется деятель подобного масштаба.

Третья волна гостей навещала его и вовсе не известно зачем. Они даже не расточали ему комплиментов, а все чаще упоминали об энергии и способностях Шлангбаума.

Среди множества посетителей только возчик Высоцкий вел себя иначе. Он пришел проститься со своим прежним работодателем, хотел было что-то сказать, но вдруг расплакался, поцеловал ему обе руки и выбежал вон.

Примерно то же повторялось и в письмах от знакомых и незнакомых лиц. Одни заклинали его не отстраняться от дел, ибо уход его явится бедствием для страны; другие расхваливали его прошлую деятельность или выражали сожаление по поводу его ухода; третьи советовали ему объединиться с Шлангбаумом как с человеком способным и полезным Обществу. Зато в анонимных письмах его поносили самым бесцеремонным образом, упрекая в том, что в прошлом году он погубил отечественную промышленность, ввозя заграничные ткани, а сейчас губит торговлю, продавая ее евреям. Указывали даже полученную им сумму.

Вокульский размышлял обо всем этом совершенно спокойно. Ему казалось, что он покойник, взирающий на собственные похороны; он видел людей, которые его хвалили, сожалели о нем или злословили; видел того, кто занял его место и к кому уже обращались общие симпатии, и, наконец, понял, что он уже забыт и никому не нужен. Так камень, брошенный в воду, на минуту возмущает ее покой; потом поднятая им рябь становится все меньше, меньше... пока не уляжется совсем. И снова над местом его падения образуется зеркальная гладь, которую могут всколыхнуть новые волны, но уже поднятые в других местах кем-то другим.

Он вспомнил совет Шумана — найти себе какую-нибудь цель в жизни. Совет хороший, но... как исполнить его, если он не испытывает никаких желаний, если у него нет ни сил, ни охоты?.. Он словно высохший лист, готовый лететь туда, куда его понесет ветер.

«Когда-то мне казалось, что я испытывал подобное состояние, — думал он, — но теперь вижу, что понятия о нем не имел...»

Однажды он услышал громкие пререкания в передней. Выглянув, он увидел Венгелека, которого лакей не хотел впускать.

— Ах, это ты? — сказал Вокульский. — Входи же... Что у вас слышно?

Венгелек сначала тревожно приглядывался к нему, потом понемногу повеселел и приободрился.

— Говорили про вас, будто вы уж на ладан дышите, — начал он, улыбаясь,

— а я вижу, что все это враки. Похудеть-то вы похудели, но на тот свет вам еще рано...

— Что же слышно? — повторил Вокульский.

Венгелек пространно рассказал, что уже обзавелся домом, куда лучше того, который сгорел, и что от заказчиков просто отбоя нет. Он и в Варшаву приехал материал закупить да нанять двух работников.

— Впору фабрику закладывать, ваша милость, — похвалился он под конец.

Вокульский молча слушал и вдруг спросил:

— А с женою ты счастливо живешь?

По лицу Венгелека скользнула тень.

— Женщина она хорошая, только... Ну, да перед вами, как перед господом богом... Не то уже теперь между нами... Правду говорят: чего глаза не видят, то и сердце не томит, а как увидят...

Он утер рукавом слезы.

— Да что случилось? — удивился Вокульский.

— Ничего. Знал ведь, кого беру, но беспокоиться не беспокоился: женщина она хорошая, смиренная, работающая и ко мне привязалась, как собачонка... Ну, а что с того... Был я спокоен, пока не увидел ее соблазнителя или как там...

— Где?..

— Да в Заславе же, ваша милость. Раз в воскресенье пошли мы с Марысей к замку; хотел я показать ей ручей, где кузнец погиб, и камень, на котором ваша милость велела надпись вырезать. Вдруг вижу — коляска барона Дальского, что женились на внучке покойной барыни из Заслава... Хорошая была барыня, царствие ей небесное...

— Ты знаешь барона?

— А как же? Ведь барон теперь управляет именьями покойницы, чего-то там никак не уладят. А я уже при нем оклеивал комнаты и чинил рамы. Знаю его... Старательный барин и щедрый...

— Что же дальше?

— Стоим, значит, мы с Марысей около замка и смотрим на ручей, а тут откуда ни возьмись лезут на развалины двое — баронесса, внучка покойницы то есть, и этот сукин сын Старский...

Вокульский вздрогнул.

— Кто? — еле слышно переспросил он.

— Да Старский, тоже внук покойной заславской барыни; при жизни-то он все подлизывался к ней, а теперь не желает ее завещание признавать — дескать, бабка перед смертью умом тронулась... Вот он каков!

С минуту помолчав, Венгелек продолжал.

— Стоят себе с баронессой под ручку, смотрят на наш камень, а больше между собой переговариваются, хи-хи да ха-ха. Потом вижу, Старский смотрит в нашу сторону.

Увидел мою жену и этак ей усмехнулся, а она чего-то побелела как полотно... «Ты что, Марыся?» — говорю ей. А она: «Ничего...» А баронесса с басурманом этим сбежали с горки и пошли в орешник. «Ты что?.. — говорю я опять Марысе. — Выкладывай все как есть, я и так смекнул, что ты с этим стервецом путалась...» А она села на землю и давай реветь: «Накажи его бог!

— говорит. — Ведь это он первый меня погубил...»

Вокульский закрыл глаза. Венгелек продолжал с волнением:

— Как услышал я это, ваша милость, так, думаю, догоню его сейчас и не посмотрю ни на какую баронессу — ногами затопчу насмерть. Такая меня обида взяла! Но тут же сам рассудил: «А зачем ты, дурак, женился на ней?.. Знал ведь, каковская она...» И в эту минуту сердце у меня так и зашлось — с горки даже ступить боюсь, а на жену и не глянул. Она говорит: «Ты сердисься?..» А я: «Тут вы небось тоже встречались?» — «Бог мне свидетель, — она отвечает, — после того я его больше и не видала...» — «Хорошо же вы друг к дружке присмотрелись! — говорю я. — Глаза бы мои на тебя не глядели... Лучше б я сдох, раньше чем тебя встретил...» А она ревмя ревет: «За что же ты сердисься...» Я ей тогда сказал, в первый и последний раз: «Свинья ты, и больше ничего!..» — потому что сердце мое не стерпело.

Тут, смотрю, бежит сам барон; закашлялся, аж посинел весь, и спрашивает: «Не видал ли ты, Венгелек, моей жены?..» Меня словно бес толкнул, я и брякни ему: «Видал, ваша милость, пошла в кусты с паном Старским. Видно, у него денег-то не хватает на девок, так принялся за барынек!..» А он как глянет на меня, даром что барон...

Венгелек украдкой вытер глаза.

— Вот какая моя жизнь, ваша милость. Жил я себе спокойно, пока не увидел ее соблазнителья; а теперь, кого ни встречу, все мне думается, может и этот мне родня... А от жены, хоть я ей ни слова не говорю, меня так и воротит... так и воротит, ну словно что стоит между нами. Даже поцеловать ее, как бывало, не могу. И кабы не дал я обета перед алтарем, давно бы все бросил и ушел бы куда глаза глядят... А все через мою к ней слабость. Сами посудите: не люби я ее, так мне что?.. Хозяйка она домовитая, и стряпать и шить мастерица, сама смиренная, ее и не слышно в доме. Заводила бы себе дружков любезных на здоровье. Да ведь я ее любил, оттого мне и горько, оттого и злоблюсь на нее так, что все внутри у меня горит...

Венгелек дрожал от гнева.

— Вначале, как мы поженились, ваша милость, я все ждал: вот пойдут дети... А теперь меня страх берет: а ну как вместо своего увижу я прижитого невесть с кем? Уж известное дело: стоит легавой суке хоть раз оценить от дворового пса, так потом подавай ей хоть самых распородистых, все равно в щенках скажется кровь дворянки — видать, оттого, что на него заглядывалась...

— Мне надо уходить, — внезапно перебил его Вокульский. — До свиданья... А перед отъездом зайди ко мне, хорошо?..

Венгелек простился с ним очень сердечно, а в передней сказал лакею:

— Точит что-то вашего барина, точит... сперва-то я думал, он здоров, хоть и осунулся, а видно, и впрямь неладно с ним... Храни вас господь бог...

— Говорил я тебе, не лезь к барину и лишнего не болтай, — мрачно ответил лакей, выпроваживая Венгелека за дверь.

Оставшись один, Вокульский впал в глубокое раздумье.

— Они стояли против моего камня и смеялись! — бормотал он. — Даже камень ему надо было осквернить, ни в чем не повинный камень!

На мгновение ему показалось, что он нашел наконец новую цель в жизни, и остается только выбрать, что лучше: пристрелить Старского, как собаку, предварительно прочитав ему список его жертв, или, может быть, оставить его в живых, доведя до крайней степени нищеты и унижения?

Но, остыв, он рассудил, что было бы ребячеством и даже пошлостью лишаться состояния, работы и душевного покоя ради мести такому ничтожеству.

«Лучше уж заняться истреблением полевых мышей или тараканов, потому что это подлинный бич, а Старский... черт его знает, что он такое!.. Да и немислимо, чтобы такой ограниченный человек мог быть единственной причиной стольких несчастий. Он — только искра, поджигающая уже подготовленный материал...»

Вокульский растянулся на кушетке и продолжал размышлять.

«Он поступил со мной подло... а почему?.. Да потому, что нашел достойную сообщницу, а второй сообщницей была моя глупость. Как можно было сразу не разгадать такую женщину и сделать ее своим кумиром только потому, что она разыгрывала высшее существо?.. Он и с Дальским подло поступил, но кто ж виноват, что барон на старости лет без памяти влюбился в особу, моральные качества которой были видны как на ладони?.. Причиной таких катастроф являются не Старские и им подобные, а в первую очередь — глупость их жертв. И, наконец, ни Старский, ни панна Изабелла, ни пани Эвелина не свалились с луны, они выросли в определенной среде, эпохе, в атмосфере определенных понятий... Они — словно сыпь, которая сама по себе не является болезнью, но служит симптомом заражения общественного организма. Какой же смысл им мстить или истреблять их?»

В тот вечер Вокульский впервые вышел на улицу и убедился, что он ослабел, как ребенок. От грохота пролеток и мелькания прохожих голова у него кружилась, и он просто боялся далеко уходить от дома. Ему казалось, что он не доберется до Нового Свята, не попадет обратно или ни с того ни с сего выкинет какую-нибудь глупость. А больше всего он опасался встретить знакомых.

Домой он вернулся усталый и возбужденный, но спал в эту ночь хорошо.

Через неделю после посещения Венгелека пришел к нему Охоцкий. Он возмужал, загорел и стал похож на молодого помещика.

— Откуда это вы? — спросил Вокульский.

— Прямо из Заславека, где просидел почти два месяца, — ответил Охоцкий.

— Да ну их ко всем чертям! Вот ведь ввязался я в историю.

— Вы?

— Я, голубчик мой, я. И вдобавок за чужие грехи! У вас волосы встанут дыбом...

Он закурил и продолжал:

— Не знаю, дошло ли до вас, что покойная председательша завещала все свое состояние, кроме незначительной части, благотворительным учреждениям: больницам, приютам для подкидышей, начальным школам, сельским лавкам и так далее... А князь, Дальский и я назначены ее душеприказчиками. Отлично... Приступаем мы к делу, вернее хлопочем об утверждении завещания, как вдруг (примерно месяц назад) возвращается из Кракова Старский и заявляет нам, что от имени обойденных родственников подает в суд о непризнании завещания. Разумеется, и князь и я слышать об этом не хотим, но барон под влиянием жены, которую подстрекает Старский, начинает поддаваться... Мы даже по этому поводу с ним несколько раз крупно поговорили, а князь просто порвал с ним отношения.

— Тем временем что же происходит? — продолжал Охоцкий, понизив голос. — Однажды, в воскресенье, барон с женой и со Старским отправились в Заслав на прогулку. Что там у них вышло — неизвестно, но результат был следующий. Барон самым категорическим образом заявил, что оспаривать завещание не позволит. Но это еще не все... Тот же барон решительно разводится со своей обожаемой супругой (вы слышите?)... Но и это еще не все: десять дней назад барон стрелялся со Старским, и тот оцарапал ему пулей ребра... Представляете, как будто ему крючком разодрали кожу справа налево через всю грудь... Старикашка злится, шумит, ругается, кипит, а жене приказал тотчас же отправляться к своим родным; я уверен, что он больше ее на порог не пустит. Упрямый старик! И до того вошел в раж, что, больной, лежа в постели, велел цирюльнику, назло баронессе, покрасить ему волосы и бородку и теперь выглядит, как труп двадцатилетнего юноши...

Вокульский улыбнулся.

— С барынькой он поступил правильно, но волосы покрасил напрасно.

— Ну, и дал себя продырять тоже напрасно, — заметил Охоцкий. — А ведь чуть было не угодил Старскому в лоб! Пуля дура! Поверите ли, я даже расхворался от огорчения.

— Где же теперь этот герой?

— Старский?.. Махнул за границу, и не столько из-за афронтов, которые начали сыпаться на него, сколько из-за кредиторов. Голубчик мой, это виртуоз!.. Ведь у него долгов тысяч сто!..

Наступила долгая пауза. Вокульский сидел спиной к окну, опустив голову. Охоцкий тихо насвистывал, думая о чем-то своем; вдруг он встрепенулся и заговорил, как бы с самим собой:

— Что за удивительная путаница — человеческая жизнь! Кому бы пришло в голову, что такое дрянцо, как Старский, может сделать столько добра... именно потому, что он дрянцо?

Вокульский поднял голову и вопросительно поглядел на Охоцкого.

— Не правда ли, удивительно? — продолжал тот. — А ведь так оно и есть. Будь Старский человеком порядочным и не заведи он шашней с баронессой, Дальский непременно поддержал бы его претензии насчет завещания, мало того — снабдил бы его деньгами на ведение процесса, благо на этом выиграла бы и его супруга. Но так как Старский дрянцо и напакостил барону... воля покойницы соблюдена. И вот еще даже не родившиеся поколения Заславских крестьян должны благословлять имя Старского за то, что он любезничал с баронессой.

— Парадокс! — заметил Вокульский.

— Парадокс?.. Да ведь это факты... А вы считаете, что Старский не оказал услугу барону, избавив его от подобной женщины?.. Между нами говоря, у этой женщины мозг лягушки. Голова у нее забита лишь нарядами, развлечениями и кокетством; не знаю, прочла ли она хоть одну книжку, интересовалась ли хоть чем-нибудь стоящим... Просто кусок мяса с костями, который выдает свой желудок за душу. Вы ее не знали, вы не представляете себе, что это за автомат, в этом подобии человека нет ничего человеческого. Раскусив ее наконец, барон все равно что выиграл в лотерею!

— Боже мой! — вырвалось у Вокульского.

— Что вы сказали? — переспросил Охоцкий.

— Нет, ничего.

— Однако то, что Старский спас завещание покойной председательши и избавил барона от подобной жены, составляет лишь малую часть его заслуг...

Вокульский замер в кресле.

— Вообразите, что благодаря распутству этого дрянного субъекта может произойти событие поистине огромной важности, — продолжал Охоцкий. — Дело вот в чем. Я не раз намекал Дальскому, — как, впрочем, и каждому, у кого есть деньги, — что следовало бы основать в Варшаве опытную лабораторию химической и механической технологии. Понимаете ли, у нас не делают открытий прежде всего из-за того, что делать-то их негде. Разумеется, барон все мои рассуждения в одно ухо впускал, а из другого выпускал. Но, как видно, в мозгу у него кое-что застряло; и вот, после того как Старский пощекотал ему сердце и ребра, мой барон принялся раздумывать, как бы лишиться наследства свою супругу, и по целым дням беседовал со мной о технологической лаборатории: а зачем она нужна? и действительно ли люди станут лучше и умнее, если им устроить лабораторию? а во сколько она обойдется? и не возьмусь ли я организовать ее?.. К моему отъезду дело обстояло так: барон вызвал нотариуса и составил какой-то акт, — насколько могу судить по намекам барона, именно насчет лаборатории. К тому же Дальский просил меня подыскать ему специалистов, которые могли бы руководить таким предприятием. Ну, вот и судите: разве не насмешка судьбы, что Старский — этакая мразь, этакая разновидность

публичного мужчины для утешения скужающих барынь, этакий пшют — положил начало технологической лаборатории!.. Пусть-ка мне теперь докажут, что в мире есть что-нибудь ненужное!

Вокульский отер пот со лба. По сравнению с белым платком лицо его казалось пепельно-серым.

— Может быть, я утомил вас? — спохватился Охоцкий.

— Ничего, говорите... Хотя... мне кажется вы несколько переоцениваете заслуги этого... господина и уж совсем забываете о...

— О чем?

— ...о том, что технологическая лаборатория вырастет на муках, на обломках человеческого счастья. И вы даже не задаетесь вопросом: какой путь прошел барон от супружеской любви до... технологической лаборатории!..

— А мне-то какое дело! — вскричал Охоцкий, замахав руками. — Достигнуть общественного прогресса ценою пусть даже мучительнейших страданий отдельной личности — ей-богу, это дешево!

— А известно ли вам по крайней мере, что такое страдания отдельной личности?

— Известно, известно! Мне вырывали без хлороформа ноготь на ноге, и вдобавок на большом пальце...

— Ноготь? — задумчиво повторил Вокульский. — А знакомо ли вам старое изречение: «Иногда дух человеческий раздвигается надвое и борется с самим собой?..» Кто знает, не мучительнее ли это, чем когда удаляют ноготь или даже всю кожу сдирают!

— Э-э-э-э... это уж какая-то не мужская боль! — возразил Охоцкий, поморщившись. — Может быть, женщины и испытывают нечто подобное при родах... но мужчина...

Вокульский расхохотался.

— Вы надо мной смеетесь? — вспыхнул Охоцкий.

— Нет, над бароном... Почему же вы не взялись за организацию лаборатории?

— Еще чего не хватало! Я предпочитаю поехать в уже существующую лабораторию. Пока еще создашь новую, толку от нее вряд ли дождешься, а силы свои растратишь. Тут нужно иметь административные и педагогические способности и отнюдь не помышлять о летательных машинах...

— Итак?

— Что «итак»? Мне бы только получить мой капиталец, — он уже три года, как вложен в ипотеку, и я никак не могу добиться наличных, — а там сразу махну за границу и возьмусь всерьез за работу. Здесь можно не только разлениться, но вдобавок поглупеть и заплесневеть...

— Работать можно везде.

— Чепуха! — возразил Охоцкий. — Не говоря уже об отсутствии лабораторий, здесь прежде всего нет соответствующей атмосферы для научной работы. Это город карьеристов, где серьезный исследователь слывет неотесанным мужланом или сумасшедшим. Здесь учатся не ради знаний, а ради чинов; а чины и репутацию получают с помощью связей, женщин, раутов и бог весть чего... Я уже окунался в это болотце. Видел подлинных ученых, даже людей с талантом — и что же? Талантам этим не дали развиваться, и пришлось им заниматься уроками или строчить популярные статейки, которых и читать-то никто не станет, а если прочитает, все равно ничего не поймет. Беседовал я с крупными промышленниками — думал, уговорю их оказать поддержку науке хотя бы ради изобретений в области прикладных наук. И что обнаружилось?.. Они столько же смыслят в науке, сколько гусь в логарифмах. А знаете, какие им нужны изобретения?.. Только два: одно — как увеличивать дивиденды, а другое — как составлять торговые обязательства, чтобы надуть заказчика на цене или качестве. Ведь пока они думали, что вы их всех обжулите в Обществе по торговле с Россией, вас называли гением; а сейчас, когда вы заплатили своим компаньонам на три процента больше обещанного, говорят, что у вас размягчение мозга.

— Я знаю, — подтвердил Вокульский.

— Вот и подите работайте с такими людьми на научном поприще! С голоду помрешь либо вконец отупеешь. Зато если умеешь танцевать, играть на каком-нибудь инструменте или выступать в любительских спектаклях, а главное — развлекать дам, — о-о-о!.. тогда быстро пойдешь в гору. Тотчас же объявят тебя знаменитостью и предоставят пост, на котором будешь получать раз в десять больше того, что стоят твои труды. Рауты и дамы, дамы и рауты... А так как я не лакей, чтобы с ног сбиваться, бегая по раутам, а дам считаю существами весьма полезными, но только для деторождения, — уберусь-ка я лучше отсюда хотя бы в Цюрих.

— А не хотели бы вы поехать к Гейсту? — спросил Вокульский.

Охоцкий задумался.

— Там нужны сотни тысяч, а у меня их нет, — ответил он. — Да если бы и были, я бы хотел раньше проверить, что это такое на самом деле. Мне уменьшение удельного веса тел кажется просто сказкой.

— Я ведь показывал вам пластинку, — возразил Вокульский.

— Ага, верно... Ну-ка, покажите еще раз. Лицо Вокульского на миг вспыхнуло болезненным румянцем.

— У меня ее нет, — ответил он глухо.

— Куда ж она делась? — удивился Охоцкий.

— Неважно... Допустим, упала в канаву... Ну а будь у вас деньги — поехали бы вы к Гейсту?..

— Разумеется, и прежде всего, чтобы проверить это явление. Вы меня простите, но все, что я знаю о химических веществах, несовместимо с теорией изменяемости удельного веса дальше определенной границы.

Больше говорить было не о чем, и вскоре Охоцкий простился.

Беседа с Охоцким направила мысли Вокульского в новое русло.

Он почувствовал не только охоту, но просто непреодолимое желание вспомнить химические опыты и в тот же день побежал покупать реторты, пробирки, мензурки и всевозможные реактивы.

Поглощенный своей задачей, он смело вышел на улицу и даже взял извозчика; на людей смотрел равнодушно и без всякого неприятного чувства заметил, что одни с любопытством поглядывают на него, другие не узнают, а кое-кто при виде его злорадно улыбается.

Но в магазине лабораторных принадлежностей, а еще яснее на складе аптекарских товаров он вдруг понял, насколько утратил не только энергию, но и просто самостоятельность мышления, если случайный разговор с Охоцким ни с того ни с сего натолкнул его на мысль о химии, которой он не занимался уже много лет.

— Не все ли равно, — пробормотал он, — если это заполнит мою жизнь...

На следующий день он купил точные весы и несколько более сложных приборов и принялся за работу, словно новичок, приступающий к первым опытам.

Для начала он получил водород, что напомнило ему студенческие годы, когда водород приготавливали в бутылке, обернутой полотенцем, используя также банки из-под ваксы. Счастливые времена!.. Потом вспомнились ему воздушные шары собственной конструкции, а потом Гейст, утверждавший, что химия водородных соединений изменит судьбы человечества...

«А вдруг мне удастся через несколько лет получить металл, который ищет Гейст?.. — задался он вопросом. — Гейст говорил, что открытие требует проверки при помощи нескольких тысяч реакций; значит, это вроде лотереи, а мне ведь везет... Если б я открыл этот металл, что бы тогда сказала панна Изабелла?..»

При воспоминании о ней его охватил гнев.

— Ах, хорошо бы прославиться и показать ей, как я ее презираю... — прошептал он.

Однако, поразмыслив, решил, что презрение проявляется не в гневе и не в желании унижить, — и опять принялся за работу.

Самое большое удовольствие доставляли ему элементарные опыты с водородом, и он повторял их чаще других.

Однажды он смастерил что-то вроде химической гармоники, и она так громко играла, что на другой день к нему явился домовладелец и весьма вежливо осведомился — не пожелает ли он освободить квартиру к началу следующего квартала?

— А кто-нибудь хочет ее снять? — спросил Вокульский.

— То есть... как будто... почти... — смутился хозяин.

— В таком случае, я съеду.

Хозяин был несколько озадачен стоворчивостью Вокульского, но явно обрадовался. Оставшись один, Вокульский рассмеялся.

«Конечно, он считает меня чудаком или банкротом... Тем лучше. По правде говоря, я прекрасно могу жить в двух комнатах, а не в восьми...»

Минутами, сам не понимая почему, он начинал жалеть, что поторопился уступить свою квартиру. Но тогда он напоминал себе о бароне и Венгелеке.

— Барон, — говорил он себе, — разводится с женою, которая завела роман с другим; Венгелек охладел к своей Марысе только потому, что собственными глазами увидел одного из ее любовников... что же следовало сделать мне?..

И он опять принимался за химические анализы, с удовольствием убеждаясь, что не очень отвык от этих занятий.

Работа целиком поглощала его. Случалось, он по нескольку часов не думал о панне Изабелле и тогда чувствовал, что его измученный мозг действительно отдыхает. У него уже почти исчез страх перед людьми и улицей, и он стал чаще выходить из дому. Однажды он поехал в Лазенки и даже решился заглянуть в ту аллею, по которой некогда гулял с панной Изабеллой. В эту минуту лебеди на чей-то зов распустили крылья и, хлопая ими по воде, подлетели к берегу. Это зрелище потрясло Вокульского, напомнив ему отъезд панны Изабеллы из Заславека... Как безумный, он бросился вон из парка, вскочил в пролетку, закрыл глаза и не открывал их, пока не доехал до дому.

В этот день он ничем не занимался, а ночью видел странный сон.

Приснилось ему, что перед ним стоит панна Изабелла и со слезами на глазах спрашивает, за что он ее бросил... Ведь та поездка, закончившаяся у Скерневиц, разговор со Старским и флирт с ним — все это было лишь сном. Да, все это просто ему приснилось.

Вокульский вскочил с постели и зажег свет.

«Что же тут сон?.. — спрашивал он себя. — Путешествие в Скерневицы или ее грусть и упреки?..»

Он не мог заснуть до утра; его терзали сомнения и вопросы чрезвычайной важности.

«Может ли оконное стекло едва освещенного вагона что-нибудь отражать? Не было ли все, что я тогда увидел, просто галлюцинацией? Знаю ли я настолько английский язык, чтобы не ошибиться в значении некоторых слов?.. Что она подумала обо мне, если я нанес ей такое оскорбление без всякой причины?.. Могут же кузен и кузина, тем более знакомые с детства, вести разговоры на щекотливые темы, не возбуждая ничьих подозрений?..

Безумец, что я натворил? А вдруг я ошибся, ослепленный бессмысленной ревностью?.. Ведь Старский волочился за баронессой, панна Изабелла об этом знала и поистине должна бы потерять всякий стыд, чтобы заводить роман с чужим любовником».

Тут он подумал, как пуста, как страшно пуста его нынешняя жизнь... Он порвал со всем, чем до сих пор занимался, порвал с людьми, а впереди не было ничего, решительно ничего! За что приняться?.. Читать фантастические романы? Производить

бесцельные опыты? Поехать куда-нибудь? Жениться на Ставской? Да ведь что ни выбери, куда ни поезжай — нигде не избавиться от тоски и одиночества!

«Ну, а барон?.. — спросил он себя. — Женился на своей панне Эвелине, и что?.. Теперь помышляет об устройстве технологической лаборатории — он-то, вряд ли даже понимающий, что такое технология!..»

Наступило утро. Вокульский освежился под душем, и мысли его приняли новое направление.

«У меня по меньшей мере тридцать, даже сорок тысяч рублей годового дохода; на себя я истрочу не более двух-трех тысяч. Что же делать с остальными, со всем этим богатством, которое просто подавляет меня своими размерами?.. Такими огромными деньгами можно обеспечить тысячу семейств, но к чему мне это: одни будут несчастны, подобно Венгелеку, а другие отблагодарят меня, как стрелочник Высоцкий...»

Он опять вспомнил Гейста и его таинственную лабораторию, в которой созрел зародыш новой цивилизации. Вот где сторицей — нет, в миллион миллионов раз окупилась бы вложенные усилия и капитал! Тут и гигантская цель, и возможность заполнить свою жизнь, и перспектива славы и могущества, каких мир не видал... Металлические корабли, плывущие по воздуху... Какое великое будущее предстоит подобному открытию!..

«А если не я найду этот металл, а кто-нибудь другой, что весьма вероятно, тогда что?» — задал он себе вопрос.

«Ну так что же? В худшем случае я окажусь в числе немногих способствовавших успеху открытия. Ради этого стоит отдать ненужные деньги и постылую жизнь. Неужели лучше прозябать в четырех стенах или тупеть за преферансом, чем пытаться завоевать бессмертную славу?..»

Постепенно в душе Вокульского зарождался, вырисовываясь все отчетливее, некий план; однако чем подробнее он обдумывал его, чем больше открывал в нем достоинств, тем явственнее ощущал, что для осуществления этого плана ему не хватает ни энергии, ни охоты.

Воля его была совершенно парализована, и пробудить ее могло лишь сильное потрясение. Между тем потрясение не являлось, а будничное течение жизни все глубже погружало его в апатию.

«Я уже не погибаю, я просто гнию», — говорил он себе.

Жецкий, навещавший его все реже, с ужасом смотрел на своего друга.

— Неправильно ты поступаешь, Стах, — не раз говорил он. — Плохо, плохо... Лучше уж вовсе не жить, чем жить так...

Однажды слуга подал Вокульскому конверт, надписанный женской рукой.

Он вскрыл его и прочел:

«Мне нужно видеть Вас. Жду Вас сегодня в три часа дня.

Вонсовская».

— Зачем я ей понадобился? — удивился он. Но в третьем часу поехал.

Ровно в три Вокульский был в прихожей у Вонсовской. Лакей, даже не спрашивая, как доложить, распахнул дверь в гостиную, по которой быстро шагала из угла в угол прелестная вдовушка.

На ней было темное платье, прекрасно обрисовывавшее ее точеную фигуру; рыжеватые волосы, по обыкновению, были собраны в тяжелый узел, но вместо шпильки его придерживал узкий стилет с золотой рукояткой.

При виде Вонсовской Вокульский неожиданно для себя обрадовался и умилился; он бросился к ней и горячо поцеловал у нее руку.

— В сущности, не следовало бы даже разговаривать с вами, — сказала она, отдергивая руку.

— Так зачем же вы позвали меня? — с удивлением спросил Вокульский. Его словно окатили холодной водой.

— Садитесь.

Вокульский молча сел. Вонсовская продолжала шагать по гостиной.

— Отлично вы себя ведете, нечего сказать, — с негодованием заговорила она после минутной паузы. — По вашей милости светскую женщину затравили сплетнями, отец ее заболел, вся родня в расстройстве... Между тем вы сидите месяцами взаперти, подводите десятки людей, которые безгранично верили вам, и теперь даже наш славный князь называет все ваши чудачества «иллюстрацией к поведению женщин»... Поздравляю... И добро бы так поступал какой-нибудь студентик...

Она запнулась... Вокульский страшно переменялся в лице.

— Ах, надеюсь, вы не упадете в обморок? — испугалась она. — Выпейте воды или лучше вина...

— Благодарю вас, — ответил он. Лицо его уже приняло обычное выражение.

— Вы видите, я в самом деле нездоров.

Вонсовская пристально посмотрела на него.

— Да, — заметила она, — вы исхудали, но борода вам идет... Не брейте ее, так вы стали интересным мужчиной...

Вокульский покраснел, как мальчишка. Он слушал Вонсовскую и удивлялся, чувствуя, что робеет и чуть ли не конфузится перед ней.

«Что со мной происходит?» — подумал он.

— Во всяком случае, вам следует уехать за город, — продолжала она. — Где это слыхано — сидеть в Варшаве в начале августа!.. Хватит, сударь мой... Послезавтра я увезу вас к себе в деревню, иначе тень покойной председательши не даст мне покоя... И с нынешнего же дня извольте приходиться ко мне обедать и ужинать; после обеда мы поедем на прогулку, а послезавтра... прощай, Варшава!.. Довольно!..

Вокульский, ошеломленный этим натиском, не нашелся, что ответить. Он не знал, куда девать руки, и чувствовал, что лицо его горит как в огне.

Вонсовская позвонила. Вошел лакей.

— Принеси вина, — распорядилась она. — Знаешь, того венгерского... Прошу вас, пан Вокульский, курите.

Вокульский взял папиросу, молясь в душе, чтобы ему удалось совладать со своими дрожащими пальцами. Лакей принес вино и две рюмки. Вонсовская налила обе.

— Пейте, — сказала она.

Вокульский выпил залпом.

— Вот и прекрасно! За ваше здоровье... — прибавила она и подняла рюмку.

— А теперь вы должны выпить за мое здоровье...

Вокульский осушил вторую рюмку.

— А теперь вы выпьете за исполнение моих замыслов... Пожалуйста, пожалуйста... только сразу.

— Простите, сударыня, — запротестовал он, — я не хочу опьянеть.

— Значит, вы не желаете исполнения моих замыслов?

— Почему же, только сначала я должен узнать их.

— Вот вы как?.. — протянула Вонсовская. — Это новость... Хорошо, можете не пить.

Она отвернулась к окну, постукивая ножкой об пол. Вокульский задумался. Молчание длилось несколько минут; наконец его прервала хозяйка:

— Вы слышали, что сделал барон? Как это вам нравится?

— Отлично сделал, — ответил Вокульский совершенно спокойным голосом.

Вонсовская вскочила с кресла.

— Что?.. — крикнула она. — Вы защищаете человека, который покрыл женщину позором?.. Грубого эгоиста, который ради мести не побрезговал самыми гнусными средствами?..

— Что же он такое сделал?..

— Ах, так вы ничего не знаете?! Вообразите, он потребовал развода и, чтобы придать скандалу еще большую огласку, стрелялся со Старским.

— Действительно, — сказал Вокульский, подумав. — Он ведь мог без лишних разговоров просто пустить себе пулю в лоб, предварительно завещав жене все свое состояние.

Вонсовская вспыхнула от негодования.

— Несомненно, так бы и поступил всякий мужчина, наделенный хоть каплей благородства и чести. Он предпочел бы убить себя, чем тащить к позорному столбу

бедную женщину, слабое создание, которому так легко мстить, имея за плечами богатство, высокое положение и общественные предрассудки. Но от вас я этого не ожидала... Ха-ха-ха!.. Вот он — этот новый человек, этот герой, который молча страдает!.. О, все вы одинаковы!

— Простите... но в чем вы, собственно, упрекаете барона?

В глазах Вонсовской вспыхнули молнии.

— Любил барон Эвелину или нет? — спросила она.

— С ума сходил по ней.

— Вот и неправда. Он притворялся, что любит, лгал, что обожает... А при первом же случае доказал, что относится к ней даже не как к равному себе человеку, а как к рабыне, которой можно в наказание за минутную слабость накинуть на шею веревку, потащить на площадь и осрамить перед всеми. Эх вы, властелины мира, лицемеры! Пока вас ослепляет животный инстинкт, вы ползаете у наших ног, готовы на подлости, лжете. «О моя любимая, обожаемая... за тебя и жизнь отдам...» А стоит бедной жертве поверить вашим лживым клятвам, вы мигом охладеваете; если же она, не дай бог, поддастся естественной человеческой слабости, вы топчете ее ногами... Ах, как это возмутительно, как низко! Да скажите же что-нибудь!

— Верно ли, что у баронессы был со Старским роман?

— Ну... уж сразу и роман! Она с ним флиртowała, он был ее... предметом, что ли...

— Предметом? Вот оно что! Итак, если она питала пристрастие к Старскому, зачем вышла за барона?

— Да потому, что он ее на коленях молил... грозился покончить самоубийством...

— Простите, пожалуйста... Разве он молил ее только о том, чтобы она соблаговолила принять его имя и состояние? Может быть, также и о том, чтобы она не питала пристрастия к другим мужчинам?

— А вы, мужчины?.. Что вы себе позволяете до свадьбы и после свадьбы?.. Значит, и женщина...

— Видите ли, сударыня, нам с детства внушают, что мы грубые животные, и единственное, что может очеловечить нас, это любовь к женщине, которая своим благородством, чистотой и верностью удерживает мир от полного озверения. Ну, мы и верим в это благородство, чистоту и так далее, боготворим ее, преклоняемся перед ней...

— И правильно делаете, потому что сами вы куда хуже женщин.

— Мы признаем это и на тысячи ладов твердим, что, хотя мужчина и создает цивилизацию, — только женщина может ее одухотворить и придать ей возвышенный характер... Но если женщины примутся подражать нам в смысле животных проявлений природы, то чем же они будут нас превосходить? А главное — за что нам боготворить их?

— За любовь.

— Не спорю, прекрасная вещь. Но если пан Старский получает любовь только за прекрасные глаза и усики, то с какой стати кто-то другой должен платить за нее своим именем, состоянием и свободой?

— Я перестаю понимать вас, — сказала Вонсовская. — Признаете вы, что женщина равна мужчине, или нет?

— В конечном счете — равна, в частности — нет. По уму и трудоспособности средняя женщина стоит ниже мужчины, а нравственностью и чувствами якобы настолько его превосходит, что это уравнивает создавшееся неравенство. По крайней мере так нам постоянно твердят, мы в это верим и, несмотря на множество проявлений женской неполноценности, ставим их выше себя... Но поскольку баронесса попала достоинства своего пола, — а что это так, мы все можем засвидетельствовать, — нечего удивляться, что она лишилась и своих привилегий. Муж порвал с нею, как с нечестным компаньоном.

— Да ведь барон — немощный старец!

— Зачем же она вышла за него, зачем слушала его любовные признания?

— Так вы не понимаете, что иногда женщина бывает вынуждена продаться? — спросила Вонсовская, меняясь в лице.

— Понимаю, сударыня, потому что... и я когда-то продался, только не ради богатства, а из крайней нужды.

— И что же?

— Прежде всего, жена не обольщалась насчет моей невинности, а я не клялся ей в любви. Мужем я был прескверным, но раз уж продался, то считал своим долгом быть добросовестнейшим приказчиком и преданнейшим слугой. Я ходил с нею в костелы, концерты и театры, развлекал ее гостей и фактически утроил доходы с ее магазина.

— И у вас не было любовниц?

— Нет, сударыня. Я так горько переживал свое рабство, что просто не смел смотреть на других женщин. Итак, согласитесь, что я имею право строго осудить баронессу, которая, продаваясь, знала, что у нее покупают... не рабочую силу.

— Какая гадость! — прошептала Вонсовская, глядя в землю.

— Да, сударыня. Торговать живым товаром чрезвычайно гадко, а еще гаже торговать самим собой. Но верх бесстыдства — заключая подобную сделку, стараться смошенничать. В таких случаях, если поймут с поличным, последствия всегда неприятны для того, кто попадается.

Оба некоторое время молчали. Вонсовская нервничала, Вокульский был мрачен.

— Нет!.. — вдруг воскликнула она. — Я добьюсь-таки от вас последнего слова!

— Насчет чего?

— Насчет разных вопросов, на которые вы дадите мне простой и ясный ответ.

— Что это, экзамен?

— Вроде того.

— Я вас слушаю.

По-видимому, она не решалась начать; наконец пересилила себя и спросила:

— Итак, вы настаиваете на том, что барон имел право бросить и опозорить женщину?

— Которая обманула его? Да, имел.

— Что вы называете обманом?

— То, что она принимала преклонение барона, несмотря на то что Старский был ее предметом, как вы выражаетесь.

Вонсовская закусил губку.

— А у барона не было подобных предметов?

— Наверное, были всякий раз, когда подвергивался случай и приходила охота, — ответил Вокульский. — Но барон не разыгрывал невинности, не называл себя образцом нравственной чистоты и не претендовал по этому поводу на всеобщее уважение... Если бы барон покори чье-нибудь сердце, уверяя, что никогда не имел любовниц, а в действительности имел их, он тоже был бы обманщиком. Правда, кажется, не это беспокоило его невесту.

Вонсовская усмехнулась.

— Вы просто великолепны... Какая же женщина станет уверять вас, что у нее не было любовников?

— Ах, значит, и у вас были?

— Милостивый государь! — вспыхнула вдова, срываясь с места. Однако тут же сдержалась и холодно произнесла: — Я попрошу вас несколько осмотрительнее выбирать свои аргументы.

— Почему же? Ведь у нас с вами равные права, а я ничуть не обижусь, если вы спросите, сколько у меня было любовниц.

— И не подумаю любопытствовать.

Она принялась ходить по гостиной. Вокульский кипел от гнева, но держал себя в руках.

— Да, признаюсь, — снова заговорила она, — что я не свободна от предрассудков. Но ведь я только женщина, у меня даже мозг легче, как утверждают ваши антропологи; вдобавок надо мной довлеет положение в свете, дурные привычки и многое другое. Однако, если бы я была рассудительным мужчиной, как вы, и верила в прогресс, как вы, я бы сумела освободиться от этих наносных влияний и по крайней мере признать, что рано или поздно женщины должны быть уравнены с мужчинами.

— То есть в смысле вышеупомянутых пристрастий?

— То есть... то есть... — передразнила она. — Об этом-то я и говорю...

— О... зачем же дожидаться сомнительных результатов прогресса? И сейчас уже многие женщины в этом смысле сравнялись с мужчинами. Они образуют весьма влиятельную организацию и именуются кокетками... Но странное дело: пользуясь успехом у мужчин, дамы эти отнюдь не могут похвалиться расположением женщин...

— С вами невозможно разговаривать, пан Вокульский, — пыталась урезонить его вдовушка.

— Невозможно разговаривать насчет равноправия женщин?

У Вонсовской загорелись глаза и кровь прилила к лицу. Она бросилась в кресло и, стукнув рукой по столу, крикнула:

— Хорошо же! Не испугаюсь я вашего цинизма и буду разговаривать даже о кокетках... Знайте же, только самые низкие люди способны сравнивать дам, которые продаются за деньги, с порядочными и благородными женщинами, которые отдаются из любви...

— Продолжая разыгрывать невинность?

— Пусть даже так...

— И, обманывая одного за другим простаков, которые в нее верят...

— А что им сделается от такого обмана? — спросила она, дерзко глядя ему в глаза.

Вокульский стиснул зубы, но овладел собою и спокойно продолжал:

— Как вы полагаете, сударыня, что сказали бы мои компаньоны, если б капитал мой составлял не шестьсот тысяч рублей, как они считали, а всего шесть тысяч, и я, зная об этих слухах, не опровергал бы их?... Ведь разница всего только в двух нулях...

— Денежные вопросы тут ни при чем, — перебила его Вонсовская.

— Отлично. Что сказали бы вы обо мне сами, сударыня, если б я, допустим, назывался не Вокульский, а Волькусский и с помощью такой незначительной перестановки букв завоевал бы симпатию покойной председательши, втерся к ней в дом и там имел честь познакомиться с вами?... Как вы назвали бы подобный способ завязывать знакомства и приобретать расположение людей?

На подвижном лице Вонсовской отразилось отвращение.

— Но что же тут общего с историей барона и его жены?

— Общее то, — отвечал Вокульский, — что нельзя присваивать себе чужие звания. В конце концов кокетка может быть существом полезным, и никто не вправе ее попрекать выбранной профессией; но кокетка, прикрывающаяся маской так называемой непорочности, — обманщица. А за это можно упрекать.

— Какая гадость! — вскипела Вонсовская. — Но пусть... Скажите мне все-таки, что теряет общество от подобной мистификации?

У Вокульского зашумело в ушах.

— Иногда даже выигрывает. Например, когда какой-нибудь доверчивый простачок поддается безумию, именуемому идеальной любовью, бросается навстречу самым

страшным опасностям и добывает состояние, чтобы сложить его к ногам своего идеала. Но иногда и теряет, когда, например, такой безумец, разоблачив мистификацию, сломлен настолько, что становится ни к чему не способным... или... не распорядившись капиталом, бросается... то есть стреляется с паном Старским, который ему попадает в ребра... Итак, сударыня, потери общества: одно разбитое счастье, один свихнувшийся ум, а может быть, и человек, который мог что-нибудь совершить...

— Этот человек сам виноват...

— Вы правы: был бы виноват, если бы не спохватился и не поступил, как барон, то есть не покончил со своим постыдным ослеплением...

— Короче говоря, мужчины не откажутся добровольно от своих варварских привилегий?

— То есть не признают женской привилегии на притворство.

— Но отвергать соглашение — значит начинать войну, — запальчиво заявила вдова.

— Войну? — смеясь, повторил Вокульский.

— Да, войну, и победит в ней тот, кто окажется сильнее... А кто из нас сильнее, мы еще увидим! — вскричала она, потрясая кулачком.

В эту минуту произошло нечто неожиданное. Вокульский схватил обе руки Вонсовской и сжал их тремя пальцами своей руки.

— Что это такое? — спросила она, бледнея.

— Померяемся силами.

— Ну... довольно шутить...

— Нет, сударыня, я не шучу... Я только скромно доказываю, что с вами, представительницей воинствующей стороны, я могу сделать все, что мне угодно. Верно или нет?

— Пустите меня! — крикнула она, вырываясь. — Я позову слуг...

Вокульский выпустил ее руки.

— Ах, значит, дамы будут с нами воевать, прибегая к помощи слуг? Интересно, какой платы потребуют эти союзники и позволят ли вам нарушать обязательства?

Вонсовская пристально посмотрела на него — сначала с некоторым беспокойством, затем с негодованием и, наконец, пожала плечами.

— Знаете, что мне пришло в голову?

— Что я сошел с ума?

— Приблизительно так.

— В обществе столь очаровательной женщины и за таким спором это было бы совершенно естественно.

— Ах, какой пошлый комплимент! — поморщилась она. — Во всяком случае, должна признать, что вы мне почти понравились... Почти. Но вы не выдержали роли, отпустили меня, и я разочаровалась...

— О, меня хватило бы на то, чтобы не выпустить вас.

— А меня хватило бы на то, чтобы позвать слуг...

— А я, вы уж простите, сударыня, заткнул бы вам рот...

— Что?.. что?..

— То, что вы слышали.

Вонсовская опять изумилась.

— Знаете, — сказала она, по-наполеоновски скрестив руки, — вы либо очень оригинальны, либо... очень плохо воспитаны.

— Я совсем не воспитан.

— Значит, действительно оригинальны, — тихо произнесла она. — Жаль, что Белла не узнала вас с этой стороны...

Вокульский остолбенел. Не потому, что услышал это имя, а потому, что почувствовал в себе разительную перемену. Панна Изабелла была ему совершенно безразлична, зато его весьма занимала пани Вонсовская.

— Следовало сразу выложить ей свои теории, как мне, — продолжала вдова,

— и между вами не произошло бы никакого недоразумения.

— Недоразумения? — переспросил Вокульский, широко раскрывая глаза.

— Ну да; насколько я знаю, она готова простить вас.

— Простить?..

— Я вижу, вы еще не совсем... оправились, — заметила она небрежным тоном, — если сами не чувствуете, как безобразно вы поступили... По сравнению с вашими эксцентричными выходками даже барон кажется человеком изысканным.

Вокульский так искренне расхохотался, что его самого это озадачило.

— Вы смеетесь? — заговорила снова Вонсовская. — Я не сержусь, так как понимаю, что означает подобный смех... Высшую степень страдания...

— Клянусь, вот уже два месяца я не чувствовал себя так свободно... Боже мой... пожалуй, даже два года! Мне кажется, все это время мой мозг омрачало какое-то страшное наваждение, а сию минуту оно рассеялось... Только теперь я почувствовал, что спасен, и спасен благодаря вам.

Голос его дрожал. Он взял обе ее руки и поцеловал их почти страстно. Вонсовской показалось, что в глазах его блеснули слезы.

— Спасен... и свободен! — повторял он.

— Послушайте, — холодно произнесла Вонсовская, отнимая руки. — Я знаю все, что произошло между вами... Вы поступили недостойно, подслушав разговор, который известен мне во всех подробностях, как и многое другое... Это был самый обыкновенный флирт...

— Ах, значит это называется флиртом! — перебил он. — Когда женщина уподобляется буфетной салфетке, которою всякий может вытирать себе пальцы и губы... так это называется флиртом? Прекрасно!

— Замолчите! — крикнула она. — Я не спору, Белла поступила нехорошо, но... судите сами о своем поведении, когда я скажу, что она вас...

— Любит, не так ли? — подхватил Вокульский, поглаживая бороду.

— О, любит... Пока что просто жалеет... Я не хочу вдаваться в подробности, скажу лишь, что за эти два месяца я почти ежедневно встречалась с нею... что все время она только и говорила о вас и что излюбленное место ее прогулок — заславский замок... Как часто сидела она на том большом камне с надписью, как часто видела я на глазах ее слезы... А однажды она горько разрыдалась, повторяя вырезанные на камне строки:

Везде, всегда с тобой я буду вместе,

Ведь там оставил я души частицу.

Что же вы скажете?

— Что я скажу? — повторил Вокульский. — Клянусь, единственное, чего я хотел бы в эту минуту, — чтобы не сохранилось ни малейшего следа от моего знакомства с панной Ленцкой. И прежде всего — чтобы исчез злополучный камень, который приводит ее в такое умиление...

— Будь это правда, я получила бы прекрасное доказательство мужского постоянства...

— Нет, вы получили бы доказательство чудесного исцеления, — взволнованно сказал он. — Боже мой... мне кажется, что кто-то замagnetизировал меня на несколько лет, что два месяца назад меня неосторожно и неумело разбудили, и только сегодня наконец я действительно пришел в себя.

— Вы говорите серьезно?

— Разве вы не видите, как я счастлив? Я обрел самого себя, я снова принадлежу себе... Поверьте мне, это чудо, которого я совершенно не понимаю; я могу сравнить себя сейчас только с человеком, который очнулся от летаргического сна, уже лежа в гробу.

— Чему же вы это приписываете? — спросила она, потупив глаза.

— В первую очередь вам... И еще тому, что я наконец решился ясно высказать перед кем-то мысли, которые уже давно созрели во мне, только смелости не хватало в этом признаться. Панна Изабелла — женщина иной, чуждой мне породы, и только какое-то помрачение ума могло приковать меня к ней.

— И что же вы сделаете после столь интересного открытия?

— Не знаю.

— Может быть, вы уже встретили женщину своей породы?

— Может быть.

— Это, наверное, та... пани Ста... Ста...

— Ставская? Нет. Скорее вы.

Вонсовская поднялась с надменным видом.

— Понимаю, — сказал Вокульский. — Мне следует уйти?

— Как считаете нужным.

— И мы не поедem вместе в деревню?

— О, это уж наверное... Впрочем... я не запрещаю вам приехать туда... У меня, вероятно, будет Белла...

— В таком случае, я не приеду.

— Я не говорю, что она обязательно будет.

— И я застаю вас одну?

— Возможно.

— И мы будем беседовать, как сегодня?.. И ездить верхом, как тогда?..

— И между нами действительно начнется война.

— Предупреждаю, я ее выиграю.

— В самом деле? И, может быть, сделаете меня своей рабыней?

— Да. Сначала я докажу вам, что умею властвовать, а потом на коленях вымолю у вас позволения стать вашим рабом...

Вонсовская повернулась и вышла. В дверях она на минутку остановилась и, слегка кивнув, бросила:

— До свидания... в деревне!..

Вокульский ушел от нее словно пьяный. Уже шагая по улице, он пробормотал:

— Ну конечно, я одурел.

Обернувшись, он заметил, что Вонсовская смотрит ему вслед из-за занавески.

«Черт побери! — подумал он. — Не попался ли я снова в историю?»

По дороге домой Вокульский все время раздумывал о происшедшей в нем перемене.

Он словно выкарабкался на свет из бездны, где царили мрак и безумие. Кровь быстрее струилась в его жилах, он глубже дышал, мысли текли с необычайной свободой, он ощущал во всем теле какую-то бодрость, а в сердце невыразимый покой.

Его уже не раздражала сумятица улицы, радовал вид толпы. Небо как будто посинело, дома посветлели, и даже пыль, пронизанная солнечным светом, была прекрасна.

Но всего приятнее было глядеть на молодых женщин, на их гибкие движения, улыбающиеся губы и манящие глаза. Две или три посмотрели ему прямо в лицо, ласково и кокетливо. У Вокульского заколотилось сердце, и словно горячий ток пробежал с головы до ног.

«Прелестны...» — подумал он.

Но тут же вспомнил Вонсовскую и должен был признать, что она красивее всех этих прелестных женщин, а главное — соблазнительнее. Как сложена, какая чудесная линия ноги, а цвет лица, а глаза — бархатистые и искрящиеся, как бриллианты... Он готов был поклясться, что ощущает запах ее кожи, слышит ее нервный смешок, и в голове у него зашумело при одной мысли о прикосновении к ней.

— Вот, должно быть, бешеный темперамент... — прошептал он. — Искусал бы ее...

Образ Вонсовской неотступно преследовал его и дразнил, и вдруг он подумал — не пойти ли к ней опять сегодня вечером?

«Ведь она приглашала меня обедать и ужинать, — убеждал он себя, чувствуя, как в нем закипает кровь. — Выгонит? А к чему бы ей было кокетничать? Что я не противен ей, знаю давно; во мне же она возбуждает желание, а это, ей-богу, многого стоит...»

Мимо него прошла какая-то шатенка с глазами, как фиалки, и детским личиком, и Вокульский с изумлением заметил, что она ему тоже нравится.

В нескольких шагах от своего дома он услышал окрик:

— Эй! Эй! Стах!

Вокульский оглянулся и увидел под навесом кафе доктора Шумана. Бросив недоеденное мороженое, он швырнул на столик серебряную монету и подбежал к Вокульскому.

— Я к тебе, — сказал Шуман, взяв его под руку. — Знаешь, давно уже ты не выглядел таким молодцом. Бьюсь об заклад, ты еще вернешься в Общество и разгонишь этих паршивцев... Ну и лицо!.. Ну и взгляд!.. Наконец-то я узнаю прежнего Стаха!

Они вошли в подъезд, поднялись по лестнице и постучали в квартиру Вокульского.

— А я было испугался, что мне угрожает новая болезнь... — рассмеялся Вокульский. — Хочешь сигару?

— Какая болезнь?

— Представь себе, вот уже час, как на меня неотразимо действуют женщины... Мне просто страшно...

Шуман расхохотался во все горло.

— Вот чудак!.. Вместо того чтобы устроить обед по случаю такой радости, он боится... А что ж, по-твоему, ты был здоров, когда с ума сходил по одной женщине? Ты здоров сейчас, когда тебе нравятся все, и теперь первым делом тебе надо добиваться взаимности той, которая влечет тебя больше других.

— Легко сказать! А если это великосветская дама?

— Тем лучше... тем лучше... Великосветские дамы куда аппетитнее горничных. Женственность очень выигрывает от интеллигентности, а главное — от неприступного вида. Какие величавые позы ты увидишь, какие услышишь возвышенные речи... Ах, поверь мне, это в три раза интереснее.

По лицу Вокульского скользнула тень.

— Ого-го! — воскликнул Шуман. — Вот я уже вижу за тобою длинное ухо того святого, на котором Иисус въехал в Иерусалим. Ну, чего тебя передернуло? Обязательно ухаживай за великосветскими дамами, плебеи возбуждают их любопытство.

В передней раздался звонок, и вошел Охоцкий. Взглянув на разгорячившегося доктора, он спросил:

— Я вам не помешал?

— Нет, — ответил Шуман, — вы можете даже помочь. Я как раз советую Стаху лечиться новым романом, только... не идеальным. Хватит с него идеалов...

— А знаете, этот урок и я охотно послушаю, — сказал Охоцкий, закуривая предложенную сигару.

— Вздор! — проворчал Вокульский.

— Ничуть не вздор, — упирался Шуман. — Человек с твоим состоянием может быть совершенно счастлив, ибо для разумного счастья требуется: каждый день есть новые блюда и надевать чистое белье, а каждый квартал переезжать на новое место и менять любовниц.

— Женщин не хватит, — заметил Охоцкий.

— Предоставьте это женщинам, они уж постараются, чтобы их хватило, — язвительно возразил доктор. — Ведь той же диеты придерживаются и женщины...

— Ежеквартальной диеты? — переспросил Охоцкий.

— Разумеется. Чем же они хуже нас?

— Однако не так уж заманчиво оказаться на десятом или двадцатом квартале.

— Предрассудок... предрассудок... — махнул рукой Шуман. — Вы и не заметите ничего и не догадаетесь, особенно если вас уверят, что вы всего второй или четвертый, да еще именно тот, долгожданный, по-настоящему любимый.

— Ты не заходил к Жецкому? — неожиданно спросил Вокульский.

— Ну, ему-то уж я не стану прописывать любовь, — ответил доктор. — Старик совсем расклеился...

— Действительно, он плохо выглядит, — подтвердил Охоцкий.

Разговор перешел на состояние здоровья Жецкого, потом на политику; наконец Шуман попрощался и ушел.

— Отчаянный циник! — проворчал Охоцкий.

— Он недолгоблывает женщин, — объяснил Вокульский, — а кроме того, бывают у него дни, когда ему особенно горько, и тогда он несет всякую ересь.

— Иногда не лишнюю оснований, — прибавил Охоцкий. — Но как же кстати прились его наставления... Как раз за час до этого у меня был серьезный разговор с теткой, которая упорно убеждала меня жениться и уверяла, будто ничто так не облагораживает человека, как любовь порядочной женщины...

— Шуман советовал мне, а не вам.

— О вас-то я и раздумывал, слушая его рассуждения. Воображаю, как бы вы себя почувствовали, меняя каждый квартал любовниц, если б когда-нибудь к вам явились все те, кто сейчас работает ради ваших прибылей, и спросили: «Чем воздаешь ты нам за наши труды, за нашу нужду и недолголетнюю жизнь, часть которой ты забираешь у нас?... Трудом ли своим, советом или примером?..»

— Кто же работает сейчас ради моих прибылей? — спросил Вокульский. — Я устранился от дел и обращаю свой капитал в ценные бумаги.

— Если в закладные на поместья, так ведь проценты по ним оплачены трудом батраков, а если в какие-нибудь акции, то опять-таки дивиденды по ним покрывают железнодорожники, рабочие сахарных заводов, ткацких и всяких других фабрик.

Лицо Вокульского омрачилось.

— Позвольте, почему я должен думать об этом? — спросил он. — Тысячи людей стригут купоны и не задаются подобными вопросами.

— Вот еще! — буркнул Охоцкий. — Вы другое дело... У меня всего-то полторы тысячи годового дохода, однако мне частенько приходит в голову, что на эту сумму могут прожить трое-четверо и что кто-то отдает мне часть своих жизненных благ или вынужден еще больше ограничивать свои и без того ограниченные потребности...

Вокульский прошелся по комнате.

— Когда вы уезжаете за границу? — вдруг спросил он.

— Этого я тоже не знаю, — уныло ответил Охоцкий. — Мой должник вернет мне деньги не ранее чем через год. Он расплатится со мною, только когда получит новый заем, а теперь это дело нелегкое.

— Он платит вам высокие проценты?

— Семь.

— А репутация у него солидная?

— Его ипотека на первом месте после кредитного товарищества.

— Если я дам вам деньги и приму на себя ваши права, вы поедете за границу?

— Сию же минуту! — вскричал Охоцкий, срываясь с места. — Что я тут высижу? Еще, чего доброго, с отчаяния женюсь на богатой, а потом буду жить по рецепту Шумана.

Вокульский задумался.

— Что же плохого в женитьбе? — негромко спросил он.

— Ох, увольте!.. Бедную жену мне не прокормить, богатая вовлечет меня в сибаритство, и любая станет могильщицей для моих планов. Мне нужна особенная жена, которая захотела бы работать вместе со мною в лаборатории; а где такую найдешь?

Охоцкий, по-видимому, расстроился и собрался уходить.

— Итак, голубчик, — сказал Вокульский на прощанье, — насчет вашего капитала мы еще потолкуем. Я готов дать вам наличные.

— Как хотите... Просить об этом я не — смею, но буду весьма признателен.

— Когда вы едете в Заславек?

— Завтра, потому и зашел проститься.

— Значит, дело сделано, — закончил Вокульский, обнимая его. — В октябре вы можете получить деньги.

После ухода Охоцкого Вокульский лег спать. В этот день он испытал столько сильных и противоречивых впечатлений, что ему трудно было в них разобраться. Ему казалось, что с момента разрыва с панной Изабеллой он взбирался все выше и выше по страшной круче, нависшей над бездной, и лишь сегодня достиг перевала и ступил на противоположный склон, где ему открылись еще неясные, но совсем новые горизонты.

Долго еще перед глазами его роем носились женские образы, а всего чаще пани Вонсовская; то вдруг являлись ему толпы батраков и рабочих, которые спрашивали его, что дал он им взамен своих прибылей.

Наконец он крепко уснул.

Проснулся он в шесть утра, и первым впечатлением его было чувство свободы и бодрости.

Правда, вставать не хотелось, но ничто не мучило его и он не думал о панне Изабелле. То есть думал, но мог и не думать; во всяком случае, воспоминание о ней уже не терзало его, как бывало прежде.

Полное исчезновение боли даже несколько встревожило его.

«Уж не чудится ли мне?» — подумал он и стал припоминать весь вчерашний день. Память и логика не изменили ему.

— Может быть, ко мне вернулась и воля? — прошептал он.

Для проверки он решил через пять минут встать, затем выкупаться, одеться и тотчас отправиться на прогулку в Лазенки. Следя за минутной стрелкой, он с тревогой спрашивал себя: «А вдруг меня даже на это не хватит?..»

Стрелка отмерила пять минут, и Вокульский встал — неторопливо, но без колебаний. Он сам напустил воды в ванну, выкупался, вытерся, оделся и через полчаса уже шел к Лазенкам.

Его поразило, что все это время он думал не о панне Изабелле, а о Вонсовской. Несомненно, вчера что-то с ним произошло: может быть, начали работать какие-то прежде парализованные клеточки мозга? Панна Изабелла уже не была владычицей его дум.

«Какая удивительная путаница, — недоумевал он. — Панну Ленцкую вытеснила Вонсовская, а Вонсовскую может заменить любая другая. Итак, я действительно исцелился от безумия...»

Он шел вдоль пруда, равнодушно поглядывая на лодки и лебедей. Потом свернул в аллею, ведущую к оранжерее, где некогда они были вдвоем, и сказал себе... что сегодня с аппетитом позавтракает. Но, возвращаясь обратно по той же аллее, он вдруг пришел в ярость и, как рассерженный ребенок, стал затапывать следы своих собственных ног, испытывая при этом удовольствие.

«Если бы можно было все так стереть... И тот камень, и развалины... Все!»

Он чувствовал, как в нем пробуждается непреодолимый инстинкт разрушения, и в то же время отдавал себе отчет, что это симптом болезненный. С огромным удовлетворением он заметил, что может не только спокойно думать о панне Изабелле, но даже воздавать ей должное.

«Почему, собственно, я выходил из себя? — размышлял он. — Если б не она, я бы не сколотил состояния... Если б не она и не Старский, я не поехал бы в Париж и не познакомился бы с Гейстом, а под Скерневицами не излечился бы от своей глупости... Словом, оба они меня облагодетельствовали. В сущности, мне бы следовало сосватать эту идеальную парочку или хотя бы помочь им устраивать свидания... Подумать только, на каком навозе расцветет открытие Гейста!...»

В Ботаническом саду было тихо и безлюдно. Вокульский обошел колодец и стал медленно подниматься на тенистый холм, где более года назад он впервые разговаривал с Охоцким.

Ему казалось, будто холм этот служит основанием гигантской лестницы, наверху которой ему являлась статуя таинственной богини. Она и теперь представилась его взору, и Вокульский с трепетом заметил, что облака, окутавшие ее голову, на миг рассеялись. Он увидел строгое лицо, развевающиеся волосы и пронизательный львиный взгляд, устремленный на него из-под бронзового чела с выражением подавляющей мощи... Крепясь изо всех сил, он выдержал этот взгляд и вдруг почувствовал, что растет... растет... что голова его уже поднялась выше деревьев парка и почти касается обнаженных ног богини.

Тогда он понял, что эта чистая и нетленная красота есть Слава и что на вершинах ее нет иной улады, кроме трудов и опасностей.

Домой он вернулся грустный, но по-прежнему спокойный. Прогулка словно связала невидимыми узами его будущность с той далекой полосой жизни, когда он, еще приказчиком или студентом, мастерил машины с вечным двигателем и управляемые воздушные шары. Что же касается последних десяти — пятнадцати лет, то они были только перерывом и потерей времени.

«Мне надо куда-нибудь поехать, — сказал он себе. — Я должен отдохнуть, а там... посмотрим...»

После обеда он послал в Москву длинную телеграмму Сузину.

На другой день, около часу, когда Вокульский завтракал, явился лакей Вонсовской и доложил, что барыня ожидает в карете.

Вокульский бросился на улицу. Вонсовская велела ему садиться.

— Я забираю вас с собой, — сказала она.

— Обедать?

— О нет, всего лишь в Лазенки. С вами безопаснее разговаривать при свидетелях и на свежем воздухе.

Но Вокульский был мрачен и молчалив.

В Лазенках они вышли из кареты и, обогнув дворцовую террасу, стали медленно прогуливаться по аллее, примыкающей к амфитеатру.

— Вам следует встречаться с людьми, пан Вокульский, — начала вдова. — Пора вам очнуться от своей апатии, иначе вы упустите сладкую награду...

— О, неужели?..

— Уверю вас. Все дамы интересуются вашими терзаниями, и, бьюсь об заклад, не одна из них готова взять на себя роль утешительницы.

— Или поиграть моими мнимыми терзаниями, как кошка затравленной мышью?.. Нет, сударыня, мне не нужны утешительницы, потому что я совсем не терзаюсь, и тем более — по милости дам.

— Послушайте... — вскричала Вонсовская. — Вы еще скажете, что вас не сокрушил удар маленькой ручки...

— Так и скажу, — ответил Вокульский. — Если кто и нанес мне удар, то отнюдь не прекрасный пол, а... право, не знаю... может быть, рок...

— Но все-таки с помощью женщины...

— А главное — моей собственной наивности. Чуть ли не с детства искал я чего-то великого и неведомого; а так как на женщин я смотрел только глазами поэтов, которые страшно им льстят, то и вообразил, что женщина и есть то самое великое и неведомое. Я ошибся, и в этом секрет моего временного помрачения, которому, впрочем, я обязан тем, что разбогател.

Вонсовская остановилась.

— Ну, знаете, я поражена... Мы виделись позавчера, а сегодня вы кажетесь совершенно другим человеком, каким-то древним старцем, который пренебрегает женщинами.

— Это не пренебрежение, а результат наблюдения.

— А именно?

— Что существует порода женщин, которые только затем и живут на свете, чтобы дразнить и разжигать страсти мужчин. Таким образом они превращают умных людей в дураков, честных — в негодяев, а глупцов оставляют глупцами. Они окружены роем поклонников и играют в нашей жизни такую же роль, как гаремы в Турции. Итак, вы видите, что дамы напрасно соболезнуют моим мукам и надеются мною позабавиться. Мое дело — не по их части.

— И вы ставите крест на любви? — насмешливо спросила Вонсовская.

Вокульский вскипел от гнева.

— Нет, сударыня. Но у меня есть друг, пессимист, который растолковал мне, что несравненно выгодней покупать любовь за четыре тысячи в год, а за пять тысяч получить в придачу и верность, чем расплачиваться тем, что мы называем чувством.

— Хороша верность! — вырвалось у Вонсовской.

— По крайней мере заранее известно, чего можно ждать от нее.

Вонсовская закусила губу и пошла к карете.

— Вам следовало бы начать проповедовать свое новое учение.

— Я полагаю, что на это жаль терять время: все равно одни его никогда не поймут, а другие не поверят, пока не убедятся на собственном опыте.

— Спасибо за урок, — сказала она помолчав. — Он произвел на меня столь сильное впечатление, что я даже не прошу вас проводить меня домой... Сегодня вы исключительно плохо настроены, но я надеюсь, что это пройдет. Ах да... Возьмите письмо, — прибавила она, протягивая ему конверт. — Прочтите его. С моей стороны это нескромно, но я знаю, вы меня не выдадите, а я решила во что бы то ни стало уладить недоразумение между вами и Беллой. Удастся мой замысел — сожгите письмо; не удастся... привезите мне его в деревню... Adieu!

Она села в карету и уехала, оставив Вокульского посреди дороги.

— Черт побери, неужели я обидел ее? — огорчился он. — А жаль, преаппетитная дамочка!

Он медленно пошел к Уяздовским Аллеям, раздумывая о Вонсовской.

«Чепуха... не могу же я признаться, что меня к ней влечет... Допустим даже, что признание было бы принято благосклонно, — что дам я ей взамен?.. Я даже не мог бы сказать, что люблю ее».

Только дома Вокульский раскрыл письмо панны Изабеллы.

При виде дорогого некогда почерка молнией блеснуло в нем чувство горечи; но запах бумаги напомнил ему давно-давно минувшие времена, когда она поручала ему устройство оваций знаменитому Росси.

— Это была одна бусинка в четках, которые перебирала панна Изабелла, молясь своему божеству, — усмехнулся он. И начал читать:

«Милая Казя! Мне так опостылело все на свете, так трудно еще собраться с мыслями, что только сегодня я решилась взяться за перо, чтобы рассказать тебе, что произошло у нас после твоего отъезда.

Я уже знаю, сколько завещала мне тетя Гортензия: шестьдесят тысяч рублей; итак, всего у нас теперь девяносто тысяч, которые почтенный барон обещает куда-то поместить из семи процентов, что составит около шести тысяч рублей в год. Ничего не поделаешь, придется привыкать к бережливости.

Не могу передать, как мне скучно, а может быть — тоскливо... Но и это пройдет. Молодой инженер по-прежнему бывает у нас чуть не ежедневно. Сначала он развлекал меня лекциями об устройстве железных мостов, а теперь рассказывает о том, как был он влюблен в одну особу, которая вышла за другого, как отчаянно он страдал, как потерял надежду полюбить еще раз и как желал бы излечиться с помощью нового, лучшего чувства. Он признался мне также, что пописывает стихи, в которых воспевают только красоты природы... Временами я плакать готова от скуки, но совсем без общества я бы просто умерла, а потому делаю вид, что слушаю его, и иногда позволяю поцеловать ручку...»

У Вокульского жилы вздулись на лбу... Он перевел дух и продолжал читать:

«Папа с каждым днем хуже. Чуть что — тотчас плачет, и стоит нам поговорить пять минут, начинает меня упрекать — знаешь, из-за кого... Ты не поверишь, как меня это расстраивает.

Очень часто бываю в заславских развалинах. Что-то влечет меня туда, — не знаю, может быть, прекрасная природа... или уединение. Когда мне особенно тяжело, я пишу карандашом на потрескавшихся стенах разные разности и с радостью думаю: как хорошо, что первый же дождь смывает все это.

Ах да... забыла сообщить самое главное! Знаешь, предводитель написал отцу моему письмо, в котором по всей форме просит моей руки. Я проплакала целую ночь — не потому, что могу стать предводительницей, а... потому, что это, кажется, неотвратимо...

Перо валится у меня из рук. Будь здорова и вспоминай иногда твою несчастную Беллу».

Вокульский скомкал письмо.

— Как я ее презираю... и все еще люблю! — вырвалось у него.

Голова у него пылала. Он метался по комнате, сжав кулаки, и смеялся над собственными химерами.

Вечером он получил телеграмму из Москвы и немедленно телеграфировал в Париж. Весь следующий день, с утра до поздней ночи, он провел со своим поверенным и нотариусом.

Ложась спать, он подумал:

«А не совершу ли я глупость... Ну, на месте я все еще раз проверю. Сомнительно, может ли существовать металл легче воздуха, но бесспорно, тут что-то кроется...

Недаром в поисках философского камня люди наткнулись на химию! И так, кто знает, что откроется тут... В конце концов не все ли равно — лишь бы выкарабкаться из этой гадости!»

Ответ из Парижа пришел только через день. Вокульский несколько раз перечитал его. Вскоре ему подали письмо от пани Вонсовской с печатью, на которой был изображен сфинкс.

— Да, — усмехнулся Вокульский, — лицо человека и звериное туловище; а наше воображение придает вам крылья!

«Зайдите ко мне на минутку, — писала Вонсовская, — у меня к вам важное дело, а я сегодня собираюсь уехать».

«Посмотрим, какое это важное дело!» — подумал он.

Через полчаса он был у пани Вонсовской. В передней стояли уже уложенные чемоданы. Хозяйка дома приняла его в своем рабочем кабинете, где ничто не напоминало о работе.

— Ах, вы очень любезны! — обиженным тоном начала Вонсовская. — Вчера я весь день вас прождала, а вы и не подумали явиться.

— Ведь вы сами запретили мне приходиться? — удивился Вокульский.

— Как это? Разве я не приглашала вас к себе в деревню? Но неважно, я отнесу это за счет вашей эксцентричности... Дорогой мой, у меня к вам весьма важное дело. Я вскоре собираюсь за границу и хочу посоветоваться с вами: когда лучше купить франки — теперь или перед самым отъездом?

— Когда вы едете?

— Примерно... в ноябре... декабре... — ответила она, покраснев.

— Лучше перед самым отъездом.

— Вы думаете?

— Во всяком случае, все так поступают.

— Я как раз не хочу поступать, как все! — воскликнула она.

— Так купите сейчас.

— А если к декабрю франки упадут в цене?

— Так отложите покупку до декабря.

— Ну, знаете, — сказала она, разрывая какую-то бумажку, — вы незаменимый советчик... Черное — это черное, белое — белое. Что же вы за мужчина? Мужчина в любой момент должен быть решительным, по крайней мере должен знать, чего он хочет... Ну как, принесли вы Беллино письмо?

Вокульский молча отдал письмо.

— В самом деле? — оживилась она. — Значит, вы ее не любите? В таком случае, разговор о ней не может быть вам неприятен. Видите ли, я должна либо примирить

вас, либо... пусть уж бедная девушка перестанет мучиться... Вы предубеждены против нее... И несправедливы к ней... Это нечестно. Порядочный человек так не делает; нельзя вскружить девушке голову, а потом бросить, как увядший букет...

— Нечестно? — повторил Вокульский. — Скажите мне на милость, какой же честности вы ждете от человека, которого всю жизнь кормили страданием и унижением, унижением и страданием?

— Но наряду с этим бывали у вас и другие минуты.

— О да, несколько приветливых взглядов и ласковых слов, имеющих в моих глазах тот единственный недостаток, что они оказались... ложью.

— Но теперь она жалеет об этом, и если бы вы вернулись...

— Зачем?

— Чтобы получить ее руку и сердце.

— Предоставив вторую руку знакомым и незнакомым обожателям?.. Нет, сударыня, хватит с меня этих состязаний, в которых я бывал бит — и Старскими, и Шастальскими, и черт знает кем еще. Не могу я играть роль евнуха подле своего идеала и подозревать в каждом мужчине счастливого соперника или непрошеного кузена...

— Какая низость! — воскликнула Вонсовская. — Значит, из-за одного проступка, к тому же невинного, вы пренебрегаете некогда любимой женщиной?

— Что касается числа этих проступков, позвольте мне остаться при собственном мнении; а что касается невинности... Боже ты мой! В каком же я жалком положении, если даже не имею представления, как далеко простиралась их невинность!

— Вы полагаете?.. — сухо спросила Вонсовская.

— Ничего я теперь не полагаю, — так же сухо ответил Вокульский. — Я только знаю, что у меня на глазах под видом приятельских отношений завязался пошлейший роман, и с меня этого хватит. Можно еще понять жену, обманывающую своего мужа, — тут, дескать, узы, которыми ее связало супружество. Но когда свободная женщина обманывает чужого человека... Ха-ха-ха! Это уж, ей-богу, из любви к искусству. Ведь она имела право предпочесть мне Старского — и всех их... Так нет же! Ей понадобилось завести в своей свите олуха, который ее по-настоящему любил, который готов был пожертвовать ради нее всем... И чтобы вконец надругаться над человеческой природой, она хотела именно меня превратить в ширму для своих любовных интрижек... Представляете себе, как, вероятно, потешались надо мною эти люди, которым столь дешево доставалась ее благосклонность... И понимаете ли вы, что за ад — чувствовать себя смешным и в то же время несчастным, так ясно видеть свое унижение и сознавать, что оно незаслуженно?

У Вонсовской дрожали губы; она еле удерживалась от слез.

— Может быть, все это ваша фантазия? — спросила она.

— О нет... Оскорбленное человеческое достоинство — это не фантазия.

— А дальше?

— Что же дальше... Я спохватился, совладал с собой и сейчас могу с удовлетворением сказать одно: по крайней мере моим противникам не удалось вполне восторжествовать...

— И ваше решение твердо?

— Послушайте, я понимаю женщину, которая отдается из любви или из-за бедности. Но понять такую вот духовную проституцию, которой занимаются без нужды, холодно, прикрываясь мнимой добродетелью, — нет, это уму непостижимо.

— Значит, есть вещи, которых нельзя простить? — тихо спросила она.

— Кто и кому должен прощать? Пан Старский, вероятно, даже не способен обидеться из-за таких вещей да еще, пожалуй, станет рекомендовать своих приятелей. Об остальных можно не беспокоиться, имея к услугам столь многочисленное и столь избранное общество.

— Еще одно, — сказала Вонсовская, поднимаясь. — Можно ли узнать, что вы собираетесь делать?

— Если бы я знал...

Она протянула ему руку.

— Прощайте.

— Желаю вам счастья...

— О... — вздохнула она и быстро вышла из комнаты.

«Кажется, — подумал Вокульский, спускаясь по лестнице, — сейчас я уладил два дела... Кто знает, не прав ли Шуман...»

От Вонсовской Вокульский поехал к Жецкому. Старый приказчик был бледен и худ; он с трудом поднялся с кресла. Вокульского глубоко взволновал его вид.

— Ты не сердись, старина, что я так давно не навещал тебя? — спросил он, пожимая ему руку. Жецкий грустно покачал головой.

— Будто я не знаю, что с тобой происходит? — ответил он. — Плохо... плохо все кругом... и становится все хуже и хуже...

Вокульский сел и задумался. Жецкий заговорил:

— Видишь ли, Стах, я так понимаю, что пора мне отправляться к Кацу и моим пехотинцам, а то они где-то там уже точат на меня зубы, дезертир, мол... Знаю: что бы ты ни решил сделать с собою, все будет хорошо и разумно, но... не лучше ли всего жениться на Ставской?.. Ведь она вроде как бы твоя жертва...

Вокульский схватился за голову.

— Бог ты мой! — крикнул он. — Развяжусь ли я когда-нибудь с бабами!.. Одна льстит себя мыслью, что я сделался ее жертвой, другая сама стала моей жертвой, третья хотела стать моей жертвой, да еще нашлось бы с десятков таких, которые бы охотно

приняли в жертву меня с моим богатством в придачу... Любопытная страна, где бабы играют первую скрипку и где люди не интересуются ничем, кроме счастливой или несчастной любви...

— Ну, ну, ну... — успокаивал его Жецкий. — Ведь я тебя за шиворот не тащу... Только, видишь ли, Шуман говорил, что тебе поскорей нужно завести новый роман...

— Эх, нет... Мне гораздо нужнее переменить климат, и я уже прописал себе это лекарство.

— Ты уезжаешь?

— Самое позднее послезавтра — в Москву, а там... куда бог пошлет...

— Ты имеешь что-нибудь в виду? — таинственно спросил Жецкий.

Вокульский задумался.

— Я еще ни на чем определенном не могу остановиться; я колеблюсь — словно раскачиваюсь на высоченных качелях. Иногда мне кажется, что я еще совершу что-нибудь полезное...

— Ох, вот, вот...

— Но минутами меня охватывает такое отчаяние, что хочется сквозь землю провалиться со всем, к чему только я ни прикасался...

— Это уж неразумно... неразумно... — заметил Жецкий.

— Знаю... И говорю тебе: равно вероятно, что имя мое когда-нибудь еще прогремит как и то, что я покончу все счета с жизнью.

Они просидели до позднего вечера.

Через несколько дней разнесся слух, что Вокульский куда-то уехал и, может быть, навсегда.

Все его движимое имущество, начиная с мебели и кончая экипажем и лошадьми, оптом приобрел Шлангбаум по сходной цене.

Глава шестнадцатая. Дневник старого приказчика

«Уже несколько месяцев упорно поговаривают, будто 26 июня сего года в Африке погиб принц Луи-Наполеон, сын императора. И погиб вдобавок в борьбе с каким-то диким народом, который даже неизвестно где живет и как называется. Не может же в самом деле народ называться „зулусами“!

Слух этот все повторяют. Якобы даже императрица Евгения собирается туда поехать, чтобы перевезти в Англию останки сына. Так оно или нет, не знаю, ибо с июля не читал газет и избегаю говорить о политике.

Вздорная вещь политика! Раньше не было ни телеграмм, ни передовиц, однако же человечество шло вперед, и всякий, у кого была голова на плечах, мог без труда разобраться в политической ситуации. Теперь же к вашим услугам и телеграммы, и передовицы, и последние новости, — а все это только сбивает с толку. И мало того что с толку сбивают, — ведь просто душу выворачивают! А не будь у нас Кенига[53] или

славного Сулицкого — право, можно было бы усомниться в справедливости всевышнего. Ужас, что печатается нынче в газетах!

Что же касается принца Луи-Наполеона, то он мог и погибнуть, но мог и укрыться где-нибудь от агентов Гамбетты. Я-то вообще не придаю значения слухам.

Клейна все нет и нет, а Лисецкий переехал на Волгу, в Астрахань. На прощанье он сказал мне, что скоро тут останутся одни евреи.

Лисецкий всегда любил преувеличивать.

.....

Со здоровьем у меня плоховато. Я так быстро устаю, что уже не могу ходить по улице без палки. Вообще ничего особенного, только иногда вдруг странно разбалывается плечо и одолевает одышка. Но это пройдет; а не пройдет — тоже не беда. Мир как-то так меняется к худшему, что скоро мне уже не с кем будет перекинуться словом и не во что будет верить.

.....

В конце июля Генрик Шлангбаум отпраздновал день своего рождения как владелец магазина и глава нашего Общества. И вполвину не было того блеска, как у Стаха в прошлом году, тем не менее на торжество сбежались все друзья и недруги Вокульского и пили за здоровье Шлангбаума... так что стекла дрожали!

Ох, люди, люди!.. Помани вас полной тарелкой и бутылочкой — вы в воду броситесь, а за рублем — так и сам черт не знает, куда вы только не полезете!

.....

Фу ты!.. Сегодня мне показали номер «Курьера», в котором баронессу Кшешовскую называют одной из самых достойных и добросердечных дам — за то, что она пожертвовала двести рублей на какой-то приют. Видно, забыли уже, как она судилась с пани Ставской и скандалила с жильцами.

Неужели муж укротил-таки эту бабу?..

.....

Нападки на евреев все усиливаются. Уже дошло до брехни, будто евреи похищают христианских детей и режут их на мацу.

Когда я слышу подобные истории, я, ей-богу, протираю глаза и спрашиваю себя: жар у меня, что ли, или, может быть, вся моя молодость была только сном?

Но пуще всего меня возмущает дурацкое злорадство доктора Шумана.

— Так им и надо, паршивцам! — говорит он. — Пусть, пусть протрут их с песочком, пусть поучат уму-разуму. Евреи — гениальная раса, но такие шельмецы, что без кнута и шпоры, их не объездить.

— Доктор, — сказал я ему как-то (он кого хочешь выведет из терпения), — раз уж, по-вашему, евреи такие прохвосты, так им и шпоры не помогут.

— Унять их, может быть, и не уймут, — отвечал он, — но ума прибавят и заставят крепче держаться друг за дружку. А если бы евреям да настоящую солидарность... о!..

Странный человек этот доктор. Честен он безусловно, а уж умен — нечего и говорить; только честность его не от сердца, а так — по привычке, что ли? Что касается ума, то он у него из тех, что скорее позволит человеку сто вещей высмеять и испакостить, чем одну создать.

Когда я с ним разговариваю, мне иногда приходит в голову, что душа у него словно ледяная глыба, в ней может отразиться даже огонь, но сама она никогда не согреется.

.....

Стах уехал в Москву, кажется для того, чтобы урегулировать денежные расчеты с Сузиным. Тот должен ему чуть ли не полмиллиона (кто мог предполагать что-либо подобное два года назад!), но что собирается сделать Стах с такой уймой денег, понятия не имею.

Он всегда был оригинал и всегда устраивал нам неожиданности. Не готовит ли он и сейчас какой-нибудь сюрприз? Просто боюсь!

Между тем Мрачевский сделал предложение пани Ставской, и она, немного поколебавшись, дала согласие. Если, как надеется Мрачевский, они откроют магазин в Варшаве, я, пожалуй, войду с ними в компанию и поселюсь у них. И, боже ты мой, буду нянчить детей Мрачевского, хотя всегда думал, что такие обязанности мне придется исполнять при детях Стаха...

Как жестока жизнь...

.....

Вчера я дал пять рублей и заказал молебен за принца Луи-Наполеона. Не панихиду, а именно молебен, потому что он, может быть, и не погиб, хотя все об этом болтают. Я же... Я не разбираюсь в богословии, но все-таки лучше обеспечить ему на том свете хороший прием. А вдруг?..

.....

Я в самом деле нездоров, хотя Шуман уверяет, что все идет хорошо. Он запретил мне пить пиво, кофе и вино, быстро ходить и раздражаться... Умник тоже! Такой рецепт и я могу прописать, а попробуй-ка сам его соблюсти!..

Он разговаривает со мной так, словно подозревает меня в беспокойстве о Стахе. Смешной человек! Разве Стах несовершеннолетний, разве я уже не расставался с ним на целых семь лет! Прошли годы, Стах вернулся и опять пустился во все тяжкие.

И теперь будет, как бывало: вдруг пропал, вдруг и вернется...

А все-таки тяжело жить на свете. И не раз я задумываюсь: верно ли, что существует некий план, по которому все человечество идет к лучшему будущему, или же все зависит от случая, а человечество устремляется в ту сторону, куда его толкает перевес сил? Если одерживают верх хорошие люди, то и мир идет по хорошему пути, а

если одолевают прохвосты — то по плохому. А в конце концов — и от хороших и от плохих останется горсточка пепла.

Если так, то нечего удивляться Стаху, который частенько говорил мне, что хотел бы поскорее погибнуть сам и уничтожить всякий след после себя. Но у меня предчувствие, что это не так.

Хотя... Разве не было у меня предчувствия, что принц Луи-Наполеон станет императором Франции? Нет, подождем-ка еще, что-то мне эта смерть в битве с голыми неграми кажется очень сомнительной...»

Глава семнадцатая. ...?...

Жецкому сильно нездоровилось: по его собственному мнению — от безделья, а по мнению Шумана — по причине болезни сердца, внезапно обнаружившейся и быстро развивавшейся под влиянием каких-то огорчений.

Работы у него было немного. Утром он приходил в магазин, бывший Вокульского, а ныне Шлангбаума, но оставался там только до тех пор, пока не приходили приказчики, а главное — покупатели. Объяснялось это тем, что покупатели почему-то с удивлением посматривали на него, а приказчики (за исключением Зембы, все евреи) не только не оказывали ему почтения, к которому он привык, но даже, несмотря на замечания Шлангбаума, обращались с ним довольно пренебрежительно.

Такое положение вещей заставляло пана Игнация все чаще обращаться мыслью к Вокульскому. Не потому, что он опасался чего-нибудь худого, а просто так.

Утром, около шести часов, он думал: встал Вокульский или еще спит и где он сейчас? В Москве или, может быть, уже выехал отсюда и подъезжает к Варшаве? В полдень он вспоминал те далекие времена, когда почти не проходило дня, чтобы Стах не пообедал с ним, вечером же, особенно перед сном, он говорил:

— Наверное, Стах сейчас у Сузина... Ну и кутят же они, должно быть... А может быть, он уже в вагоне, возвращается в Варшаву и в эту минуту ложится спать?

Бывая в магазине, — а заходил он туда по нескольку раз в день, несмотря на грубость приказчиков и раздражающую любезность Шлангбаума, — он всегда думал: что ни говори, а при Вокульском тут было иначе.

Его немного огорчало, что Вокульский не дает знать о себе, но приписывал это его обычным чудачествам.

«Стах и здоровый-то не особенно любил писать, чего же ждать теперь, когда он так разбит, — думал он. — Ох, женщины, женщины...»

В тот день, когда Шлангбаум купил мебель и экипаж Вокульского, пан Игнаций слег в постель. Не то что ему было жалко — все равно, к чему этот экипаж и роскошная мебель, но ведь обычно такие распродажи устраиваются после смерти человека.

— Ну, а Стах, слава богу, жив и здоров! — повторял он себе.

Однажды вечером пан Игнаций, сидя в халате, обдумывал, какой он устроит магазин Мрачевскому, чтобы заткнуть за пояс Шлангбаума, как вдруг услышал резкие звонки в передней и какую-то возню на лестнице.

Слуга, уже собиравшийся спать, открыл дверь.

— Барин дома? — спросил знакомый Жецкому голос.

— Барин болен.

— Вот еще болен!.. От людей прячется.

— Постойте, господин советник, может быть, мы обеспокоим? — заметил второй голос.

— Вот еще, обеспокоим! Не хочет, чтобы его беспокоили дома, так пусть приходит в трактир...

Жецкий привстал с кресла, и в ту же минуту на пороге спальни показались советник Венгрович и торговый агент Шпрот... Из-за спины их выглядывали чьи-то всклокоченные вихры и не слишком чистая физиономия.

— Если гора не идет к Магометам, Магометы идут к горе! — зычно возвестил советник. — Пан Жецкий... пан Игнаций! Что это за фокусы, уважаемый? С того дня, как вы изволили пожаловать в последний раз, мы открыли новый сорт пива... Поставь-ка сюда, любезный, и приходи завтра, — прибавил он, обращаясь к черномазому растрепе.

По этой команде растрепанный субъект в огромном фартуке поставил на умывальник корзину, полную стройных бутылок, и три пивных кружки, после чего улетучился, словно был существом, состоящим из тумана и воздуха, а не из пяти пудов мяса.

При виде бутылок пан Игнаций удивился, однако это чувство нельзя было назвать неприятным.

— Ради бога, что с вами делается? — спросил советник и развел руками, словно собираясь заключить весь мир в свои объятия. — Вас так давно не видно, что Шпрот даже забыл, как вы выглядите, а я было подумал — не заразились ли вы от своего приятеля и не свихнулись ли...

Жецкий нахмурился.

— А я как раз сегодня, — продолжал советник, — выиграл у Деклевского пари по поводу вашего приятеля — корзину пива новой марки, ну и говорю Шпроту: а не захватить ли нам пива да не нагрянуть ли к старику, может, он встряхнется... Что ж, вы даже не приглашаете нас садиться?

— Разумеется, пожалуйста, господа... — спохватился Жецкий.

— И столик есть, — говорил советник, осматриваясь кругом, — и уголок весьма уютный. Эге-ге, да мы каждый вечер можем забегать к больному в картишки поиграть... Шпрот, а ну-ка, миленький, достаньте штопорчик да принимайтесь за дело... Пусть уважаемый пан Жецкий отведаёт пивца новой марки...

— Какое же пари вы выиграли, советник? — спросил Жецкий, у которого лицо постепенно прояснялось.

— Да насчет Вокульского. А было это так. Еще в январе прошлого года, когда Вокульского понесло в Болгарию, я сказал Шпроту, что пан Станислав — сумасшедший, что он прогорит и плохо кончит... Ну, а теперь, представьте себе, Деклевский уверяет, что это он сказал!.. Само собой, побились мы об заклад на корзину пива, Шпрот подтвердил, что говорил это я, и вот мы явились к вам...

Тем временем Шпрот поставил на стол три кружки и откупорил три бутылки.

— Нет, вы только посмотрите, пан Игнаций, — говорил советник, поднимая полную кружку. — По цвету — старый мед, пена — как крем, а вкусом — шестнадцатилетняя девушка! Пригубьте-ка... Каков вкус, каков букет, а? Закроешь глаза — ей-богу, кажется, что пьешь эль... Вот!.. Не дурно, а?.. По совести говоря, перед таким пивом надо бы рот полоскать... Скажите сами: пили вы в своей жизни что-либо подобное?

Жецкий отпил полкружки.

— Пиво хорошее, — сказал он. — А все-таки, с чего вам пришло в голову, будто Вокульский прогорел?

— Да все в городе так говорят. Ведь если человек при деньгах, в здравом рассудке и никому не напакостил — зачем же ему бежать бог весть куда?

— Вокульский поехал в Москву.

— Как бы не так! Это он вам сказал, чтобы замести следы. Но сам же и выдал себя, раз отказался от своих денег...

— От чего отказался? — гневно переспросил пан Игнаций.

— От денег, которые лежат у него в банке, а главное — у Шлангбаума. Ведь там наберется тысяч двести... Ну, а когда человек оставляет на произвол судьбы такую сумму, то есть просто выбрасывает ее на улицу, — значит, он либо рехнулся, либо натворил таких дел, что уже не надеется получить свои деньги... В городе все поголовно возмущены этаким... этаким... И сказать-то совестно, кто он такой!

— Советник, вы забываетесь! — крикнул Жецкий.

— Вы голову потеряли, пан Игнаций! Ну, можно ли вступаться за такого человека? — горячился советник. — Подумайте только. Поехал он богатство наживать — куда? На русско-турецкую войну! На русско-турецкую войну! Да вы понимаете, что это значит? Сколотил там состояние... Но каким образом? Каким образом, спрашивается, можно за полгода заработать полмиллиона рублей?

— Он ворочал десятью миллионами, — возразил Жецкий. — Так что заработал еще меньше, чем можно было...

— А чьи это были миллионы?

— Сузина... купца... его друга...

— Вот-вот! Но не в том дело; допустим, в этом случае он никакой подлости не сделал... Но что за дела у него были в Париже, а потом в Москве, где он опять-таки отхватил изрядный куш? А хорошо ли было подрывать отечественную промышленность ради того, чтобы платить восемнадцать процентов прибылей кучке аристократов, к которым ему понадобилось втереться? А красиво ли было продать торговое общество евреям и в конце концов удрать, бросив сотни людей в бедности и тревоге? Так поступает хороший гражданин и честный человек? Ну, пейте, пейте, пан Игнаций! — воскликнул он, чокаясь с ним. — За наше, холостяцкое. Пан Шпрот, покажите же больному, что вы молодец!.. Не ударьте лицом в грязь!

— Хороши! — протянул доктор Шуман, который уже несколько минут стоял на пороге, не снимая шляпы. — Ай-ай-ай! Что же это вы, господа? Взялись поставлять клиентов похоронной конторе, что ли? Вы что же это делаете с моим пациентом? Казимеж! — крикнул он слуге. — Выбрось-ка все бутылки на лестницу... А вас, господа, прошу оставить больного... Больничная палата, хоть бы и на одного человека, — это вам не кабак... Так-то вы соблюдаете мои предписания? — обратился он к Жецкому. — С пороком сердца затеваете попойки? Может, еще позовете девочек?.. Спокойной ночи, господа, — обернулся он к советнику и Шпроту, — впредь не устраивайте тут пивной, а то я подам на вас в суд за убийство...

Советник и Шпрот мигом убрались восвояси, и, если бы не густой табачный дым, можно было бы подумать, что тут никого не было.

— Открой окно! — приказал доктор слуге. — Ну-ну! — насмешливо прибавил он, глядя на Жецкого. — Лицо горит, глаза остекленели, пульс такой, что слышно на улице...

— Вы слышали, что он говорил о Стахе? — спросил Жецкий.

— Правду говорил. И весь город твердит то же самое. Только напрасно его называют банкротом: на самом деле он принадлежит к полоумным того разряда, которых я называю польскими романтиками.

Жецкий смотрел на него почти со страхом.

— Да не смотрите вы так на меня, — спокойно продолжал Шуман, — а лучше подумайте: разве я не прав? Ведь этот человек ни разу в жизни не действовал разумно... Будучи официантом, он мечтал об изобретениях и университете; поступив в университет, начал баловаться политикой. Потом, вместо того чтобы наживать деньги, стал ученым и вернулся сюда гол как сокол, так что, если бы не Минцелева, умер бы с голоду... Наконец, принялся сколачивать состояние, но не из купеческого расчета, а чтобы завоевать барышню, которая прослыла кокеткой. Но и этого мало: получив и барышню и состояние, он бросил и то и другое... И вот где он теперь, что делает?.. Ну скажите же, если вы такой всезнайка! Полоумный, совсем полоумный, — махнул рукой Шуман. — Чистокровный польский романтик, который вечно ищет чего-то нереального...

— И вы повторите это в глаза Вокульскому, когда он вернется? — спросил Жецкий.

— Я ему это сто раз говорил, а если теперь не скажу, то лишь потому, что он не вернется...

— Почему же не вернется? — чуть слышно спросил Жецкий, бледнея.

— Не вернется потому, что либо свернет себе где-нибудь шею, если вылечится от помешательства, либо увлечется какой-нибудь новой утопией... например, открытиями мифического Гейста — по-видимому, тоже патентованного безумца.

— А вы, доктор, никогда не увлекались утопиями?

— Увлекался по той причине, что заразился от вас. Однако вовремя опомнился, и это обстоятельство позволяет мне нынче ставить самый точный диагноз при подобных заболеваниях... Ну, снимите-ка халат, посмотрим, каковы последствия сегодняшнего вечера, проведенного в веселой компании.

Он осмотрел Жецкого, велел ему немедленно лечь в постель и впредь не превращать своей квартиры в кабак.

— Вы тоже недурной образчик романтика, только у вас было меньше возможностей выкидывать глупости, — заключил доктор.

И он ушел, оставив Жецкого в весьма мрачном настроении.

«Ну, твоя болтовня, пожалуй, повредит мне больше, чем пиво», — подумал Жецкий и прибавил вполголоса:

— Все-таки Стах мог бы хоть словечко черкнуть... черт знает какие мысли в голову лезут...

Болезнь приковала Жецкого к постели, и он отчаянно скучал.

Чтобы как-нибудь скоротать время, он в бесчисленный раз перечитывал историю консульства и империи или размышлял о Вокульском.

Однако эти занятия не успокаивали, а лишь растрavляли его... История напоминала ему о чудесных деяниях одного величайшего победителя, с династией которого Жецкий связывал мечты о счастливом будущем человечества, а династия между тем погибла под копьями зулусов. Размышления о Вокульском приводили пана Игнация к выводу, что его любимый друг, человек столь выдающийся, находится по меньшей мере на пути к моральному краху.

— Сколько он хотел совершить, сколько мог совершить и ничего не совершил! — с глубокой грустью повторял пан Игнаций. — Хоть бы написал, где он и что намерен предпринять... Хоть бы дал знать, что жив!..

Дело в том, что с некоторых пор пана Жецкого преследовали смутные, но зловещие предчувствия. Он вспоминал свой сон после концерта Росси, когда ему привиделось, что Вокульский спрыгнул вслед за панной Изабеллой с башни ратуши. И еще вспоминались ему странные и ничего доброго не сулившие слова Стаха: «Я хотел бы погибнуть сам и уничтожить всякие следы своего бытия...»

Как легко подобное желание могло претвориться в действие у человека, который говорил только то, что чувствовал, и умел выполнять то, что говорил...

Доктор Шуман, навещавший его ежедневно, отнюдь не поддерживал в нем бодрости. Пану Игнацию уже надоела его неизменная фраза:

— В самом деле, надо быть или полным банкротом, или сумасшедшим, чтобы бросить в Варшаве такую уйму денег на произвол судьбы и даже не известить о своем местопребывании!

Жецкий спорил с ним, но в душе признавал, что доктор прав.

Однажды Шуман прибежал к нему в необычное время, около десяти часов утра, швырнул шляпу на стол и закричал:

— Ну что, разве не правду я говорил, что он полоумный?

— Что случилось? — спросил пан Игнаций, сразу догадавшись, о ком идет речь.

— Случилось то, что уже неделю назад этот сумасшедший уехал из Москвы... угадайте куда?

— В Париж?

— Как бы не так! В Одессу, оттуда собирается ехать в Индию, из Индии в Китай и Японию, а потом — через Тихий океан — в Америку... Совершить путешествие, даже кругосветное, совсем не плохо, я бы сам ему это посоветовал. Но не черкнуть ни словечка, в то время как в Варшаве, что ни говори, у него осталось несколько искренних друзей и двести тысяч рублей капитала, — это уж, ей-богу, явный признак сильнейшего психического расстройства...

— Откуда вам это известно? — спросил Жецкий.

— Из вернейшего источника, от Шлангбаума, которому весьма важно было узнать планы Вокульского. Ведь он должен в начале октября выплатить ему сто двадцать тысяч рублей... Ну, а если бы дорогой Стась застрелился, или утонул, или погиб от желтой лихорадки... понимаете?.. тогда можно прикарманить весь капитал или по крайней мере беспроцентно пользоваться им еще с полгода... Вы уже, верно, раскусили Шлангбаума? Ведь он меня... меня!.. пытался обжулить!

Доктор бегал по комнате и размахивал руками, словно сам заболел психическим расстройством. Вдруг он остановился против пана Игнация, посмотрел ему в глаза и схватил за руку.

— Что?.. что?.. что?.. Пульс выше ста?.. Был у вас сегодня жар?

— Пока что нет.

— Как это нет? Ведь я вижу...

— Неважно! — прервал его Жецкий. — Однако неужели же Стах действительно способен на такое?

— Наш прежний Стах, при всем его романтизме, вероятно, не был бы способен, но от пана Вокульского, влюбленного в сиятельную панну Ленцкую, можно всего ожидать... Ну и, как видите, он делает все, что в его силах...

Когда доктор ушел, пан Игнаций сам вынужден был признать, что с ним происходит что-то неладное.

«Вот было бы забавно, если бы я этак не сегодня-завтра протянул ноги! Тьфу ты! Будто это не случилось с людьми и получше меня... Наполеон Первый... Наполеон Третий... Юный Люлю... Стах... Ну что Стах?.. Ведь он сейчас едет в Индию...»

Он глубоко задумался, потом поднялся с постели, тщательно оделся и пошел в магазин, к великому возмущению Шлангбаума, который знал, что пану Игнацию запрещено вставать.

Зато на другой день ему стало хуже. Он отлеживался целые сутки, потом опять на два-три часа зашел в магазин.

— Видно, он воображает, что магазин — это мертвецкая, — сказал один из новых приказчиков Зембе, который со свойственной ему искренностью нашел эту остроту весьма удачной.

В середине сентября к Жецкому забежал Охоцкий, на несколько дней приехавший из Заславека в Варшаву.

Увидев его, пан Игнаций сразу повеселел.

— Что же привело вас сюда? — воскликнул он, горячо пожимая руку молодому изобретателю, которого все любили.

Но Охоцкий был мрачен.

— Конечно, неприятности! — ответил он. — Знаете, умер Ленцкий...

— Отец этой... этой?.. — удивился пан Игнаций.

— Да, да... этой... этой!.. И, пожалуй, из-за нее...

— Во имя отца и сына... — перекрестился Жецкий. — Сколько еще людей намерена погубить эта женщина?.. Насколько мне известно, да и для вас это, верно, не секрет, Стах попал в беду именно из-за нее...

Охоцкий кивнул головой.

— Вы можете рассказать мне, что произошло с паном Ленцким? — с любопытством спросил пан Игнаций.

— Это не тайна, — ответил Охоцкий. — В начале лета панне Изабелле сделал предложение предводитель...

— Тот самый?.. Да он мне в отцы годится, — не утерпел Жецкий.

— Вероятно, потому барышня и согласилась... во всяком случае, не отказала ему. И вот старик собрал разные вещички, оставшиеся после его двух жен, и прикатил в деревню, к графине... к тетке панны Изабеллы, у которой гостили Ленцкие...

— Совсем ошалел!

— Это случилось и с большими умниками. Между тем, хотя предводитель считал себя уже женихом, панна Изабелла каждые два-три дня, а потом даже ежедневно ездила в сопровождении некоего инженера к развалинам Заславского замка... Она говорила, что это рассеивает ее скуку...

— А предводитель как же?

— Предводитель, разумеется, молчал, но дамы пытались внушить барышне, что так не делают. Она же в таких случаях отвечала одно: «Хватит с предводителя того, что я соглашаюсь выйти за него, а выйду я не затем, чтобы отказывать себе в удовольствиях!»

— И, наверное, предводитель поймал их на чем-нибудь среди этих развалин? — спросил Жецкий.

— Ну... какое! Он туда и не заглядывал. Да если б и заглянул, так убедился бы, что панна Изабелла брала с собой простачка инженера, чтобы в его присутствии тосковать по Вокульском.

— По Во-куль-ском?

— Во всяком случае, так предполагали. По этому поводу уж и я сделал ей замечание, что неприлично в обществе одного поклонника тосковать по другом. Но она, по своему обыкновению, ответила: «Хватит с него, если я позволяю ему смотреть на меня...»

— Ну и осел этот инженер!

— Не сказал бы, поскольку, при всей своей наивности, он все же смекнул, в чем дело, и в один прекрасный день не поехал с барышней вздыхать среди развалин, не поехал и в следующие дни. А в то же самое время предводитель приревновал ее к инженеру, прекратил сватовство и уехал к себе в Литву, причем сделал это столь демонстративно, что панна Изабелла и графиня закатили истерику, а почтенный Ленцкий, не успев и пальцем шевельнуть, скончался от удара...

Кончив рассказ, Охоцкий обхватил голову руками и расхохотался.

— И подумать, что подобного рода женщина стольким людям кружила голову!

— прибавил он.

— Да ведь это чудовище! — вскричал Жецкий.

— Нет. Она даже не глупа и в сущности человек не плохой, только... она такая же, как тысячи других из ее среды.

— Тысячи?..

— Увы! — вздохнул Охоцкий. — Представьте себе класс людей богатых или просто состоятельных, которые хорошо питаются и ничего не делают. Человек должен каким-то образом тратить свои силы; значит, если он не работает, ему нужно развратничать или по крайней мере щекотать свои нервы... А для разврата и для щекотания нервов нужны женщины — красивые, изящно одетые, остроумные, прекрасно воспитанные,

вернее выдрессированные именно для этой надобности... Ведь это для них единственное занятие.

— И панна Изабелла принадлежит к их числу?

— Собственно, даже не по своей воле... Мне неприятно говорить об этом, но вам я скажу, чтобы вы знали, из-за какой женщины свихнулся Вокульский...

Разговор оборвался. Возобновил его Охоцкий, спросив:

— Когда же он возвращается?

— Вокульский?.. Да ведь он поехал в Индию, Китай, Америку.

Охоцкий так и подскочил.

— Не может быть! — закричал он. — Хотя... — протянул он в раздумье и умолк.

— Разве у вас есть какие-нибудь основания предполагать, что он туда не поехал? — спросил Жецкий, понизив голос.

— Никаких. Меня только удивило столь внезапное решение... Когда я был тут в последний раз, он обещал мне уладить одно дело... Но...

— И прежний Вокульский, несомненно, уладил бы. А новый забыл не только о ваших делах... но в первую очередь о своих собственных...

— Что он уедет, можно было ожидать, — как бы сам с собой говорил Охоцкий, — но мне не нравится эта внезапность. Он писал вам?..

— Никому ни строчки, — ответил старый приказчик.

Охоцкий покачал головой.

— Это было неизбежно, — пробормотал он.

— Почему неизбежно? — вскинулся Жецкий. — Что он, банкрот или заняться ему было нечем?.. Такой магазин и торговое общество — это, по-вашему, пустяки? А не мог он жениться на прелестной и благородной женщине?..

— Не одна бы с радостью за него пошла, — согласился Охоцкий. — Все это прекрасно, — продолжал он, оживляясь, — но не для человека его склада.

— Что вы под этим понимаете? — подхватил Жецкий, которому разговор о Вокульском доставлял такое же наслаждение, как влюбленному разговор о предмете его страсти. — Что вы под этим понимаете?.. Вы его близко знали? — настойчиво спрашивал он, и глаза его блестели.

— Узнать его нетрудно. Это был, коротко выражаясь, человек широкой души.

— Вот именно! — подтвердил Жецкий, постукивая пальцем по столу и глядя на Охоцкого, как на икону. — Однако что вы понимаете под широтой? Прекрасно сказано! Объясните мне только яснее.

Охоцкий усмехнулся.

— Видите ли, — начал он, — люди с маленькой душонкой заботятся только о своих делах, способны охватить мыслью только сегодняшний день и питают отвращение ко всему неизведанному... Им лишь бы прожить в спокойствии и достатке... А человек такого типа, как он, думает о тысячах, глядит иногда на десятки лет вперед, все неведомое и неразрешенное влечет его неодолимо. Это даже не заслуга, а попросту необходимость. Как железо непроизвольно тянется к магниту или пчела лепит свои соты, так и эта порода людей рвется к великим идеям и грандиозному труду...

Жецкий крепко пожал ему обе руки, дрожа от волнения.

— Шуман, умный доктор Шуман говорит, что Стах безумец, польский романтик! — заметил он.

— Шуман глуп со своим еврейским реализмом! — возразил Охоцкий. — Ему даже невдомек, что цивилизацию создавали не дельцы, не обыватели, а вот именно такие безумцы... Если б ум заключался в умении наживаться, люди поныне оставались бы обезьянами...

— Святые ваши слова... прекраснейшие слова! — повторял старый приказчик. — Но объясните мне все-таки, каким образом такой человек, как Вокульский, мог... так вот... запутаться?..

— Помилуйте, я удивляюсь, что это случилось так поздно! — пожал плечами Охоцкий. — Ведь я знаю его жизнь, знаю, как он задыхался тут с детских лет. Было у него стремление к науке, но не было возможности его осуществить, была сильно развита общественная жилка, но к чему бы он ни прикоснулся, все проваливалось... Даже это ничтожное торговое общество, которое он основал, принесло ему только нарекания и ненависть...

— Вы правы... вы правы!.. — повторял Жецкий. — А тут еще эта панна Изабелла...

— Да, она могла вернуть ему покой. Удовлетворив потребность личного счастья, он легче примирился бы с окружающей средой и употребил бы свою энергию в тех направлениях, какие у нас возможны. Но... его постигла неудача.

— Что же дальше?

— Кто знает... — тихо произнес Охоцкий. — Сейчас он похож на дерево, вырванное с корнем. Если он найдет подходящую почву, а в Европе это возможно, и если у него еще не иссякла энергия, то он с головой окунется в какую-нибудь работу и, пожалуй, начнет по-настоящему жить... Но если он исчерпал себя, что в его возрасте тоже не исключено...

Жецкий приложил палец к губам.

— Ш-ш-ш-ш... у Стаха есть энергия... есть. Он еще выкарабкается... выка...

Старик отошел к окну и, прислонившись к косяку, разрыдался.

— Я совсем болен... нервы не в порядке... — говорил он. — У меня, кажется, порок сердца... Но это пройдет... пройдет... Только зачем он так убегает... прячется... не пишет?..

— Ах, как мне понятно это отвращение измученного человека ко всему, что напоминает ему прошлое! — воскликнул Охоцкий. — Мне знакомо это по опыту, хотя и скромному... Представьте себе, когда я сдавал экзамен на аттестат зрелости, мне пришлось в пять недель пройти курс латыни и греческого за семь классов, потому что я всегда от этого отлынивал. Ну, на экзамене я кое-как выкрутился, но перед тем столько работал, что переутомился.

С тех пор я смотреть не мог на латинские или греческие книжки, даже вспоминать о них было противно. Я не выносил вида гимназического здания, избегал товарищей, готовившихся вместе со мной к экзамену, даже съехал со старой квартиры. Это продолжалось несколько месяцев, и я не успокоился, пока... знаете, что я сделал? Бросил в печку и сжег эти проклятые греческие и латинские учебники. Добрый час вся эта дрянь тлела и дымила, но зато потом, когда я велел высыпать пепел в мусорный ящик, болезнь мою как рукой сняло! Но и сейчас меня еще пробирает дрожь при виде греческих букв или латинских исключений: panis, piscis, crinis <Хлеб, рыба, волосы (лат.)> ... Бррр... Гадость!

Итак, не удивляйтесь, что Вокульский сбежал отсюда в Китай... Долгая мука может довести человека до бешенства... Но и это проходит...

— А сорок шесть лет, милый мой? — напомнил Жецкий.

— А сильный организм?.. А крепкий мозг?.. Ну, и заболтался я с вами... Всего хорошего, поправляйтесь...

— Вы уезжаете?

— Да, в Петербург. Я должен присмотреть за исполнением последней воли покойной Заславской, а то благородные родственники собираются оспаривать ее завещание. Просижу там, пожалуй, до конца октября.

— Как только я получу известие от Стаха, тотчас же сообщу вам. Только пришлите мне свой адрес.

— И я вам дам знать, если что-нибудь случайно услышу... Хотя сомневаюсь... До свиданья.

— Желаю вам поскорее вернуться!

Беседа с Охоцким чрезвычайно ободрила пана Игнация. Старый приказчик словно набрался сил, наговорившись с человеком, который не только понимал дорогого Стаха, но даже напоминал его многими чертами характера.

«И он был такой же, — думал Жецкий. — Энергичный, здравомыслящий и в то же время всегда исполненный возвышенных порывов...»

Можно сказать, что с этого дня началось выздоровление пана Игнация. Он встал с постели, затем сменил халат на сюртук, стал ходить в магазин и даже часто прогуливался по улице. Шуман восхищался своим методом лечения, столь успешно приостановившим болезнь.

— Как пойдет дальше, неизвестно, — говорил он Шлангбауму, — но факт, что уже несколько дней, как старик начал поправляться. У него опять появился аппетит, он стал спать, а главное — поборол апатию. С Вокульским было точно так же.

В действительности Жецкого поддерживала надежда, что рано или поздно он получит письмо от своего Стаха.

«Может быть, он уже в Индии, — думал пан Игнаций, — значит, в конце сентября должна прийти от него весточка... Конечно, в таких случаях возможна задержка; но уж за октябрь я головой ручаюсь...»

В указанный срок действительно получились известия о Вокульском, но весьма странные.

Как-то вечером, в конце сентября, зашел к Жецкому Шуман и со смехом сказал:

— Удивительное дело, сколько людей интересуется этим полоумным! Арендатор из Заславека сообщил Шлангбауму, что кучер покойной председательши недавно видел Вокульского в заславском лесу. Он даже описывал, как тот был одет и на какой ехал лошади...

— Что же! Возможно! — оживился пан Игнаций.

— Чепуха! Где Крым, а где Рим; где Индия, а где Заславок? — возразил доктор. — Тем более что почти одновременно другой еврей, торговец углем, видел Вокульского в Домброве... Мало того, он якобы разузнал, что Вокульский купил у одного пьяницы шахтера два динамитных заряда... Ну, такой вздор, надеюсь, и вы не станете защищать?

— Но что все это значит?

— Ничего. Очевидно, Шлангбаум объявил среди евреев, что выдаст награду за сведения о Вокульском, — вот теперь Вокульский и мерещится всем чуть ли не в мышинной норе... Святой рубль рождает ясновидцев! — заключил доктор, иронически рассмеявшись.

Жецкий должен был признать, что слухи эти лишены всякого смысла, а толкование Шумана вполне правдоподобно; при всем том тревога его за Стаха усилилась...

Вскоре, однако, тревога его сменилась просто испугом, когда обнаружился факт, уже не подлежащий никакому сомнению. А именно, первого октября один из нотариусов вызвал к себе Жецкого и показал ему нотариальный акт, подписанный Вокульским перед отъездом в Москву.

Это было завещание, составленное по всем правилам. В нем Вокульский выражал свою волю относительно раздела оставшихся в Варшаве денег, из которых семьдесят тысяч рублей лежали в банке, а сто двадцать тысяч — у Шлангбаума.

Для людей посторонних завещание это послужило доказательством невменяемости Вокульского, Жецкий же нашел его вполне логичным. Завещатель назначил огромную сумму в сто сорок тысяч рублей Охоцкому, двадцать пять тысяч рублей Жецкому и двадцать тысяч малолетней Элене Ставской. Остальные пять тысяч рублей он разделил между бывшими служащими магазина и лично знакомыми ему бедными людьми. Из

этой суммы получили по пятьсот рублей: Венгелек — заславский столяр, Высоцкий — варшавский возчик и второй Высоцкий — его брат, стрелочник из Скерневиц.

В трогательных выражениях Вокульский обращался ко всем упомянутым в завещании лицам, прося принять его дар как от умершего, а нотариуса обязал не оглашать сего акта ранее первого октября.

Среди людей, знавших Вокульского, поднялся шум, начались сплетни, не обошлось без обид и оскорбительных намеков... А Шуман в разговоре с Жецким высказал следующее суждение:

— О дарственной для вас я давно знал... Охоцкому он дал почти миллион золотых, потому что открыл в нем безумца своей породы... Ну, а подарок дочке прекрасной пани Ставской, — прибавил он, смеясь, — мне тоже понятен. Только одно меня интригует...

— Что именно? — осведомился Жецкий, покусывая усы.

— Откуда взялся среди наследников этот стрелочник Высоцкий?

Шуман записал его имя и фамилию и ушел в раздумье.

Велика была тревога Жецкого: что могло приключиться с Вокульским? Почему он составил завещание и почему обращался к ним, как человек, думающий о близкой смерти? Однако вскоре произошли события, пробудившие в Жецком искру надежды и до некоторой степени осветившие странное поведение Вокульского.

Прежде всего Охоцкий, узнав о доставшихся ему деньгах, не только немедленно ответил из Петербурга, что принимает их и просит всю сумму приготовить наличными к началу ноября, но вдобавок оговорил у Шлангбаума проценты за октябрь месяц.

Затем письменно запросил Жецкого, не даст ли тот из своего капитала двадцать одну тысячу рублей, наличными, взамен суммы, которую он, Охоцкий, должен получить в день святого Яна.

«Мне чрезвычайно важно, — кончал он письмо, — иметь на руках весь принадлежащий мне капитал, так как в ноябре я непременно должен выехать за границу. Я все объясню вам при личном свидании...»

«Почему он так спешно уезжает за границу и почему забирает с собой все деньги? — задавал себе вопрос Жецкий. — Почему, наконец, откладывает объяснение до встречи?..»

Разумеется, он принял предложение Охоцкого. Ему казалось, что в этом поспешном отъезде и недомолвках кроется нечто обнадеживающее.

«Кто знает, — раздумывал он, — действительно ли Стах со своим полмиллионом поехал в Индию? Может быть, они встретятся с Охоцким в Париже, у того чудака Гейста? Какие-то металлы... воздушные шары... По-видимому, им нужно до поры до времени все сохранить в тайне».

Однако на этот раз расчеты его опрокинул Шуман, сказав по какому-то поводу:

— Я наводил в Париже справки о пресловутом Гейсте, потому что подумал — не к нему ли направился Вокульский. Ну, и оказалось, что Гейст, некогда весьма талантливый химик, теперь совершенно свихнулся... Вся Академия смеется над его выдумками.

Насмешки Академии над Гейстом сильно поколебали надежды Жецкого. Кто-кто, а уж Французская академия оценила бы по заслугам эти металлы или шары... А если такие мудрецы считают Гейста сумасшедшим, так Вокульскому у него делать нечего.

«В таком случае, куда и зачем он поехал? — размышлял Жецкий. — Ну конечно, отправился путешествовать, потому что ему тут было плохо... Если Охоцкий съехал с квартиры, где его замучила греческая грамматика, то с тем большим основанием Вокульский мог уехать из города, где его так мучила женщина... Да и не только она! Был ли на свете человек, которого бы столько чернили, как его?

Но зачем он составил чуть ли не завещание и вдобавок намечал в нем о своей смерти?...» — терзался пан Игнаций.

Сомнения его рассеял приезд Мрачевского. Молодой человек явился в Варшаву неожиданно и пришел к Жецкому сильно озабоченный. Говорил он отрывисто, больше недомолвками, а под конец намекнул, что Ставская колеблется, принять ли дар Вокульского, да и сам он считает, что тут не все ясно...

— Дорогой мой, это ребячество! — возмутился пан Игнаций, — Вокульский отписал ей, верней Элуне, двадцать тысяч рублей, потому что был к этой женщине привязан; а привязан был потому, что у нее в доме обретал душевный покой в самый тяжелый период своей жизни... Ведь ты знаешь, что он любил панну Изабеллу?

— Это я знаю, — несколько спокойнее отвечал Мрачевский, — но знаю и то, что Злена была неравнодушна к Вокульскому...

— Что же из того? Сейчас Вокульский для всех нас почти умер, и, бог весть, увидим ли мы его еще когда-нибудь...

Лицо Мрачевского прояснилось.

— Верно, — сказал он, — верно! От умершего пани Ставская может принять дар, а мне нечего опасаться напоминаний о нем.

И он ушел, весьма довольный тем, что Вокульского, может быть, уже нет в живых.

«Прав был Стах, придавая такую форму своей дарственной, — подумал пан Игнаций. — Меньше хлопот для тех, кого он одарил, особенно для славной пани Элены...»

В магазине Жецкий бывал все реже и реже, раз в несколько дней, и единственным его занятием, к слову сказать даровым, было устройство витрин в ночь с субботы на воскресенье. Старый приказчик очень любил эту работу, и Шлангбаум сам просил его взять на себя витрины, в тайной надежде, что пан Игнаций поместит у него свой капитал на скромных процентах.

Но и этих редких посещений пану Игнацию было довольно, чтобы заметить в магазине значительные перемены к худшему. Товары были красивы на вид и даже

несколько снизились в цене, но одновременно еще более в качестве; приказчики грубили покупателям и позволяли себе мелкие злоупотребления, которые не ускользнули от внимания Жецкого. Наконец, два новых инкассатора растратили более ста рублей...

Когда пан Игнаций указал на это Шлангбауму, то услышал следующий ответ:

— Помилуйте, покупателям нравятся не доброкачественные товары, а дешевые!.. А что до растрат, так они случаются везде. Да и где найти честных людей?

Шлангбаум прикидывался равнодушным, но в душе огорчился, а Шуман беспощадно издевался над ним.

— Не правда ли, пан Шлангбаум, — говорил он, — если б в нашей стране остались только евреи, мы бы с вами вылетели в трубу? Ибо часть населения нас бы обжупивала, а остальные не позволяли бы нам себя надувать...

У пана Игнация было немало досуга, он много размышлял и удивлялся, что его по целым дням занимают вопросы, которые раньше ему и в голову не приходили.

«Почему наш магазин стал хуже? Потому что в нем хозяйничает не Вокульский, а Шлангбаум. А почему не хозяйничает Вокульский? Потому что, как выразился Охоцкий, он задыхался чуть ли не с детства и наконец вынужден был вырваться на свежий воздух...»

И он вспомнил наиболее значительные моменты в жизни Вокульского. Когда он, работая еще официантом у Гопфера, захотел учиться, все ему мешали. Когда он поступил в университет, от него потребовали самопожертвования. Когда он вернулся на родину, ему отказали даже в работе. Когда он разбогател, на него посыпались подозрения, а когда он влюбился, обожаемая женщина самым подлым образом обманула его.

«Учитывая обстоятельства, надо признать, что он сделал все, что мог», — говорил себе пан Игнаций.

Но если уж в силу создавшихся условий Вокульскому пришлось ехать за границу, то почему же магазин его перешел не к нему, Жецкому, а, скажем, к Шлангбауму?

Потому что он, Жецкий, никогда не помышлял о собственном магазине. Он сражался за интересы венгерцев или ждал, когда потомки Наполеона перестроят мир. И что же?.. Мир не стал лучше, род Наполеона угас, а владельцем магазина стал Шлангбаум.

«Страшно подумать, сколько честных людей у нас пропадает зря, — сокрушался Жецкий. — Кац пустил себе пулю в лоб, Вокульский уехал, Клейн бог знает где, да и Лисецкому пришлось убраться, потому что для него не нашлось здесь места...»

Размышляя об этих предметах, пан Игнаций терзался угрызениями совести, под влиянием которых в уме его созревал некий план на будущее.

— Войду-ка я в компанию с пани Ставской и Мрачевским. У них двадцать тысяч рублей да у меня двадцать пять, а на такую сумму уже можно открыть порядочный магазин, хоть бы под боком у Шлангбаума.

План этот так захватил его, что он почувствовал себя значительно крепче. Правда, все чаще повторялись боли в плече и удушье, но он не обращал на них внимания.

«Пожалуй, поеду я подлечиться за границу, — думал он, — избавлюсь от этого дурацкого удушья и примусь по-настоящему за работу... Что ж, в самом деле, только Шлангбауму богатеть у нас?..»

Он чувствовал себя моложе, бодрее, хотя Шуман не советовал ему выходить из дому и рекомендовал не волноваться.

Однако сам доктор неоднократно забывал о своих предписаниях.

Однажды утром он ворвался к Жецкому в необычайном возбуждении, даже без галстука на шее.

— Ну, — закричал он, — хорошенькую историю узнал я о Вокульском!

Пан Игнаций отложил нож и вилку — он как раз ел бифштекс с брусникой — и сразу ощутил боль в плече.

— А что случилось? — слабым голосом спросил он.

— Ай да Стась! Герой! Я разыскал в Скерневицах железнодорожника Высоцкого, допросил его, и знаете, что обнаружилось?

— Да что же, что? — едва пролепетал Жецкий, чувствуя, как у него темнеет в глазах.

— Вообразите только, — волновался Шуман, — он... этот остолоп... тварь этакая... тогда, в мае, когда ехал с Ленцкими в Краков, бросился в Скерневицах под поезд! И Высоцкий его спас!

— Э-э! — протянул Жецкий.

— Не «э-э», а так оно и было... Из чего я заключил, что милый Стасек, кроме романтизма, страдал еще манией самоубийства... Готов держать пари на все мое состояние, что его уже нет в живых!

Доктор осекся, заметив, как изменился в лице пан Игнаций. В сильнейшем смятении он чуть не на руках перенес больного в постель и поклялся в душе никогда более не касаться этой темы.

Но судьба судила иначе.

В конце октября почтальон вручил Жецкому заказное письмо, адресованное Вокульскому. Письмо было отправлено из Заслава, адрес написан неумелой рукой.

«Неужели от Венгелека?..» — подумал пан Игнаций и распечатал конверт.

«Ваша милость! — писал Венгелек. — В первых строках благодарим вашу милость за то, что изволили вспомнить про нас, и за пятьсот рублей, что ваша милость нам опять пожаловали; и за все благодеяния ваши, что получили мы от щедрот ваших, благодарим: мать моя, жена и я...

Затем мы все трое спрашиваем про здоровье и жизнь вашей милости и счастливо ли вы прибыли домой? Так оно, наверное, и есть, а то ваша милость не прислали бы нам столь драгоценный подарок. Только жена моя очень за вашу милость беспокоится, не

спит по ночам и даже хотела, чтобы я сам поехал в Варшаву: известное дело — женщина.

А беспокоимся мы потому, что в сентябре, в тот самый день, как ваша милость по дороге к замку встретили мою мать возле картофельного поля, у нас вот что случилось. Только мамаша успела вернуться и собрала ужинать, вдруг в замке что-то грохнуло, раз и другой как гром ударило, в городке даже все стекла задрожали. У мамаша горшок вывалился из рук, и она сразу говорит мне: «Беги во весь дух к замку, не там ли еще пан Вокульский, как бы с ним беды не стряслось». Я и полетел туда.

Царь небесный! Еле узнал я ту гору. От четырех стен замка, крепких еще, осталась только одна, а три рассыпались прахом. Камень, на котором мы в прошлом году вырезали стишок, разлетелся вдребезги, а в том месте, где был засыпанный колодец, сделалась яма, и обломков в ней, как зерна на гумне. Я так думаю, что стены сами развалились от старости; но мамаша полагает, не покойник ли кузнец, о котором я вашей милости рассказывал, напроказил.

Я никому ни словечком не обмолвился, что ваша милость тогда шли к замку, а сам целую неделю разгребал обломки — не случилось ли, боже упаси, какой беды! А когда никаких следов не нашел, то до того обрадовался, что на месте том хочу крест поставить из цельного дуба, некрашенный, — память о том, как ваша милость спаслись от беды. Но жена моя, по своему женскому обычаю, все тревожится... А потому покорнейше прошу вашу милость уведомить нас, что вы живы и пребываете в добром здравии...

Наш приходский ксендз присоветовал мне вырезать на кресте такую надпись: «*Non omnis moriar*». <<Весь я не умру" [54] (лат.)>

Чтобы люди знали, что хоть старый замок, памятка былых времен, и развалился, но не весь пропал и немало еще осталось от него, на что стоит посмотреть даже внукам нашим...»

— Значит, Вокульский был здесь в сентябре! — обрадовался Жецкий и послал за доктором, прося его прийти немедленно.

Не прошло и четверти часа, как Шуман явился. Он дважды перечитал письмо Венгелека и с удивлением поглядывал на оживленную физиономию Жецкого.

— Ну, что вы скажете? — с торжествующим видом спросил пан Игнаций.

Шуман еще более удивился.

— Что я скажу? — повторил он. — Произошло то, что я предсказывал Вокульскому еще перед его отъездом в Болгарию. Ясно, что Стах в Заславе погиб...

Жецкий усмехнулся.

— Да вы рассудите сами, пан Игнаций, — говорил доктор, с трудом сдерживая волнение. — Вы подумайте только: его видели в Домброве, когда он покупал динамитные заряды; потом его видели в окрестностях Заслава и, наконец, в самом Заславе. По всей вероятности, в замке в свое время произошло что-то между ним и

этой... Ну, этой панной, будь она проклята!.. Он мне однажды сказал, что хотел бы провалиться сквозь землю, глубоко-глубоко, как в заславский колодец...

— Если б он собирался покончить с собой, то мог бы давно это сделать, — возразил Жецкий. — К тому же для этого довольно и пистолета и вовсе не нужен динамит.

— Он ведь уже пытался покончить с собой... Но поскольку это был до мозга костей неистовый дьявол, ему мало было пистолета... Ему нужен был паровоз! Самоубийцы бывают привередливы, я-то знаю...

Жецкий покачивал головой и продолжал усмехаться.

— Что вы мотааете головой, черт возьми? — вышел из себя доктор. — У вас есть другая гипотеза?

— Есть. Просто Стаха преследовали воспоминания об этом замке, он и захотел уничтожить его, как Охоцкий уничтожил греческую грамматику, после того как намучился над нею. И в то же время это ответ барышне, которая, говорят, ездила каждый день вздыхать среди развалин замка...

— Да ведь это ребячество!.. Сорокалетний мужчина не станет действовать, как школьник...

— Это зависит от темперамента, — спокойно возразил Жецкий. — Иные отсылают назад памятки прошлого, а он свою взорвал динамитом... Жаль только, что этой Дульцинеи не было среди развалин...

Доктор задумался.

— Вот неистовый дьявол! Но куда же он теперь девался, если жив?

— А теперь он путешествует с легким сердцем. Нам же не пишет потому, видно, что мы все ему опротивели... — тише прибавил пан Игнаций. — Наконец, если бы он там погиб, остались бы какие-нибудь следы...

— Что ж, я бы не поручился, что вы не правы, хотя... как-то не верится,

— пробормотал Шуман. Он грустно покачал головой и продолжал:

— Романтики должны вымереть, ничего не поделаешь; нынешний мир не для них... Все тайное стало явным, и мы уже не верим ни в ангельскую чистоту женщин, ни в существование идеалов. Тот, кто этого не понимает, должен погибнуть или добровольно устраниваться. Но как он выдержал стиль! — неожиданно воскликнул доктор. — Погиб под обломками феодализма... Умер так, что земля дрогнула... Любопытный тип, любопытный...

Он вдруг схватил свою шляпу и бросился вон, бормоча под нос:

— Безумцы... безумцы... Они весь мир способны заразить своим безумием...

Жецкий продолжал усмехаться.

«Черт меня побери, если я не прав насчет Стаха, — говорил он себе. — Попрощался с барышней! Adieu! И уехал себе. Вот и весь секрет. Пусть только вернется Охоцкий, от него мы узнаем правду...»

Он был в таком прекрасном настроении, что вытащил из-под кровати гитару, натянул струны и, аккомпанируя себе, замурлыкал:

Во всей природе весна пробудилась,

Томный разносится глас соловья...

В роще зеленой, на берегу ручья,

Роза прекрасная уж распустилась...

Острая боль в груди возобновилась, словно напоминая, что ему вредно утомляться.

Тем не менее он ощущал огромный подъем.

«Стах, — думал он, — принялся за какую-то важную работу, Охоцкий едет к нему — значит, и мне надо показать, на что я способен. Долой химеры!..»

Наполеоновскому роду уже не исправить мира, и никому его не исправить, если мы по-прежнему будем действовать, как лунатики... Войду в компанию с Мрачевскими, выпишу Лисецкого, разыщу Клейна — и тогда, пан Шлангбаум, посмотрим! И что, черт возьми, может быть проще, чем разбогатеть, если этого хочешь?

Да еще при таких капиталах и с такими людьми...»

В субботу вечером, когда приказчики разошлись, пан Игнаций взял у Шлангбаума ключ от задних дверей магазина и пошел обновлять витрины на следующую неделю.

Он зажег лампу, открыл главную витрину и с помощью Казимежа вытащил из нее жардиньерку и две саксонские вазы, а на их место поставил японские вазы и столик в древнеримском стиле. Затем отослал слугу спать, так как имел обыкновение собственноручно раскладывать мелкие предметы, особенно заводные игрушки. К тому же ему не хотелось, чтобы кто-нибудь посторонний видел, с какой охотой он сам забавляется ими.

В этот вечер он, как обычно, достал все какие только были в магазине игрушки, расставил их на прилавке и завел все одновременно. В тысячный раз он слушал мелодии музыкальных табакерок и смотрел, как медведь карабкается на столб, как вода из стекла вращает мельничные колеса, как кошка гонится за мышкой, как пляшут краковяне и скачет во весь опор жокей на быстроногом коне.

И, глядя на движение заводных фигурок, он в тысячный раз повторял:

— Марионетки!.. Все марионетки!.. Им кажется, будто они делают, что хотят, а они делают то, что велит им пружина, такая же мертвая, как они...

Когда пущенный неверной рукой жокей опрокинулся на танцующие пары, пан Игнаций опечалился.

«Помочь друг другу — на это их не хватает, а вот испортить кому-нибудь жизнь — это они умеют не хуже людей...» — подумал он.

Вдруг позади послышался шорох. Жецкий оглянулся и в глубине магазина увидел какую-то фигуру, вылезавшую из-под прилавка.

«Вор?» — мелькнуло у него в голове.

— Извините, пан Жецкий, но... я на минуточку выйду... — произнесла фигура со смуглым лицом и черными волосами, побежала к двери, поспешно открыла ее и исчезла.

Пан Игнаций не мог сдвинуться с места, руки у него повисли, как плети, ноги не слушались. В глазах у него потемнело, и сердце билось, как надтреснутый колокол.

— Какого черта я испугался? — наконец пробормотал он. — Ведь это... как бишь его?.. Изидор Гутморген... новый приказчик... Очевидно, стащил что-то и удрал... Но почему я так испугался?

Между тем, после довольно продолжительного отсутствия, Изидор Гутморген вернулся в магазин, что еще больше озадачило Жецкого.

— Откуда вы тут взялись? Что вам нужно? — спросил его пан Игнаций.

Гутморген, казалось, был очень смущен. Он понурил голову с виноватым видом и, барабанив пальцами по прилавку, сказал:

— Извините, пожалуйста, пан Жецкий, но вы, может быть, думаете, что я украл что-нибудь? Так обыщите меня...

— Но что же вы здесь делаете? — спросил пан Игнаций и снова попытался встать, но не мог.

— Мне пан Шлангбаум велел остаться тут сегодня на ночь...

— Зачем?..

— Видите ли, пан Жецкий... с вами приходит переставлять вещи этот... Казимеж... Так вот пан Шлангбаум велел мне последить, чтобы он чего-нибудь не стащил... Ну, а мне стало немножко нехорошо, и пришлось... Извините, пожалуйста.

Жецкий наконец поднялся.

— Ах вы сукины дети! — взревел он в страшнейшем негодовании. — Так вы меня считаете вором?.. За то, что я бесплатно работаю на вас?..

— Извините, пан Жецкий, — смиренно заметил Гутморген, — но... зачем же вы бесплатно работаете?..

— Ступайте вы ко всем чертям!.. — крикнул пан Игнаций, выбежал из магазина и тщательно запер дверь на ключ.

— Посиди-ка тут до утра, голубчик, раз тебе нехорошо... И оставь своему хозяину памятку... — бормотал он.

Всю ночь пан Игнаций не спал. А так как квартиру его отделяли от магазина только сени, около двух часов ночи он услышал тихий стук изнутри магазина и молящий голос Гутморгена:

— Пан Жецкий, отворите, пожалуйста... я на минуточку...

Но потом все стихло.

«Ах, прохвосты! — думал Жецкий, ворочаясь с боку на бок. — Так вы меня считаете вором?.. Ну, погодите же!..»

Около девяти утра он услышал, как Шлангбаум выпустил Гутморгена, а потом стал дубасить в его дверь. Однако Жецкий не откликнулся, а когда пришел Казимеж, приказал никогда больше не пускать Шлангбаума на порог.

— Съеду отсюда, — говорил он, — да хоть с Нового года. Лучше уж жить на чердаке или снять номер в гостинице... Меня считают вором!.. Стах доверял мне огромные капиталы, а этот скот боится за свои грошовые товары...

Перед обедом он написал два длинных письма: одно — пани Ставской, с предложением переехать в Варшаву и вступить с ним в компанию, а второе — Лисецкому, с вопросом, не хочет ли он вернуться и поступить к нему в магазин.

Все время, пока он писал и перечитывал написанное, с лица его не сходила злорадная усмешка.

«Представляю себе физиономию Шлангбаума, когда мы у него под носом откроем магазин! — думал он. — Вот будет конкуренция!.. Ха-ха-ха!.. Он приказал следить за мною... Так мне и надо! Зачем я позволил этому мошеннику распоясаться! Ха-ха-ха!..»

Он задел рукавом перо, и оно упало на пол. Жецкий наклонился, чтобы его поднять, и вдруг почувствовал странную боль в груди, словно кто-то проткнул ему легкие острым ножичком. На миг у него потемнело в глазах и слегка затошнило; так и не подняв пера, он встал с кресла и лег на кушетку.

«Я буду последним болваном, если через несколько лет Шлангбаум не уберется на Налевки... Эх я, старый осел! Волновался за потомков Бонапарта, за всю Европу, а тем временем у меня под носом мелкий торгаш превратился в важного купца и приказывает следить за мной, будто я вор... Ну, да по крайней мере я набрался опыта, и такого, что хватит на всю жизнь!

Теперь уж меня не будут называть романтиком и мечтателем...»

Он испытывал такое ощущение, будто что-то застряло у него в левом легком.

— Астма? — проворчал он. — Придется всерьез взяться за лечение. А то лет через пять-шесть стану совсем развалиной... Ах, если б я спохватился лет десять назад!

Он закрыл глаза, и ему почудилось, что вся его жизнь, с самого детства до настоящего момента, развернулась перед ним, как панорама, а он плывет мимо нее необыкновенно спокойно и легко. Его только удивляло, что едва он проплывал мимо какой-нибудь картины, как она безвозвратно сглаживалась в его памяти, и он уже не мог ее вспомнить. Вот обед в Европейской гостинице по случаю открытия нового магазина; вот старый магазин, и у прилавка панна Ленцкая разговаривает с Мрачевским... Вот его комната с зарешеченным окном, куда только что вошел Вокульский, вернувшийся из Болгарии.

«Минуточку... что же я видел перед этим?..» — думал он.

Вот винный подвал Гопфера, где он познакомился с Вокульским... А вот поле битвы, и голубоватый дым стелется над линиями синих и белых мундиров... А вот старый Минцель сидит в кресле и дергает за шнурок выставленного в окне казака...

— Видел я все это на самом деле, или мне только снилось?... Боже ты мой... — шепнул он.

Теперь ему казалось, что он маленький мальчик; вот отец его беседует с паном Рачеком об императоре Наполеоне, а он тем временем улизнул на чердак и через круглое окошко видит Вислу, а за ней, на другом берегу, Прагу... Однако понемногу картина предместья расплылась у него перед глазами, и осталось только окошко. Сначала оно было как большая тарелка, потом — как блюдо, а потом уменьшилось до размеров гривенника...

Он все глубже и глубже погружался в забытие, со всех сторон нахлынула на него темнота, вернее глубокая чернота, в которой лишь одно окошко еще светилось, как звезда, но и оно меркло с каждой минутой.

Наконец и эта последняя звезда погасла...

Может быть, он и увидел ее вновь, но уже не на земном горизонте.

Около двух часов дня пришел Казимеж, слуга пана Игнация, и принес корзину с тарелками. Он с грохотом накрыл на стол и, видя, что барин не просыпается, позвал:

— Пожалуйте обедать, остынет...

Однако пан Игнаций и на этот раз не пошевелился; тогда Казимеж подошел к кушетке и повторил:

— Пожалуйте обедать...

Вдруг он отшатнулся, выбежал на лестницу и принялся стучать в задние двери магазина; там были Шлангбаум и один из приказчиков.

Шлангбаум открыл дверь.

— Чего тебе? — грубо спросил он.

— Сделайте милость... с нашим барином что-то случилось...

Шлангбаум осторожно шагнул в комнату, взглянул на кушетку и попятился...

— Беги скорей за доктором Шуманом! — крикнул он. — Я не хочу сюда входить...

Как раз в это время у доктора был Охоцкий и рассказывал ему, как вчера утром он вернулся из Петербурга, а днем провожал свою кузину, Изабеллу Ленцкую, которая уехала за границу.

— Представьте себе, — закончил Охоцкий, — она идет в монастырь.

— Панна Изабелла? — переспросил Шуман. — Что ж, она собирается кокетничать с самым господом богом или только хочет отдохнуть от волнений, чтобы вернее потом выйти замуж?

— Оставьте... она странная женщина... — тихо сказал Охоцкий.

— Все они кажутся нам странными, пока мы не убеждаемся, что они просто глупы или подлы, — с раздражением ответил доктор. — Ну, а о Вокульском вы ничего не слышали?

— Вот как раз... — вырвалось у Охоцкого.

Но он запнулся и замолчал.

— Так что же, знаете вы о нем что-нибудь? Уж не хотите ли вы сделать из этого государственную тайну? — не отставал доктор.

В эту минуту вбежал Казимеж с криком:

— Доктор, с нашим барином что-то случилось! Скорее, скорее!

Шуман бросился на улицу, Охоцкий за ним. Они вскочили в пролетку и галопом помчались к дому Жецкого.

Из подъезда навстречу им кинулся Марушевич с озабоченной физиономией.

— Представьте себе, — крикнул он доктору, — у меня к нему такое важное дело... вопрос касается моей чести... а он взял да и помер!..

Доктор Шуман и Охоцкий, сопровождаемые Марушевичем, вошли в квартиру Жецкого. В первой комнате уже находились Шлангбаум, советник Венгрович и торговый агент Шпрот.

— Пил бы он брагу, — говорил Венгрович, — дожил бы до ста лет... А так...

Шлангбаум, увидев Охоцкого, схватил его за руку и спросил:

— Вы обязательно хотите забрать на этой неделе свои деньги?

— Да.

— Почему так срочно?

— Потому что я уезжаю.

— Надолго?..

— Может быть, навсегда, — отрезал Охоцкий и вслед за доктором прошел в комнату, где лежал покойник. За ними на цыпочках вошли остальные.

— Страшное дело! — сказал доктор. — Одни гибнут, другие уезжают... Кто же в конце концов тут остается?

— Мы!.. — в один голос откликнулись Марушевич и Шлангбаум.

— Людей хватит... — добавил советник Венгрович.

— Да, хватит... Но пока что уходите-ка отсюда, господа! — крикнул доктор.

Все с явным неудовольствием удалились в переднюю. Остались только Шуман и Охоцкий.

— Присмотритесь к нему, — сказал доктор, указывая на умершего. — Это последний романтик... Как они вымирают... как вымирают...

Он дернул себя за усы и отвернулся к окну.

Охоцкий взял уже похолодевшую руку Жецкого и наклонился над ним, словно собираясь шепнуть ему что-то на ухо. Взгляд его упал на письмо Венгелека, до половины высунувшееся из бокового кармана покойника. Он машинально прочел написанные крупными буквами слова: «Non omnis moriar».

— Ты прав... — тихо сказал он как бы самому себе.

— Что, я прав? — спросил доктор. — Я давно это знаю.

Охоцкий молчал.

1890